

ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

1991

НОЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

К СВЕДЕНИЮ УВАЖАЕМЫХ АВТОРОВ

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своем решении.
Рукописи, присылаемые на дом работникам редакции, не рассматриваются.
Рукописи редакция не возвращает.
Рукопись может быть возвращена только при условии предварительной оплаты автором почтовых расходов редакции на ее пересылку.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ**
Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (зав. отд. поэзии), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. Д. КРЮЧКОВА** (зав. отд. прозы), **В. М. ЛИТВИНОВ** (зав. отд. критики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).
Коммерческий директор **Ю. В. ГРИНЬКО.**

Технический редактор С. И. Суровцева.

Сдано в набор 26.09.91. Подписано к печати 15.10.91. Формат 70×108[1]/16.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 18,90. Усл. кр.-отт. 18,55. Учетно-изд. л. 22,24.
Тираж 242 000 экз. Заказ № 913. Цена 1 р. 90 к.

Адрес редакции: 125872 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05; заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдела прозы — 214-71-34, поэзии — 214-74-67, критики — 214-69-37, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29

Типография издательства «Правда». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Григорий БАКЛАНОВ

Невыдуманные рассказы

Старый старичок

При Хрущеве построили эти особняки вблизи киностудии «Мосфильм». Построили, обнесли высокой каменной стеной, встала за стеной охрана, и москвичи прозвали все это — «Заветы Ильича». Бывало, раскрывались массивные железные ворота и выезжали черные машины. И въезжали. И вновь наглухо закрывались ворота. В одной из этих длинных черных машин с пуленепробиваемыми стеклами ездила бывшая ткачиха, член политбюро (или президиумом тогда это называлось?) Фурцева, а другая ткачиха, с Трехгорки, построенной еще купцами, лежала в роддоме, в районе Сретенки, в одной палате с моей женой — есть там такой старый родильный дом в глубине квартала, за новыми домами, многие поколения будущих москвичей вынесены оттуда на руках, прежде чем они сами, своими ногами пошли по земле.

Лето. Окна распахнуты на всех этажах, в каждом окне — женщины в одинаковых халатах, временно сюда заключенные. Внизу, под окнами,— мужья и матери, перекликаются с ними, задрав головы. Но к этой ткачихе не муж приходил с передачами, а подруги.

— Мы к Пурцевой, к Пурцевой пойдем! — кричали они всех громче.

— А кто она, Пурцева?

— Ну — Пурцева! Не знаешь, что ли?

И уже все, приходившие сюда проведывать жен и дочерей, знали: ткачихе этой идти некуда, в общежитие с ребенком не пускают, хоть здесь, в роддоме, оставайся. Вот за нее и собирались ходатайствовать перед бывшей ткачихой, ныне — главным человеком на Москве, первым секретарем городского комитета партии.

Не знаю, кто помещался в соседних с Фурцевой особняках, все это были люди временные, хотя и всевластные, вспомнить нечем. Бывало, засядут они в президиуме в один ряд, движется камера по лицам — все на одно лицо.

Как-то бывший редактор журнала «Октябрь», ныне покойный Панферов привел нас, молодых в ту пору, для поучительной беседы на Старую площадь, и то ли Аристов, то ли Беляев—говорят вам что-нибудь эти имена?—рассказывал нам в огромном кабинете, где он кого-то сменил и где потом его кто-то сменит, о перспективах Сибири: какая там дешевая электроэнергия, как понастроят там повсюду теплиц, и будут в этих теплицах произрастать огурцы и помидоры на сибирском морозе, и окажутся они дешевле тех, что сами в южных краях растут под солнцем. И в ближайшем будущем завалят тепличными помидорами всю страну, а пароходы и самолеты повезут их в ближние и дальние страны...

В самом конце улицы особняков и тоже за каменной стеною был Дом приемов, так, кажется, тогда он назывался. Должно было там состояться чествование Нобелевского лауреата Шолохова, получил приглашение и я и решил пойти из любопытства. Проверили у меня документы при входе на территорию, не раз и не два взглядом сверили мое лицо с фотографией, а ты стоишь, поневоле напряженный, пока убеждаются, что ты — это ты, и отдана была честь: могу проходить.

Я несколько опоздал, за огромными, уходящими в бесконечность столами уже ели и пили, стоя, и слышалось дружное жужжание ублаготворенных го-

лосов. В ту пору на жителя Москвы в среднем приходилось в год что-то около ста тридцати граммов красной рыбы, истребленной стремительным нашим продвижением к светлому будущему, а на жителя страны — и того меньше. Но здесь, в огромном зале, на столах, сверкавших под электричеством, и семги, и лососины нежнейшей, и белуги, и севрюги — всего было вволю, и приглашенные жужжали над ними, чуть принижая голоса, когда очередной по списку оратор выходил к микрофону. Вот там, у почетного стола, как обычно, поставленного поперек, бродил невысокий седенький старичок с подстриженными седыми усами. Он, очевидно, плохо слышал и оттого, держа в одной руке тарелку, в другой, в пальцах,— надкушенный слоеный пирожок, близко подступал к оратору, простодушно глядя ему в рот. А стоило ему поставить тарелку на стол, она тут же словно бы сама собой исчезала, и он оглядывался потерянно, с детским огорчением: где его недоеденный пирожок, куда девался? Но рослые официанты с хорошей строевой выправкой следят за порядком, посуду грязную тут же убирают. Он берет новую тарелку из стопки, опять надкусит, опять — огорчение.

Его и толкали, пробегая: молодые поколения подросли, деловых, целеустремленных. Толкнут и не оглянутся, мол, не заметили, он оглядывается им вслед с опозданием. Кто в армии служил знает, как это не заметить офицера даже в самых малых чинах, не поприветствовать. «Меня не заметил? Я что, такой незаметный?» И вернет, и раз, и два заставит пройти мимо него, печатая шаг, неся ладонь у виска: меня не заметил!.. А тут, хотя и в штатском, маршал бродит с тарелочкой в руке. Про него не одна песня сложена, это и про него пелось: «Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет...» Да, из тех первых наших пяти маршалов, из которых только Буденный да он уцелели, а троих — Егорова, Тухачевского, Блюхера — при их же участии низвергли, объявили врагами народа и расстреляли. Впрочем, и жертвы, прежде чем стать жертвами, были судьями. Блюхер судил своих товарищей, маршалов и командармов, и они стояли перед ним, опозоренные, и он в глаза им смотрел. А по завершении кровавых дел, рассказывают, был приглашен на обед к Сталину и, отобедавший, сел в поезд, который увозил его на отдых, на курорт, к морю, к солнцу. Там, в поезде, его и взяли.

Наверное, это сладко было, все зная наперед, обедать с обреченным, который предан отныне, готов служить, да только служба его, кровью связанного, уже не требуется.

Так это было или не так — дела не меняет, всего мы не узнаем никогда, но и того, что знаем,— довольно. Жертвы сами создавали и укрепляли машину, которая в дальнейшем перемалывала их. А он вот уцелел, седенький уже теперь старичок с подстриженными усами. Мы вырастали под его портретами. Сохранилась фотография четвертого нашего класса седьмой воронежской школы, случайно сохранилась, потому что и от Воронежа-то после войны почти ничего не осталось, ее переснимали и прислали мне в подарок. Стриженые, сидим мы в три яруса — на полу, на стульях, на сцене,— а передние прилегли, как разместил фотограф в стандартных позах,— и наши учителя на первом плане почетно среди нас. А над сценой — два больших портрета: Сталин и Ворошилов с кожаной портупеей косо через грудь. «Климу Ворошилову письмо я написал; товарищ Ворошилов, народный комиссар, товарищ Ворошилов, когда начнется бой, пошли моего брата в отряд передовой...» Как для нас все было несомненно! Так ли несомненно было и для наших учителей, теперь оставшихся уже только на фотографиях, но переживших многих своих учеников? Мне отчего-то на отдалении лет всегда жаль их, они ведь и другую жизнь знали, из нее вышли, другие понятия были им ведомы.

И опять же рассказывают, когда арестовывали Ковтюха, героя гражданской войны, с которого Серафимович писал своего железного Кожуха, когда пришли его арестовывать, он будто бы позвонил Ворошилову, с которым был на «ты»: «Я их тут держу под дулом пистолета. Положить их?» Но тот заверил своего боевого товарища: не сомневайся, мы разберемся. Как же его потом били на допросах, Ковтюха, как издевались над ним!.. Но и это, может быть, легенда: людям всегда хочется, чтобы трогательней выглядело, чем в жизни, легенды понятней, сами прилегают к сердцу. Но факт, уж это-то факт: за всю войну, за все те страшных четыре года, мы потеряли высшего командного состава меньше, чем расстреляно было перед войной, а он-то, Ворошилов, и был в самые кровавые годы нашим народным комиссаром, своей рукой визировал расстрельные списки. И сколько же безымянно полегло солдат на полях войны, пока учились воевать наши командиры, вырастали в маршалов.

Но вот и сам не понимаю, как это получается, а когда его толкали, пробегая, молодые, полные сил, устремленные в карьерные выси, когда он, как обиженное дитя, беспомощно оглядывался, ища глазами недоеденный пирожок, честное слово, прямо-таки жаль его становилось. А ведь уже знал все, знал, как Берии он боялся, готов был с ним дальше на все, как плакал, когда причислили его к антипартийной группировке, но потом все же решили сохранить: не ради него, а чтобы народ не разуверился.

Он прожил с тех пор еще четыре года, столько же, сколько длилась вся Отечественная война. И как-то под праздник возился я на огороде, что-то сажал, и тут пришли сказать: Ворошилов умер, но чтобы людям праздника не портить, не омрачать печальными известиями, тело сохраняют пока что в холодильнике, а сам факт смерти держится в строжайшей тайне. Но минул праздник и выяснилось: жив.

Умер он поздней и похоронен был с почетом, и долго еще города и улицы назывались его именем.

Но жаль того огня

Дважды меня исключали из партии. А вступал я в партию на Северо-Западном фронте в сорок втором году восемнадцати лет от роду, и было сказано по этому поводу: принимаем его прямо из пионеров. Через много лет после войны пошел анекдот: «Если убьют, прошу считать меня коммунистом, а нет — так нет...» Но в ту пору мы веровали, и не только по наущению комиссаров, которым был разверстан какой-то план, а от души нередко писали люди в окопе: «Прошу считать меня...» Так надевают перед боем чистую нательную рубашку, она уже останется на тебе, даже когда пройдут похоронные команды, снимая обмундирование с убитых, чтобы, отмытое от крови и подштопанное, оно вновь на ком-то пошло в бой. Потребность веры, радость самоотречения, готовность жертвовать собой — все это заложено в человеке, а немцы уже в ту пору стояли под Сталинградом, и коммунистов — это знал каждый — не брали в плен.

Везли нас из штаба на грузовике, мы тесно набились в кузов. Помню ветер встречный, машина скакала по выбоинам, за гулом мотора не слышен был полет снаряда, только вздымался разрыв то в поле, то впереди, а мы пели — орали, взбодренные близкой опасностью, причастившиеся.

Через три года полк наш возвращался из Австрии. Это был другой полк и другой фронт: Третий Украинский. Война кончилась, мы возвращались домой, в Россию. Знали, дома голодно, и везли с собой что могли: была мука, сало, бочка вина, спирт в канистрах для горючего — имущество взвода. И вот на одной из остановок — а мы подолгу стояли то где-нибудь в поле, то на запасных путях, не на фронт идут эшелоны, с фронта — подошел к нашей теплушке кто-то из офицеров:

— Слушай, у тебя, говорят, спирт есть.

— Есть.

— Бери, идем к нам.

Был я после болезни, врач полка определил воспаление легких. Определил правильно, а лечить все равно нечем. Правда, сестры, когда я выписывался из госпиталя в Днепропетровске, дали по дружбе мне в дорогу сульфидин, который в ту пору был на вес золота. Но в Венгрии поздней осенью сорок четвертого года, когда началось наше наступление и стояли мы с командиром второй батареи на наблюдательном пункте, смотрели, как после артподготовки пошли танки в атаку, пехота бежит за ними по грязи, по развороченному полю, спросил он меня, не отрывая бинокля от глаз: «Ребята говорят, ты сульфидин привез из госпиталя?» Мы ждали, не заговорят ли немецкие батареи, которые мы только что подавляли. «Привез». «Дашь?» «А что стряслось?» «Да партизанка эта... югославская... Помнишь, в эшелон взяли? Наградила меня...» И бинокля от глаз не отрывает.

Партизанку я запомнил, видел, как она картинно прощалась с матерью на перроне, потом впрыгнула к нам в эшелон. Были у нас на платформах пушки и тягачи, переделанные из американских легких танков, очень удобные на походе, крытые брезентом, а внутри — сиденья, как лавки широкие. Вот туда, под брезентовый кров, и взял ее комбат. Красивый был он парень, рослый,

виски вьющиеся, кожа лица белая, нежная, раздражалась после бритья. Здесь же, на наблюдательном пункте, проще сказать — в окопе, который был нам обоим по грудь, отдал я ему сульфидин, но воспользоваться им не успел он: в тот же день убило его осколком снаряда.

И вот когда прихватило меня воспаление легких, вспомнил я тот сульфидин, не то чтоб пожалел, но вспомнил поневоле. А вымотало меня сильно, только что ветром не шатало. Но как отказаться, не пойти, если зовут? Дело мужское. В артиллерии не зря говорилось: артиллерист должен быть всегда чисто выбрит и слегка пьян.

Пошли. У них уже шумно. Двери теплушки откатили, солнце с поля светит яркое. А посреди вагона — стол красного дерева, ножки изогнутые, бронзовые лапы уперлись в пол дощатый, вагонный, дочерна истоптанный шипами лошадиных подков, сапогами, солдатскими ботинками. И такие все бравые сидят; гимнастерки, ордена, ремни. Мне, чтоб догонял, сходу налили штрафную: толстого стекла граненый бокал грамм под триста. И опять нельзя себя уронить. Выпил, не дыша, запил водой. Если, не вдохнув, запить водою, спирт не обжигает, чуть только подсушит в горле. Не успел я еще заесть, колбасы сухой пожевать, идет, как на грех, дежурный по эшелону. Остановился на насыпи снаружи, погоны майорские на его плечах чуть выше пола вагонного, он их недавно получил, никак не налюбуется:

— Празднуете?.. Хор-рошее дело...

Дежурил наш командир дивизиона, мы его не любили. Не умен был, но властен, как водится в таких случаях. И покрасоваться любил, сам роста малого, а выше всех себя нес.

— Выпиваете, значит...— И подержал, подержал всех под взглядом строгим, как под прицелом. — Кто мне догадается налить?

Налили. Чтоб не задерживался, компании не портил. А заодно и всем заново налили по кругу. У меня еще от первого бокала, как говорится, до бровей не дошло, а тут — второй следом. И больше я уже ничего не видел и не помнил.

А тем временем, как после я узнал, нагрянул командир полка полковник Камардин. Был он скор на расправу, на фронте ему многое прощалось за смелость, но война кончилась, а он и тут, недолго думая, решил кулаком убеждать. И видели из вагонов, как вслед за командиром полка бежал командир пятой батареи и стрелял из пистолета. Но нетверда пьяная рука, а еще и дождь хлынул стеной. Это спасло командира полка и нас с ним вместе.

В дожде разведчик моего взвода, молодой могучий парень, прозванный Макарушкой, увел меня к нам в вагон. И спал я сном праведника, пока стучали, стучали под полом, подо мной колеса, а поезд мчался, оглашая окрестности. Проснулся — голова ясная: после чистого спирта голова не болит. Только ссохлось все внутри. Выпил воды, и опять хорошо стало.

На остановке иду вдоль эшелона, мимо товарных, мимо штабного вагона. Командир полка завтракал как раз в своем окружении, окликает:

— Ну как, голова не болит?

— Никак нет, товарищ полковник!

И сам себе бравым кажусь. Мне и в его голосе почудилось одобрение, вроде бы и он залюбовался мною... Стукнет же такая дурь в голову.

— Ну-ну...

И шире рта его широкого улыбка растянулась плотоядная, а я и ее за поощрение принял, «пощеряет», как говорил наш старшина.

Завтракал он долго, не спешил: на дело собирался. А потом срочно всех нас призвали в штабной вагон, там уже и командование, и политотдел-трибунал в полном составе ждал нас.

— Ня надо нам таких членов партии! — определил повестку заседания Камардин и грохнул кулаком по столику подоконному. В прошлом — горняк, с грамотешкой было у него неважно, однако воевал, повторяю, хорошо. А поезд мчит нас, мчит на родину, стучат колеса на стыках, потряхивает всех вместе, и подсудимых и судей. Кто посмеет возразить командиру полка, когда выше него один лишь Господь Бог, да и того отменили.

У нашего комиссара дивизиона, верней сказать, замполита,— лицо честного пожилого путиловского рабочего, такими с детства привыкли мы видеть их на экране. И будто даже с тех самых предреволюционных пор копоть с лица не отмыта, оттого глаза светлые-светлые, чистые глаза под густыми темными бровями. А вот голоса его не помню, может, он за всю войну слова не

сказал, только писал политдонесения про наше морально-политическое состояние: «Доношу до Вашего сведения...»

Когда в конце сорок второго года отменили на фронте комиссаров, к нам в училище прислали их переучиваться. Мы, артиллеристы, ходили в сапогах и с фронта в сапогах прибыли, а они почему-то были все из пехоты и — хоть лейтенанты, хоть старшие лейтенанты — все в ботинках с обмотками. Могло ли командование допустить, чтобы курсанты — в сапогах, а офицеры — в обмотках? Сняли с нас сапоги, отдали нам ихние ботинки, и стали мы километрами мотать обмотки. Можно себе представить, как мы сразу их полюбили.

Не знаю, что делали замполиты в пехоте, но в артиллерии надо было уметь грамотно стрелять. И вот пытаюсь вспомнить: хоть раз за войну видел я, чтобы замполит вел огонь, подавал команду батарее? Нет, не пришлось. Каждый из них, так сказать, обеспечивал наше морально-политическое состояние, или, как недавно писали в некрологе об одном в бозе почившем политработнике высокого ранга, «вел действенную политико-воспитательную работу с воинами, воодушевлял их на достижение победы над врагом».

Под стук колес вагонных наш комиссар с честным лицом экранного путиловского рабочего сидел и скорбно молчал. И, когда оставалось только проголосовать единодушно и тем судьбу нашу решить, осмелился вдруг тихий Моисеенко. Был он то ли парторг, то ли еще кто-то в этой иерархии, лет ему было за сорок, старик по нашим тогдашним понятиям. И чем-то был он не такой, как все, это сразу чувствовалось. Помню ясное свое впечатление: из уцелевших. А от чего уцелел, от какой грозы — не вдумывался. Наверное, это и было охранное состояние: не вдумываться. Незримый кто-то надзирал за твоей душой. Только в бою забывалось, а полностью освобождала одна лишь смерть.

Был у нас в училище комиссар, подполковник Видеман. И вдруг узнаем: воевал в Испании. Какая же мысль самая первая, чему удивились? В Испании воевал и не арестован... А ведь мы, школьниками, рвались туда воевать с фашистами. И мы же удивляемся: не арестован. Значит, сознавали смутно, только мысль свою не отпускали на волю, так, наверное, и можно было поладить со своей совестью.

Говорили про Моисеенко, что он женат, но с женой почему-то не расписан. И еще некие странности числились за ним. Когда нормой, чуть ли не доблестью считается быть, как все, проверенным, насквозь просвеченным, человек со своей, оберегаемой от чужих глаз жизнью, на других не похожий странен, любое подозрение к нему липнет. И вот он заступился за нас. И почему-то особенно — за меня.

А я однажды поиздевался над ним вволю, молодость жестока. Было это во время Ясско-Кишиневской операции, когда окруженные немецкие дивизии рвались из котла. И вот на пути такой сборной части — а они напролом шли, в том их спасение было — оказалась наша батарея. Комбата незадолго перед тем увезли в госпиталь, я оставался за него. Развернули мы орудия, снарядов, как всегда, мало. Поверху, по краю балки, залегли разведчики, связисты с автоматами, туда же и всех батарейных тыловиков погнал, они стекались к кухне, как вода в ложбину. И тут является вдруг Моисеенко. Без оружия. Растерян. К нам под защиту.

— Где ваш пистолет, товарищ старший лейтенант?

По должности, по званию он — старший, я всего-то командир взвода. Но вблизи опасности звончей становишься.

— Где ваше оружие?

При всей батарее, подпираемый сочувствием, геройствовал я за его счет. Возможно, был он не самый умелый в бою, не очень приспособлен, он мог бы тихо умереть, не унизясь. Но в двадцать лет я не способен был понимать это, другие качества ценились на фронте. И вот он заступился за нас, рассказал и про тот бой. Среди властных, украшенных орденами людей, привыкших на войне распоряжаться многими жизнями, а уж одна чья-то жизнь и не в счет, он единственный нашел в себе смелость сказать слово в защиту: как же так, мол, провоевали всю войну, а теперь, после войны, исключать из жизни?

— Ня надо нам таких! — в улыбке ощерился Камардин, широкое его лицо стало красным, как сырое мясо, жаждал он смыть позор.— Мы их исключим, а заслужат, приймем опять...

В тамбуре мы постояли, покурили, колеса отстукивали версты. Какая-то разрядка требовалась душе. Выкинул я окурок да и спрыгнул за ним сле-

дом на ходу, благо поезд не так уж и быстро шел, пробежал по инерции за вагоном, валясь назад для упора; когда наша теплушка поравнялась, бойцы за руки втащили меня.

Где-то в неведомых высших сферах — в политотделе бригады или даже в дивизии — дали нам всем по выговору, и уже в Болгарии (а везли нас, оказалось, в Болгарию, не домой) перед строем полка прочли, кому, за какие грехи и — сколько. И, когда меня вызвали из строя, и я отчеканил два шага, и стал, каюсь, гордым себя чувствовал: чести не замарал, дело мужское, можно и пострадать.

Второй раз исключили меня из партии после войны, в самую глухую пору: до смерти Сталина оставалось меньше двух лет. Своей вины власть никогда не прощает народу, а мы, спасая родину, и власть сталинскую над нами, и его самого спасли. И вот за весь срам, за то, что в сорок первом году он всех на край гибели поставил, нашли теперь виноватых: из немецких лагерей прямым ходом в наши каторжные лагеря гнали пленных наших солдат домучивать до смерти — почему, мол, в плен сдался, почему не покончил с собой? Мало было им миллионов погибших, надо, чтоб и эти костьми легли. И на полстраны пало клеймо: кто в окружении был, кто сам или родственники оставались на оккупированной территории — так вот и писалось в анкетах — «территория», словно бы не своя родная, а завоеванная, чужая земля, и простиралась она до самой до Москвы, до Волги,—все, все отныне были под подозрением, как под прицелом. Врага разбили, он уже не угрожал, пришло время со своим народом расправляться по нашему обыкновению: бей своих, чтоб чужие боялись. И волнами покатилась по стране разжигаемая ненависть: сживали со света генетиков, громили кибернетиков, боролись с низкопоклонством перед Западом, чтобы вовсе отгородить нас ото всего мира, били «космополитов». И тот, кто с фронта возвращался победителем, дома становился побежденным.

Есть анекдот того времени: сидят на кухне два брата, выпивают, один из них во время войны был партизаном, другой — полицаем. И спрашивает партизан бывшего полицая: «Отчего так все перевернулось? Ты в почете у властей, я — под подозрением». «А ты что пишешь в анкете? — говорит полицай.— Ты пишешь: брат мой был полицай. А я чист, я пишу: мой брат — партизан...» И в нашем Литературном институте, куда я поступил после войны, любезными власти, любимыми ее сыновьями становились те, кто пережидал войну вдали от фронта, те, у кого брат — партизан.

Когда вся мощь государства с его карающей десницей стоит за спиной раба, его подпирает, самый ничтожный раб распоряжается и жизнью твоей и смертью. И последним убежищем становится — не замечать, не верить, не сознавать. Прошла борьба с «безродными космополитами», она на лице моем горела, оставляла меня за чертой, а я все еще поверить не мог, что мы четыре года воевали с фашизмом, а он нас дома ждал. Но терпишь-терпишь, когда-то и прорвется. И прорвалось: не самого главного в этой кампании, но очень уж гаденького, бездарного критика с нашего курса Бушина, у которого должность была — пару поддавать, теоретически обосновывать, я публично назвал фашистом; не зря назвал. Он еще и тем был мне противен, что на войне ошивался где-то при штабе армии, числился комсоргом; на фронте говорили: там не война, а мать родна. И точно в духе времени настрочил он тут же заявление в партком: «В моем лице оскорбили бывшего комсорга...» Мол, сам я — ничто, но — «в моем лице...» И дело завертелось.

Поначалу нашлось у меня много заступников: «Правильно назвал, мы, если потребуется, выйдем, скажем...» И только полковник Львов-Иванов, тогдашний заведующий военной кафедрой института, советовал умудренно: «Ты покайся». «Не в чем мне каяться». Но он чистосердечно хотел помочь мне: «А ты все равно покайся...»

Рассказывали, что во времена гражданской войны командовал он партизанским соединением в Сибири, чуть ли даже не дивизией целой, и будто бы партизаны его дрались «как львы». В память об этом он к своей фамилии «Иванов» присовокупил еще и «Львов». В институте его любили, а когда на собрании он брал слово, все оживлялись. Говорил он так: «Это было, когда мы боролись с этими... канцепа... канцепа... канцепалитами! Я еще тогда слова этого не знал!» Он и правда многого не знал и не узнал, не липла к нему зараза. Вот он от души советовал мне покаяться. А мои доброжелатели, будущие «творцы», молчали, потупясь, когда меня распинали.

Но был еще друг. Четыре года просидели мы рядом в аудитории. И в институт — вместе, из института — вместе. А сколько выпито вместе, и думалось, и говорилось по душам. Он — парторг курса, по заведенному порядку он должен был написать мне характеристику. Он сказал, каменея лицом: «Характеристику я тебе дать не могу». И я не обиделся, вот это через много лет было для меня самым удивительным. Я даже виноватым себя почувствовал, словно пытался утянуть его за собой, а тонуть надо одному, молча. А может, правда, гонимые не обидчивы?

У казни этой не было даже фронтовой непосредственности: «Ня надо нам!..» Все делалось со сладострастием, со словоблудием и так, чтоб не тебя одного, а всех придавить страхом, сделать соучастниками, разъединить и замарать. Но по необъяснимым для меня причинам опять где-то в высших сферах исключение из партии заменили мне строгим выговором. Однако на работу после института не брали никуда. Я выписал адреса что-то около пятидесяти редакций, половину обошел, когда встречаю на улице моего однокашника, ныне уже покойного Бориса Бедного. Мог ли я в ту пору предполагать, что нам еще суждено будет жить в одном доме, в соседних подъездах и однажды в поздних сумерках увижу я из окна, как вынесли на носилках кого-то укрытого с головой простынею, высоко вздымался под простыней живот, носилки вдвинули в задние распахнутые дверцы микроавтобуса, темного, под цвет хаки, дверцы захлопнулись, автобус выехал со двора... Оказалось — и только часом позже об этом узнал я,— умер Борис Бедный, внезапно, от сердечной недостаточности, нашли его около двери с зажатым валидолом в руке: по-видимому, хотел позвать кого-то на помощь, да не успел. А тогда он шел радостный по улице Горького, пыхал папироской. «Неужели ты не понимаешь,— сказал он,— что тебя нигде на работу не возьмут?» Я понимал, дозрел уже, но мне интересно было видеть лица людей, которые сначала приветствовали меня, давали анкету, потом, прочтя, отказывали. Мучительное занятие, а — интересно.

Стояли мы с ним как раз напротив пельменной, и он предложил: «Пойдем лучше пельменей поедим». И мы пошли. Вкусные были пельмени, с уксусом, только голодному они так вкусны. Он тоже не работал, и тоже ему негде было жить, но у него уже повесть напечатали, он на ноги встал. А на втором или на третьем курсе института, когда развернулась очередная эпопея, сажали лесополосы в степи и Сталин-отец наклонился над картой родины на плакате: «И засуху победим!», послали нас троих — Тендрякова, Бедного и меня—в заволжские степи писать о готовящемся свершении. Возглавил бригаду старый журналист Аграновский, отец Валерия и Анатолия Аграновских. Мы действительно написали книгу очерков, ее срочно сдавали в печать, но вдруг что-то застопорилось, редактор вызвал Бедного, а я пошел с ним. Редактор, если мерить мерками войны, был призывного возраста, однако не воевал. Он долго в молчании шелестел бумагами на столе, будто что-то отыскивая в них, а вопрос Бедному задал внезапно: «Вы, оказывается, были в плену? А ведь не полагалось сдаваться в плен...» Спросил ласково, вкрадчиво, со сладостью в голосе. И больно было видеть, как товарищ мой сник виновато и покорно.

Нам поставили условие: книгу выпускают срочно, а вот очерка Бедного в ней не должно быть. Для каждого из нас в ту пору книга эта была событием, и жаль нам было своих трудов, но мы отказались. Так она и не вышла.

Поели мы с Борисом Бедным пельменей с уксусом, и на этом мои колебания кончились, больше я по редакциям не ходил. И — к лучшему: сидел, писал, как-то перебивался, снимал углы. Однажды повезло: в четырехкомнатной квартире, где жила семья, в прошлом — обеспеченная, но впавшая в нужду, удалось снять так называемую «комнату для домработницы», как раз поместились в ней столик, стул и топчан.

А жизнь шла к рубежной черте. Последним делом жизни Сталина явилось дело врачей. Словно бы наперегонки со своей смертью, кто успеет раньше, она или он, торопился совершить он последнее злодейство. Начать — начал, завершить не успел, а планы были обширные.

В этой, снятой мною комнате услышал я по радио утром рано: Сталин умер. Я был один, в квартире еще спали, я стоял и плакал. Жена моя, будущая моя жена, с которой тогда я и знаком не был, а поживи он еще, и не встретились бы с нею, вот она, единственная из учителей их школы, когда их всех собрали в актовом зале, и плач стоял и стенания, и друг перед другом рыдали, она стояла с сухими глазами, и даже ее ученицы волчатами смотрели на нее.

А я плакал в то утро. О нем? Нет. Я уже избавился от иллюзий. Но что-то рухнуло и в моей жизни. Или нервы сдали, долго они были напряжены.

В третий раз исключать меня из партии не пришлось, вышел сам: через сорок девять лет после того, как впервые на Северо-Западном фронте ощутил себя причастившимся. Было это в январе, когда танки, посланные комитетчиками, штурмовали телецентр в Вильнюсе: прообраз грядущего путча. И хотя ничто уже не связывало меня с партией, все равно труден был этот шаг, трудно от себя самого отступаться. Притча об Иове — это и про меня притча. Какие только испытания не насылал на Иова Господь Бог — и дом рухнул, погребя десять его детей, и слуг перебили, и стада разграбили,— а он оставался стоек в своей вере... Вот и я с такой страстью и верой боролся за свое порабощение, с какой бороться надо только за свободу.

Есть вечные строки: «Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! Но жаль того огня...» Да, жаль того огня.

Доброе дело

Почему-то так получалось нередко, что стоит помочь человеку, сделать, как говорится, доброе дело, и надолго становишься его должником или вовсе этого человека теряешь. Да вот хотя бы этот случай.

Многие годы носила грибы в наш поселок Дуся. И такие отборные белые грибы, один в один, рослые, но не перестарки, крепенькие, ножка твердая, шляпка темная, разрежешь его — он, как масло. И лес всем знакомый, и ходили туда все, но только Дуся знала это место в лесу и брала с него, как со своего огорода. С двумя плетеными корзинами, сверху прикрыты лопухом, заходила к нам к первым: наш участок крайний, да и знакомы мы были не один год.

Сама она — степенная, дородная, светлые волосы собраны в пучок на затылке, брови, ресницы — белые, будто на всю жизнь выгоревшие, голос певучий, издали слышный. А муж, Миша, и ростом по плечо ей, и годами моложе, и — пьющий. Но, когда трезв, безотказный работящий мужик. В любой мороз распахнут, как в жару, шапка на ухо, грудь, нажженная морозом, красная, и никакая хворь не брала его. Такие, как он, были на фронте самые надежные.

Сколько помню Мишу и Дусю, все они строились. Законы издавали один утеснительней другого, чтобы каждым своим дыханием человек обязан был государству: не так живи, как можешь и надо бы, а как тебе велят. Например, дом новый разрешалось строить, но так, чтобы он и на метр не заступал за границы старого, пусть у тебя семья за эти года разрослась втрое. И кормилась при этом, и плодилась армия мелкого начальства, должность у каждого — надзирать.

В то лето собрались они наконец с силами, лесу завезли, вот тут-то и случилась беда. Была суббота, возили сено. Как после рассказывал Миша, верней, Дуся за него, а он, приведенный для наглядности, вздыхал покаянно за ее плечом, была у него мечта побриться после работы в парикмахерской с одеколоном, и был на это бумажный рубль в кармане. Тут еще у кого-то нашелся рубль. Мысль двинулась привычным путем, однако — не хватало. Но вспомнили: прицеп с сеном последний не вывезен. Подогнали трактор колесный. Так бы споро да слаженно работать, страна хлебом завалилась бы, пароходами отправляли бы в другие страны.

Сено продали хозяйке в соседней деревне, за большой грех это не считалось. Но бригадир следил, он с самого того момента следил, как только еще у них мысль зародилась. И отвезти сено, и сгрузить дал, обождал, пока в магазин сбегают, а когда они сели в холодке закусывать, пропустили по первой, вот тут он с милицией и накрыл их со всем поличным и наличным.

Совхоз этот был точно срисован со всей нашей системы. Построили птичник, куры чем-то заболели, передохли все. Построили новый телятник — сгорел от короткого замыкания проводов. Завезли минеральных удобрений для будущих лучших урожаев, не гранулированных, не в мешках, свалили в поле горой, там они и лежали под дождями. Потом все же разбросали по жнивью, куда коров выгоняли пастись. Когда стали коровы дохнуть и вскрыли одну, суперфосфат у нее из желудка можно было горстями выгребать. А тем временем навоз со своей фермы свозили к лесу, там он выветривался, растекшийся на огромной площади, не запаханный в землю. Но если кто исхитрялся посягнуть на эту общественную собственность, толкнуть машину или подводу навоза налево, ловили.

Вот тут и подоспела эта история с сеном, поймали, как говорится, главных расхитителей, представился случай одним разом все убытки и грехи списать. Назначили выездное заседание суда, прибыл в совхоз прокурор, суд в полном составе — показательный процесс. Но маленькая оплошка вышла: был как раз день получки, народ явился выпивши. И очень потешались, когда свидетельницы, две бабы, каждая — в теле, рассказывали, как их прямо на сене завезли на весы, слезть не разрешили, вместе с прицепом и взвесили. Такие стали тут задавать вопросы, такие реплики пошли, что заседание пришлось прервать.

И вот приходит к нам Дуся, плачет: его «посодют», дом недостроенный, дети малые, придется корову продать. Миша только вздыхает покаянно, похоже, он к судьбе своей уже приготовился и не так суда боится, как попреки ему невтерпеж.

В областной суд поехали мы вместе. В маленький зал тесно набились родственники подсудимых, свидетелей вызывают по одному. Бригадир вышел уверенно: суд — государственный, он — человек государственный, общее дело делают. Уважительно голову набок склоня, выслушивал он судью и со «значить, так...», как в строю с левой ноги, докладывал охотно, весело, как выслеживал, как все предвидел загодя, как было ему сопротивление оказано: не захотели сами обратно сено нагружать, пришлось пригнать вот этих баб, проходивших свидетельницами по делу. У него вид человека, хорошо пообедавшего, подбородок масляно блестит, стальные зубы, смоченные слюной, поблескивают, в глазах — ярый охотничий азарт. Когда же адвокаты обращаются к нему, он в недоумении смотрит на судью: и этим тоже надо отвечать?

Один из подсудимых — сосед его, дома их рядом. Ну вот, добьется, засадит соседа в тюрьму, будет сирот встречать каждый день... Что за породу такую охранную успели у нас вывести? Или она всегда была, только дожидалась своего часа?

В перерыве слух разносится: судят в соседнем зале убийцу, мужа своего топором зарубила. И все родственники наших подсудимых устремляются в тот зал. Спешит и Дуся, смахивая слезы со щек, глаза наплаканные, брови красные. Только что казалось, ни до кого, ни до чего нет ей сейчас дела, однако послушать идет.

Худая, изможденная женщина, похожая на подростка, стоит за загородкой, тихо отвечает на вопросы судьи. Убила потому, что к дочери приставал, к четырнадцатилетней; дочь не его, ее дочь. Объявляют перерыв, и когда конвойные проводят ее сквозь строй любопытствующих, женщины негодуют. И Дуся тоже грозит смуглым тугим кулаком: казнить мало, злодейку, на мужа — с топором!..

Суд по делу о краже прицепа с сеном длился два дня. Троим, в том числе — Мише, срок дали условный, кое-как удалось его отстоять, хотя прокурор объявил его главным зачинщиком, все с его рубля началось. Двоих же прямо из зала взяла стража на казенные хлеба: за этими и прежде грехи водились, кур воровали, десятка полтора утащили перед тем, как все куры в совхозе подохли.

Миша с тех пор заходил к нам не раз и всегда — выпивши: «Если чего нужно — говори...» Но Дусю мы больше не видели. Белые грибы она, как и прежде, носила в поселок, по два полных лукошка, прикрытых лопухами, брала дорого, но грибы у нее были хороши, прежде и мы намариновывали на всю зиму. Теперь она обходила нас, стеснялась нам продавать.

Минуло, наверное, лет десять, и как-то по телевизору показали наших строителей в Монголии. Монтажники-высотники стоят, улыбаются, крепкие ребята, широкие брезентовые пояса на них, цепи. И в одном из них узнал я Мишиного сына. Высокий, отца на голову перерос, но повадкой, лицом — весь в него.

Тезка

Было это, помнится, в юбилейном году, хотя в ту пору что ни год у нас был, то — юбилейный. Однако исполнялось четверть века со Дня Победы, и позвонили мне с телевидения, попросили участвовать в уютной такой передаче «Театральная гостиная», рассказать что-нибудь о той войне: мол, бойцы

вспоминают минувшие дни... Я отказался, но режиссер была настойчива, звонила и раз, и еще раз и снова звонила, а я вспомнил моего тезку Гришу Сазонова, вот о нем стоило рассказать, тем более что его, как я думал, наверное, уже нет в живых. В госпитале, в Днепропетровске, только что освобожденном, еще партизаны выходили из лесов и шумными ватагами шли по улицам, и было братание и целование (думалось ли им, что уже на многих из них заводятся дела, идут проверки, шелестят бумажки, где все про всех записано?), так вот, в Днепропетровске лежали мы с Гришей в одной палате, но его привезли, когда я уже был ходячим, великое это дело, если сам себя можешь обслужить, от стыда избавлен. В соседней палате лежал раненый без обеих рук и без ног выше колен, даже покончить с собой он не мог. Попытался однажды: раскачал, раскачал сетку и выкинул себя на пол. Но только ушибся.

Гриша Сазонов был ранен в голову, крошечный осколок сидел у него в мозгу. Не помню, видел я этот осколок на рентгеновском снимке — светлые полушария мозга и темная точка в глубине — или мне это представилось, но вот что точно: хирург, который и мне делал операцию, говорил, что с этим осколком можно и жизнь прожить, а можно в любой момент умереть, просто не проснуться утром.

Здесь, в госпитале, вручали Грише орден. А еще пять орденов в платочке, в узелке, лежали у него под подушкой, вся палата знала об этом. Тихим голосом — он вообще говорил негромко, наверное, в голову отдавало — рассказал он, за что этот, последний по счету орден: его батальон трижды отбивал атаку немецкого полка, и он, командир батальона, сам, своей рукой заколол в том бою одиннадцать немцев, финкой, финским ножом заколол.

Был он рослый, родом из Сибири, волосы жесткие, черные, лицо желтоватое, чуть желтоваты белки глаз, в лице его ясно читалась сибирская смесь кровей. И вот мы с ним — одногодки, по двадцать лет каждому, а у него под подушкой пять орденов в узелке да шестой в госпитале догнал, а я будто бы и не воевал вовсе, ни одной награды в то время у меня еще не было. И однажды, когда стало ему особенно плохо, а я ухаживал за ним, сказал, чтоб подбодрить, но и в порыве откровенности, что завидую ему и хоть сейчас готов поменяться с ним судьбою.

Вот о Грише я и рассказал в той передаче, думалось, в память о нем, назвал город, откуда он родом. Прошло что-то около года, и опять звонит та же режиссер, очень радостная: оказывается, тезка мой жив, пришло от него письмо, и вот они придумали в двадцать шестую годовщину Победы вызвать его в Москву, устроить передачу. Есть такая фотография, обошедшая мир: трое фронтовиков, пожилых людей, плачут, обнявшись. Их разыскал Сергей Сергеевич Смирнов, рассказал об их страшных судьбах, и — его стараниями они встретились. Такую же встречу решили устроить и нам: он сходит с поезда, объятия, а камера тем временем снимает нас. Я отказался, но напомнить о прошлой передаче, представить его пообещал.

Поселили его в гостинице «Минск». И вот, захватив с собой на всякий случай фотографию тех лет, иду к нему. Он тоже захватил фотографию, ее он и показывал коридорной, когда я вышел из лифта, говорил, что будет о нем передача. Я издали узнал его: и шрам этот тоненький над бровью, смертельный шрам, и такой же черный жесткий волос на голове, не поредел, не поседел. Только весь он вширь раздался, погрузнел, лицо припухлое, одутловатое. И он меня узнал сразу, не пришлось по фотографиям сверяться. Когда люди одновременно стареют, привыкают к переменам в себе, то и в другом человеке перемены не так разительны: не из прошлого смотришь на него, нынешними своими глазами. Мы поздоровались, сначала — за руку, потом обнялись, а коридорная, подготовленная его рассказом, смотрела на нас и улыбалась.

Поселили Гришу в двухкоечном номере, там уже ждал нас его сосед, снабженец одного из металлургических заводов Украины, в прошлом, как он сказал о себе, морской офицер. Сидел на койке и ждал. Вместе пошли мы в ресторан. Входим. Огляделись. Ресторан полупустой. Мы свободно так выбрали себе столик у окна, сидим, ждем. Разговор дальше «а помнишь...» пока что не идет, официантка к нам не торопится. Подошла, наконец, выдержав нас основательно:

— Пересядьте за тот столик.

А там скучно обедает командировочный. И еще — три места. Попытался я мягко, чтоб самим себе настроение не портить, объяснить ей, что мы хотим посидеть дружески, поговорить.

— Пересядьте за тот стол!

И пошел я к директору, и говорил там, распалясь, что это же кормильцы пришли, которые ей и, простите уж, ему тоже зарплату платят, а он презирал меня в душе, он-то знал, кто его кормильцы и кого он вокруг себя кормит, но опытным глазом определил, что по его ранжиру я — «право имеющий», и, напустив на себя строгости, отчитал официантку, она плакала: «Вот если бы они сели все сразу, заказали что-нибудь одно, а то рассядутся по всему залу, а ты — бегай...» Ну, что ей объяснишь, что ей втолкуешь? Жизни на это не хватит.

Постепенно закусками уставился стол, явилась и бутылка посреди стола, не такая, чтоб на ледяном стекле оставались мокрые следы пальцев, не из холодильника, но — водка. Выпили за встречу по первой, по второй, и отлегло от души.

— Волнуешься, Гриша? — спросил я.

Все-таки — телевидение, вся страна будет на него смотреть, пусть не вся, но — земляки, жена, дети, внуки увидят, у него уже внуки растут, а я чуть было не записал его в покойники. Гриша смотрел на меня, то ли не поняв, то ли не расслышав, вопрос мой, как эхо, дошел до него.

— Не-ет. А чего? Меня часто приглашают. В школы к ребятишкам... Рассказываю, как Никополь брали, наш батальон первым туда ворвался. В клубы зовут...

Тут встал сосед по номеру, торжественный, со стопкой в руке, и, прослезясь, предложил выпить за «историческую встречу». Вот на него оглушающе подействовало, что рядом с ним такой человек, про которого будут рассказывать по телевидению, и он мелко суетился, всячески себя принижая, пытался что-то про себя рассказать, но тут же добровольно стушевывался. Выпили и за «историческую встречу». Оказывается, Гриша той передачи не видел, ему рассказали, поздравляли, и он написал, чтобы повторили ее. Вот так это завертелось по второму кругу.

Солнце апрельское, весеннее сильно грело у окна, и я видел глаз моего тезки, водянистый на просвет, белок воспаленный: глаз давно пьющего человека. И чем больше я вглядывался в него, тем меньше узнавал. Есть у Геннадия Шпаликова строки: «По несчастью или к счастью истина проста: никогда не возвращайтесь в прежние места...» В прошлое тоже возвращаться опасно: того, что помним мы, там нет, да и мы — другие. Странное чувство испытывал я, взглядывая на его правую руку: крупная, припухлая, все еще сильная рука вилкой накалывала мясо в тарелке. Вот ею, как он говорил, заколол он в одном бою одиннадцать немцев, будто бы даже все они были офицеры, и я завидовал ему, восхищался.

В какой-то из дней Ясско-Кишиневской операции, когда были окружены двадцать три немецких дивизии, в том числе — вся 6-я армия, созданная взамен той, что погибла под Сталинградом, задремал я под дождик в окопе, до изнеможения вытрепанный малярией, а проснулся как от толчка: над окопом, надо мной наклонился немец. Всходила ракета, свет ее смещался, лицо немца было в тени, а капли дождя, повисшие на длинном козырьке его кепи, светились. Какое-то мгновение мы смотрели друг на друга: я — снизу, он — сверху. И вдруг он побежал. Наверное, оттого побежал, что они были в окружении, это действует на психику. А я схватил автомат. И вот он, бегущий, у меня на мушке, согнутая его спина в шинели, над которой снижался свет ракеты. И палец мой на спусковом крючке. И я уже чувствую, как это будет. Но отчего-то, сам после не мог понять отчего, не выстрелил, дал ему уйти, не убил.

Это разные вещи: убить в бою или вот так, бегущего, в спину. Я и сам радовался не раз, когда, бывало, веду огонь батареи и снаряды мои ложатся в цель. И после войны — уже и книги мои вышли в Германии — я все не мог поехать туда, душа не пускала: вдруг тот, чью руку я пожимаю, убил моего брата... А когда все же поехал, десятилетия спустя, и были встречи дружеские и разговоры, не раз вот такая мысль не оставляла, когда смотришь на лица молодых: вдруг это сын или дочь того немца, которого я уже держал на мушке и отпустил живым. Хорошо, что отпустил. Но война есть война, я не выстрелил, а он, возможно, потом убил кого-то из наших... Ох, не знаю, не знаю, как рассудить, счет этот сложный, ум говорит одно, чувство — другое.

Мы допили бутылку, в самый раз было бы и вторую спросить, но я чув-

ствовал себя ответственным, обязан был доставить моего тезку в лучшем виде, а до передачи оставалось всего ничего. Но вот одна вещь смущала, так смущала, что я все не решался спросить. Погляжу, погляжу на его пиджак, а там что-то не густо: две нашивки за ранения, орден Красной Звезды, тот самый, что в госпитале его догнал, и — медали «За победу над Германией» (ее всем давали), «За оборону Кавказа» (и эту давали всем, кто там был), а последняя и вовсе мирного времени, юбилейная медаль к двадцатипятилетию Победы.

Все же — делать нечего — я приотстал с ним в коридоре, когда возвращались в номер.

— Гриша, а те твои пять орденов? Под подушкой в узелке лежали... Я в прошлой передаче про них рассказал.

— Под подушкой? — Прошли несколько шагов, он был непоколебимо спокоен. — Это ты чего-то путаешь...

Я не путал, вся палата знала с его слов. И хоть у многих тоже лежало под подушкой, к нему относились по-особому. И как же теперь быть?

Часа через два я зашел за ним. От гостиницы «Минск» до площади Пушкина, до Дома актера — рукой подать. Оттуда должны были вести передачу, и там же, на последнем этаже, в ресторане, отмечал премьеру Театр на Таганке. Я был приглашен, но объяснил свои обстоятельства, и тезку тоже позвали.

Интересно было наблюдать его в необычной обстановке. Свет жаркий, направленный в лицо, суета и бестолковщина, они всегда предшествуют передаче, люди, известные всей стране, собравшиеся здесь, — все это не произвело на него никакого впечатления. Ждал он спокойно, достойно и так же достойно в нацеленную на него камеру рассказывал как брали город, не помню уже какой, как первым со своим батальоном ворвался туда он. И, странное дело, это был рассказ человека, облученного пропагандой послевоенных лет, словно бы не он сам брал город, а в газете про это прочитал.

Потом мы поднялись на последний этаж, в ресторан. Здесь было шумно, пьяно, весело. Часу во втором ночи проводил я Гришу в гостиницу, условились встретиться завтра, а вечером он уезжал. Но рано утром мне позвонили. Не сразу понял я, кто говорит. Путано, так что и в толк не возьмешь спросонья, Гришин сосед по номеру, снабженец, которому я своего телефона не давал, говорил, что, мол, должны были ему прислать с завода командировочные, и что-то вот задерживают, так он даст мой адрес, мне они вышлют, а я пока чтоб дал ему сто рублей, иначе сорвутся очень важные поставки...

— Двести, двести! — раздалось приглушенно. И я узнал голос моего тезки.

А примерно так неделю спустя встретил я на улице почтальона нашего, пожилую женщину, катила она за собой тележку с газетами и журналами.

— Как хорошо, что вы рассказали про такого человека!

— Да вот я с орденами прошлый раз напутал...

— А такие-то не знаменитые, не награжденные, они самые и были... Я слушала — слезами облилась.

●

Игорь ПОМЕРАНЦЕВ

Вещь и жанр

Можно начать с «вещи», а можно с «жанра». Хронологически следует с «вещи», но о ней начинаешь думать благодаря «жанру».

Скажем, копилка. Все в ней замечательно, будь то свинюшка или жестянка из-под монпансье, а если ты немецкий кроха,— красный сапожок с обещанием Рождества. Берешь в руки, нянчишь. Побрякаешь-позвякаешь, и славно станет. Но самое главное — открытие, что копеечки тоже дружной семьей живут, что ими можно заселить жестяной мирок, что, накопив, можно устроить себе праздник: конфету «Эльбрус», книгу «Магелланово облако», билет на карусель.

Или, скажем, фонарик. Пусть даже не китайский, почти военный, а нашенский, квадратно-гнездовой, болотного цвета. С ним и в подвал — летучих мышей шугать, и на чердак — в заросли к паукам. Но главное про фонарик,— что мир познаваем, что, нажав на кнопку, можно что-то увидеть, понять, выхватить из тьмы. С годами тот же фонарик или копилка уже просто «вещи». Подарок сыну. Или подспорье, если лезешь на чердак, чтобы подставить таз под дырку в крыше.

Теперь про «жанр». Почему нужно верить в непререкаемость «рассказа», «драмы», «стихотворения»? Сказать себе: напишу-ка я хороший рассказ — это уже сдаться, поверить кому-то на слово. Вот, мол, правила игры и ты, следуя этим правилам, посгараешься стать чемпионом. Но ведь был же кто-то первый, кто придумал эти правила! И для него эти правила были приключением, прорывом, жизненным открытием. Как же так случается, что обретенная свобода оборачивается раболепием? Почему от урока свободы остается гибкая инструкция? Ведь поэзия — это летучая мышь, на которую навели фонарик.

Из писем к другу

I

Ты прав.
Я ошибусь, определяя, что такое родина.
И, чтобы ошибиться, у меня нет нужды открывать
второй том доктора Самуэля Джонсона
или четвертый Владимира Даля.
Родина — это запах, цвет и звук.
Пусть дальтоники и глухонемые цепляются за вены и кровь.
Мои аллергены — чужой запах, цвет и звук.
Можно тысячу раз отмахнуться от этих мелочей,
можно придраться к правящей или оппозиционной,
к неотзывчивости губ, неподатливости плеч,
но, сменив Флоренцию на Равенну,
ты понимаешь, что такое родина.
Родина — это контраст.
Только узнав чужое, ты понимаешь, что такое свое.
Форсированный патриотизм — это чувство приблуд.
Остро чувствовать родное, когда ты им окружен,
может только подросток, чужак, революционер.

II

Ты прав.
Взгляд эмигранта — злее, жестче, чем взгляд путешественника.
Эмигрант заведомо неблагодарен. Он ищет виновных
и находит их там, где неопасно обвинить.

Вина не в счет. Нужен повод. Вместо своей родины
эмигрант посадит на скамью подсудимых мачеху,
особенно если она дала приют, приласкала.
Ее поцелуи чересчур громки, или мокры, или вызывающи.
Спасибо тебе, Англия, что ты не целуешь,
что ты не прикидываешься матерью.
Доброта столь же отвратительна, как и жестокость.
Твоя дискриминация — моя надежда.
Ты не распахиваешь объятий,
в которых можно утонуть.
Под ногами берег.

III

Ты прав.
На риторический невопрос Т. Адорно,
можно ли писать стихи после Освенцима,
достойно ответил Пауль Целан.
Ответил стихами, в которых главное —
провалы между словами.
Это молчание человека, перенесшего горе,
ставшего от страха заикой.
Целаниты на разных языках
воспроизводят стиль поэта.
Но этот стиль надо было прожить.
Это — стиль жизни.
Ныне ломать «трагедь» кажется мне
поступком безвкусным и недостойным.
Те, кого закапывали штабелями,
прокричали об этом сами.
Выжившим остается одно:
услышать собственное дыханье.
Да здравствует синтаксис,
потому что смерть — это отсутствие дыханья!

Послание к себе в Лондиниум

Даже греческий раб
получал ежедневно шестьсот граммов
деревенского вина вторичной выжимки.
Чем отличалось оно от вина первичной выжимки?
И чем отличалось деревенское от марочного хиосского,
а оба они от италийского фалернского?
Как бы то ни было,
если тебя затолкнут в машину времени
и запульнут в ячейку раба в 4 в. до н. э.,
дела твои будут не так уж плохи.
И даже если машина транспортирует тебя в рабство к кельтам,
то они, может статься, отдадут тебя римлянам за амфору вина,
и тогда снова все будет в порядке.
Или другие сведения,
почерпнутые из рассказов нянек-рабынь,
на которых бросали тебя родители,
отправляясь на сатурналии в Дом офицеров:
улицы древних городов
освещались только по праздникам,
в будние же ночи горожанин освещал себе путь фонарем или факелом.
Представляю, как сходились во тьме два пузыря пламени,
как таял туман вкруг факела,
какой радостью было в конце концов добраться до друга!
А как справлялся во мраке Эрот? Наверное, именно ночью
принял он женщину за мужчину, и с тех пор любви
предаются не только любовник с любовником.
Да, вот в чем секрет поэзии:

в сплетне.
Нет ничего интереснее сплетни,
хоть назови ее «почвой, судьбой».
Даже бронзовый мальчик,
вытаскивающий занозу из пятки
без малого две тыщи лет, —
это сплетня.
Благородней, чтоб она была о себе.
Но — клянусь Аполлоном! —
редко какие стихи из благородных!

* * *

Забытый лес, что отшумел. Названье
не выветрилось: ЦЕЦИНО. Туда —
известно каждому — на жухлую листву
любимых волочили. Там девчонок —
известно также каждому, — одетых
в беретик красный или сапожок,
проигрывали в карты. В школе каждый
об этом знал. Там сапожок сдирали,
и потому ожогом проступил
багровый этот лес в отколыхавшем,
сгоревшем, острым запахом пропахшем
любви пожухлой, с глаз отковылявшем,
как этот пень, что в сапожке озябшем,
в беретике, слинявшем набекрень.

* * *

Люди с акцентом —
довольно большая нация.
Уже много лет
я при ней.
В барах
Кордовы, Вероны, Лейдена
я различаю на слух
своих новых соплеменников
и думаю о них
с теплотой.
Вот такого рода
патриотизм:
акустический,
фонетический.

* * *

Я пошутил: представь себе, сказал,
Стриптиз на сцене. Ярусы, партер
Мужчинами забиты. Я сижу
В ряду последнем. Рядом: кинолента,
Затертая, обглоданная. Пусть
Кристиана-Жака, пусть Де Сики.
Я с ней целуюсь. Разве я могу
Любить других?

Оркестр. Мороженое. Человек-гора
Аккордеонный приоткроет ящик:
Оттуда — скок! — пружинкою горбун —
И по рядам фойе под женский визг,
Переходящий в шепот. Пинхус Берг!
Какой теперь иерусалимский мальчик
От вас не оторвет своих маслин?

Зима и кафель. Приоткрутишь кран:
По раковине цокают сосульки,
В затылок смотрит Герда. За тобой
На лыжах смерть в халате белофинна,
Размахивая палками, бежит.
Нас распустили. Будь благословен,
Проклятый вирус гриппа. Ты — свободен.

Есть где-то город. Есть отшиб. На нем
Не празднуют законов карантина.
Есть девочка и мальчик. В темноте
Рукой, как бантиком, отмечено колено.

Любил ли я ее? О, если б знал
Тогда, что можно с женщиною делать,
Я б застрелился: пулею в висок.
Аплодисментов стайка Каждый жест
Фальшив. От атропина
Зрачки расширены. Она поет
«Ариведерчи, Ро...». Мой старший брат ее уводит.

Теперь такие фильмы не идут.

●

Фридрих ГОРЕНШТЕЙН

Псалом

РОМАН-РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕТЫРЕХ КАЗНЯХ ГОСПОДНИХ

II

Жизнь повторяет жизнь, судьба подражает судьбе, как день повторяет день, а ночь подражает ночи... Что есть бытие, как не повторение и подражание... День сменяет ночь, а ночь сменяет день. Весна подражает весне, осень — осени, и основой всякого подражания, а значит, бытия, является рациональный порядок. Это Божий классицизм. Судьба Исаака подражает судьбе Авраама, а судьба Иакова — судьбе Исаака. Все самое высокое, живущее Божьим разумом, и все самое земное, живущее Божьим инстинктом, повторяет друг друга и живет подражанием. Классицизм есть подражание Господу через разум, либо миру Господнему — через инстинкт. Пророк подражает Господу, народ — миру Господнему. Но чем дальше развитие цивилизации, тем больше новаторства и меньше классицизма. Первоначально является догма. Классицизм умирает, замученный своими выродившимися почитателями. Новатор, которому не под силу бороться с живым классицизмом, бросается на труп и торжествует победу... И вот тогда по предсказанию пророка Иеремии, сокрушив ярмо деревянное, заменяет его ярмом железным. Тогда являются пророк-новатор, желающий жить инстинктом, и народ-новатор, желающий жить разумом. Пророк-новатор, желающий жить инстинктом, порождает идеалистический материализм, эклектичную социальную утопию и материалистический идеализм — мистицизм; народ-новатор, желающий жить разумом, порождает человека-божество и идолопоклонство, и в лучшие свои моменты человек становится атеистом, а в худшие — идолопоклонником... Каждый стремится создать свое и сказать неповторимое. Но патриархи начинали угодное не себе, а Богу, и пророки говорили не свое, а Божье... Маленький пастуший народ был так же дурен, как и все иные большие и малые народы, близкие к нему в пространстве и времени и удаленные от него в пространстве и времени. Он отличался от всех иных лишь своими патриархами и своими пророками, и ради патриархов и пророков избрал его Господь. И сказал пророк Иеремия:

— Пути твои и деяния причинили тебе это. От несчастия твоего тебе так горько, что доходит до сердца.

И сказал пророк Исайя:

— Беззаконие наше, как ветер, уносит нас...

Однако люди слишком уповают на новаторство и надеются на несхожесть своих судеб. И тогда подражание, от которого они уклоняются в зависящем от них счастье, приходит к ним в не зависящей от них беде.

Притча о муках нечестивцев

В городе Ржеве Калининской области в 1940 году жила девочка по имени Аннушка. И мать у нее тоже была Аннушка. И фамилию свою эта девочка знала — Емельянова. Был у нее брат по имени Иван, которого все почему-то звали Митя, а почему — неизвестно. И был еще маленький бра-

Продолжение. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

тик Вова двух лет от роду. Но отца у Аннушки не было, его убили в финскую войну, поскольку Ржев — город северный, а с севера многих взяли на финскую войну. Родилась Аннушка в этой же области, но не в Ржевском, а в Зубцовском районе, в деревне Нефедово. Аннушка помнит, как жила она в деревне Нефедово и раненько утром, когда летом деревенское солнце ласково грело, любила она в одной рубашке, сонная вылезти из постели, выйти, сесть под избой на землю и досыпать так. Однако теперь адрес у Аннушки был: город Ржев, третий участок, третий барак, комната номер девять. По такому адресу под избой не посидишь на утреннем солнышке. Барак был совсем не схож с избой. Пахло от него дурно, не крепкой древесиной, а штукатуркой и трухлявыми досками, земля перед бараком была не мягкая, сухая, колючая, лужи на ней долго не просыхали, и в этих лужах мокли обрывки газет, битый кирпич и маслянистое тряпье. А от аэродрома, где мать Аннушки, тоже Аннушка, работала на строительстве, все время гудело и шумело, будто сразу двигалось много тракторов. Но Аннушка знала уже давно, что это гудят самолеты, только воображала для себя иногда по-прежнему, как в первые дни думала, что это гудят трактора. Брата Аннушки Ивана-Митю мать уводила в детсад, а брата Вову оставляла под Аннушкин присмотр, и от этого Аннушка Вову невзлюбила.

Изба в деревне Нефедово получше барака в городе Ржеве, но город Ржев повеселее деревни Нефедово. Летом цирк приезжает на базарную площадь, возле которого и без билета весело, а зимой Аннушка обычно носила красные фетровые валенки, купленные в городском магазине. Однако событие, после которого Аннушка стала мечена судьбой, случилось не зимой, когда Аннушка носила свои любимые фетровые валенки красного цвета, а летом, когда на базарную площадь приехал цирк. Дни были душные и жаркие, так что даже непросыхающие лужи перед бараками высохли, лишь кое-где осталось от них немного липкой грязи. И несмотря на то, что в бараке было много щелей, откуда зимой дуло и которые зимой затыкали тряпьем, а ныне тряпье мать вытащила, несмотря на это в бараке было очень душно, и Вова все время плакал, кусал Аннушку и не хотел есть манную кашу, выплевывал ее изо рта себе на ножки. Аннушка, которая знала, что на базарную площадь приехал цирк и там играет музыка, злилась на Вову, из-за которого ей приходилось сидеть в душном бараке, и, когда Вова укусил Аннушку особенно сильно, она его ущипнула. Он заплакал еще громче, так что в дверь их комнаты номер девять заглянула тетя Шура из комнаты номер двенадцать. Она принесла миску теплой воды, вымыла Вове личико, ручки и ножки, измазанные кашей, он перестал плакать и уснул. Потом тетя Шура ушла, и Аннушка осталась опять одна в душном бараке со спящим Вовой. Тогда она решила, пока Вова спит, сбегать на базарную площадь, где был цирк. Здесь было очень красиво и весело, Аннушка всюду ходила, на все смотрела и смеялась, хоть ее никто не смешил, и в конце концов какая-то женщина в белой шляпке-панамке сказала ей:

— Девочка, чего ты смеешься? Смех без причины — признак дурачины.

Аннушка смеялась оттого, что здесь перед цирком в нарядной толпе, слушавшей музыку, было лучше, чем в душном бараке рядом с Вовой, однако она не стала объяснять причину смеха женщине, просто отошла и продолжала смеяться. Вдруг потемнело, начал накрапывать дождь. Все заторопились, говорят: «Гроза, гроза... Посмотрите, какая туча...» И верно, отсюда, с базарной площади, видно было, как ползет туча, и неподвижные деревья задрожали, захлопал тревожно парусиновый купол цирка шапито, и перестала играть музыка. Тогда Аннушка побежала домой. Не успела она пробежать и несколько улиц, как начался сильный дождь, от неба к земле заблистали молнии, и вдоль неба грохнуло раз, и другой, и третий, но привыкнуть к этому нельзя было, и всякий раз Аннушка пугалась заново. В первую минуту Аннушка промокла так, что платье ее прилипло к телу, от бега дышать было тяжело, но она не могла вбежать в подъезд или стать под балкон, где толпилось много мокрых веселых людей, ей надо было бежать к себе в барак, на окраину города, где Вова был один, и поскольку он даже хлопанья двери пугался (мать запрещала поэтому Аннушке и Мите хлопать дверьми), то теперь и подавно перепугался.

У бараков, там, где еще недавно высохли от жары все лужи, теперь вода не стояла неподвижно, но текла быстро, как в реке, и была Аннушке выше щиколотки, а кое-где доходила и до коленей. Отсыревшую дверь скособочило, и когда Аннушка открыла ее с трудом ключом, вытащенным из-под половицы, то вода хлынула из Аннушкиной комнаты в коридор... Аннушка испугалась и закричала:

— Вова!

Но Вовы в кровати не было. Аннушка бегала по комнате, хлюпая по воде, плакала и звала Вову. Потом она увидела открытое окно и, решив, что Вова вылез на улицу, крикнула в окно:

— Вова, Вова... — так как боялась наказания матери за то, что Вова вылез в окно.

Потом она заглянула под кровать, и Вова лежал там личиком вниз. Аннушка поняла, что Вова упал с кровати на пол и закатился под кровать. Вова был мокрый, холодный и личико у него было такое, будто он плакал, но без звуков, и, как его Аннушка ни клала, он так и лежал. Тогда Аннушка поняла, что Вова мертвенький. Когда Аннушка поняла это, она очень испугалась. Ей не жаль было Вову, которого она не любила, однако ей было страшно, что мать вернется с работы и очень сильно накажет ее за Вову. От этих мыслей Аннушка просто впала в отчаяние, и ей тоже захотелось стать мертвенькой, как Вова, чтоб ее не наказала мать и не кричала на нее. Но, как умереть, Аннушка не знала и потому просто сидела, охватив голову руками, и тихо плакала, чтоб никто из соседей не зашел в комнату и не узнал, что Вова умер из-за Аннушки.

Когда к вечеру вернулась с работы мать и привела с собой из детсада Митю, то первым делом она увидела Аннушку, сидевшую на полу с закрытыми глазами и зажатыми ладошками ушами, чтоб ничего не видеть и не слышать.

— Что с тобой, доченька? — испуганно крикнула мать и тут же увидела мертвенького Вову на кровати.

Она крикнула, как никогда не кричала, и стала непохожа на себя ни голосом, ни видом. Мигом сбежались соседи, кто-то побежал к коменданту звонить в скорую помощь, кто-то пробовал делать Вове искусственное дыхание за ручки и за ножки, а кто-то сказал:

— Бесполезно, он уже мертвый.

Митя, брат Аннушки, смотрел на все это исподлобья и не плакал, поскольку он был мальчик спокойный и рассудительный... Но мать, которую Аннушка боялась и в обычной злости, теперь, когда она была непохожа на себя ни голосом, ни лицом, стала для Аннушки страшней любого лесного зверя. Она бросилась к Аннушке и страшно крикнула, ударила ее не ладонью, а кулаком, как никогда раньше не била... Когда мать или отец бьют даже в злости, они всегда думают о том, как ребенку больно, и удар их хоть и болезненный, но не безразличный телу ребенка. Теперь же мать ударила Аннушку безразлично к Аннушкиному телу, как бьют врага, и у Аннушки потемнело в глазах... Так бьют детей своих лишь в сильном горе и сильном злодействе, ибо горе и злодейство суть разные растения единого корня... Она хотела ударить еще, но ее удержали.

Тетя Шура увела Аннушку и Митю к себе, дала им по ириске и приложила ко лбу Аннушки примочку. Ночевала Аннушка у тети Шуры. На другой день Вову хоронили. Привезли откуда-то детский гробик, положили Вове на глаза пятаки. Аннушка хотела пойти на кладбище, но тетя Шура ее не пустила, и Аннушка из окна видела свою мать, которая уже не плакала, а в черном платке шла за гробиком Вовы, и Митя шел с ней рядом.

Аннушка пробыла у тети Шуры и следующий день и обедала у нее, ела вкусный грибной суп и картошку с топленым молоком. К вечеру мать зашла к ней, но плакала теперь не зло, а ласково и была похожа на себя. Она сильно целовала Аннушку и увела ее с собой, гладила и прижимала к груди так, что рассудительный Митя сказал:

— Осторожней, мама, задавишь Аньку.

С тех пор мать изменилась к Аннушке, ругала ее редко и не била вовсе. И Аннушка в душе радовалась, что Вова умер. В свободное время она теперь гуляла по улице, ходила на аэродром по месту работы матери, и ее пропускали. Вообще она любила общаться со взрослыми, но детей не любила. Аннушке нравилось, когда ее жалеют, дети же никогда никого не

жалеют, ибо они существа беспощадные. Дразнили ее соседские ребята, дразнили и в школе, пробовала ее мать перевести в другую школу — и там дразнили, пробовала отправить летом в пионерлагерь не от своего предприятия, а от молкомбината, и оттуда Аннушка убежала, потому что она не умела проснуться, когда во сне хотела по малой нужде. С Митей, братом своим, она жила дружно, и он ее утешал, когда она терпела от других ребят, однако никогда за нее не вступался. Тихо подойдет, скажет:

— Пойдем, Аннушка, домой, — и руку ей протянет.

Так и шли домой брат и сестра, взявшись за руки. С сентября Митя тоже пошел в школу, но его не дразнили, хоть и знали, что он брат Аньки-пись-пись... Только вместо Иван, как он был записан в классном журнале согласно документам, все дети звали его Митя, и дело дошло до того, что учительница вместо Ивана нет-нет да и скажет: Митя...

Как бы там ни было, к дразнилке Аннушка не то чтоб привыкла, а примирилась — и с дразнилкой жить можно, тем более город Ржев большой, здесь места хватит, чтоб подальше от злых насмешников держаться. А постепенно и дразнить ее стали меньше, ибо в классе у них появился мальчик, который шепелявил, и все начали дразнить его. Даже и Аннушка дразнила. Так после смерти Вовы неплохо шла Аннушкина жизнь, пока не случилась новая беда. Эта беда случилась не летом, когда на базарную площадь приезжал цирк, а зимой, когда Аннушка носила любимые красные валенки.

Однажды днем, когда Аннушка разогревала себе на примусе котлеты, поскольку училась она во вторую смену, Митька же был в школе, а мать на работе, дверь без стука открылась и вошли двое незнакомых мужчин.

— Ты одна, девочка? — спросил мужчина в белых фетровых сапогах, обшитых кожей.

— Одна, — сказала Аннушка.

— Ну, садись сюда на стул и сиди тихо, — сказал другой мужчина в черном полушубке.

Аннушка села на стул, и мужчины начали быстро вытаскивать все из шкафа и укладывать в чемоданы. Они выдвигали ящики, заглянули в тумбочку и ходили мимо Аннушки, будто ее не было. Потом они ушли и унесли, кроме чемодана, ручную швейную машину.

Аннушкина мать, если была возможность со стройки подъехать на попутной машине, приходила обедать домой. Приходит она и видит: все настежь, шкаф пустой, швейной машины нет, а Аннушка сидит на стуле. Мать опять начала кричать, и опять сбежались соседи, как тогда, когда умер Вова.

— Обворовали! — кричит мать. — Все взяли... Даже Колин костюм, который я берегла на память... Колин бостоновый костюм, который он два раза надевал. — И мать заплакала.

Сосед из одиннадцатой комнаты говорит:

— Я слышал, кто-то проходил, но слышу, Анка дома, с примусом возится, думал — родственники приезжие.

— А что же ты не кричала? — спрашивает у Аннушки тетя Шура.

— Я боялась, что они меня бить будут, — говорит Аннушка.

— А чего ж ты не кричала, когда они ушли с чемоданами? — спрашивает сосед из одиннадцатой комнаты.

— Я боялась, — говорит Аннушка, — что они прячутся за дверьми, и, как только я крикну, они меня начнут бить...

Тут мать впервые за долгий перерыв Аннушку опять ударила, но не кулаком, как тогда, когда умер Вова, а ладонью, и с пощадой все же ударила, хоть и больно, но по-матерински. В этот момент как раз явился комендант и говорит:

— Битьем делу не поможешь, а вот ты, девочка, узнаешь этих ворюг в лицо?

— Узнаю, — говорит Аннушка, — один в черном полушубке, другой в белых сапогах.

— Выстроить, — говорит комендант, — всех мужчин из бараков... Это, может, вербованные, которых недавно нагнали... Там раскулаченных невпроворот...

Выстроили всех мужчин из бараков на заснеженном пустыре, вышла Аннушка, глянула, и стало ей страшно. Рядом с ней мать, комендант и двое милиционеров. Пошла так вдоль шеренги, и все на Аннушку смотрят с испугом, и она на всех смотрит с испугом. Прошли раз — никого Аннушка не узнала. Есть лица знакомые, есть лица незнакомые, но тех, кто воровал, — нету.

— Ничего, — говорит комендант, — с первого раза не разглядишь.

Пошли по второму разу. Опять все на Аннушку смотрят с испугом, и Аннушка на всех — с еще большим испугом, а от испуга уже вовсе не разберешь ничего, все лица друг на друга похожи, и знакомые лица тоже незнакомыми кажутся.

— Ничего, — говорит комендант, — пойдем третий раз... Он тебя, может быть, запугивает взглядом.

И верно, дрожит Аннушка вся как в лихорадке, а на которого указать — не знает. И трико у нее от испуга давно мокрые, тяжело ей быть на морозе, а на которого указать, опять не знает... И указала она на третьего с левого конца.

— Этот, — говорит.

— Девочка, — кричит человек, на которого она указала, — я из Зубцова! Почивалин моя фамилия... У меня семеро детей...

— Ну и что, — говорит комендант, — если ты из Зубцова, так добро у вдовы героя финской войны можешь воровать, — и кулаком его в зубы.

Сразу кровь потекла, и от вида крови заплакала Аннушка.

— Ладно, — говорит комендант, — уведите девочку. Он второго сообщника и так выдаст.

Увела мать Аннушку в барак и больше не ругала ее и не била, была с ней ласковая, как после похорон Вовы. Через несколько дней заходит в комнату номер девять комендант и говорит:

— Вещи ваши, Анна Алексеевна, пока не нашли, но есть у меня чем вас порадовать... Воровал этот гад или не воровал, еще выяснят, а то, что он в тридцать четвертом году в Зубцове колхозный хлеб поджег, уже выяснили точно. И учитывая вашу помощь при разоблачении, а также то, что вы вдова героя финской войны и имеете двух детей, при недавнем горе по смерти младшего сыночка и при ущербе от воровства решили вам предоставить жилплощадь и работу поблизости. Можете идти на склад номер сорок оформляться.

Склад номер сорок располагался в городе, и работа там была в тепле. Обрадовалась мать.

— Спасибо, — говорит, — товарищу Сталину за подобную заботу... Поскольку я с детьми... младший умер... а тут обворовали.

И сначала радость у нее перешла в слезы, потом опять сквозь слезы засмеялась, поскольку дожила до выезда из барака.

Квартиру дали на окраине с противоположного конца Ржева — не возле аэродрома, а возле кладбища. Раньше этот дом был кладбищенской церковью, но незадолго до вселения Аннушки церковь была упразднена, и адрес ее был теперь: улица Трудовая, номер шестьдесят один. Ремонт здесь сделали наспех, чтобы побыстрее предоставить квартиры нуждающемуся населению, и со стен, дурно побеленных, глядели лики святых, а там, где стояла тумбочка и висел радиорепродуктор, проглядывало намалеванное Христово распятие, и мать заклеила его газетами, а на газеты повесила портрет Сталина. Но толстые церковные стены были сырыми, газеты отклеились, сморщились и образовался поясной портрет православного Христа рядом с поясным портретом Сталина, так что могло показаться, что это соратники.

Церковь данную закрыли, а священника арестовали, поскольку, как установлено было, в первое воскресенье Великого поста под видом праздника православия здесь был устроен антисоветский митинг. Явилась якобы здесь нерукотворная икона Божьей матери Ржевской, к которой, по сообщениям горздрава, не только прикладывались, но и соскабливали с нее краску на пищу и платье, что способствовало росту инфекции. Немедленно ремконтора, которая испытывала трудности со сдачей жилья в эксплуатацию, составила смету по ремонту, и смета эта оказалась невелика — снос иконостаса, разрушение алтаря и прочие незначительные строительные работы... Уже через несколько месяцев первые стахановцы въехали в бывшую церковь, ныне новостройку по улице Трудовая, номер 61, около кладбища. Стены хоть и были здесь сыроватые, хоть и отдавали летом

плесенью, хоть и покрывались зимой изморозью, хоть сооруженные наспех дымоходы сильно дымили, отчего стены «потели», однако все же они защищали людей от мороза и ветра лучше, чем оштукатуренные доски бараков.

Аннушке, матери Аннушки, здесь понравилось, и самой Аннушке здесь понравилось, а Иван-Митя не выказал своего отношения к бывшей церкви по сравнению с бараком, поскольку был скрытен.

Украденное добро обнаружить и вернуть так и не удалось, однако коекак обходились, да и кой-чем новым обзавелись, ибо мать теперь была материально ответственное лицо и зарабатывала на складе № 40 лучше, чем на стройке при аэродроме.

И вот, когда кое-чем обжились и купили даже Аннушке зимнее пальто на ватной подкладке, является вдруг опять какой-то человек и заявляет, что хочет осмотреть росписи на стенах и место, где стоял алтарь и иконостас. Опять Аннушка была одна, и опять она испугалась, что ее будут бить, молча села в тоске на стул.

Человек этот был Дан, Аспид, Антихрист. Земные годы состарили его, и он научился разговаривать с людьми без внутреннего отвращения, что недоступно небесным ангелам, но лишь пророкам, да и то не всем и не всегда. Дан знал, что любить человека — значит превозмочь к нему отвращение, однако даже великие пророки в момент слабости своей не могут скрыть отвращения к людям. Такое случалось у Моисея в промежутке между первыми и вторыми скрижалями Закона, когда он разбил первые скрижали в тоске от необходимости отдавать свое высокое сердце столь низменным существам, предпочитавшим мясные котлеты в египетском рабстве манне небесной в свободном Синае, такое случилось и у брата Данова Иисуса из колена Иудина, постепенно испытывавшего отвращение к апостолам, к этой избранной им не по желанию, а по необходимости духовной черни, не способной проникнуть душой в дерзкий замысел Самозванца спасти народ свой, который так же нечестив, как и все иные народы, спасти и тем самым осуществить Замысел Божий... Такое случалось и с Елисеем, от обид людских решившим стать пророком и дерзко попросившим от пророка Ильи:

— Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне.

Ответил ему Илья:

— Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, то не будет...

То, что случилось далее, вдохновило русского поэта пушкинского времени Языкова, и величие этого библейского места и величие молодого вдохновения Языкова было отмечено Гоголем в «Выбранных местах из переписки с друзьями». Гоголь писал, что Языков превзошел самого себя, прикоснувшись к чему-то высшему. Да, здесь рука Языкова приобрела чисто пушкинскую мощь.

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал —
Огонь могучий проникал
Живую душу Елисея...

. . . .

Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет...

Вошел в Елисея дух Ильи, который, пламенея на небо улетел. Уже не попираемым людьми плешивым человеком пошел Елисей из Иерихона в Вефиль, а пророком. Люди зрелые боялись теперь смеяться и издеваться над ним, но дети, которые не имеют разума скрывать свою жестокость, не имеют разума и бояться своего зла. Поэтому в людском бунте, в людской стихии, в людском тоталитаризме — всегда детская игра, и детское общество — всегда тоталитарное общество. Господь не отдает предпочтения ни большим, ни малым, пред Господом все равны, и Господь наказывает детскую жестокость и детскую злобу, однако наказывает ее уже в зрелости, когда наказание это особенно сильно. Елисей, шедший по дороге в Вефиль, не осознал в себе пророчества и не преодолел отвращения к жестоким людям, пребывавшим еще в своем раннем детском возрасте. «Когда он шел дорогою, малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили

ему: иди, плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка».

Пророк Исайя говорит:

— Если нечестивец не понесет наказания, он не научится правде.

Мудрый Соломон отвечает ему:

— Правда, которая умирает, наказывает нечестивцев, которые живут...

Господь лишь изредка убивает нечестивца перед лицом правды, чаще он убивает правду перед лицом нечестивца, и тогда нечестивец вгрызается в горло нечестивца. Убив жестоких детей, Елисей дурно наказал нечестивцев, ибо они должны были быть наказаны в зрелости своей, когда бы аппетит их к жизни созрел. А всему виной моменты слабости души, когда невозможно даже пророку скрыть свое отвращение к человеку и повременить с наказанием его грехов.

Такое случилось и с Даном, Аспидом, Антихристом, здесь, на улицах Ржева. Много раз в земную свою жизнь и на Харьковщине, и в Керчи, и в Ржеве Дану, Антихристу, приходилось слышать за спиной своей злобные слова, иногда произносимые шепотом, а иногда и погромче, когда в горле была хмельная свобода. Вначале он думал, что люди эти догадываются о нем, Антихристе, посланном для проклятия. Потом он предположил, что они ненавидят колено Даново, узнав из предсказаний пророка Иеремии об Антихристе, которому предначертано выйти из этого колена. Но затем он понял, что они одинаково ненавидят все двенадцать колен Израилевых. И Рувима, первенца Иакова, и Симеона, и Левия, из которого вышел великий пророк Моисей, а также все левиты-священники, и Иуду, зачинателя царя-псалмопевца Давида, и мудрого Соломона, и Иисуса из колена Иудина, которому они приписывают языческие изображения в своих церквах и молятся этим изображениям, и Ефрема, и Манассию, сыновей Иосифа Прекрасного, и Вениамина, из которого вышел пророк-мученик Иеремия, и Завулона, и Иссахара, и Гада, и Асира, и Неффалима... Все двенадцать колен были ненавидимы одинаково. Тогда понял Дан, Антихрист, что полное наказание нечестивцы понесут лишь в зрелости, когда постигнут цену Божьему миру, а если не постигнут вовсе до могилы, то наказание Божье после могилы ждет их... Однако и Христос, и Антихрист в моменты слабости действуют иногда вопреки замыслу Господа, их пославшего, и исполняют Божье преждевременно...

Идя как-то по улице в Ржеве, Дан обогнал некоего в пальто ржавого цвета, которое было не застегнуто и висело мешком... Все, что имело пуговицы, было расстегнуто: пиджак, какой-то вязаный жилет, рубашка, а на синей майке пуговиц не было, отчего расстегнуть ее было невозможно, и потому была она разорвана. Этот некто имел лицо и голову распространенную, но каждая из распространенных черт становилась индивидуальной за счет доведения этой черты до грани и символа. Волосы были русые с сединой, но всклокочены торчком, худоба щек подчеркивалась двумя продольными морщинами и седой щетиной, северные глаза выцвели до водянистости, нос был со множеством красных прожилок, а ничем не примечательные по форме губы так запеклись высохшей слюной и слизью, что невольно можно было с содроганием подумать о женщине, которой их случалось целовать. Когда Дан обогнал этого некоего, тот вдруг заглянул Дану в лицо и словно бы узнал. Мука ненависти довела это нечистое лицо уже до полной крайности, разлепила слепленные слизью и слюной бескровные губы его, и вместе со смрадом неухоженной утробы своей он выдохнул сквозь желтые зубы, как сквозь гнилое решето, в спину Дану:

— Ух, жид, ненавижу... Жид... <...>

И тогда Дан вопреки замыслу Божьему не выдержал сердцем, как не выдержал сердцем пророк Елисей, преждевременно, а значит слабо покаравший жестоких, нечестивых детей по дороге из Иерихона в Вефиль. Как предсказал Иеремия, поставил Дан перед неким претккновение. Дурные ржевские тротуары и хорошая хлебная водка образца 1941 года помогли в том. Упал некто не лицом вперед, чтобы разбить в кровь лоб и нос, не на бок, чтоб сломать руку, а навзничь, чтоб удариться затылком о булыжник и умереть, не намного уменьшив многочисленное и разветвленное славянское племя. Больше не сказал некто ни единого слова, и «жид» было

у него последним, и со словом этим во рту мигом предстал он перед Господом, который, ни о чем не спрашивая, отправил тут же в котел с горячей смолой, где с ним обращались непочтительно и били крючьями по исхудалым за революцию и пятилетки ребрам. Здесь же, на земле, люди сокрушенно сгрудились вокруг «сердешного», пытаясь до прибытия социалистической бесплатной врачебной помощи омыть пострадавшему окровавленный затылок водицей, принесенной в пустом молочном бидоне идущей с рынка крестьянкой. Может, и слышал кто из соплеменников, как пьяненький этот кричал «жид» какому-то прохожему еврею, экая невидаль, но как же отличишь Рабиновича из галантерейного ларька от Антихриста, посланного Господом для проклятия. Все они дети одного отца, хоть и от разных матерей, и потому каждый из них имеет общее начало, но не имеет общего конца.

Через два дня некоего хоронили, и Антихрист пришел посмотреть на похороны. И Аннушка пришла посмотреть, поскольку жила возле кладбища и каждый день дожидалась музыки. Некоего на этом свете звали Павлик, как апостола из колена Вениаминова. <...> Был момент, когда по настоянию крестного отца его чуть не назвали Вася, но все же в конце концов он был назван Павликом.

Несостоявшегося Васю и завершившегося Павлика сопровождал оркестр клуба железнодорожников, поскольку Павлик работал на этом свете в ржевских железнодорожных мастерских, имея звание потомственного пролетария, а позднее — неизлечимого алкоголика. И как только приобрел он звание «неизлечимого алкоголика», так сразу публично начал петь знаменитую частушку «Бей жидов, спасай Россию», которую лучше всего исполнять тенором. А у Павлика как раз и был тенор.

Частушка эта хоть и считается по сей день народной, тем не менее, как многие народные популярные песни, имела некогда автора. А именно Маркова Второго, депутата Государственной думы от города Курска. Но подобно многим популярным песням, которые запел народ, она давно уже утратила конкретное авторство и выдержала испытание временем. Так вот, частушку эту тенором пел и Павлик.

Вызывали Павлика в завком, песочили за старорежимные пережитки. Тем более прогуливать он стал. Жена плакала.

— Помрешь под забором, никто к тебе на помощь не придет...

— Э, — махнет рукой Павлик, — умру, хоть меня на колбасу...

Но, как умер Павлик от несчастного случая, пришел народ, немалочисленные были похороны. С венками. В дальний конец кладбища несли гроб, где поменьше было крестов, а побольше могил со звездочками. И Павлику на могилу поставили не крест, а звездочку, чтоб он и на том свете был при советской власти.

Не знал пролетарский люд из железнодорожных мастерских то, что знал Дан, Аспид, Антихрист. Попал Павлик на том свете в аполитичный смоляной котел, и последнее его слово «жид» прикипело горячей смолой к его губам и режет рот его своими острыми краями. И другие грешники этого котла, которые также терпят вечные муки, возненавидели Павлика за его мучительный, поросячий тенором крик — «жид». Ни на секунду не затихает эта боль, и ни на секунду не умолкает мучительный крик Павлика.

Было начало весны 1941 года от рождества брата Данова Иисуса из колена Иудина. На Харьковщине или даже в Курске днем в солнечную погоду на солнце уже таяло, но в Ржеве зима не шелохнулась еще. Прочно, неподвижно покоился на могилах снег, мертвы были ветви кладбищенских деревьев, и у плачущих изо рта клубился пар. Огляделся Дан, Антихрист, посмотрел на лицо умершего и на лица живых, и вспомнилась ему одна из ранних заповедей Моисея.

— Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь...

Это была одна из многочисленных библейских заповедей, составленных умышленно не совсем ясно. Библейский стиль избегает чрезмерной ясности, ибо чрезмерно ясное есть лозунг. Есть заповеди, требующие значительного труда, есть заповеди, требующие незначительного труда, как эта. Однако нет заповеди, которую можно было бы проглотить без всякого усилия. Вот толкование. Вор, говорится в заповеди, застигнутый днем, имеет право на снисхождение, но союз вора и ночи не имеет права на жалость.

И глянул Дан и видит: солнце светит, а у людей вокруг лица ночные. И понял он: им самим вменяется кровь их...

Тут же, в кладбищенской толпе, Антихрист увидел востроглазую девчонку, совершенно не похожую на Марию, которую он встречал на Харьковщине и с которой под Керчью подвергся третьей казни Господней, зверю-прелюбодеянию... Хоть она и была не похожа на Марию, но напомнила ему Марию, и Антихрист стал наблюдать за ней. Следом за Аннушкой пошел он в кладбищенскую церковь и увидел, что церковь обращена в жилье... Тогда попросил он посмотреть место, где раньше был алтарь и росписи на стенах...

Росписи эти вызывали в нем отвращение, ибо они нарушали святую святых — вторую заповедь пророка Моисея. Как иудей, он знал, что в символе Бога заложено отрицание Бога. Что отрицание это началось еще при гонениях на христиан, в катакомбах, на стенах которых изображали тощего александрийского монаха под именем Иисуса Христа из колена Иудина, предсказанного пророком Исайей. Впрочем, и имя Иуда у них было проклято, поскольку они были не только враждебны, но чужды, а непонятное имеет всегда однозначный механически заученный смысл и произносится устами, но не разумом, как произносят человеческие слова говорящие птицы... Иуда был проклят, но и Иисус Христос был под сомнением, если не видеть постоянно его изображения, ими же самими созданного.

— Ищите изображение Христа в его словах, записанных в Евангелии, — советовали сомневающимся наиболее разумные отцы церкви. Но, чуждые национального мироощущения создатели религии, они могли верить сердцем в чужое, лишь видя глазом свое. Дан, Аспид, Антихрист, знал, к чему ведет такая вера глазами.

Так же, как и здесь, в ржевской кладбищенской церкви, можно было повсюду газетами заклеить старые иконы, старых идолов и повесить новые иконы, новых идолов. Ибо, что перед глазами, в то и верят, а что не видят, в то не верят, согласно народной поговорке: «Дальше очи, дальше сердце». И чем больше перед глазами одно и то же, тем больше в это верят. Недаром всюду перед глазами этих людей висели изображения толстого усатого ассирийского банщика, который пришел на смену истощенному александрийскому монаху. Вот и здесь, рядом с заклеенным изображением александрийского грека, висело изображение усатого ассирийца... Но духовную веру в Сущего газетами не заклеишь и ассирийским банщиком не подменишь, как не удалось подменить ее некогда золотым тельцем в Синайской пустыне.

Так думал Дан, Аспид, Антихрист, и Аннушка сидела в страхе, ожидая, когда он раскроет шифоньер и начнет забирать вновь накупленное добро и заберет при этом новенькое Аннушкино пальто на вате. Однако как ни страшно Аннушке было, она все же исподтишка смотрела на этого человека, ибо, думала она, когда выстроят всех после воровства и поведут ее по ряду, она сможет без ошибки узнать вора. Смотрит Аннушка, смотрит и видит вдруг в окошко: идет ее мать мимо кладбища по тропинке к дому и ведет за руку брата Митю. Лицо у матери скорбное, наверное, ходила на могилку к Вове, поскольку жили они теперь рядом с этой Вовиной могилкой и Вовину могилку каждый день посещать можно было. Увидела Аннушка мать, обрадовалась, преодолела страх, вскочила со стула и выбежала матери навстречу с криком:

— Вор, вор у нас...

Начала кричать и мать, наученная горьким опытом прошлого воровства. К счастью, народ в церкви был гораздо более сознательный, чем в бараке, поскольку селили здесь лучших, согласно трудовым привилегиям. Вовремя собрались они помочь чужой беде. Вооруженного милиционера поблизости не оказалось, но зато одного из стахановцев за доблестный труд премировали охотничьим ружьем, которое он и захватил с собой. Не успел Дан опомниться, как густая толпа закрыла ему выход из части церкви, которая деревянными перегородками обращена была в комнату. Народ смотрел на Дана с веселой ненавистью, как смотрят обычно на слабых врагов. <...>

— Недавно обворовали, и опять, — причитала мать, — спасибо дочери, не растерялась...

— Говорят, они только в торговле воруют, а так честные, — сказал кто-то.

— Надо бы его в конверт и марки на задницу, — сказал стахановец, премированный охотничьим ружьем, которое держал наперевес.

И они хотели подступить к Дану, Антихристу, как некогда подступили к брату его Иисусу из колена Иудина. Ибо это были те же, и Дан, Антихрист, знал это о них, они же это сами о себе не знали. Но не для Благословения был послан Дан, а для Проклятия, не ради них, а против них, и потому не наложить было на него руку. Внезапно в две стороны раздалась толпа, друг-сосед разлучен был с другом-соседом, сосед-муж с соседкой-женой. Аннушка разлучена была с матерью своей... Когда же они все вновь соединились, Антихриста в комнате уже не было, и был он далеко от улицы Трудовой, хоть и в пределах города Ржева. Потом многое говорили. Одни говорили, что в руках у бандита был нож, другие — маузер, а третьи — даже кулацкий обрез. Однако поскольку ничего из вещей не пропало, то случай этот был как-то быстро забыт, тем более что всем было друг перед другом неловко за происшедшее при задержании. А Дан, Аспид, Антихрист, покинул церковь, опозоренную прошлыми и нынешними языческими изображениями, очутился на противоположной окраине Ржева возле бараков, где недавно жила Аннушка, неподалеку от аэродрома.

Вечерело, но не было здесь вечерней тишины, какая случается зимой в поле при заходе солнца. В шуме и реве авиамоторов опускалось оно, в дрожании морозного воздуха. И увидел Дан опять меч, который видел впервые под Керчью и который тогда рассек над окровавленным морем кровавые тучи. На сей раз меч упирался рукоятью в вечернее солнце, острие же его пропадало за снежными крышами западной окраины города Ржева, и снег на крышах был цвета алой артериальной крови. И услышал Дан, Аспид, Антихрист, слово, сказанное Господом через пророка изгнания Иезекииля.

— Горе городу кровей! Горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. Ибо кровь его среди него; он оставил ее на голой скале: не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и Я разложу большой костер!

После слов этих зашло солнце и исчезло видение меча и крови. По освещенной редкими фонарями окраинной улице города Ржева, мимо покойного вечернего света в окнах домов, скрипя морозным сухим снегом, прошел Дан, Аспид, Антихрист, и скрылся он там, где начинался забор недавно построенного молочного комбината. Редки в такое время на окраинах города Ржева прохожие, и много времени прошло, пока не показался новый прохожий в телогрейке и стеганых ватных валенках, на которые натянуты были глубокие галоши.

Однако сбылось Даново видение не сразу, а когда Аннушка давно уже сняла свои любимые красные фетровые валенки и ожидала скорого приезда цирка. Вдруг слышит Аннушка, все взрослые говорят:

— Война, война... Немцы, немцы...

Но для Аннушки от этого вначале ничего не менялось, и мать тоже сказала соседке:

— Со мной больших перемен быть не может, у меня Колю в финскую убили.

Весь июнь никаких перемен не было. Разве что цирк так и не приехал. А в июле начались перемены. Раз приходит мать очень озабоченная со склада № 40 и говорит:

— Давайте, дети, паковать вещи. Мы как беженцы пойдем отсюда за семь километров в деревню Клешнево.

Собрали кое-какие вещи, упаковали притом и красные фетровые валенки, и пальто на вате, — вдруг зимовать придется в Клешневе. А комнату на замок закрыли. В Клешнево шли весь день по жаре. Раза два только присели, чтоб отдохнуть и перекусить.

— Надо, дети, спешить, — говорит мать, — чтоб лучше устроиться, пока другие не подойдут.

Пришли они в Клешнево к вечеру, разместили их в школе, но видит Аннушка — людей много кроме них и никто ни матери, ни Аннушке, ни Мите не рад...

Жили они в Клешневе, как в поезде, стерегли свои узлы, а когда запасы еды кончились, сразу голодно стало. Потому обрадовалась Аннушка и Митя обрадовался словам матери:

— Пойдем назад к себе в город Ржев. Скоро сентябрь, и вам в школу пора.

В город Ржев пришли быстрее, чем из него уходили, устали меньше и, когда нашли в доме все в целости, обрадовались и решили: теперь уж легче будет.

И действительно, дома лучше, чем в деревне Клешнево, хоть и война. Пошла мать опять на склад № 40 работать, сытнее стало. Конечно, не так, как до войны, но сытнее.

В один из вечеров, был последний день августа, мать говорит:

— Завтра вам в школу, дети, давайте соберем книжки в портфель, чтоб утром не искать и не опоздать на первый урок.

Только начали собирать книжки, загремело где-то. Последний раз так гремело, когда была сильная гроза, при которой погиб маленький Вова. Испугалась Аннушка, и мать перепугалась, схватила Митьку за руку.

— Побежали в огород, — говорит, — среди грядок ляжем.

А поскольку у кладбища был пустырь, власти разрешили стахановцам, жителям бывшей кладбищенской церкви, содержать маленькие подсобные огороды. Смотрит Аннушка, кое-кто из стахановцев, которые эвакуироваться не успели, тоже в огороде лежат, в грядки уткнулись. Тут как грохнет совсем рядом на кладбище. И второй раз. Дым белый пополз, подгорелой яичницей запахло. Заплакала Аннушка, но стахановец, которого охотничьим ружьем премировали, успокоил:

— Ничего, — говорит, — девочка, не бойся... Советская власть еще жива.

Вернулась Аннушка с матерью и Митькой в дом после бомбежки кладбища, и всю ночь не было сна. Ехали машины, повозки, слышны были разговоры, и до самого утра существовала советская власть. Утром же настала власть немецкая.

— Дети, — говорит мать, — сидите дома, на улицу не выходите.

Однако немецкая власть не стала дожидаться, пока Аннушка и Митька выйдут на улицу, она сама пришла в их дом, не по-русски топая по коридору, и за дощатой перегородкой сразу завозилась, сразу начала преодолевать чье-то сопротивление и легко его преодолела, поскольку на ее стороне была сила. Страшно было Аннушке, так страшно, что даже любопытно, и выглянула Аннушка в коридор. Недолго прожила Аннушка, но не раз она видела, как бьют, поскольку жила в стране, где бьют часто. Правда, она чаще видела, как бьют не до крови, до крови же видела раза два... Комендант барака ударил до крови человека, на которого Аннушка указала как на вора, и на ее глазах мальчишки до крови подрались. Знала Аннушка, и как больно, когда бьют даже ладонью, удар же кулаком, который нанесла ей мать, когда Аннушка не уследила за Вовой и он умер, помнит она по сей день... Однако никогда не могла Аннушка предположить, что можно так бить человека, как били немцы стахановца, которого когда-то советская власть наградила охотничьим тульским ружьем за доблестный труд. Про то, чтоб не до крови, и речи быть не могло. Точно кто-то нес по коридору полную миску крови, как носили хозяйки после стирки миски мыльной воды, и споткнулся в темноте, разлил кровь по полу. С каждым разом немцы били все брезгливее, а значит, без прежнего азарта, поскольку сапоги их пачкались кровью. И ходили они по коридору вокруг распростертого тела, как ходят осенью или весной по грязи, перескакивая с кочки на кочку. Тогда немец, одетый не по-русски, сказал что-то человеку, одетому в хлопчатобумажный куцый пиджак из ржевского универмага. Тот без стука рванул дверь, за которой стояла Аннушка, и крикнул матери:

— Эй ты, сталинская проститутка, а ну выходи...

Аннушка сразу заплакала и вцепилась в мать, и Митька вцепился, тог-

да полицай, в котором явилась вдруг исконная славянская доброта, сказал матери:

— Не бойся, тебя не тронут. Тут надо комиссара вынести, поскольку он весь в крови и господа немцы брезгуют.

Мать и еще одна женщина-соседка подняли и понесли стахановца, жена которого и дети были эвакуированы, он же задержался, отправляя заводское оборудование... Сначала немцы велели нести его к телеге, но на полдороге передумали и велели нести к кладбищу. Руководил переносом искалеченного немецкими сапогами стахановца полицай в хлопчатобумажном ширпотребе.

— Чем дальше, женщины, отнесете, — говорил полицай, — тем для вас лучше... Чтоб не смердел перед домом.

Мать и женщина-соседка пронесли стахановца мимо дореволюционных оград, мимо бедных крестов, миновали они и могилку, где был похоронен Вовочка и стояло каменное надгробье. Они отнесли стахановца к советским могилам со звездами, и неподалеку от свежей еще звездной могилы, в которой лежал убитый Антихристом Павлик, умерший со словом «жид» на устах, неподалеку от этой могилы они остановились.

— Кидай, — сказал полицай в пиджаке из ржевского универмага, вооруженный русской трехлинейкой с примкнутым, воспетым в песнях русским трехгранным штыком.

Но мать Аннушки и соседка не бросили стахановца, а бережно его положили на кладбищенскую траву, головой прислонив к могилке Павлика, словно на подушку.

— Теперь идите, — сказал полицай.

Едва мать и соседка повернулись, чтоб идти, как услыхали за своей спиной коротко «хы», с которым обычно мужики рубят дрова, и что-то всхлипнуло... Мать и соседка, глядя в землю, ускорили шаг, однако полицай очень быстро их догнал, вытирая окровавленный штык пучком травы.

— Патронов дают мало, — простодушно пожаловался он, — оружие русское, трофейное и патроны трофейные, не разживешься. — И, видя, что женщины не отвечают ему, добавил сердито: — Чтоб сегодня все вымыто было, подметено. Немцы у вас на постое будут, ясно?

И началась жизнь при немецкой власти. Одни немцы сменяли других без конца. Одни были жестоки, другие более жалостливы. Обычно немцы приходили под вечер, на ночевку. Те, которые были жестоки, выгоняли мать, Аннушку и Митю пинками, а которые были жалостливы, выгоняли без пинков. Первое время мать, Аннушка и Митя ночевали на улице, хоть сентябрьские ночи в Ржеве холодные. Спасибо, еще дождей не было, а как дожди пойдут? Пробовала мать стучаться в соседние дома, просила, чтоб пустили, однако все боялись, потому что думали, что они евреи, которых ищут немцы. Когда же мать поднимала к окну Митю, показывая, что они русские, то их не пускали все равно, может, они семья коммуниста или партизана... Однако нашлась добрая старушка и пустила их, и с тех пор каждую ночь, как придут немцы на постой, как выгонят, они шли к старушке ночевать и даже перенесли туда постель и подушки. Утром немцы уходили, мать, Аннушка и Митя возвращались к себе в дом и не узнавали его... Все побито, перевернуто, нагажено, намочено... <...> Целый день мать мыла, убирала, и Аннушка помогала ей, а Митька носил воду от колодца и выносил помои... Только уберутся к вечеру, опять являются немцы на постой... Надо заметить, что, помимо прочего, мать опасалась, как бы не узнали про портрет Сталина, который она бережно закутала в старую рубаху покойного мужа Коли и закопала на кладбище среди дальних советских могил. Однако никто не знал, никто не интересовался этим, и мать успокоилась. Газеты со стен она посдирала и обнажила старые церковные росписи, поскольку слышала, что немцы уважают Бога. Правда, однажды во время особенно сильного разгрома немцы под шнапс-водку разрисовали лица святых углем, а на лбу распятого Христа нарисовали шестиконечную звезду и написали «юдише швайн» — еврейская свинья... И мать боялась это вытирать и не велела прикасаться Аннушке и Мите...

Жили они очень голодно и неизвестно чем. Иногда мать принесет откуда-то свеклы, или моркови, или картошки. Однажды Митя подружился на улице с каким-то мальчиком, и тот сказал ему:

— Знаешь, где были военные казармы? Там теперь много наших за колючей проволокой. Пойдем, попросим у них хлеба.

Аннушка говорит:

— Не ходи, Митя, опасно, немцы бить будут и убить могут.

Митя пошел и вернулся живой, но без хлеба.

— Мы у них хлеба просим, — говорит, — а они у нас хлеба просят. Как раз и мать в тот день ничего не принесла.

«Что есть будем?» — думает Аннушка.

Тут немцы являются, как обычно, на постой, поскольку уже вечер. Одела мать Митю, сама оделась, и Аннушка ватное пальто начала застегивать, а один немец говорит:

— Найн, найн... Нет, нет, — оставайтесь, мол, здесь.

Мать растерялась, а немец улыбается и достает фотографию.

— Киндер, — говорит, — мой ребеночек... Цвай... Тоже два... Я немножко говорю по-русски.

И достает после этого два сухаря и дает один Аннушке, а другой — Мите. И достает третий сухарь, дает его матери. Немцу этому особенно понравилась Аннушка.

— Гут, гут, — говорил он, — тебя надо учить немецкий язык... Я есть учитель...

Немец этот на следующее утро не уехал, и мать была рада этому. Прожил он у матери с Аннушкой и Митей почти неделю, и мать привязалась к нему, и Аннушка привязалась, только Митя держался настороженно. Немца этого звали Ганс, и от него впервые за многие месяцы перепадало то кусочек хлеба, то сала, то немного горохового концентрата. Немец этот никогда не плевал и не сморкался на пол, ел аккуратно. Как поест, достает из кармана катушку ниток, оторвет нитку и этой ниткой начинает зубы чистить от остатков мяса и гороха. Почистит, рыгнет раз, другой и зовет Аннушку — учить немецкому языку. Аннушка быстро усвоила многие слова и научилась считать — айн, цвай, драй.

— Брот, — говорит немец, — хлеб... Анна мит гроссфатер гейен шпациpен... Анна с дедушкой идут гулять.

Он заметил шестиконечную звезду, намалеванную на лбу Христа и надпись «юдише швайн».

— Юдише швайн, — сказал он и засмеялся, — еврейская свинья.

— Юдише швайн, — бойко повторила Аннушка, — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Айн, цвай, драй...

Однако к концу недели стал Ганс печален и однажды утром застегнул шинель, взял автомат, надел каску и стал обыкновенным немцем, так что Аннушка даже его испугалась.

— Война, война, — говорит он печально матери, — Ржев плохо, Кельн хорошо, — и он вздохнул. Тут он заметил, что Аннушка смотрит на него с испугом, точно это не добрый, веселый дядя Ганс, который кормил ее салом и учил говорить по-немецки, а обычный немец, который ее гнал и пинал. Тогда Ганс улыбнулся, подмигнул ей, показал пальцем на шестиконечную звезду, намалеванную у Христа на лбу и надпись углем поперек Христова лица. — Юдише швайн, — сказал он.

— Юдише швайн, — повторила Аннушка, — еврейская свинья. Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Хаус — дом, фогель — птица, каце — кошка, хунд — собака.

— Гут, гут, — засмеялся Ганс, еще раз погладил Аннушку по голове, поклонился матери и ушел, поскольку с улицы его уже звали и над ним подшучивали.

К вечеру на постой пришли немцы, и среди них был один, похожий на Ганса. Мать шепнула Аннушке, чтоб та поговорила с немцем на их языке, которому ее обучил Ганс, поскольку прошлую неделю, покуда жил Ганс, они чувствовали себя под защитой и кое-что из немецкой еды им перепадало.

— Юдише швайн, — сказала Аннушка. — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Хаус — дом, фогель — птица...

Немец засмеялся и так же, как и Ганс, сказал:

— Гут, гут...

Сразу же мать, чтоб еще больше завоевать его расположение, принесла ему в миске теплой воды умыться и чистое полотенце утереться. Немец

умылся, потом утерся, потом посмотрел на мать и вдруг схватил ее за юбку ниже живота. Мать испуганно взвизгнула раз, затем еще раз, поскольку Митя ударил немца головой в бок так, что тот покачнулся. И Аннушка сильно испугалась, поскольку она знала, как бьют немцы. Однако прежде чем немец ударил Митю, мать сама ударила Митю, правда, не в голову, куда целился немец, а по заднице. Она била Митю и при этом отгораживала его спиной от разозлившегося немца. И потому немец не ударил Митю, лишь выгнал всех на улицу, как делали до дяди Ганса другие немцы.

Пошли они опять к доброй старушке, но не спали, боялись, что придут за Митей. Утром мать говорит:

— Дети, будьте здесь, а я пойду к нашему дому, подожду, пока немцы уйдут, и возьму что можно из вещей... Пойдем в деревню Агарково, там у меня двоюродная сестра, может, пристроимся.

Пошла мать к дому, помолилась Богу, чтоб немцы ушли, поскольку, как не стало советской власти, не к кому стало обращаться с просьбами о помощи, кроме как к Богу. И исполнилась просьба, вышли немцы, сели в грузовик, поехали. Мать сразу в комнату. Там, конечно, побито все, захламлено, намочено, но на койке чистое полотенце, которое мать немцу подала, так и лежит. Схватила мать это чистое полотенце, а оно тяжелое. Куча крепкого арийского дерьма в нем. <...>

Вскоре мать с Аннушкой и Митей уже тащилась заснеженным полем в деревню Агарково. Не шли, а тащились, поскольку несли вещи. Но сперва они пришли не в деревню Агарково, а опять в деревню Клешнево, и опять им никто здесь рад не был. Пустили переночевать, а накормить не накормили, у самих ничего нет. Утром пошли дальше и пришли в деревню Григорьевку. Здесь выпросила мать немного мерзлой отварной картошки. В избу не пустили, поскольку боялись тифозных, а картошку вынесли во двор в газете. К вечеру только следующего дня пришли в деревню Агарково. Деревня Агарково маленькая, домов десять, не более, зато тихо здесь, немцы лишь раз были и то проездом.

Двоюродная сестра матери хоть и не очень рада была, но пустила и накормила. Начала Аннушка с матерью и Митей жить в деревне Агарково. Прожили зиму, прожили весну, а летом, уже август был, освободили деревню Агарково советские войска. То-то радости было. Деревня Агарково маленькая, и в каждую избу битком набилось советских солдат на постой и ночлег. <...>

Но вот беда: едва освободили советские войска деревню Агарково, как Митька заболел чем-то... Посадила его мать на мимо проезжавшую телегу, повезла к военным в санчасть, рассказала, что она вдова погибшего в финскую войну солдата, и сжалились над ней, оставили Митьку лечиться. Несколько дней прошло, начал Митька поправляться и даже сам выходить к матери и Аннушке на крыльцо, хлеб выносил, которым его вдоволь кормили...

— Ешьте, — говорит, — а то подохнете...

Опять вроде бы радость, и опять эта радость с бедой пополам. Вдруг ночью налетело на деревню Агарково много немецких самолетов, и к утру от деревни Агарково ничего не осталось. Народ, кто мог, спасся, и, что мог, с собой в лес унес. В трех километрах лес этот был, и там теперь советские войска располагались. Но жили в лесу отдельно от военных, своей деревней, а Аннушка с матерью и Митей жили отдельно от деревни, поскольку их в деревне своими так и не считали.

Жила Аннушка с матерью и Митей в блиндаже у маленькой речушки, на горке. Митя лежал в этом блиндаже, подстилка у него была мягкая, все, что было с собой из вещей, мать под него подложила, лишь бы выздоровел. И висела в этом блиндаже клетка с птичкой, которую Аннушка нашла на улице, когда бомбили. Какая бы стрельба вокруг ни была, крики, дети плачут, а птичка поет, только солнышко покажется. Полюбила Аннушка эту птичку, и мать птичку полюбила, а Митя в ней души не чаял. Травки ей подложить старается, семечек от подсолнухов, свежую водичку поставит... Однажды Аннушка и мать жали рожь неподалеку, а Митя лежал в блиндаже и слушал, как поет птичка. Вдруг прилетел снаряд, тут же второй — и прямо около блиндажа. Дым пошел, но мать не стала ждать, пока дым ветром унесет, и в этот дым побежала к блиндажу, где Митя лежал. И Аннушка следом побежала. Смотрят — Митя целый вылезает. А по блиндажу словно плугом проехали, и деревья вокруг обгорели. Смотрят еще — клетка на земле и птичка в ней убитая... Жалко, если вспомнить, как она пела, а что сделаешь? Митя говорит:

— Чувствую, ко мне летит, и влез в блиндаж, уткнулся в угол, думаю все, сейчас обвалится...

Вскоре приехала военная повозка и повезла Аннушку с матерью и Митей дальше в лес. Здесь, в лесу, Митя совсем поправился. Но сразу заболели Аннушка и мать... Жили в шалаше из еловых веток, только плохой был шалаш, строить некому было. Мать в первый день заболела, но еще пробовала, пока на ногах, побольше веток натаскать вместе с Митей, чтоб сухо было, когда дожди пойдут. Однако Аннушка ничем помочь им не могла, голова у нее стала горячая, тяжелая — не поднять, и руки-ноги стали горячие и тяжелые... Так лежали мать и Аннушка несколько дней. Митя, чем мог, поддерживал их: воды принесет, колосков ржаных натрет, семечек подсолнечных налузгает, подаст...

Как-то утром слышит, едет повозка с красным крестом от санчасти. Начали среди мирных жителей ходить две военные женщины и делать всем прививки, а больных санитары уносили и укладывали на повозку. Взяли мать с Аннушкой, а брата Митю не взяли.

— Он здоров, — говорят.

Мать, как взяли ее санитары нести, говорит Мите:

— Сынок, никуда не уходи, будь с людьми. Я скоро приду домой, сюда, в шалаш...

Эти слова матери еще слышала Аннушка, но больше ничего не слышала и не помнила. Когда опомнилась Аннушка, видит, лежит она в большой палатке на носилках. И, только опомнилась, сразу начала кричать и звать мать. Кто-то говорит:

— Не кричи, вот мать твоя рядом с тобой лежит.

И эти слова слышала Аннушка, а больше уже ничего не слышала, пока не увидела себя на полу, застеленном соломой, где рядом с ней тесно лежали незнакомые мужчины и женщины, и мужчина, в нее твердо упиравшийся, был синий, с открытым ртом... Аннушка закричала, но без слов, просто криком. Кто-то сказал:

— Санитар, вынесите, которые умерли, ведь просим давно...

И опять забылась Аннушка. Как начала себя в следующий раз сознавать, увидела, что лежит по-прежнему в этой же комнате, но не на полу, а на кровати. Сразу заплакала Аннушка и плакала, пока не увидела свою мать, лежавшую у противоположной стены... И так всякий раз, очнется Аннушка — пока не увидит свою мать — плачет, увидит — успокоится. Но раз видит Аннушка — укладывают ее мать на носилки и куда-то несут. Заплакала Аннушка, а ей объясняют:

— Твою мать в соседнюю палату переводят... Здесь только тифозные лежат, а с дизентерией здесь лежать не полагается...

— Где я? — спрашивает Аннушка.

— Это больница, — поясняют ей.

— А деревня какая?

— Это не деревня, а город, — поясняют ей. — Погорелое Городище называется.

Услышала Аннушка название и с этим названием уснула или забылась, понять ей трудно было. Пришла она в себя оттого, что ее на носилки укладывают.

— Куда меня? — спрашивает Аннушка.

— В другую больницу тебя переводят, — говорит санитар, — неподалеку, восемнадцать километров.

И понесли Аннушку через палату, где мать лежала. Увидела Аннушка мать, заплакала и просить начала:

— Положите меня вместе с мамой...

Мать отвечает:

— Не бойся, доченька, я скоро приду за тобой.

Унесли Аннушку.

Болела Аннушка в той, другой больнице долго и как болела, помнит плохо. Помнит только, как выписали ее. Уже осень была, и в тени иней. Одета была Аннушка в зимнее пальто на вате, но босиком. Чтоб босые но-

ги согрелись, идти быстро надо, а быстро идти сил нет. Пошла Аннушка по улице и пристала к какому-то мальчику.

— Ты куда идешь?

— В Погорелое Городище,— отвечает.— Я оттуда родом.

Обрадовалась Аннушка.

— Я с тобой хочу, мне туда надо...

— Пойдем,— говорит мальчик,— я дорогу знаю. До лесу шесть километров, а от леса еще двадцать километров.

Целый день шли и дошли к лесу, который в шести километрах. Через лес дорога проложена, на дороге этой бревнышки, поверх бревнышек — грязная, холодная жижа... Ступила Аннушка босыми ногами в эту холодную жижу поверх бревнышек и думает — не дойду. Однако все же идет. «До того разбитого дерева дойду, а дальше уж не смогу»,— думает Аннушка. Доходит она до разбитого дерева и дальше идет. Идет и все ж понимает: «Еще немного пройду, и задубеет тело окончательно, хоть и в зимнем пальто, а ноги уже все равно чужие, как несут, непонятно».

И тут слышит Аннушка — подвода едет. Увидел дяденька с подводы, что Аннушка босая, остановил лошадей, сам слез, а Аннушку посадил. И мальчика, Аннушкиного спутника, хоть и не посадил, поскольку вся подвода в ящиках была, однако помог ему идти. И так к ночи добрались они до Погорелого Городища.

В Погорелом Городище подошла Аннушка к военным патрулям, и указали они ей больницу. Пришла Аннушка в больницу, спрашивает у людей, что там были:

— Мне Емельянова нужна... Я дочь ей...

Говорит одна женщина другой:

— Плоха очень Емельянова...

Однако Аннушка как-то не поняла, что мать плоха, а, что жива, поняла. Приходит Аннушка в палату и видит: мать ее лежит все там и так же, в пальто и платке... Подошла Аннушка ближе и не узнала мать. Издали узнала, а вблизи нет. Вроде бы она и не она. А мать Аннушку сразу узнала и говорит:

— Не смогла я к тебе прийти, доченька, как обещала, но скоро приду...

Медсестра говорит:

— Иди, девочка, до утра в Дом крестьянина, там переночуешь.

Военные патрули показали Аннушке Дом крестьянина, пришла она туда, и ее пустили ночевать. Так устала Аннушка, что уснула она сразу на полу возле печки. Проснулась уже утром. Стоит над ней солдат какой-то и спрашивает.

— Ты откуда, девочка?

— Из деревни Агарково,— отвечает Аннушка.

— Сходи тогда к коменданту,—говорит солдат,—он даст бумажку на любую попутную машину.

Дал этот солдат Аннушке хлеба. Поела Аннушка хлеба и пошла, куда ей патрули указали. Вошла в дом к военным. Военных Аннушка не боялась, поскольку, живя в Ржеве возле аэродрома, она привыкла, что там всегда военные. Пошла Аннушка к военным, какой-то начальник дал ей бумажку на любую попутную машину. Потом пришла Аннушка в больницу, и люди говорят:

— Получше Емельяновой.

Показала Аннушка матери бумажку, та говорит:

— Умница доченька... Езжай домой, в лес, ведь Митька там один... Скоро я поправлюсь, тоже схожу к коменданту за бумажкой на попутную машину и приеду...

Пошла Аннушка на дорогу, однако долго не брали ее в машину, пока не нашла она регулировщиков, показала им бумажку, и они Аннушку посадили. Приехала Аннушка, разыскала место в лесу, где живут деревенские... Видит, шалаш их еловый совсем осыпался, вещи лежат мокрые, и никто к ним не подходит.

— Вещи ваши тифозные,— пояснили ей,— их и караулить не надо, их вошь караулит.

— А брат мой где? — спрашивает Аннушка.

— Брат твой,— говорят,— плакал три дня, потом пошел к военным.

Так и не нашла Аннушка брата.

Меж тем весь народ на зиму опять к блиндажам своим перебрался, которые при разрушенной деревне Агарково располагались. И пошла Аннушка жить в блиндаж к двоюродной сестре матери. Та хоть и без охоты, но приняла. Думает Аннушка: «Приедет мать, скорей меня здесь найдет». Однако двоюродная сестра говорит вдруг как-то Аннушке:

— Твоя мать умерла...

«Почему она такое говорит,— думает Аннушка,— ведь ни почты, ни телефона здесь нет». Но все ж пошла Аннушка, нашла, где дорога в город, и поехала в Погорелое Городище.

В больницу еще не пускали — рано. Села Аннушка на крыльцо, калачиком свернулась от утреннего холода, дождалась. Медсестра Аннушку обнадежила.

— Емельянова,— говорит,— такая должна быть,— и роется в ящике, где бумаги. Находит медсестра бумагу и говорит: — Твоя мать умерла седьмого октября 1942 года.

А было уже тринадцатое октября... Ни с чем вернулась Аннушка домой в лес... В лесу уже снега навалило, и из мирных жителей — никого. С горя забыла Аннушка, что деревня из лесу в блиндажи перебралась. Долго блуждала она по лесу, но не кричала и не звала на помощь, шла тихо, без слов. Какой-то солдат сам нашел ее и привел к блиндажам. Поместилась Аннушка в блиндаже кое-как, поскольку тесно было, по две-три семьи в каждом, и заснула от сильной усталости и горя. Утром от разговоров проснулась. Вышла из блиндажа. Холод, снег, ветер. Однако на Аннушке теперь ботинки были, которые от матери остались. Хоть и великоваты, но греют, если тряпок намотать. Смотрит Аннушка — неподалеку повозка военная стоит и всех жителей подбирает. Кто-то говорит:

— Это в Погорелое Городище на поезд, в эвакуацию, поскольку немец опять наступает.

Подобрали и Аннушку. Привезли в Погорелое Городище и посадили на поезд. Далеко ли, долго ли ехала, она не знает, в забытье находилась, так умершую мать ей было жалко. Вдруг, как во сне, началась бомбежка. Вокруг все горело и стреляло. Народ куда-то бежал. И Аннушка бежала... Ночью от пожаров было светло как днем и легко было находить дорогу, если б здесь были родные места. Однако места были чужие, и всюду Аннушка находила только чужое. Она вбежала в какой-то дом, который был совсем целый, но без потолка. В доме этом была целая печь, а в ней икона. Потом Аннушка выбежала, и шла по дороге, и пришла в большую комнату, где было много женщин. Хорошо ходить самостоятельно в родных местах, а в чужих местах лучше, когда тебя ведут. Одна женщина повела Аннушку и привела ее куда-то. Было уже утро и тихо, только снег падал. Из дома вышел какой-то мужчина, который испугал Аннушку, потому что у него правая рука была все время зажата в кулак. Она лишь потом узнала, что это был директор детдома Кузьмин, инвалид войны, пальцы правой руки у которого были скрючены взрывом и навек зажаты в кулак. Кузьмин взял Аннушку за руку левой своей рукой, привел ее в комнату, где было тепло и толпилось много мальчиков и девочек, одетых по-детдомовски одинаково. Причем многие мальчики, особенно поменьше, одеты были, как и девочки, в платьица, поскольку костюмчиков не хватало. Только увидела их Аннушка, сразу поняла, что здесь будут дразнить, ибо все дети смотрели на нее весело, как в Ржеве до войны.

В каждом детдоме подобно каждой семье свои порядки. Здесь уж так заведено было издавна, что дразнили и старались быть веселыми. Аннушке быстро придумали дразнилку — «нюня», потому что Аннушка иногда плакала, забившись в угол, по матери и брату Мите... Однако за ней подследила однажды черненькая девочка по имени Суламифь и придумала ей дразнилку «нюня», после которой Аннушке не стало жизни.

Девочка эта так старалась придумать дразнилку Аннушке, поскольку до Аннушки девочку эту и взрослые, и дети дразнили «еврейкой». Сначала ее дразнили «москвичка, в попе спичка», поскольку она была из Москвы, потом начали дразнить «еврейкой», потому что она картавила. Девочка эта Мифа, или Суламифь, сначала, как потерялась от родителей, попала в другой детдом, и там ее никто не дразнил «еврейкой», а здесь сразу дразнить начали. Конечно, Кузьмин не дразнил, но Кузьмин вообще был недав-

но, считался чужим, и дети его не уважали, а любили бывшую заведующую, ныне воспитательницу тетю Катечку, тоже увечную, горбатенькую... Дети ее матерью своей считали за то, что она веселая. Когда Суламифь, разозленная от дразнилок, плакала и кричала, что убежит отсюда и найдет свою маму, тетя Катечка с улыбкой отвечала ей:

— Куда ты побежишь? Если б твои родители были живы, они б тебя нашли. Евреи своих детей не бросают...

И Суламифь понимала, что ей деться некуда. Не любили дети Суламифь еще и потому, что она вечно искала что-то на земле и часто находила. То яблочко найдет, то денежку, и за эту денежку ей на кухне дадут съестное, то солдатика оловянного нашла.

— Счастливая эта еврейка,— говорили про нее,— вечно ей везет, что-нибудь да находит.

Была, правда, девочка беленькая такая, Глашенька, которая хотела с Суламифью дружить. Девочку эту, Глашеньку, мать сама привела в детдом. Глашенька очень не хотела оставаться, хоть ей и дали большое яблоко. Она плакала и порвала матери платье. Тогда ее завели в зал, начали играть на пианино, Глашенька заслушалась, а мать ее в это время ушла.

Так вот эта девочка, Глашенька, хотела дружить с Суламифью, но Суламифь с ней дружить не хотела, Глашенька обнимала Суламифь, целовала и говорила:

— Я хочу быть твоя сестра... Почему ты не хочешь со мной играть, ведь мы обе сироты...

Суламифь отвечала:

— Моя мама никогда б меня не бросила. Она очень добрая, кудрявая и носила соломенные шляпки. В Москве она в детском саду раздавала всем детям конфеты поровну. И я ее очень люблю, хоть ее дразнили «мадам», потому что она была кудрявая, красила губы и носила шляпки...

— У меня мама злая,— соглашалась Глашенька и плакала.

Только Глашенька и Кузьмин не дразнили Суламифь еврейкой. Но Суламифь Глашеньку не любила, а Кузьмина боялась, как боялись и не любили его все. Потому обрадовалась Суламифь, когда в детдом привели Аннушку. И подследила Суламифь за Аннушкой, назвала ее «нюня». С тех пор начали Суламифь реже дразнить «еврейкой», а больше смеялись над Аннушкой. Но однажды пошли наиболее влиятельные, веселые и злые дети дразнить по обыкновению соседку Феклу.

Фекла эта, сухая и сердитая старушка, одиноко жила в маленьком домике неподалеку от детдома и испокон веков, может, даже еще до войны, все наиболее влиятельные дети ходили ее дразнить.

— Свекла! — кричали они.— Бабушка Свекла...

В ответ сердито лаяла рыжая собачонка «бабушки Свеклы», и сама Свекла выскакивала с руганью и угрозами, отчего особенно весело становилось. В этот раз, чтоб угодить влиятельным детям, Суламифь тоже захотела пойти дразнить Феклу.

— Не ходи,— просила ее Глашенька.

Но Суламифь пошла. И Аннушка пошла. Чтоб угодить влиятельным детям, побежала Суламифь вплотную к забору, где рыжая собачка от полного ненависти лая чуть не трясется. Подбежала и как крикнет:

— Бабушка Свекла!..

Тут злая старушка выскочила, Суламифь увидела и говорит:

— А ты еврейская жидовка...

И все влиятельные дети перестали смеяться над Феклой и опять начали смеяться над Суламифью. А Аннушка, за которой Суламифь подследила, сказала:

— Юдише швайн — это по-немецки «еврейская свинья».

— Ты, значит, по-немецки умеешь? — спрашивает у Аннушки Костя, которому каждый от своей порции отдавал хлеб, чтоб не бил.

— Могу,— говорит Аннушка, желая угодить,— Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Анна и дедушка идут гулять...

— Фашистка, фашистка! — закричал Костя.— Немка, немка...

И все влиятельные дети закричали:

— Немка, немка... Фашистка, фашистка...

С тех пор особенно сильно стали Суламифь дразнить «еврейкой», а Аннушку «немкой, фашисткой», и оттого, что их обеих дразнили, они друг друга очень возненавидели.

Меж тем Кузьмин куда-то уехал и вернулся озабоченный.

— Немцы близко,— говорит он,— я договорился насчет машин, пора готовиться к эвакуации.

Однако прошел день, другой, машин нет, и стала ясно слышна бомбежка. До сих пор бомбили только станцию, здесь же спокойно было. Вызвал тетю Катечку Кузьмин и говорит:

— Больше оставаться нельзя, будем пешком уходить... Списки детей принесите мне для уничтожения, поскольку немцы ищут еврейских детей...

Тетя Катечка говорит:

— Что ж, из-за одной еврейки все будут страдать... Списки уничтожить, потом детей не разыщешь...

Кузьмин говорит:

— Я вам приказываю.

Тетя Катечка говорит:

— Здесь не армия и не фронт, чтоб приказывать.

Тут Кузьмин кулаком, который никогда у него не разжимался, ударил по столу, и тетя Катечка принесла списки.

Велел Кузьмин построить детей в пары и взять друг друга за руки. Аннушка попала в пару с Суламифью, поскольку так получилось и обе они боялись ослушаться Кузьмина. Пошли дети по направлению к станции. Но вдруг вдали машины идут от станции.

— Это немецкие машины,— говорит Кузьмин,— я их по фронту помню... Давайте менять маршрут, идти будем в глухие села.

Долго шли. Детей поменьше Кузьмин и тетя Катечка несли на руках. Понесут сначала одного, потом другого и так дошли до села Брусяны.

В село Брусяны обычно съезжались из окрестных сел на базар. И сегодня как раз был базарный день. Обрадовался Кузьмин, выяснил, что немцев здесь нет, выстроил детей в одну шеренгу на базарной площади среди телег и говорит:

— Товарищи крестьяне... Тут перед вами братья и сестры по детдому. Просьба к вам, разберите детей, какой ребенок кому по нраву, иначе они погибнут.

И подошли крестьяне и начали детей осматривать и разбирать. Сперва самых крепких и бойких, поскольку по дому подсобление, в работе использовать можно. Потом, как мелочь одна осталась или хилые, уж просто кто кому понравится. Когда забирали Глашеньку, она очень просила хозяйку, чтоб Суламифь тоже взяли. Однако хозяйка видела, что Суламифь еврейка, и не взяла ее. Заплакала Глашенька, обняла Суламифь и сказала, что никогда ее не забудет. А Суламифь не о Глашеньке сейчас думала, беспокоилась она, кто ж ее возьмет. Уж почти всех детей разобрали. Осталась только Суламифь, осталась Аннушка, и остался маленький, слабенький мальчик, и при них остался Кузьмин, поскольку тетя Катечка, всех своих любимых влиятельных детей раздавшая в хорошие руки и успокоившись, сама нанялась в работницы к какому-то старику-крестьянину. Да и хороших рук оставалось все меньше, одна рвань уже вокруг вертелась, может, сама бездомная и из одного любопытства. Вдруг видит Аннушка, идет к ней приемная мать, о которой любой сирота мечтать может. Одета чисто, глаза добрые, крестьянский платок аккуратно повязан. Иная родная мать хуже. Думает Аннушка: «Это ко мне. Мальчика не возьмут, он хилый и невзрачный, а Суламифь — еврейка». Подходит приемная мать вплотную, смотрит на детей, потом вдруг снимает с себя медный нательный крестик и надевает его Суламифи на шею. Обняла Суламифь добрую мать свою, которая ее выбрала.

— Мамочка,— говорит,— спасибо, что вы меня взяли в дети...

И защемило сердце у Аннушки от ревности и тоски. Материнскую любовь родной матери отняла у Аннушки болезнь, а материнскую любовь приемной матери отняла у Аннушки еврейка, которая подследила за Аннушкой в детдоме во время слез по умершей матери и придумала ей обидную дразнилку. Сильно щемило у Аннушки сердце, тот же, кто в своих горестях сохраняет практичный рассудок детства, способен на большие злодейства. И пожелала Аннушка смерти Суламифи, чтоб ей, Аннушке, досталась добрая приемная мать.

Но трудного ли она пожелала? Трудно ли добиться смерти еврейской девочки в 1942 году при немецкой власти? Стоило лишь только Аннушке от души пожелать, мигом явилась на базарной площади села Брусяны немецкая власть. И узнала в одном властелине Аннушка дядю Ганса, который давал ей хлеб и гороховый концентрат, поскольку славяне не подлежали пока полностью искоренению.

— Дядя Ганс, — радостно крикнула она, — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Фогель — птица, хунд — собака...

Дядя Ганс тоже узнал в Аннушке девочку, у которой жил в Ржеве, и узнал в Суламифи еврейку, которой согласно последним немецким правилам жизни на данной планете не следовало жить нигде. Немецкая национальная машина работала четко и дифференцированно. Кузьмина увели в лагерь для пленных, крестьянку ударили прикладом и разбили ей в кровь лицо, Суламифь вывели из зоны, отведенной для славянской расы села Брусяны, отняли у нее жизнь и бросили тело в канаву, а Аннушку погрузили в товарный вагон, чтоб она в Германии научилась немецкой культуре и немецкому труду.

Все это видел Дан, Аспид, Антихрист, который много ходил по земле кровавой, попираемой земле, и в тот день оказался на базарной площади села Брусяны. Видел Дан, Антихрист, и свежую кровь, видел и прошлогодние кости. И за два года поседел Антихрист, еврейский юноша из колена Данова. Не как исполнитель он был послан, но лишь как свидетель Господен...

Он шел среди безропотных и среди возмущенных, среди в плаче скучающих заранее по жизни, из которой их гнали, и тех, кому еще до смерти посчастливилось забыть жизнь. Но раз под Минском он шел рядом с неким из колена Ефремова, ибо он знал, кто из какого колена, хоть они сами не знали. И сказал некто, человек ученый и философ, идущий к могиле, со стыдом и торопливо:

— Надо бы давно уйти нашему народу, ибо мы подобны наглому гостю, засидевшемуся в доме у иных народов, гостю, которого теперь силой и с позором выставляют за дверь... Дурной мы народ, евреи, и я сам себе мерзок...

Огляделся Дан, Аспид, Антихрист, вокруг, и верно, немного увидел он праведных лиц среди народа своего, идущего вон отсюда к могиле... Эта прелюбодействовала, этот обижал сироту, этот был скуп и ел поедом близких, этот грязно философствовал, этот лживо молился, эта предала, этот отрекся... И сказал Дан, Аспид, Антихрист:

— Кто же изгоняет нас и откуда изгоняет? Может, Господь изгоняет нас из Эдема? Может, святые ангелы изгоняют нас с неба? Нет, нас грешных изгоняют падшие грешники из падшего мира... Оглянитесь вокруг. Прелюбодеяние ли грех в этом падшем мире? Предательство грех ли? Грязная философия? Лживая молитва? В междоусобицах убивали мы своих пророков от Иеремии до Иисуса, но это ли редкость для падшего мира? Сколько кровавых наветов, сколько злобных легенд можно сочинить об иных нациях, избивавших в междоусобицах своих праведников. Какая же особая вина нам вменяется? Почему гонят нас всем народом за дверь из этого падшего, но обжитого мира, обобрав и оставив все лучшее наше себе? А в мире ином пойди обживись, обзаведись там сызнова исторической судьбой и прочим имуществом.

Отвечал Господь посланцу своему Антихристу осенним днем возле города Минска, на краю противотанкового рва, залитого кровью всех двенадцати колен Израилевых:

— Есть особая вина ваша, которая вам вменяется, и эта вина единственно подлинная в падшем, но обжитом мире, и только этой виной вы отличны от иных народов и за эту вину терпите наказание, а иной вины, отличной от других народов, нет на вас... Только одна подлинная вина... Имя этой вины — Беззащитность... Только этим вы виновны перед другими народами, и только в этом ваш грех передо Мной. Но пока есть на вас эта особая вина перед миром и грех передо Мной, прощу Я вам все грехи ваши. Когда же искупите эту страшную вину, тогда взыщу с вас и за другие грехи. С гонителей же ваших, через которых наказываю вас, взыщу всемеро, до конца взыщу, ибо никогда Господня кара не совершается через праведников, а всегда через страшных нечестивцев.

И сказал Дан, Аспид, Антихрист, через пророка Иеремию народу своему:

«Не бойся, раб Мой Иаков, — говорит Господь. — Я тебя не истреблю, а только накажу. Ненаказанным же не оставлю тебя».

После этого вернулся опять Антихрист в город Ржев, куда был послан ранее к нечестивой мученице Аннушке от малолетней доброй блудницы Марии, потерявшей брата и родившей в тюремной больнице первенца Антихристова Васю... Не застав Аннушку в городе Ржеве, отправился Антихрист в село Брусяны, где Аннушка погубила Суламифь из колена Манассии, Суламифь, которой не суждено было войти в Остаток и дать Отрасль...

Сказано у пророка Исайи: «Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится; истребление определено изобилующею правдою».

Изобилие правды было в этом истреблении, и совершалось оно за страшную вину народа перед миром — Беззащитность. Истребляющие же, семикратно повторяя ассирийскую надменность, говорили:

— Силой руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен. Переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их.

Ответил Антихрист в себе через пророка Исайю:

— Величается ли секира пред тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее? — И сказал Дан, Антихрист: — За страшное нечестие ваше избрал вас Господь орудием кары для народа своего за вину его. Есть нечестивые народы, а есть нечестивая земля. Нечестивые народы, уходя, уносят свое проклятие, и очищается земля. Но проклятая земля неподвижна, и все, что исходит из нее, проклято вовек. Не останется от народа проклятой земли ни остатка, ни отрасли, как не осталось отрасли от Вавилона, который был всемеро менее грешен. Сказано в книге пророка Иеремии: «Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон, все сии речи, написанные на Вавилон».

Господь посылает Христа среди грешных народов для благословения, и Антихриста для проклятия, и великих пророков для толкования дел Господних, но ни Христу, ни Антихристу, ни избранным из пророков не дано вступить на нечистую землю. Потому и Иеремия не сам понес книгу проклятия в Вавилон, а передал ее угоняемым в рабство. «И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: «Господи! Ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечною пустынею». И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень, и брось ее в средину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое Я наведу на него, и они совершенно изнемогут».

Дан, Аспид, Антихрист, знал, что ему надлежит проклясть, а как и когда совершится проклятие, о том знает лишь Господь. Но чтобы совершить обряд проклятия, Антихристу нужен грешник, которого в муках угоняют в рабство, ибо Антихристу, посланцу Господа, как и Христу, не дано вступить на нечистую землю. Знал Дан, Аспид, Антихрист, что среди народа его много нечестивцев и грешников, однако властелины из нечистой земли, взявшиеся распределять вместо Господа земные блага, рабство считали слишком лакомым куском для еврея, ибо в рабстве можно спать в хлеву и есть отбросы, тем добывая для себя свою жизнь. А это противоречило указанию любимца арийской расы Мартина Бормана, одного из высших богов немецко-нацистского язычества: «Славяне будут в этом мире рабами арийцев, а евреи — это животные, не имеющие права на существование». Потому Антихрист должен был искать страдающих нечестивцев среди других наций, для которых блага немецкого рабства были доступны.

Вышел Дан, Аспид, Антихрист, из села Брусяны и пошел он к станции, где в товарных вагонах отправляли славян в Германию для приобщения к немецкой культуре и к немецкому труду.

День был истинно северный, пушкинский «мороз и солнце», богатый день, сверкающий. Всякий, кто сомневается еще в бездуховности природы, мог в тот день убедиться, что природа красивая, но неверная жена для человека. В радости и удаче она готова расточать ему свои красоты и ласки, но в беде она тут же покидает его, к убийцам у кровавых могил

льнет она, равнодушно взирая на остывающие трупы тех, кого еще недавно ублажала зеленью своей травы, пряным запахом осенней листвы и хвойным снежным воздухом... Убийцам достаются красота, щедрость, ласки и наслаждения природой, как добыча от погубленных, но Господь не может достаться убийцам. Потому Авраам Зачинатель поклонялся лишь Господу, но не звездам, уводящим в трясину фатализма, не солнцу, пробуждающему красоту материальную, не луне, пробуждающей красоту мистическую, не временной молодости растений, не вечной старости камней, не бесконечному небу, не равнодушной воде. Ночью в видении сказал Господь Аврааму:

— Не бойся, Авраам. Я твой щит, награда твоя будет весьма велика...

С тех пор верил Авраам Господу, но не поверил он Господней природе подобно тому, как верили ей язычники, ибо известно, что Господь — в природе, но Господь не есть природа. Как и человека, обуревает природу гордыня, как человек восстает она временами против Отца своего и бывает нечестива в уродстве ли своем, в красоте ли своей...

Так нечестива была сейчас природа вблизи села Брусяны над попираемым трупом еврейской девочки Суламифи из колена Манассии, которой не суждено было принять семя в не остывшее еще лоно, через лоно свое войти в Остаток и дать Отрасль... Вдали над заснеженным сверкающим лесом в непередаваемом великолепии покоилось на свежем северном небе чистое морозное солнце, и если лучи летнего, особенно южного солнца имеют телесность от жара, в них заключенного, а значит, не совсем чисты, то северные лучи предельно невесомы и чисты до призрачности. Не от этой ли морозной чистоты ледяная тихая кошмарность в нордических страстях?.. И вот среди этого ледяного сияния, среди сверкающей солнечной невесомости лежала в канаве Суламифь из колена Манассии, вмерзшая в собственную кровь, в кровь, переданную в ее жилы через много поколений от самого Авраама, заключившего союз с Господом. Ненадолго задержался над попираемым трупом Суламифи из колена Манассии Антихрист, ибо Суламифь еще не остыла, еще память о ней свежа была, еще ясно помнила о ней добрая крестьянка, лежа теперь с разбитым немецким прикладом лицом на своей печи, плакала она, причитала, и Аннушка, от детских противоречий своих пожелавшая смерти Суламифи, тоже помнила о ней в товарном вагоне, но не с тоской, как избитая крестьянка, а со страхом, как помнила она первое время и брата Вовочку, умершего в городе Ржеве от грозы.

Знал великую заповедь библейскую Дан, Антихрист, — пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Пока свежая еще, не остывшая еще, телесная память о мертвых, пока не похоронят пристойно эту память другие мертвецы, можно лишь вспоминать умершего, но нельзя говорить о нем, ибо он еще людской, а не Божий.

Прошел мимо убитой Суламифи Антихрист со спокойной печалью, как проходят мимо чужого, не родного тебе гроба. Вышел он далеко за село Брусяны, где так же нечестив был и бунтовал против чувств Господних этот солнечный морозный день русского севера. Видит Антихрист — много человеческих костей. Это были те, кого убили здесь в прошлом году в гранитных карьерах и кого успели уже захоронить другие мертвецы. Но и в поле немало костей, ибо собрали здесь со многих мест: и из города Ржева, и из Погорелова Городища, и из Зубцова — и привезли на платформах по узкой колее, проложенной до войны от станции к гранитным карьерам. Чтобы много расстрелять здесь, по крохам отовсюду собирали, и все ж это не были обильные южные расстрелы... Но в северном этом расстреле, где по крохам собрали, была своя окончательная добросовестная неумолимость. К тому времени уже был издан секретный немецкий циркуляр о неудовлетворительной работе айнзацгрупп. «Сами по себе многочисленные расстрелы евреев не вызывали бы возражений, если бы при их подготовке и осуществлении не допускались технические недосмотры. Некоторые, например, оставляют непогребенные трупы прямо на месте расстрела». Циркуляр этот имел № 25 и дату 25 июля 1941 года. Ныне же была зима 1942 года, однако нарушения и технический брак в работе не были еще искоренены. Именно такой немецкий технический брак и предстал в поле у села Брусяны перед Даном, Антихристом.

Огляделся Антихрист, и вдруг чувствует он у себя на плече руку Господа, и случилось с ним то же, что и с пророком изгнания Иезекиилем, и беседовал он, как и Иезекииль, с Господом.

«Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «Кости сухие! слушайте слово Господне!» Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь».

Видит Антихрист, как в заснеженном поле стали сближаться кости друг с другом, и каждая кость, хоть и далеко была отброшена, нашла свою, и шум начался, и вот жилы на них и плоть выросли, и кожа покрыла их сверху, и приняло все это облик толпы недавно захороненных мертвецов, стоявших под веселым северным солнцем, точно печальные истуканы. Ибо известно, что когда живому является злой мертвец и желает надсмеяться над живым, то первым делом он пускается в пляс, поскольку пляска мертвецов особенно страшна живым. Тут же было другое, и эти мертвецы-мученики были печальны и стояли неподвижно, как лежала неподвижно неподалеку в канаве, вмерзнув в собственную кровь, еврейская девочка Суламифь, попираемый труп, не погребенный в нарушение немецкой санитарной инструкции.

Тогда сказал Дану, Аспиду, Антихристу, Господь через пророка Иезекииля:

— Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.

И подобно пророку Иезекиилю изрек пророчество Дан, Аспид, Антихрист, и ожили мертвые, весьма и весьма великое полчище. Сказал Господь Дану, Антихристу, через пророка Иезекииля:

— Кости сии — весь дом Израилев. Вот, они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас...

После этого снял с плеча Дана, Аспида, Антихриста, руку Господь, ожившие мученики-мертвецы опять рассыпались костями по снежному полю, и стало вечереть, потемнел лес, померкло снежное сияние поля, померкла сатанинская нездоровая красота северного дня. Понял Антихрист, что это знамение ему. Надо спешить к станции, пока не увезли еще в рабство в нечистую землю нечестивую мученицу Аннушку, через руки которой надлежало ему предать проклятию нечестивую землю. Затем и послан был Господом Антихрист в город Ржев после города Керчи к нечестивой девочке — мученице Аннушке, — после доброй девочки — блудницы Марии...

Когда пришел на станцию Антихрист, был уже вечер, тьма, и фонари согласно условиям военного времени горели тускло. По плачу нашел Антихрист среди множества эшелонов эшелон рабства, хоть плач этот и звучал глухо, поскольку двери товарных вагонов уже были заперты, — вот-вот тронется поезд... Неслышно пошел Антихрист мимо эшелона, где перед вагонами стояли немцы, угонявшие в рабство славян. Не потому он шел неслышно, что боялся быть убитым немцами, ибо это для Антихриста недоступно, а потому он шел медленно, что уже давно мучила его жажда убить немца. Он хотел убить всех, чтобы насладиться, однако это было бы для него слишком большим счастьем, а Антихрист знал, что слишком большого счастья на этом свете не бывает. Поэтому он мечтал о малом счастье — убить хотя бы одного. Но не может посланец Господа определить помыслы Господни. Знал Антихрист, что не одобрил Господь пророка Елисея, покаравшего смертью нечестивых злых детей. Посланцу Господа надлежит исполнить лишь свое. Потому неслышно шел Антихрист мимо тех, чьей смерти жаждал.

Видит Антихрист, в одном из вагонов немцы по своей какой-то надобности открыли двери, и битком там людей, главным образом, женщины, но есть и подростки, молодежь... Когда немцы открыли двери, все протиснулись поближе к воздуху, и Аннушка стояла, зажатая со всех сторон чужими телами. Вынул Антихрист из своей пастушьей сумки нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем, и начал раздавать его славянам-рабам. Аннушке он дал хлеба, завернутого в бумажный сверток, и сказал:

— Хлеб этот съешь, а бумагу спрячь у себя в одежде. И когда приедешь ты в землю нечистую, прочти, что в бумаге написано, потом привяжи к бумаге камень и брось в реку этой нечистой земли...

Аннушка глянула на подавшего ей хлеб и вдруг узнала в нем того, кто приходил до войны в Ржеве в их жилище, в бывшую церковь, с целью воровства. Испугалась Аннушка и хотела позвать немца, отошедшего куда-то по своей надобности, ибо, кроме немца, не было здесь власти. Однако не успела, поскольку женщина, стоявшая с ней рядом с ребенком на руках, вдруг сказала Антихристу:

— Добрый человек, возьми моего ребенка, поскольку я с голоду пропадаю, и хлеба твоего ненадолго хватит... Умрет моя девочка на моих глазах...

Протянула женщина Антихристу ребенка, завернутого в красное ватное одеяльце, и, очутившись в чужих руках, заплакал ребенок громко, надрывно. Тут непорядок, который до сего времени происходил незаметно, стал явным. Да что там непорядок, увиденное немцами было нордическому уму непостижимо. Освещенный фонарями немецких патрулей, в самом центре немецкого военного расположения стоял и дышал морозным воздухом неубитый еврей с ребенком на руках, с ребенком, который, если вырастет да залезет в щель, прикроется личиной другой нации, пойди найди его, чтоб уничтожить... Ибо по доктрине своей, а немецкий упорядоченный мозг верит всегда в идеалистический материализм, по доктрине о разделении рас не могли они предположить, что у еврея на руках славянский ребенок. Азарт охотников соединился в немцах с негодованием чистоплотных хозяев. Наступила взаимная радость. Радостно побежали немцы, чтоб убить еврея, со всех сторон бежали: и от водокачки, и от вокзала, и от соседних эшелонов. С радостью воспринял Дан, Аспид, Антихрист, сложившуюся ситуацию. И подумал: «У меня на руках ребенок, который смертен и взять которого мне Господь не воспрепятствовал. Потому простит мне Господь, что я отчасти предвосхищу его замыслы, как простил мне Господь, когда я поставил преткновение перед Павликом, ржевским пролетарием».

И начали немцы падать, хватаясь за животы, прижимая холодеющие ладони к искусанным от внезапной боли губам, исходя кровавыми нечистотами с обеих концов. Вся рота охраны легла на заснеженном перроне, словно под пулеметным огнем, в собственный кровавый понос. И после решения еврейского вопроса в противотанковых рвах Минска, после сухих, занесенных снегом костей под селом Брусяны, глядя на синюшные, искаженные удушьем истинно национальные немецкие лица, понял Дан, Аспид, Антихрист, что такое земное счастье...

Позднее немецкая власть определила отравление роты недоброкачественными консервами, и в дополнение был убит немец, военный интендант. Таким образом, общее количество долихоцефалов еще уменьшилось.

Как известно, долихоцефалия, удлинение черепа, составляет, по немецкой доктрине, признак германца. Аннушка же по этой доктрине была типичная брахицефалка, с черепом круглым, славянским, и потому она ухаживала за свиньями в районе Рейнско-Вестфальского сланцевого плоскогорья... Хозяин ее был типичный долихоцефал с германским черепом, что, по его мнению, даже и среди немцев явление нечастое и составляет привилегию сельской местности, поскольку в городах сильна примесь темноцветных: западнославянского, романского и, если говорить честно, то и еврейского элемента, что составляет пикантную проблему, поскольку и у самого фюрера — тсс! — черные волосы.

Уже гораздо позднее, в послевоенный период, Аннушкин хозяин-долихоцефал утверждал, что он всегда был антинацистом и антигитлеровцем, поскольку в верхушке нацистской партии преобладали круглоголовые брахицефалы, а у Гитлера был не чисто германский череп плюс черные волосы. Однако в те времена, когда Аннушка работала у этого хозяина, он прятал свой внутренний бунт далеко от гестапо и старался обеспечить немецкий национальный стол разнообразными свиными блюдами, в том числе и свиными ножками с кислой капустой... Выращивание свиней и капусты — занятие трудоемкое, и Аннушка, не привыкшая к немецкому труду, о котором ей рассказывал добрый дядя Ганс, сильно уставала, тем более что капуста еще иногда доставалась к обеду, но свинина — никогда. И остальные тоже уставали от немецкого труда, а восстановить свои силы немецким обедом не могли.

Тем не менее местность, в которой они пребывали в рабстве, была красивая. Мягко поднимающиеся холмы чередовались в ней с долинами, и реки образовывали ряд грациозных изгибов среди этих долин. Во многих местах поверхность земли, которую предстояло проклясть, почти сплошь покрыта была лиственными лесами, в которых пели птицы, плодовыми садами, где висели румяные яблоки, груши и сливы, покрыта была виноградными, пшеничными и ячменными полями. За всем этим требовался уход, но не хватало умелых долихоцефалов, взявшихся по велению темноволосого фюрера наводить на Божьей земле немецкий порядок. Поэтому в период созревания плодов сюда и направляли брахицефалов. Люди это были большей частью молодые, встретившие в рабстве свой расцвет, и даже при скудной пище их одолевали желания, особенно среди пахучих, плодоносящих деревьев.

Однажды Аннушка таскала тяжелую плетеную корзину вместе с пареньком из Курска. Паренек этот Аннушке нравился. Курносенький такой, сероглазенький и веселые немецкие песенки насвистывал. Аннушка намекнула ему смехом своим по поводу его песенок, что он ей нравится. Когда шли они с пустой корзиной садом от склада, где разгрузили яблоки, паренек позвал Аннушку в кустарник и там вдруг схватил ее крепко, тяжело дыша, точно опять нес полную корзину яблок, повалил на траву и своими коленями разжал Аннушкины колени и губами своими заткнул Аннушке рот. Этим Аннушка повторила судьбу Марии, изнасилованной неподалеку от города Изюма Харьковской области в 1933 году. Однако далее все было иным и для Аннушки, и для ее насильника. Аннушка была изнасилована днем, к вечеру же она пожаловалась о том хозяину-долихоцефалу. Хозяин-долихоцефал, который иногда почитывал Гете, не любил, как он выражался, «мистификаций со стороны молодых людей», тем более что сам он был полупарализован и питал отвращение к подобным занятиям. Поэтому он велел примерно наказать курского брахицефала, и того избили в полицейском участке. Но, поскольку у одного полицейского на ногах были чрезмерно тяжелые сапоги свиной кожи с железными подковами, избили несколько более, чем требовалось для справедливости, и курский брахицефал умер. Тогда хозяина-долихоцефала, который, как известно, почитывал Гете, начали одолевать сомнения, тем более что с рабочей силой было тяжело, и вообще 1944 год был для немецкого сельского хозяйства нелегким. Хозяину жалко стало хорошего работника, каким был курский брахицефал, и, разозлившись на Аннушку, которая сумела подбить его, хозяина, на несправедливость по отношению к хорошему работнику, начал он Аннушку наказывать, послал ее на самые трудные работы в свинарник, велел бить за всякие провинности, дурно кормил по сравнению даже с голодным пайком остальных брахицефалов, обвинил в разврате, и поскольку Аннушка была в полной его власти, то к осени 1944 года, месяц спустя, она уже имела тот вид, какой имели русские военнопленные на торфяных разработках, где их хоронили в болотистой почве, куда, кстати, отвозили хоронить всех умерших или погибших брахицефалов. Аннушка знала, что туда отвезли и курносого сероглазого парня, изнасиловавшего ее в кустарнике.

Как-то лежала Аннушка на своем тряпье после особенно тяжелого дня, поскольку была у нее лихорадка, а в лихорадке трудно нести в одиночку, прижав к животу, тяжелый чан со свиным кормом, и она надорвалась. Уже уснули, лишь изредка похрюкивая за перегородкой, свиньи, а Аннушка все не могла согреться, чтоб заснуть. Обхватила она руками своими костлявые колени, прижала их к ноющему животу, чтоб было теплее,

и в подобном виде ощутила она вдруг лоно свое и вспомнила курского парня, изнасиловавшего ее.

Так, после первой казни Господней — меча, после второй казни — голода, после четвертой казни — болезни пришла к ней и третья казнь — зверь-похоть — прелюбодеяние, единственная, которая ее пока щадила. И пришла в неожиданное и неподобающее время. Вспомнила Аннушка курского парня или приснился он ей, но приснился в ином виде, при жизни матери и в присутствии Митьки-Ивана. Вроде бы всюду этот курский сероглазый паренек с ней. И в деревне Нефедово рядом сидит с ней на сонном, ласковом утреннем солнце перед избой... Аннушка при том дремлет в одной рубашечке, и приятно ей... И по адресу: город Ржев, третий участок, третий барак, комната № 9 этот паренек тоже рядом и играет в бабки с братом Аннушки Иваном, прозванным Митей... И по адресу: улица Трудовая, 61, в бывшей церкви, отданной под жилье стахановцам, этот курносый парень тоже живет и ходит с Аннушкой гулять на кладбище, где похоронен братик Вовочка. Только на кладбище деревья побольше и ухожены они получше, как в немецком саду ухожены. Много пахучих деревьев и винограда, но есть и ягоды, которые под деревней Нефедово растут в лесу... Пошла Аннушка с курским пареньком ягоды собирать, зашли они в кусты, и вдруг схватил он Аннушку, повалил без особого труда, поскольку Аннушка сама поддалась, сильно охватила Аннушка руками свои колени, прижала их к животу, и стало ей тепло и приятно... Однако вдруг говорят Аннушке: мать твоя по фамилии Емельянова умерла 7 октября 1942 года... Тут же дождь начался, гроза. Забыла Аннушка о пережитом с курским парнем счастье, побежала из последних сил, чтоб без нее мать похоронить не успели. Прибегает к баракам, а там воды полно, не пройдешь, и гроб с телом матери во дворе под дождем стоит. Видит Аннушка, соседи по бараку, которых она всех помнит, подходят к гробу, чтоб поднять его и унести на кладбище. Кричит Аннушка:

— Вот я... Емельянова я... Дочь...

Но голоса ее издали не слышат, перейти же через воду Аннушка не может. Наклонились соседи к гробу, чтоб унести его, вдруг Аннушкина мать поднимается, садится и говорит:

— Подождите, я кое-что сказать хочу...

Эти слова матери Аннушка ясно слышит, а что далее она говорит, самую суть Аннушка не слышит, поскольку вода мешает ей близко подойти, шумит вода... Чужие люди, соседи, слышат, родная же дочь не слышит. Тогда прямо по воде побежала Аннушка, по пояс была вода, потом к горлу подступила, а помощи нет ни от кого... И все же выбралась Аннушка, подбегает она к гробу, но мать уже говорить кончила и опять намертво улеглась, как ранее лежала. Подняли соседи гроб, понесли его... Заплакала Аннушка, и с плачем этим проснулась она в немецком хлеву у дощатой перегородки, где похрюкивали свиньи...

Дождь шумел по черепичной крыше, однако нигде не дуло, поскольку немецкий свинарник отличается от русского свинарника большей чистотой и хорошей утепленностью... Не от внешнего, а от внутреннего холода дрожала Аннушка, не от ветра, а от лихорадки. Во сне громко плакала Аннушка, поскольку во сне была она дома и плакать ей никто запретить не мог, но наяву плакала Аннушка тихо, поскольку наяву была она в немецком рабстве. Это был тот самый Божий плач от сердца, которым Господь изредка награждает неразумных и которым в поле у станции Андреевка в 1933 году плакала Мария, малолетняя блудница. Через этот Божий плач возвысилась тогда Мария, без слов прочла она наставление Господа и без разума поняла то, что дано была через разум пророку Исайе.

— Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас... И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень...

Когда услышала Аннушка без слов это наставление Господа и поняла его без разума, вышла она из утепленного немецкого свинарника под дождь и пошла тропкой по нечестивой земле, которую ей надлежало проклясть. Пока шла Аннушка, дождь кончился, и нечестивая земля, убежденная в своей вечности, наслаждалась германской луной, при виде которой жестокие немецкие сердца пролили столько нежных слез...

Невысокие, однообразные немецкие горы поднимаются кое-где с присохшей к ним вулканической магмой, среди гор этих холодные влажные пастбища... На северо-востоке от реки сплошной лес... Сама река в живописной долине течет среди скалистых берегов, спят по берегам чистые, крытые черепицей средневековые селения... И все это будет проклято Господом через посланца своего Дана, Аспида, Антихриста, и исполнить проклятие суждено Аннушке Емельяновой из города Ржева, нечестивой мученице, угнанной в рабство. Подошла Аннушка к самому берегу, уселась на поросший мхом камень и вытащила из-за подкладки бумаги, которые дал ей Антихрист и о которых только этой ночью, проснувшись с Божьим плачем, она вспомнила. Бумаги эти исписаны были на двух языках: на неведомом и непонятном, точно следы на снегу или на песке от птичьих лап, и на привычном, которому ее обучили в школе. Как ни старалась укрыться в тучи германская луна, а все ж принудили ее небесные силы светить Аннушке, и в добротном немецком свете прочла Аннушка по складам, поскольку уж начала разучиваться в рабстве грамоте, прочла Аннушка проклятие библейских пророков, ныне обращенное против нечестивой земли и нечестивого народа. Проклятиями этими пророки предостерегали свой народ от греха. Но семижды проклят тот, чьей злобой этот грех карается. Ибо для исполнения гнева своего Господь всегда избирает отчаянных злодеев:

«Обращу лицо мое на вас, и падете пред врагами вашими и побежите, когда никто не гонится за вами. И небо ваше сделаю как железо, а землю вашу как медь. И уменьшу вас так, что опустеют дороги ваши. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и дерева земли вашей не дадут плодов своих. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас, десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, вы будете есть и не будете сыты. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость, и шум колеблющейся листвы погонит их». Вот проклятие из пророка изгнания Иезекииля: «Я Господь, Я говорю: это придет, и Я сделаю. Не отменю, не пощажу и не помилую. По путям твоим, по делам твоим буду судить тебя. Ужасом сделаю тебя, и не будет тебя, и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки». Вот проклятие из пророка Исайи, повторенное потом в Апокалипсисе от Иоанна: «Небо твое точно свиток книжный свернется над тобой». И в гневе первый пророк библейский, пастух фекойский Амос, глядя на нечестивую землю, воскликнул и записал в рукописи проклятия, завещанной пророком Иеремией: «Ненавижу, отвергаю праздники ваши... удали от меня шум песен твоих.— В самом же конце пророк Амос приписал: — Пусть как вода течет суд и правда — как сильный поток...»

На этом окончила чтение рукописи проклятия Аннушка Емельянова. Царский постельничий Сераия окончил перед рассветом чтение рукописи проклятия на Вавилон, и Аннушка окончила чтение рукописи проклятия перед рассветом, когда пора уже было назад, в немецкий свинарник, таскать тяжелые чаны со свиным кормом, дабы не быть побитой за опоздание и нерадивость. Потому торопливо нашла Аннушка на берегу камень, оторвала от платья своего лоскут и, привязав этот камень к рукописи проклятия, бросила рукопись в воду национальной немецкой реки.

Ненависть как постоянное чувство слишком иссушает душу, но постоянная неприязнь к немцу, к немецкому отныне должна была стать национальной чертой Господнего народа, в предостережение иным историческим врагам, менее умелым. И если нынешние и близлежащие поколения, уйдя, унесут с собой эту неприязнь, то уж недоверие должно остаться навек; то разумное национальное недоверие, которое по мере возможности делает ненависть как постоянное чувство ненужной, неповоротливой и грубой формой национальной самозащиты. Национально-мистический гуманизм нацистов обожествлял нордического человека и использовал его как меру всех вещей. Расовая и иерархическая лестница вела от нордического человека вниз, и на нижней ступеньке стоял обесчеловеченный, отлученный от гуманизма еврей. И это естественно. Евреи как люди так же дурны, как все иное человечество. Но как историческое образование, как библейское явление, это народ близкий Богу, а человек по сути своей ненавидит Бога, поэтому он ненавидит и евреев, и поэтому многие евреи как люди ненавидят себя и свою библейскую судьбу. Это так важно, что хочется повторить это еще раз несколько иными словами. Конечно, еврей как человек так же дурен, как и все люди, но еврей как еврей есть, со-

гласно Библии, часть народа Божьего, а поскольку человек — враг Бога и, чтоб верить в Бога, ему надо преодолеть свою проклятую Богом человеческую природу, и лишь немногим это удается, то его ненависть к еврею вполне естественна. И чем далее на нынешнем своем историческом развитии тот или иной народ от Бога, тем сильней ненависть, тем естественнее антисемитизм как национальный признак. Да и сама многовековая судьба еврейского народа показывает человеку, что он, человек, не есть на земле хозяин, а лишь Божий работник и скиталец. И от этого народы, особенно большие, сильные, воображающие Божий виноградник своим собственным и отвергающие евангельскую притчу о виноградарях, ненавидят еврейский народ, своей судьбой постоянно, хоть часто и бессознательно, насмехающийся над людскими притязаниями быть хозяевами Божьего виноградника. И так же, как в евангельской притче нерадивые работники постоянно убивали посланцев Господа, напоминавших им об обязанностях перед подлинным Хозяином Виноградника, так же на протяжении веков часто пытались решить и еврейский вопрос. Но немец сделал это дело основой своей государственной идеи в переломный момент своей исторической судьбы и во имя исполнения своего исторического долга перед человечеством. Ибо, как сказано уже, большинство людей ненавидит Бога тайно ли, явно ли. Они ненавидят его за то, что тот силен, а человек слаб, за то, что тот бессмертен, а человек недолговечен. И в молитвах своих они больше клянчат, чем славят, и в мифах своих они прославляют таких титанов, как Прометей, Божий враг и людской мученик, страдалец за людей. Только немногие люди любят Бога, и потому немец в окончательном научном решении еврейского вопроса выступал от имени большинства, которое согласно евангельской притче стремится стать хозяевами Божьего Виноградника, а не его работниками...

Как только узнал Господь, что свершила Аннушка Емельянова из Ржева проклятие за три дня до своей смерти от лихорадки, позвал Он посланца Божьего Антихриста и говорит:

— Иди в город Бор на Волгу и живи там, пока не понадобишься...

— Господи, — отвечает Антихрист, — не один я теперь... Славянское дитя при мне, девочка, которую попросила меня мать спасти... Матери уж нет в живых, умерла она по дороге в немецкое рабство...

— Иди с дитем, — говорит Господь.

Так пошел Дан, Аспид, Антихрист, со славянской девочкой в город Бор на Волге. Девочке этой, приемной дочери своей, Антихрист дал имя Руфь, по имени моавитянки, приставшей к народу его у Вифлеема, не зная, что деревенское имя у нее иное и названа она была в деревне по-гречески — Пелагея... Ибо и Антихристу не все дано знать. Даже то, что Антихристу предстояло на сей раз, не знал он. Скрыл это от него Господь... Знал он только, что в городе Бор на Волге живет Вера Копосова с двумя дочерьми, старшей Тасей и младшей Устьей. Муж Веры Андрей ныне на фронте, однако скоро должен был возвратиться к семье, поскольку кончилась первая казнь Господня от меча. Хоть и достоин падший мир казни, однако понимал Господь — не выдержать первой казни слишком долго человеку... Зато вторую казнь — голод — человек дольше терпит, к четвертой казни — болезни — еще умелее приспосабливается, а с третьей казнью — зверем-прелюбодеянием — человек и вовсе сжился...

Зная это, послал Господь Аннушке, нечестивой мученице, перед смертью награду, удовольствие за совершенное ею проклятие — счастливый сон, и из этого счастливого сна не вернулась уже Аннушка к злому, не Божьему, бытию своему. Опять в том счастливом сне схватил Аннушку курский парень, повалил на теплую землю возле избы в деревне Нефедово, где Аннушка когда-то родилась, и добром сотворил он с ней то, что от испуга сотворил он с Аннушкой насилием в немецком рабстве.

Когда на рассвете другие работники-брахицефалы услышали предсмертные Аннушкины стоны и подошли поближе, то увидели на лице Аннушки счастливую неразумную страсть, какая возможна лишь в разгар брачной ночи. Такие случаи известны, описаны в медицине, и так иногда умирают от лихорадки в юные годы, когда измученное тело уносит с собой нерастраченные страсти.

(Продолжение следует.)

Илья ФОНЯКОВ

Пять стихотворений

Это кто глядит на нас?
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ.

К портрету Заболоцкого

1

Замкнут, бледен, чуть
печален,
Это кто глядит на нас?
Наилучших готовален
Сделал он себе запас,

Доброй ватманской бумаги
Закупил на много лет,
Ибо некогда в Карлаге[1]
Был чертежником поэт.

Думал: вдруг да пригодится,
Если выпадет такой
Случай — снова потрудиться
За конструкторской доской?

Суть подобного расчета
Всяк поймет,
кто там бывал:
Хоть не по сердцу работа —
Лучше, чем лесоповал.

Ведь не зря же в самом
деле
Глубочайшие умы
Зарекаться не велели
От сумы да от тюрьмы!

2

Говорят, что не на мага,
Что к богам свободно вхож,
Говорят, что на завмага
Чуть ли не был он похож.

Не дал Бог в неизреченной,
Высшей мудрости своей
Стати необыкновенной,
Романтических кудрей.

И плоды ночных бессонниц
Этот самый добрый Бог
От кликушества поклонниц,
Слава Богу, уберег.

Уберег от плоской моды,
Заседаний во дворце,
От начальственной дремоты
«С выраженьем на лице».

Только Слово, только строки
Нам в наследство отданы,
То загадочны, то строги,
То прозрачны, то темны.

Без надрыва и юродства
Повесть радостей и бед,
Наш патент на
благородство,
Как писал когда-то Фет.

Комиссионка

Не покупатель — гость
внимательный,
Брожу, гляжу, толкусь
в проходе.
Я знаю: царственный,
блистательный
Санкт-Петербург сегодня
в моде.
Увы, наследник града отчего!
Сиди хоть в антикварном
кресле, —
Какой же ты, помимо прочего,
Санктпетербуржец, милый, если

Прошел не светскую —
советскую

[1] Карлаг — Карагандинский лагерь.

Ты воспитания науку
И первым даме молодецкую
Свою протягиваешь руку?

Ты бреешься электробритвою,
Ты не обедал у Донона,
И все словечки далеки твои
От благородного канона.

Как ни красуйся, шею
вытянув,
Среди реликвий и реликтов,
Не только ты не Веневитинов,
Но даже и не Бенедиктов!

* * *

Не то чтобы особенно горжусь
Такой чертой своей, отчасти странной:
Быть не могу в «команде» постоянной,
В единомышленники — не гожусь.

Все время с кем-то в чем-то расхожусь:
То с Петр Сергеичем, то с Марь Иванной,
И по своей натуре окаянной
Ни с кем (ни с чем!) в итоге окажусь.

Вокруг меня шумят, уколы множат:
Тот — демократ, а этот — бюрократ,
Тот бородат, и этот бородат.

Но мысли странные меня тревожат:
Кто лучше, если оба говорят
«Сосиськи», «ходатáйствовать» и «ложат»?

«Чернуха»

В литературе и в кино — «чернуха».
Случаются на свете времена,
Когда постится именно она —
Вершина человеческого духа.

И вправду ведь: безвременье, разруха,
Бессмысленной жестокости волна...
Мы с юности усвоили сполна:
Искусство быть не может к жизни глухо.

«Но это все напишут без меня,
Достанет и талантов, и отваги,—
Бормочет кто-то, голову склоня
В уединенье над листом бумаги.—

Безумцем, старомодным назови —
Я сочиняю повесть о любви!»

Русская улыбка

(Семейный альбом)

Опять листаю толстые страницы.
Там ближняя и дальняя родня
Моих друзей. Улыбчивые лица
С любой страницы смотрят на меня.

Там всюду улыбаются: на пляже,
В компании, с собой наедине,
На слете, на экскурсии. И даже
На бруствере окопа на войне.

Никто не болен, не убит, не ранен,
У всех улыбка на лице светла.
Посмотрит — скажет инопланетянин:
«Какая жизнь веселая была!»

Саша СОКОЛОВ

Палисандрия

РОМАН

Не спалось и Виктории. А когда и спалось, то на редкость кошмарно. Главными действующими лицами кошмаров являлись: я, которого возводили на эшафот, и палач. Моля оказать протекцию, я всеми моими руками ветвился по направлению к ней, Виктории, а палач методически обрубал мне ветви коротким самурайским мечом. Я снова ветвился, а палач опять обрубал. И по желобкам на мече его струилась моя прозрачная кровь.

В надежде, что снищет поддержку в медицинских кругах, она пожаловалась светиле Припарко, но тот лишь откашлялся: дескать, а что вы хотите, старость — не младость, природа свое берет, периодикус климактерикус. И как-то так гаденько погладил ей ягодицу: Виктория проходила поликлиническую профилактику и в тот момент была без всего, потому что Припарко взвешивал ее на весах. Она отшатнулась — попятилась — и дала эскулапу неловкую оплеуху. «Стойте прямо,— сказал он ей.— Весы очень чутки». А когда осмотр завершился: «Недурно, совсем недурно. Полпудика, считайте, за лето долой. Так, маточка, и держать,— напутствовал он Викторию.— Не забывайте дружить с физкультурой, да и в иных отношениях не робейте. Дама вы, извините за откровенность, в соку, импозантная, так что вот так вот».

Посещение лекаря оставило на душе досадный осадок, и, выйдя из Пыточной башни, Виктории мучительно захотелось под душ — смыть невольный позор пытливых припарковских прикосновений, нескромных взглядов. И комплименты его, все эти «маточка», «дама в соку», «полпудика», тоже были ей гадки, однако каким-то загадочным образом и волновали, и вкрадчиво нежили, и т. д. И — странно, зачем он сказал — «не робейте»? В каком то есть смысле? И что это за и н ы е еще отношения? Минутами ей казалось, что она понимает, и что это за отношения, и на что намекал ей Аркадий Маркелович, но как только ей начинало это казаться, она инстинктивно отшатывалась от своего понимания и убеждала себя, что Аркадий Маркелович не мог намекать на подобные пошлости, что это она сама так испорчена, что понимает его слова в столь необычном ракурсе, что о нем и речи не может быть. Куда там! Весна ее беззаботных интрижек с кремлевскими сослуживцами мужа давно отзнобила. Они опустились, заделались типичными ремоли, а сама она подуриела, вылнняла, и заглядываться на нее практически перестали. Порою — с годами, впрочем, все реже — она пыталась вообразить, как ловко — как именно ловко — устроено все в этом ракурсе где-то в арабских странах, где можно за скромную плату прибегнуть к услугам каких-то растленных типов, причем совершенно инкогнито, не снимая чадры. Об этом ей сообщали посольские жены, поднаторевшие там во всех ракурсах. Но в Эмске, где она проживала безвыездно, отчего он казался ей страшно провинциальным, о всяких таких арабесках оставалось лишь грезить. Затевать же преступную связь с каким-нибудь телохранителем ей совершенно не улыбалось. Она презирала и челядь, и офицерство. Люди данных сортов мнились ей плебейски нечистоплотными. И в то же время казалось, что если она сойдется

О к о н ч а н и е. Начало см. «Октябрь» №№ 9, 10.

хотя бы с одним, то потом не удержится и захочет сойтись и с другим, и с третьим, и после покатится вниз — все куда-то вниз, по наклонной плоскости, по очереди вверяя себя всем из них. И уже не она будет их презирать, но — они, кобели и мужланы, запрезирают ее всей холуйской их сутью и, топча ее женскую гордость, как половую тряпицу, окажутся по-своему правы, ибо она станет им — как раба, как гетера. И грязь их войдет в ее плоть неотмывно, и она захлебнется в тине всеобщего порицания. Все это, разумеется,— говоря фигурально. А говоря вообще, Виктория опасалась, что ей не очень-то и нужны означенные отношения — с кем бы то ни было — что она теперь никуда не годится — что если ей подвернется все же вступить в них, то более двух-трех содроганий кряду она, вероятно, не выдержит — скиснет, и оконфузится, и будет посрамлена. Нет-нет, Виктория решительно не понимала, на что намекали ей Аркадий Маркелович и ему подобные; точнее, отказывалась понимать [1].

А жизнь выдвигала на авансцену все новые задники. На стороне моих «голубей»-хранителей выступили кремлевские феминистки, чьи передовые фаланги вобрали в себя наиболее преданных ему служительниц Аполлона, эмансипированных от бессмысленной верности импотентствующим мужьям лично мною. Воображаю, сколь яр и праведен бывал гнев феминисток, как накипало у них на сердце, когда они составляли очередную петицию в адрес моих ястребиных хулителей или воззвание к мировой общественности. Круги общественности откликались — апеллировали к главам своих многочисленных государств — а главы телеграфировали обратно в Кремль. Цепь замыкалась, спираль раскручивалась. Движенне за освобождение автора строк приобретало необходнмый масштаб, глубину дыхания. Последнюю ощущал я сам, получая сочувственные бандероли со всех концов поднебесной. Случалось, звучал флажолет, и на архангельский двор въезжала почтовая колымага, груженная отправлениями исключительно на мое имя. Я делался международной фигурой. Огорчало единственное обстоятельство: на бандеролях, которые я в своих сочинениях не раз рифмовал с бандерильями (дань эпохе разухабистого ассонанса), не было марок. Воспользовавшись бесправием адресата, их, верно, срезывали в одной из инстанций. Как бы там ни было, град критических реплик, несущихся с разных сторон, заставил моих притеснителей дрогнуть, смягчиться, и не далее как вчера, возвратясь ввечеру из Сената, супруг, подавляя в себе припадок мертвящей косности — даже и с некоторой, я бы сказал, моложавой лукавинкой в голосе,— объявил ей с порога: «Виктория! Ваша взяла!» И вынул соответствующее постановление. В нем, в частности, предлагалось: «По подписании упомянутым выше узником заявления о лояльности следствие за нехваткой улик похерить».

Словно бы взбалмошная курсистка, сорвалась Виктория ко мне в равелин, беременная благою вестью. И, летя в открытом кабриолете, ритмично вонзая вознице-телохранителю острие зонта меж плебейских его лопаток, она радостно узнавала знакомые с детства версты отцовских угодий и деревень с несколько покосившимися теперь плетнями. И нетерпеливо вертясь на пружинистом заднем сиденье своем — острием ли проросшей пружины, шершавой ли шляпкой обивочного гвоздя, ее заусенцем — нечаянно В. продырявила на себе нейлоновые панталоны. И не заметила. Наоборот. Орест Модестович, ведший Викторию вверх по лестнице так, как предписывали правила хорошего тюремного тона, а именно — слегка отставая, чтобы, если ей станет дурно и она станет падать назад, предупредительно ее поддержать,— Орест, говорим мы, Модестович Стрюцкий, наоборот,— заметил. Ведь, к сожалению, женская мода сегодня — а моде Виктория неукоснительно следует — не отличается максимализмом. Сказать напрямик, наотмашь, юбка Виктории — к сердцебиению всякого полноценного сердцееда — распахивала на удивленье широкие перспективы. Вдобавок в руке у Ореста Модестовича имелось заранее припасенное зеркальце, и, походя манипулируя им известным во всех равелинах образом, он легко уточнял неявственные детали викторианского туалета. И прореха ли на панталонах Виктории, особое ли устройство застежек ее чулочного пояса, своеобычный фасон ли разреза в шагу

[1] И напрасно. Ближайшее будущее покажет, что опасения Виктории были безосновательны.

тех же самых узорчатых панталон или все это вкупе — во всяком случае, что-то подействовало на воображение Стрюцкого столь, что ему самому чуть не сделалось дурно. Брезглив, он обычно не обращался к услугам перил — и правильно делал; но тут — тут его повело, покачнуло, и он обратился.

«Скрутить бы,— лелеял он невозможное, сглатывая слюну,— швырнуть бы ее, студенистую телку, на лестничный марш — вытряхнуть к чертовой матери из дорогого тряпья и, откинув через перила на сетку лестничного пролета, словно лапшу на дуршлаг, довести до овечьего блеянья, до поросячего визга включительно». Не чужд скотоложества, Стрюцкий для внутреннего пользования выражений не выбирал.

Ко мне постучали.

«Войдите!»

Вошла дебелая, расфуфыренная, напоминающая продавщицу разбавленного бочкового квасу. Раздались взаимные здравицы. Я сидел по-турецки на андалузском ковре и строил ацтекскую пирамиду. Лик мой украшала карнавальная полумаска гигаку из Токио.

«Что за пречудные кубики! — умилилась вошедшая.— Вам подарили?»

«Ах, если бы подарили, Виктория, если бы подарили! Дождешься ль подарков, когда кругом — себялюбие, эгоизм. Благодарение Богу, здесь сносная игротека. Только знали бы вы, до чего унизительно пользоваться казенным, чужим — чьим-то».

«Как мило он куксится,— мысленно залюбовалась гостья.— Смотрите-ка, у него совсем по-детски дрожит подбородок. О, сладкий! Такой весь крупный, а нюнится по пустякам. Да который же ему теперь годик?» — подумала эта пучеглазая дама с крупным, слегка отвисающим крупом на мощных ногах. Нет, она не могла припомнить. Верней, сосчитать. По одним из ее представлений я был вполне мальчуган; по другим — не вполне. Ей казалось, будто впервые она услышала обо мне чрезвычайно давно, приблизительно в детстве. Может быть, от отца, Феликса Феликсовича. А быть может, отец рассказывал не обо мне, а о Григории Александровиче, моем деде? Или о ком-то еще из легендарного рода Новых? Чтоб не запутаться в выкладках, она решила считать, что слышала обо мне еще в прежней жизни. И поразилась: «Вечный прямо какой-то. Извечный наш сирота».

«Я презентую,— сказала Виктория,— презентую вам кубики. Не грустите».

«Не тратьтесь-ка вы понапрасну,— сказал я ей, отворачиваясь к окну, за которым — в разрывах туч — голубело.— Не вводитесь в изъян. Я верю, вы — чуткая, славная, только кубики — не решенье вопроса. Подумайте — только кубики, кубики да и только. То есть, конечно, какой-нибудь ординарной личности достало бы и одних кубиков. Даже и за глаза. Но я — вы, верно, наслышаны о моем нездоровье — ведь я в придачу ко всем недугам страдаю не только комплексами превосходства и неприкаянности, а и синдромом максимализма. Я, понимаете ли, клинический максималист. И если у меня за душой ни гроша, если я гол как сокол и в долгах как в шелках, то единственно потому, что живу под девизами — не мелочиться! все или ничего! А иначе и смысла нет. Жить-то».

«Я понимаю,— заметила гостья.— Я, кажется, понимаю».

«Нет, Виктория, вы, кажется, не понимаете.— И отрицательно я помотал головой.— Вот вы собираетесь подарить мне кубиков. Что же, похвальное рвенье. И я всемерно приветствую ваш порыв. Приветствую и поздравляю. Но кто, извините меня, кто подарит мне все остальное — все те развлеченья и игры, которыми обречен я скрашивать свой досуг в сем узилище. Ведь не можете вы одна откупить все те сотни наименований, что выдаются в здешнем игралище. Ибо у вас есть супруг, и он, к сожалению, не допустит подобной прорехи в семейном бюджете. Я прав?»

«Увы,— вздохнула она потерянно.— Не допустит».

«Вот видите,— лишний раз подчеркнул я безвыходность ситуации.— Так что и впредь придется мне пользоваться казенным имуществом и делить развлечения и утехи с уголовными элементами — с презренным жульем. Правда, когда

я стрелял в Леонида, то был готов и к значительно худшим терзаниям, значительно».

«А — во имя чего,— сказала она и сделала какое-то неопределенное тело-движение,— во имя чего вы решились так осложнить себе — осложнить все на свете?»

«Не спрашивайте, голубушка. История — круговерть роковая. И лица, которых она выбирает себе в исполнители и творцы, как правило, не отдают отчета в своих поступках — ни себе, ни другим.— Я помолчал, давая ей время обдумать мной сказанное, и продолжал: — Любя Леонида почти как отца или брата, я тем не менее не раскаиваюсь в содеянном. Ни о чем не жалеть! — вот другой из моих несменяемых лозунгов — а? Восприсядьте, к чему стоять».

«Значит,— Виктория обнажила в оскале два ряда отличных зубов на присосках и села напротив меня в глубокое кресло, вульгарно расставив ноги,— так значит...»

«Прикройтесь, пожалуйста,— указал я гостье на нечто вроде шотландского пледа, складчато ниспользавшее с подлокотника на пол.— А то все видно».

«Простите,— изобразила она фигуру смущения.— Я думала, вам безразлично».

«Мне было бы безразлично, если бы вы не годились мне в бабушки. Ибо вы вряд ли себе представляете, как тревожит меня возрастная пропасть, которая пролегла между нами».

«Значит, вы — фаталист?» — закончила она, наконец, повисшую мысль, зло сдвигая колени и набрасывая на них плед.

«Я — безотчетный солдат истории, дорогая Виктория. Не рассуждать! — вот мой четвертый девиз. И хотя мне, по-видимому, предстоят танталовы муки Сибири, копи да рудники, а может, и худшее, вы напрасно рассчитываете, что я раскаюсь и подмахну вам свое заявление о лояльности, или — что то же самое — прошение о помиловании. Не правда ли, вы приехали с этим?»

«Невероятно! Откуда вы знаете?»

«Элементарное ясновидение. Разве вы не слыхали, я был тем самым учеником Вольфа Мессинга, которого он воспитал себе в педагоги?»

Виктория ахнула. Тогда я добавил, что знаю также, что ежели не подпишу заготовленное заявление, то меня еще долго, а то и совсем никогда, не выпустят, что, конечно, печально, однако идти против собственной совести — удручительней втрое. «Никаких уступок такому правительству, которое занимается вымогательством у своих заключенных!» — я выкрикнул, будто из зала.

Просительница огорчилась. Отказ мой сотрудничать значил, что международный скандал остается в повестке дней и феминисткам Кремля предстоят дальнейшие хлопоты. Мне стало:

а) По-человечески жаль эту добрую многодетную мать.

б) Очевидно, что не принять в ней участия было бы с моей стороны нелюбезно.

. С другой стороны (в данном случае — двери), причисляя Стрюцкого к любопытствующему человечеству, я представил бы на отсечение все что угодно, что тот подслушивает, а то и подсматривает за нами. Не знаю, что сделал бы на моем месте грядущий Биограф, но я предпринял довольно-таки далеко идущий маневр.

«Мне кто-то сказывал, вы с мужем коллекционируете канделябры»,— небрежно бросил я ей.

«Да,— сказала Виктория.— И гобелены».

«Да гобелены-то что, гобелены — дело такое, одиннадцатое. Вот канделябры — это я понимаю. У нас тут, кстати,— точнее, не тут, а там,— и я указал вторым безымянным пальцем в сторону опочивальни,— наличествует экземпляр византийной работы. Трофеец, по-видимому. С басурманской еще кампании. Вашего, полагаю, пращура приобретение. С виду вроде бы так — обыкновенная жирондоль, а поставишь ее вот эдак-то, на попа,— канделябр канделябром. И музыка слышится. Как из шкатулки. Миньон, главным образом. М-м, да пара мазурок. И пары — пары, знаете ли, турнюры — интернациональные авантюристы — князья — виконты — и свечи — свечи — и тюль — рюшь — розетки — и мармелад в бонбоньерках — и блестки тебе — и маски — и вензеля на ложках — а дамы все в мягкой рухляди — в перьях — в духах — шарман — прелестно — и будто бы пожалует императрица — а слухи о паровой машине роятся все пуще — разносятся выражения р е в о л ю ц и я, и н ф л у э н ц и я, с о л и т е р — а из кареты вышагивает глашатай — вышагивает, донося, что в Тамбове фрустрируют суфражистки — все в ужасе — губернатору дурно — отверженная любовница выплеснула в лицо своему улану бокал царской водки — переполох — но подают уж суфле — потроха — жаркое — звенят хрустали — полетели на кухню за уксусом — кто-то крикнул вдогонку: «Лакрицы!» — а гнусный — гнусавый— едва ли не педерастический голос Победоносцева передразнил: «А мокрицы не хочешь, каналья?» — а тот ему дурака — дурака в ответ — дурак вы, говорит, Ваше Сиятельство, круглый — и душно — душно — годы реакции — декаданс — акмеисты — вся социял-оппозиция по каторгам кашляет — а лакеи лакают ликеры и лепечут друг другу стихи о Прекрасной Даме — и все это галопирует, кружится, даже несется — несется в тартарары, подбоченясь: прогуливают — пропивают бабушку — Русь на фу-фу — эх, шантрапа, понимаешь,— и в слезы — в слезы, — пуль, говорит, на них жалко. И прочие сантименты, и прочие. А? Так что же, Виктория,— полюбопытствуем? Изящнейшая, смею уверить, вещица, истинный раритет».

Мы поднялись. Галантно, как кастаньетами, хрустнул запястьями и пропустил коллекционерку вперед. Сам двинулся следом. Сейчас, рассматривая Викторию сзади, я думал, что Стрюцкий был по-своему прав: ее юбка, задравшаяся, будто балетная пачка и будто так же почти ничего не скрывавшая, выглядела верхом и образцом неприличия. Но странно: хотелось не столько одернуть ее, сколько сдернуть совсем -- хищно, резко, как лобный официант сдернул некогда скатерть с обеденной плахи. И только восхитительное самообладание удерживало меня от соблазна. А ноги, обутые в туфли на «шпильках» и облаченные в розовый фильдекос с черным швом, Виктория ставила эдак циркулем, тупо, носками внутрь, что тоже выводило из равновесия. И, вступив за нею в опочивальню, я щелкнул английским замком. Западня захлопнулась.

«Ну-с, Виктория, вот мы и у цели. Теперь предадимся безумству. Пора!»

«Ха-ха-ха-ха-ха!» — развеселилась она нервически и попудрила себе нос.

«Напрасно вы так реагируете»,— строго глянул я на нее из-под надбровных дуг и расстегнул на себе ряд пуговиц.

«Но послушайте,— проговорила Виктория неуверенно.— есть же, по-видимому, какие-то нормы, рамки».

«Есть экзистенс, Виктория. И хотим мы этого или не желаем, он предъявляет нам с вами достаточно жесткие требования. Выполнить их — наша задача».

«Да, но видите ли»,— упрямствовала она, чувствуя, как остатки ее старушечьей чести гибнут в приливе желания.

«Никаких, свет мой, но. И, пожалуйста, поторопитесь. В нашем распоряжении,— я вскрыл брегет,— только два, от силы — два с половиной часа до полдника».

«Вы обещали продемонстрировать канделябр»,— пустила она в ход подевичьи вздорную отговорку, сама, вероятно, не понимая, зачем тянет время.

Тогда я поглядел на Викторию так, что вся она подернулась зябкой гусиной кожей. И, осознав, что я все равно раздел ее этим взглядом, она со словами «Ах, дайте очки-то хоть снять!» принялась раздеваться.

«Очки не снимать. Туфли с чулками — тоже. А это — долой. И это И то».—Я был отрывист и лапидарен, словно на линии фронта, огня.

«Господи, сплошная морока с этими сиротами»,— смущенно брюзжала Виктория, выполняя мои приказы. Но интонации выдавали довольство: мое внимание к ее туалетам ей, безусловно, льстило.

«Что-что? Э-э, приспустите». И мысленно сформулировал пятый девиз: «Обнажать, но со вкусом». И рек ей: «Довольно. Все остальное оставьте. Мы ведь накоротке, по-тюремному».

Виктория стояла у изножья кровати, трепеща всею сутью отлично разношенного семидесятилетнего тулова.

«Прилягте»,— кивнул я на ложе, откупоривая флакон с L'eau de rose.

«Постойте, мне страшно. Мне кажется, мы преступаем какую-то грань,— опять заколебалась Виктория.— Давайте пересилим в себе животное, низменное, останемся просто друзьями».

«Просто друзьями мы останемся несколько позже, post factum. А покуда считайте, что мы и друзья, и враги, поелику контус есть не только единство, а и борение противоположностей».

«Так молод,— мелькнула в ней бесполезная мысль,— а уже философ».

Откинув ее через низкую спинку на сетку кровати, словно лапшу на дуршлаг, я умело и долго лелеял и нежил ее. Коллекционерка изнемогала. Полуда желания заволокла ей очи, однако держалась она еще скованно. Ей, видите ли, было неловко, что я, которого она помнила совершенным ребенком, обхожусь с ней столь своевольно, хотя если б кто-нибудь в ту минуту спросил, а как должно с нею теперь обходиться, она, не сумев солгать, ответила бы, что так лишь и должно.

«Расслабьтесь, вы ведь не у Прнпарко»,— подбодрил я ее шуткой.

Виктория улыбнулась. Оскал ее был лошадин. Сравнение это виделось тем паче удачным, что тупоносые туфли из кожи единорога, плотно сидевшие на ступнях ее, отзывались копытами.

Конструкция моей невольничьей койки, поза и месторасположение пленницы позволяли исполнить задуманное в состоянии стоя и не прикладая рук. Расстегнув на ней корсет, я счел все приготовления законченными и расстегнул на себе последний ряд пуговиц.

Виктория вострепетала. Однажды, тайком от мужа просматривая в крепостном театре заграничное женское синема, Виктория обратила внимание на зизи одного негритянского юноши, вероятно, героя картины. Ни до, ни после не видела она ничего подобного — ни у кого. Впечатление усугублялось тем, что юноша ехал верхом на белом слоне и кушал банан. Вид его наготы был одновременно ей омерзителен и приятен. Он волновал, носился в уме, погружая в роскошь греховных иллюзий, существенными моментами коих являлись так называемые ею бананы любви, или хоботы неги; являлись — и были огромны. Но то, что Виктории посчастливилось лицезреть теперь, наяву действительно бытия, превзошло даже самые смелые грезы. Ближайшее будущее предстало ужасным. «О,— панически заканючила эта бесконечно славная женщина.— О».

«Не дрейфь, маманя,— сказал ей т о т голос, который она приняла за мой, а я, как обычно, за внутренний.— Старый конь борозды не испортит»................Чувство неловкости отлетело, и ощущение небывалой раскованности захлестнуло Викторию волшебным цунами. «А, вот, по-видимому, на что намекал Аркадий Маркелович,— слаботускло подумала она, погибая в стремнине чувственного ненастья.— Только зачем же он не сказал прямо? К чему выражаться двусмысленностями, вечно недоговаривать, как бы стесняясь? Нет-нет,— декларировала она,— это вовсе не стыдно, не пошло, это — пленительно! Нет, хотя отчасти и да. Эфемерно? Да, но вместе и нет. Экстатично? Безумно? О да, разумеется, только не это главное. Главное — это то, что это — естественно. О, как предельно естественно это, Аркадий Маркелович, как запредельно, как — О! — идеализировала она ситуацию.— О! — осознавала она исступленно — О! — говорила — шептала — выкрикивала — трубила Виктория — О! — изнывала — О! — мыслила и осязала она всеми фибрами своего междометия — О! — сокращалось оно конвульсивно — О! И сапфировые — и подчеркивая прихотливый ритм блудодейства, раскачивались у ней в ушах и позванивали своими серебряными колокольчиками музейные черного жемчуга серьги, знакомые мне со времен Очакова, покорения Крыма и пресловутого ménage a trois в непревзойденном пока составе: императрица Екатерина, князь Григорий Потемкин и Ваш покорный [1]. Но не они занимали ныне мой ум и воображенье.

[1] Позднейшее примечание. Как-нибудь, устраниашись от бразд правления, я напрягу остатки своей позапрошлой памяти и составлю для Вас мемуары орловского

Покуда мальстрем сладострастия все носил Викторию по своим кругам, я неспешно осматривал ее достопримечательности. В целом Виктория почти соответствовала моему идеалу. Ведь была эта ныне светская львица, а некогда — записная кокотка, по-своему и хороша, и опрятна, и тихо цвела тем небросским, припудренным цветом солидной и обеспеченной старости, который неопытные юнцы принимают обычно за предлетальное тление, а эстеты, ценители, истые бонвианы почитают единственно стоящим. Так настоящий гурман никогда не закажет себе в трактире свежего судака или карпа, а всегда предпочтет ему рыбу «духовного звания», т. е. с душком. И если что-то коробило меня в ее облике, то это был по старинке, небрежно завязанный архангельской повитухой пупок, что глядел довольно аляповато и походил на вышедшую из моды пуговицу. И еще: каблуки ее туфель, которые оказались ей очень к лицу, оказались и очень стоптанны. «Вы что же подковки не ставите вовремя,— пожурил я ее посыновьи.— Неправильно это, обувь надо блюсти в аккурате».

В ответ В. прошамкала что-то невразумительное. Свидетельствуя, как из крупной зыби ее регулярно бросает в мелкую дрожь и обратно, я не посмел настаивать на четкости артикуляции: там, где царит бесшабашная близость, где хлынула неподдельная искренность, места ложным красивостям нет. «Мямля вы этакая»,— только и вымолвил я.

И вдруг — совершенно случайно — взгляд ее падает на потолок... В зеркалах его она видит свое отражение. Сокращаясь, и прядая, внясь, В. напомнила себе неосторожную жирную гусеницу, что однажды сорвалась с высокого вяза в Тайницком саду и, упав в муравейник, оказалась изъязвлена муравьями донельзя. «О, как я пала, должно быть, в его глазах,— засокрушалась старуха.— Он, верно, думает теперь обо мне ужасные гадости. Думает, что я какая-нибудь шлюха, дрянь. Он, по-видимому, совсем не уважает меня, и, быть может, я напоминаю ту гусеницу и ему. О Господи, неужели и он помнит то утро, сыроватое после грозы — после бури. Случилось так, что мы почему-то гуляли. Наверное, захворала Агриппа, и попросил меня покатать Палисандра в коляске. Я согласи-

скакуна Е. В. Императрицы Российской, в шкуре которого мне довелось побывать в одном из предшествующих преображений. Задуманная эпопея охватит последнюю четверть печально известного восемнадцатого столетия. Ретроспективно переосмысленная и наполненная событиями большого социально-политического звучания всклянь, четверть эта предстанет пред моим благодарным читателем в резком, трагическом свете личных переживаний любящего жеребца. «Воровать — так миллион, а любить — так королеау»,— говаривал князь Григорий, торжественно ведя меня под уздцы в манеж, где в специально обставленных яслях — ася пыл — ждала нас наша возлюбленная... Такою мне видится первая фраза будущих воспоминаний. А далее воспоследует остальная книга. Порывисто, ярко, но без каких бы то ни было стрюцкостей я изложу в ней, как все это было в действительности, как нам нравилось то, что мы делали, как все трое мы дорожили друг другом. Так дорожили, что спальники и конюшие, подсматривавшие за нами в замочные скважины — за что и не сносили голов, — только диву давались. А после гибели князя Григория в Бессарабии октября не установленного точно числа семьсот девяносто первого года мы стали с Катрин Алексеевной совсем неразлучны и утешали друг друга чем только могли, как умели. И разлучила нас лишь безвременная ее кончина. Спалив себя самое в очередном неуемном посыле на алтаре нашей необузданной страсти, царица оставила меня безутешным. К тому же сделалась судебная волокита: скакуна обвинили в смерти хозяйки. Когда бы он был не тайный любовник, а тайный советник или подобно князю — фельдмаршал, то просто вывели бы в отставку да лишили б наград. Но поелику он не служил и особых заслуг пред Отечеством не имел, а за все бескорыстные хлопоты не снискал от Катрин Алексевны ни пенсиона, ни деревеньки, то лишить его, кроме как живота его, было нечего. Судьба моя была решена. Чистокровного рысака, сына своих мировой знаменитости матери и отца — Лисы и Патлатого,— за буквально пригоршню кислых, если лизнуть, медяков отвели меня в немецкую слободу, на живодерный завод. Было больно. Судя по отысканиям архиварнусов нашего хронархиата, участь останков моих сложилась по-русски плачевно. Из чалой в яблоках шкуры выделали пару сапог. На Покров сапоги обновили: отправились в них на радостях в храм, а оттуда, покаявшись и не переобуваясь,— в кабак. Где и пропили. Скелет же свезли на главный санкт-петербургский скотомогильник, прозванный почему-то Литераторскими мостками. Зарыли по всем предписаниям на должную глубину, однако вешние воды восемьсот девяносто седьмого года размыли захоронение. И вот уже в конском черепе, что беспризорно валяется где-то в полях, в предвкушении следующего Олега свивает себе гнездо молодой василиск. Нет покою и надкопытным суставам. До первых звезд заигрывается ими бездумная пригородная холостежь в свои немудрящие бабки (род уличного развлечения, нечто среднее между городками и свайками). «Что, однако же, сталось с мясом и потрохами?» — допросит нас кровожадный Биограф. Чутье не обмануло его: их отправили черемису-колбаснику. Колбасы, говорят, из меня получились дешевые, постные, но отменных статей, и вдовы, монашенки и солдатки, соблюдавшие брачный обет, расхватали товар в два счета. Правда, это совершенно отдельная тема, хотя и она ожидает своих кропотливых исследователей и менестрелей, тем паче, что мемуарами тех колбас мы, к несчастью, не располагаем.

Словом, серьги, которые раскачивались сейчас в ушах Виктории, раскачивались когда-то в ушах у первой дамы государства российского, хотя и в довольно аналогичных случаях. И несмотря на то, что миновало два века и несколько воплощений, я не мог не узнать те очаровательные побрякушки.

лась, и мы гуляли по внутреннему периметру — вдоль стены — и считали башни. Считать он уже умел. Включив Кутафью, мы насчитали ровно двадцать одну. И возле Второй Безымянной увидели длинное и мохнатое существо — в сыром — после страшной ночной грозы — муравейнике. Неужели он помнит?»

Я помнил. Я навсегда запомнил то утро, и количество башен, и янтарную гусеницу в муравейнике: она извивалась. Мне было прекрасно видно ее из моей колесницы. И именно там, возле Второй Безымянной, глядя на корчи несчастного насекомого, я дал себе слово, что когда-нибудь, когда подрасту и представится случай, я поступлю с тетей Викой так, чтобы она сокращалась и мучилась наподобие этой гусеницы, ибо я испытывал к ней, тете Вике, некую безотчетную тягу. Случай представился, и я сдержал свое слово.

«Я пала,— все сокрушалась Виктория, сокращаясь.— Я сорвана бурей страсти, совращена. А после разрыва, когда мы останемся просто друзьями, он будет рассказывать грубым тюремным приятелям, как он взял меня тут, на голой кроватной сетке, распяв, и как я почти не владела собою, вела себя бесхребетно, безвольно, ползла, извивалась. О, я преступница, я сошлась с малолетним, ну, разве так можно. Хотя я же ведь ничего не могла поделать с собою — мне так хотелось — хотелось его успокоить, развлечь — о, ничего ровным счетом. Я только медленно млела — парила — реяла. Я реяла по течению ветра — о! — не лучше ли умереть. В сыром — после страшной грозы — саду».

И словно бы прочитав ее мысли, точнее, не словно бы, а именно прочитав, возражал: «Я знаю, Виктория, смертельное манит. Но вы — вы не смеете предаваться минутным позывам. Вы — мать семейства. У вас на руках и внуки, и муж. Вы не смеете. Нет! А помимо того, как могли вы меня заподозрить в неуважении человека, который десятками лет меня старше? Разве я оставляю у вас впечатление худо воспитанного? Уж вы не расстраивайтесь понапрасну. Крепитесь, право. Ведь я уважаю вас — глубоко уважаю» [1].

«Глубже некуда,— съерничал г о л о с. И, подумав, добавил: — Мадам положительно в мыле». Голос опять показался мне внутренним, так что я снова не обратил на него внимания, несмотря на неслыханную вульгарность высказывания. Верней, обратил, но я не располагал ни собою, ни временем: срок очередной разрядки моей напряженности подкатил — и меня передернуло.

Когда-то, в каком-то из прежних детств, когда я заигрывал на царской конюшне с хорошенькой пони, она, строптивая, как министерша, лягнула меня в анфас, навсегда оставив на нем эмоцию нескрываемого удивления. Контузия послужила также причиною челюстного тика [2], что проявляется лишь в минуты сладостного содроганья. Поэтому выражение «меня передернуло» здесь и далее следует понимать не только как эвфемизм для обозначения этих минут, но и как упоминание о моем застарелом недуге. Симптомы его таковы, что я как-то весь вскидываюсь, трепещу, мотаю, знаете ли, головой и наподобие собаки, пытающейся поймать близжужжащую муху, клацаю челюстями.

Кульминация развивалась лавинообразно и в принципе оставляла благоприятное впечатление. Я получал удовольствие. Блажен дерзновенный узник, что несмотря ни на что принял посильное участие в славной женщине, благосклонно познав ее.

Яростно сопереживая проистекавшее, Виктория предавалась мне без остатка. Рыхлая рухлядь ее телес кипела и сотрясалась под действием моих безустанных чресел, как сотрясается и кипит августовская яблоня под ударами дере-

[1] Позднейшее. Случалось ли Вам, между прочим, иметь возвышенные отношения с престарелыми, которых после не стало? Не правда ли, как остраненно смотрятся они на смертном одре или в анатомическом театре, где у Вас абонирована персональная ложа: вольноопределяющийся студент. Вы и там проходите свою погребальную практику. «Неужели,— мыслите Вы, поглаживая знакомые, но слегка задубелые ткани,— неужели это и есть та самая Нина Петровна или Полина Семеновна, что — не вечор ли! — тайком от прислуги питала к Вам, по ее уверениям, чисто материнские чувства и, отдаваясь, кряхтела прочувствованно и сердобольно: «Сиротка — малютка — дитятко — благодарю вас!» «Оставьте, чего там жантильничать»,— холодно Вы бросали покойной. И странно, припомнив все это, и рассеянно глядя на полки, где в банках дрезденского стекла заспиртованы жертвы абортов и разные экзотические полипы и опухоли, сказать засучивающему рукава прозектору: «А ведь славная ушла от нас старушенция».

[2] Не путать с тик-таком.

вянных кувалд, широко применяемых сборщиками плодов в некоторых районах Андорры [1]. А вот, если угодно, более возвышенное сопоставление. Будто рыба об лед билась она в волнах безутешного счастья.

«Рохля рохлей, а дело-то знает туго»,— уловил я внутренний голос знакомого, но на сей раз определенно не моего тембра.

Я оглянулся. Окно за моею спиною зияло врасплох. Там, снаружи, на небесах, творился рафаэлевский полдень, а на ветвях болконского дуба, упомянутого здесь в позапрошлый четверг, качалось до эскадрона морской кавалерии Стрюцкого. Худошеея, со щетинистыми кадыками, с морским коньком на кокардах пилоток, охрана оккупировала все стратегические развилки и, в упор соглядатайствуя за нашею процедурой, завистливо онанировала. Удобнее прочих устроился сам Орест. Он сидел на ближайшей по отношению к окну развилке и, чтоб не терять равновесия, опирался на подоконник локтем.

«Что, на медок потянуло? — воскликнул я, кривя себе рот.— На клубничку? А ну — не похабничать у меня!»

Натужные физиономии зрителей желудями сорвались вниз.

«Пошляки, понимаешь! — неслись им вдогонку мои укоры.— Хулиганье!»

Я хотел уже было дать занавес, то есть задернуть оконные шторы, когда опять заметил Ореста, из чего сумел заключить, что он не последовал за подчиненными, а лишь изобразил фигуру отсутствия и продолжает удерживать наблюдательный пункт.

«А вы отчего не прыгаете? — неприязненно покосился я на него.— Разве я сделал для вас исключение?»

«Умоляю, сделайте — сделайте милость, не прогоняйте!» — Орест говорил еле слышно, с несвойственной ему прежде жандармскою хрипотцой.

«Говорите отчетливей».

«Не могу,— отозвался Стрюцкий.— Я выпил вчера холодного пива на теплом ветру и схватил воспаление глотки. Я беспощадно простужен. Так что — позвольте, позвольте уж досмотреть. В порядке интеллигентного снисхожденья к больному. Мне дьявольски любопытно. Вы знаете, я ведь тоже большой поклонник Виктории. Я уважаю ее, уважаю. И я даю вам слово русского офицера, что все, имеющее происходить в данных стенах, останется исключительно между нами. Договорились?» Он был изумительно жалок.

«Черт с вами,— сказал я Оресту Модестовичу, бравируя собственным великодушием.— Досматривайте, вуайер несчастный». И обратился к прерванным хлопотам.

«С кем это вы сейчас говорили?» — из дебрей плотского бреда спросила В.

«Не обращайте внимания.— Я возражал, снова рея на грани прекрасного.— Это просто ошиблись окошком». И сызнова меня передернуло. Виктория отвечала всемерно.

«Феерия!» — внутреннее заорал Орест. Если ранее подпоручик использовал подоконник лишь как подлокотник, то ныне он уже восседал на нем, и я мог видеть Ореста прямо перед собой в качестве отражения в псише.

Свершив последние содроганья, я спрятал щупальце мести в гульфик, дал тем самым понять, что аудиенция завершена. Дал и занавес. Намеченный план был выполнен. За два с половиной часа я успел разрядиться количество раз, соответствующее числу кремлевских башен, включая Кутафью: двадцать один. В память о нашей давней прогулке. В память о съеденной муравьями гусенице.

Нехотя, ибо ей хотелось еще, Виктория принялась одеваться. Оттиски кроватных пружин на спине ее запечатлелись, точно стигматы — навеки. Впрочем, так только казалось. Я знал, не успеет она добраться до Боровицких врат, как на теле ее не останется никаких улик, кроме потертостей паха.

«А знаете,— она перестала вдруг одеваться,— знаете что?»

«Что, сударыня?»

«Мне, разумеется, неудобно просить вас об этом, и я ни за что не желала

[1] В ряде случаев такие кувалды используют и при сборе гусениц, приносящих садам исключительный вред.

бы нарушать ваших планов, но если вы нынче не слишком заняты, то отчего бы нам не продолжить».

«Ишь, разохотилась!» — послышался внутренний комментарий Ореста. А я замечал ей: «Теперь невозможно, Виктория. Уж как-нибудь в другой раз. У меня на сегодня куча посудохозяйственных дел. Да и полдничать время. Тюрьма, как говорится, тюрьмой, а перекусить-то не грех, даром что кухня у нас тут премерзкая. Острое все, да мясное, да под вином, а у вас-то, я чай, диета, так что даже и не приглашаю, не обессудьте. Вообще я на вашем месте давно бы на зелень подножную перешел — легкость необыкновенная. Да и слизи не выделяешь. Вы, кстати, не видели мою запонку? — отскочила каналья».

«Бездушный,— сказала Виктория. И, подумав, добавила: — Пунктуал».

«Возможно, возможно, не отрицаю. Правил я действительно строгих, и даже весьма. Однако ж на пунктуалах, поверите ли, свет стоит. Пунктуалами, матушка, земля держится. Потому оскорбление ваше— мне как бы и не оскорбление вовсе, а вовсе наоборот, будто вы меня похвалили за что-то. Дескать, сердечное вам, Палисандр Александрыч, спасибо за все то хорошее, что вы мне сделали, не постояв за своим драгоценным временем. Только разве от вас дождешься подобного. Вы — эгоцентристка, любовь моя, эгоцентристка до мозга костей и заботитесь только о получении удовольствий. Да вам ведь, наверное, все равно. Боюсь, вы и не подозреваете, сколь безупречен, светел и по-хорошему прост человек, с которым вы числитесь в браке».

«Прост, как мычанье»,— выдернул Стрюцкий из Маяковского.

«Увы, супруга понять вам, по-видимому, не дано,— укорял я гостью.— Ибо вы не живете его интересами, милочка. Вы живете своими, до неприличия узкими интересами, не гнушаясь при том ни флиртом и ни адюльтерами. Что отнюдь не делает вам, сударыня, честн, пусть эти флирт и адюльтеры имеют по преимуществу место лишь в вашем воображении».

«Подайте мне радикюль,— сказала Виктория.— Там платок».

«Нате,— сказал я ей, подавая.— А главное — главное, вы дико неблагодарны, мой друг. Просто дико. И если бы я наперед знал об этом, то ни за что не стал бы оказывать вам сегодня такого изысканного уничижения. Т. к. вы попросту не заслужили его. И пусть,— ветвисто жестикулируя и целиком отражаясь в псише, закруглял я филиппику,— пусть с вашей, голубушка, стороны все происшедшее было лишь фарсом, игрой, лично я никогда не пожалею о нашей близости. Одним словом — желаю здравствовать».

Она пустилась рыдать — объясняться — клялась мне в искренности. Я не поверил. «Оденьтесь же наконец,— сухо бросил я ей комбинацию. И, выпроводив из камеры, препоручил коридорному: — Свиданье окончено. Препроводите». Ведомая им по направлению вовне, она обернулась: «Минуту, а канделябр? Вы обещали продемонстрировать канделябр!»

И вновь поразился ума я ее благородному практицизму. «Не лукавьте,— сказал я коллекционерке.— Ту жирондоль вы уже видели. И даже приобрели. Правда, то было скорее всего не нынче, не здесь и не обязательно с вами, но, как выражается наша замечательная молодежь, сие суть колеса, детали. Так ли уж важно, с кем именно это было, если это случилось в принципе. Что вы там, понимаете ли, уткнулись в два-три измерения, будто в стойло. Встряхнитесь, взгляните на вещи свежо».

И мы дружно расхохотались. Я — весело, философски. Витория — исступленно. Засмеялся и коридорный.

«А вы что смеетесь?» — полюбопытствовал я.

«За компанию»,— молвил он.

«Тогда продолжайте».

И меж тем, как он поступал так, лицо его было типичным лицом архаического недоумка, энтузиаста двадцатых — тридцатых годов. В коридоре было тюремно, сумрачно, и утверждать, что этот дежурный субъект в полуботиниках со шпорами не есть успевший преобразиться Стрюцкий, я бы не взялся.

Тогда я взглянул на Викторию: растрепанная, воспаленная и одутловатая,

та всем своим обликом питала к себе у меня высокое и мучительное безразличие. И смятенной походкой использованной Боварн удаляется к лестнице.

Всенепременно печальны бываем мы — звери, растения, насекомые — после коитуса. Даже природа в обличье плакучей болконской рухляди, соболезнуя мне и кручинясь, в безветрии уронила руки ветвей.

(За штопкой.)

Что в имени мне есть моем? Что имя? Просто звук?
Кимвал бряцающий иль некий символ смутный?
Мне имя — Палисандр. С ним свыкся я давно,
И всюду я ношу его с собою.
Браню подчас, но более хвалю:
Любезно мне сие букаотворенье.
Я — Палисандр; с именем таким
Я чувствую себя благоприятно.
Мы двуедины и созвучны с ним.
Но дерево ли я? Навряд ли.
Так персонаж, по глупости своих
Родителей что Львом зачем-то назван,
Отнюдь не лев. И Петр — не камень ведь.
И масса суть таких несоответствий.
И все-таки в те дни, когда, как перст,
Один в безветрии стоишь ты в хлебном поле
И, руки уронив, глядишь окрест,
Случаются событья, что колеблют
Твою уверенность. То бурундук
Тобою скачет вдруг до ночи,
То ворон вьется вкруг —
Очи ли выклевать,
Гнездо ли свить все хочет.
И мыслишь озадаченно: «Кто знает,
А может, ты — и дерево: бывает».

(Размышляя об имени.)

Безоружных, ворона нас подпускает столь близко, что кажется, можно пересчитать ей все перья. Но только вы наклонились за камнем — уходит в паренье. Не тоже ль и муха? Достаточно вам потянуться за мухобойкой — летунью словно сдувает. Взвившись, она приземляется в полной недосягаемости и начинает сучить передними лапками, предвкушая скорое возвращение к вашей трапезе. Кто внушает этим животным хитроумность Улисса? Зачем они вообще существуют? Ответ однозначен: дух дышит где хочет. А там, где те же самые мухи, оседлывая друг друга, теряют всякую голову, так что их с легкостью ловит полный младенец, там дышит обыкновенная похоть — одышливо, хрипло, словно как загнанная борзая.

(За скромной вечерей.)

Сижу, размышляю. Вбегает Андропов.

«Пляшите, Палисандр Александрович, вам — бандероль: бельведерская бонбоньерка!»

Я покосился. «Послушайте, Юрий Гладимирович, а вы не находите, что на пакете чего-то недостает?»

Андропов замялся. «М-м, да видите ли, я ведь филателист».

«Филателист, генерал,— молвил П., укоризненно глядя поверх пенсне, завещанного ему дедоватым дядей,— филателист есть прежде всего человек со щипчиками, с пинцетом, то бишь личность отчаянной щепетильности, чести. Это, если хотите, герой эпохи. Согласны? Вот я, например; тоже, в общем-то, филателист. Однако я не соскабливаю марок с чужих бандеролей, я — чист».

Молчание Юрия было смущенным.

П. продолжал. «Конечно, я понимаю, вы офицер увлекающийся, фанатичный, даже, может быть, маниакальный. И слава Аллаху, Бог в помощь! Но должно ли доходить в своем увлеченье до анекдотизмов. И ладно бы два-три раза. Так нет, вы — теперь я уверен, что это вы,— соскабливаете марки со всех бандеролей, что мне сюда поступают. А — под каким, хотелось бы осознать, предлогом-то — а? Нравственная цензура? Согласен, имеете право. Имеете все права и обязанности, вменяемые вам службой. И я при случае готов написать в Опекунский совет рапортичку, что так, мол, и так — с обязанностями справляется удовлетворительно. Хотя, к чертям, разумеется, рапортичку. Принесите мне книгу жалоб и предложений, и я прямо при вас занесу в нее благодарность и вам, и руководи-

мому вами совету за то, что вы оба так четко и плотно опекаете меня от растлевающего влияния Закордонья. Но, милый мой дядя Юра! Где взять мне столько святой наивности и надежды на лучшее, чтобы уверовать, что буквально все поступающие из сторонних держав почтовые знаки содержат порнографический или иной унижающий отроческое достоинство подтекст?» И еще я сказал ему сильно и нежно: «Вы,— сказал я ему,— должны обещать, что подобное не повторится. Я тоже более или менее человек, и человеческое, извиняюсь, мне тоже не чуждо. Мне, может быть, тоже охота полюбоваться на козочек».

«На которых?» — спросил Андропов.

«Ну, как это на которых, Юрий Гладимирович, как это на которых! Да на тех, что на марках печатают: козочки там, овечки, пони. Животный мир, он ведь такая отрада!»

«Я больше не буду»,— поклялся, употребив часовщический пасс, дядя Ю. Он был понимающ.

Письмо, извлеченное мною из бонбоньерки сусального серебра, в частности, сообщало: «О, незнакомый, о, возлюбленный внук мой!»

«Не бубните, читайте отчетливей»,— попросил Андропов.

«Вы разве не ознакомились?»

«Исключительно мельком».

«О, возлюбленный внук мой!» — повторил я понравившееся.

«Не томите»,— сказал дядя Ю.— «Время каплет».

Заметив ему, что, имея контакт со мной, следовало бы воздерживаться от императивного наклонения и не пытаться меня понукать, я высказал предположение, что Юрий Гладимирович, по-видимому, забывает, кому из нас прислан текст, и позволил себе напомнить, что текст прислан мне, которому предстоит годами — буквально годами — селиться с его составительницей под единой кровлей, деля хлеб да соль, что дает мне известное право вчитаться в полученное всесторонне, используя все доступные методы, не исключая графологических. Не преминул я высказаться и относительно времени. Я указал, что время, о котором он, генерал-генерал, столь печется, что оно ему вылепило другое лицо и всего абсолютно высушило и издергало, меня совершенно не лимитирует, ибо я давно уже обретаюсь в Вечном Сейчас, чего и ему, дяде Юре, желаю.

На это тот возражал, что, конечно, он тоже переберется в вечное, но не сейчас, т. к. сейчас его заедает текучка и просто некогда, из чего я вынужден был заключить, что рожденный ползать — пусть даже и наделенный словно бы к «Яру» летящим почерком — никогда не взовьется.

«О, возлюбленный внук мой!» — перечел я, рассматривая отдельные буквы в лупу, которая — если Вы серьезный филателист, архивариус иль графолог — служит Вам не предметом роскоши, но инструментом труда. В равной мере нуждается в лупе ботаник, следователь, часовщик. Если же по каким-то причинам Вы не относитесь к людям скрупулезных профессий, то лупа послужит Вам к выжиганью по дереву, к разведенью костра, поможет рассмотреть насекомое, каплю росы, поры рук, структуру снежинки и скрасит тем самым и столичный досуг, и пикник в захолустье. Изящная, терпеливо шлифованного стекла лупа отлично впишется в интерьер горной хижины, капитанской каюты, украсит конторку в банке, письменный стол в департаменте, ванную в апартаменте. Имейте лупу! Лелейте ее!

«О, возлюбленный внук мой!» — перечитал я в волнении.

«Знаете, если вы намерены продолжать в том же темпе, то я лучше спущусь там куда-нибудь, поброжу.»

«А? Конечно, конечно, спуститесь, любезнейший, сгоняйте там с кем-нибудь пару партéи.»

Юрий вышел. Шаги его удалились. Тогда я добавил немного прохладной воды и весь обратился в чтение. Предмет его создан был как бы в конке — изысканной, старческой, взбрыкивающей на стыках прописью. Отчетливость соединительных линий говорит нам за то, что бабуля привержена крепким семейным узам, традициям. Верность нажиму указывает на лояльность режиму, а левый наклон — на идеализацию прошлого. Боязнь быть неправильно понятой, а также

гостеприимство писавшей узнаются по тщательности, с какой она выводит шипящие, непременно подчеркивая ш и щ и надстраивая необязательную крышу над т прописным. Заскорузлое плотское одиночество сквозит в закорючливости запятых, в крючкотворстве. А о том, что моя предстоящая бабушка невероятно одухотворена, не чужда искусствам и, может быть, поощряет их, я сужу по восклицательно вытянутой форме ее многочисленных о. В контексте письма, изложенном меж обращением «О, возлюбленный внук мой!» и заверением «О вечно твоя баба Настя!», последнее повествует примерно о том же. То есть о том, что только что рассказал нам ее старосветский почерк. Кроме того, она извещает о самочувствии Сигизмунд Спиридоныча, здоровье которого за последние двадцать лет пошатнулось и оставляет желать много лучшего, и о погоде, которая в таких пожеланиях не нуждается. Тон письма деликатно возвышен, приветлив, и — если верить изложенному — препятствий нашему соединению не предвидится; мне остается только приехать и влиться в лоно семьи. Правда, меж строк постскриптума прочитывалось известное «но». «Единственное, что меня беспокоит,— писала Княгиня,— это Ваше отношение к Былому».

По истечении срока, в ходе которого я набросал ответную весть, дверь распахивается: на возвратившемся откуда-то снизу Андропове нет лица.

«Вы знаете, Палисандр Александрович, знаете что?»

«Не имею чести».

«Буквально минуту тому — прямо только что — прямо сейчас заглянул я по вашей рекомендации в бильярдную. Именно заглянул. Мимоходом. Не более чем. То бишь лишь приоткинул портьеру. Приотвел, говоря романтически, кружева».— Ю. умолк. Младенческая улыбка, затеплившись в подслеповатых очах генерал-генерала, задела ему щеку и губы и сразу погасла.

«Смелее»,— сказал я ему.

«Я только — только хотел посмотреть, кто играет. Кто с кем. Кто да кто. Если вообще играют. И знаете, что?» — Андропов казался смятен и, испытывая колебания, зримо обнаруживал их: икота его колотила.

В принципе, различают три вида икоты. Одиночная, или спорадическая, происходит от невоспитанности и присуща грубым сословиям — мужикам, рабочим, купечеству. Более благородной, серийной икотой страдают телеграфисты, актеры, искусствоведы. Следствие их впечатлительности, она может мучать часами, но в конце концов отпускает. Имеется, наконец, икота хроническая, что является прерогативой персон ответственных и высокопоставленных. Длясь буквально годами, она обрывается только вместе с дыханием, после чего исходит из плотного тела в иные, более тонкие сферы наших последующих инкарнаций. Обычно течение данной икоты подспудно, и внешне она проявляется лишь в решающие часы сомнений и катаклизмов. Она-то и колотила теперь моего патрона.

«Решайтесь»,— сказал я ему.

«Вы полагаете, стоит? А если мне показалось? Хотя навряд ли, навряд, как это — показалось? Хотя кто знает. Случается, что блазнится, мерещится».

«Мужайтесь»,— ему я сказал.

«Поверите ли,— сказал мне тогда Андропов,— я приотвел кружева,—а кавалергардии подпоручик Стрюцкий Орест Модестович — вы, должно быть, представлены,— он непосредственно на бильярдном столе откровенно пользуется услугами Виктории. А Виктория, по-видимому, столь тронута его обходительными манерами, что прямо-таки урчит, если только не ржет. Короче, так все это загадочно, странно, что и рассказать не берусь».

«Да вы ведь уж рассказали».

«Да? Ну, и как? Мистическая история, правда?»

«То есть, а что ж в ней такого мистического, Юрий Гладимирович? Конечно, поступок Виктории известное недоумение вызывает — кто спорит. Я знаю, вы скажете, что Орест Модестович ей не пара, Виктория, дескать, достойна поклонника поимпозантней, того же, положим, вас. Допустим. Да только кто разберет их, всех этих фифочек расфранченных, чего им там требуется. Бывает, душа-то, Юрий Гладимирович, душа-то им в нас, бывает, милей импозантности

нашей. Куда им с ней, а? В бал только разве, в галоп. А с душой — хоть куда. Подумайте». Я налил в ванну еще немного целебной грязи, поправил бабочку и продолжал. «И — заметьте. Дама Виктория свойств, очевидно, приятственных, симпомпушечка, все при ней, но ведь тоже красавица не ахти какая, признаться. Так что неравенства или там мезальянцу какого-нибудь усматривать тут не берусь. Слетелись, воркуют себе голубки — и слава тетереву. Любовь да совет. Словом, даже не соображу я, дружище, что, собственно, вас остранило. Может — бильярд? Что они на бильярде, что ли, воркуют?»

На что Хранитель заметил, что это-то пусть, что ханжой никогда он не числился и не будет и что лично ему глубоко наплевать, на бильярде иль под бильярдом,— мол, мало ли где приспичит, и что странно ему далеко не то, чему сторонним свидетелем он явился невольно, а вот что. Насколько он, Юрий Гладимирович, осведомлен, Виктория третьего дня сказывала супругу, будто бы отъезжает на дачу, а сама отправилась прямо сюда и до сих пор, если верить своим глазам, здесь присутствует, что, естественно, выставляет Викторию в чрезвычайно невыгодном свете и вынуждает его усомниться не столько в ее супружеской верности — человек практически холостой, он в ней просто не компетентен,— сколько в элементарной честности. Ибо если уж говоришь, что едешь на дачу, то и езжай на дачу, а не в тюрьму. «Как это можно, чтобы слова расходились с делом настолько разительно! — ворчал генерал.— Вот где мистика!»

«А я,— заявил я Андропову, чувствуя, что доброе имя Виктории на краю стремнины и как никогда до сих пор нуждается в сильной протекции,— а я так напротив, Юрий Гладимирович, не усматриваю тут никакого противоречия». И объявил, что, как ружья конструкции «парадокс» стреляют не хуже сермяжных берданок, точно так же парадоксальные вроде бы утверждения оказываются правдой не в меньшей степени, чем трюизмы.

Неважный охотник, Юрий, по-видимому, не вкусил всей прелести параллелизма и посмотрел на меня. Я весь был в партикулярном.

«Я говорю только то, генерал,— пояснил я ему, теребя себе мнимую эспаньолку,— что для некоторых людей в некоторых довольно индивидуальных случаях вояж на дачу равносилен поездке в тюрьму, а поездка в тюрьму оборачивается вояжем на дачу. И нынче мы как раз и столкнулись с одним из таких феноменов. Потому что в сознании юсуповской дочери, милостивый государь, Архангельское никогда не переставало и не перестанет быть отцовским загородным поместьем, дачей, даже дворцом, как бы мы с вами его ни экспроприировали и ни переименовывали в равелин. И сказав: «Я еду на дачу»,— Виктория ни на йоту не погрешила против истины».

Объяснение показалось Юрию убедительным, и икота его затаилась. Он прочитал письмо бабы Насти, а после спросил, что еще содержала полученная бандероль.

«Совершеннейшие пустяки»,— сказал я и открыл бонбоньерку. Он бросил взор. Целый набор совершеннейших пустяков, дразняще веявший мятным утренним чаепитием с медовыми пряниками и шоколадом в начале июня в слегка покачивающемся гамаке,— лежал там.

«До встречи,— молвил Юрий, вчетверо складывая мою ответную весть.— Днями буду».

Почти у всех выходной. В равелине остались только дежурные, нарочные да мы, заключенные. И в который раз убеждаешься: тюрьма без прислуги — тюрьма вдвойне. Только диву даешься, к каким ухищрениям вынужден прибегать, компенсируя это лишение. Характерный случай.

Сегодня в связи с юбилеем Джордано Бруно, спаленного маловерами от инквизиции, заказываю в буфете итальянского брюта феррари как раз шестисотого года. Приносят, пробку — в потолок и уходят. Оставшись один на один с трехлитровой бутылью шампанского, пусть и сухого, воленс-ноленс впадаешь в какой-то восторженный, шпрехшталмейстерский артистизм.

«Не желаете ль воспригубить? — сказал я себе, воспривстав. И, несколько

восприсев, отвечал: — Восплесните.— И, несколько воспривстав, восплеснул и рек: — Воспригубьте.— Затем восприсел, воспригубил и, воспривстав: — Ну, что скажете? — И сызнова восприсев:— Превосходно! — Тогда, воспривстав, восполнил и возгласил: — Ваше! — И возражал: — Взаимно!»

Сам себе подавальщик, не смея хмелеть в присутствии посетителя, пью не пьянея и мыслю: «Все — суета сует, все — томление духа. Особенно без прислуги». И тот же я размышляет: «Хм, вот ты какая, неволя».

Так будьте вы прокляты, говоря напрямик,— вы, шаырнувшие меня в сей прокисший застенок! А заодно и вы, не спрося позволения, перлюстрирующие мой тюремный альбом,— вы, ищущие насмеяться над истории рядовым в его роковую годину,— вы, лорнирующие меня в замочную скважину. Что вы смотрите так сквозь прищуренный глаз? Что вы лепечете там чрез бредни грядущих времен, я вас спрашиваю. Что вам, любезнейшие, угодно? Да как вы смеете! Я вам — не девка Пиа Задора, которая стрикулирует в исподних прозрачностях и без оных. Ах так! Вам угодно потешиться над моей избалованностью, упиться моими воскресными неурядицами, моим сам-себе-губернерством. Прекрасно. Тогда с поспешностью бури я срываю с себя всякие полномочия и обрушиваюсь. Я обрушиваюсь в единственное мое спасилище от грядущего в вашем мурле. В мурле многоумного австралопитека, поросшего чешуей птеродактиля. И в холодном бешенстве листопада, в его пылу, я на свитке подтирочного папируса начертаю прошение об отставке: «Служить бы рад — прислуживаться тошно!» И — отшаркаюсь росписью. И не да здравствуют ли:

а) грошовый уют моего плескалища!

б) игра отражений и светотени в глубинах и на поверхности грязей и вод!

а) пемзы, свободно дрейфующие по воле волн бесхозными экскрементами!

А вы, читающие настоящие строки,— вы будьте прокляты.

Какой из напитков коварнее брюта!
Ночами, подобно учтивому брату,
Он нас превозносит. Однако наутро
Карает мигренью с жестокостью Брута.

(Полеживая.)

Спокону веков в ряду остальных дней недели вторник справедливо почитался вторым.

(Посиживая.)

Как всегда между прочим заходит Стрюцкий. Шутили. Проказничали. Исповедался мне, что в прошлую среду, а также в четверг и пятницу не упустил своего.

«Слышал, слышал, суконная ваша душа,— будировал я, косясь на тюремщика одичалым узником, каковым и являлся.— Не могли уж пристойнее места сыскать. Таких, понимаете, в «Гранд-Отель» водить принято, а вы ее, ровно бы ложкомойку, в подвал потащили. Неловко-то как».

«Бес попутал,— оправдывался Орест.— Только, значит, вы от себя ее выпроводили, так я сразу ее вниз и увлек. Уж больно мне не терпелось кий кому-нибудь показать. Вы вот про канделябр ей какой-то твердили, а я все про кий да про кий. Кий, говорю, не желали бы осмотреть? Новый, мол, скользкий, буквально на днях из Бильбао выписали. Как же, как же, я, говорит, бильбоке большая поклонница. И только мы, стало быть, с ней спустились, тут мне и приспичило. Не удержался, поизнурил ее, матушку, поизнежил. А после три дня она у меня в служебке постоем стояла. Поверите ли, ни за что уезжать не хочет. Жительствует себе, как на даче. И такая ее эротика одолевает, что хоть караул кричи. Опомнитесь, говорю, Виктория Батьковна, не пора ли вам честь-то знать, не время ли и вправду на дачу отъехать, а то заждались, поди, телохранители ваши в сторожке на наших харчах. Ничего, говорит, подождут, дармоеды чертовы, куда им спешить. Так что я ее в конечном итоге к ребяткам своим спровадил, в каптерку перебазировал, где клавир. То-то, знаете ли, разгоаелись матросики с голодухи. Да и ей, как видно, на пользу. Словом, толково, толково все обустроилось».

Рассказывая эту развязную кавалергардскую быль, взор Ореста горел хорошим казарменным юмором.

«А — уехала ли?»

«Убыла, убыла. Нынче утром. Довольная вся укатила. Братишкам каждому на полштофа пожаловала».

«Вот и чудно, и скатертью ей дорога»,— ответил я.

«Значит, вы — не в претензии?» — заискивающе осведомился он.

«Господь с вами, Орест Модестович. Я — человек классического образования, полиглот, индивид почти посторонней формации. Я, может быть, толерантнее самого Талейрана, а вы меня проверяете на предмет русской ревности. Скушно, право».

«Ой, виноват,— отвечал Орест.— Утонченности мне еще не хватает в ухватках. Мужиковат-с».

«Ничего, обретете с годами». Сказав так, я умозрительно хлопнул его по плечу рукою и обессмыслил себе часть лица саблезубой улыбкой.

«А ведь немало, я чай, немало вы, Палисандр Александрович, бабушек кремлевских перелохматили»,— доброжелательно думал Орест Модестович, улыбаясь тоже.

«Никак нет,— раздумывал я ему в тон.— Немало. Да и вы, я гляжу, малый вовсе не промах».

«Отнюдь,— мыслил Стрюцкий.— Отнюдь».

И, отдавшись порыву взаимной приязни, мысленно мы протянули друг другу длани, ударились в интимные воспоминания и с той минуты сделались большими приятелями. Крепка ты, острожная дружба!

Всякий день береди себе душу вопросами: «Если умру, сделается ли в свете в такой же степени пусто и одиноко, в какой это делалось по кончине Ганди и Бисмарка, Фарадея и Дизеля, Сэндрюса и Махно? Или так себе — пустовато? Всплакнут ли? И если всплакнут, то как: от души или просто для виду?»

(За пяльцами.)

«Все вышиваешь?» — спрашивает Андропов, придя.

«Крестиком, Юрий Гладимирович, все крестиком».

«Да кто тебя научил?»

«А — бабки тайницкие, парки кремлевские. Нянчили-нянчили, холили-холили — ну и пристрастили, лукавицы, сироту. Шить ли, вязать ли, подштопать ли что — все умею. Несите, ежели что прохудится. А посмотрите-ка, что за козочка тут у нас с вами выходит. А тут вот коника чалого ей пристроим под бок. Вот и будут они у нас жить-поживать, козлятушек наживать — бе да ме в теремке невысоком. А козлятушки — скок-поскок, жеребятушки — прыг да брык, одно копытце мамино, иное папино, и бородка у каждого клинышком, будто у Николай Александровича»[1].

«А чего это вы притчами изъясняетесь,— заметил Андропов.— Что ли, в юроды записались?»

«Глупею себе потихоньку, Юрий Гладимирович, глупею в тряпочку. Неволя, наверное, сказывается».

«Потерпите. Уж скоро все разрешится. В связи с обновлением конституции назревает амнистия. Судя по сведениям, вы под нее целиком подпадаете».

«Надеюсь, надеюсь. А если — нет? Что там, кстати, либералы поделывают? Предпринимают что-либо или все так, либеральничают?»

«Либералы оказывают на наших «ястребов» экстренное давление. И не только они. Ваш арест всколыхнул все лобби, все кулуары,— сказал Андропов. И молвил: — Но есть и худые новости. Вчера после долгого следствия трибунал вынес дяде Лаврентию смертельный вердикт».

«Не глумитесь. Мой бедный дядя давно не внемлет вердиктам».

«Конечно. Я просто оговорился. Приговорили его двойника. Тот сидел за него под следствием. Между прочим, во всем сознался».

[1] Здесь — Булганина.

«Какая подлость! — охарактеризовал я деятельность провокатора.— И вы — не вмешались? Не обличили ложь его показаний?»

Тогда генерал-генерал объяснил, что действовал по предписаниям определенных сил, что в их директивах подчеркивалось: «Чистосердечному раскаянию не препятствовать, по признании — расстрелять», и что ослушаться — значило бы сгнить на рудниках как минимум.

Я удивился и рек: «Да какого, собственно, лешего затеян был сей позорный процесс, суд над тенью почтенного висельника!»

И Юрий ответил: «Определенным силам российские диссиденты ужасны, а твой дедоватый, лидер государственной эволюции, считался из них виднейшим. Так что душители наши стремились унизить его перед общественностью страны — пусть и мертвого. И они приказали нам инсценировать этот фарс. Тихий ужас, но мы ничтожны протестовать,— бормотал Хранитель.— Ведь без народа, от коего мы коварно удалены, мы суть нихиль».

Министр — потому что в каком-то там смысле Андропов служит министром — прошелся по ванной комнате. Остановился. Золотошвейный узор монограмм на юсуповских шлепанцах, ожидавших конца моей процедуры, министр рассмотрел. Знал: минует она, и, душистая, мягкая, кожа их вновь невольника чести собою ступни облечет.

Со двора доносились удары чего-то о что-то.

«Это сколачивают трибуны для зрителей,— пояснил Ю. В.— Завтра в третьем часу состоится образцово-показательная экзекуция».

«Не моя, уповаю».

«Нет-нет,— ледяно улыбнулся Юрий.— Вас бы предупредили заблаговременно. Казнить будут символического Лаврентия».

«А почему в Архангельском?»

«А почему бы и нет? Чем не место?»

«Да место-то ничего, живописное. Только разве не проще по месту его заточения, в гарнизонных казармах? Иль где он себе там посиживает?»

«Проще. Но я полагал, вам будет небезынтересно взглянуть, и распорядился организовать все здесь. Контрамарку получите у контролера, по списку».

В два двадцать мы с Юрием в сопровожденье его и моей охраны заняли верхнюю ложу. В нижней расположилась администрация, гости. Поодаль, рядами сбегая к кирпичной стене, наспех выложенной архангельскими печниками, высилось полукружье амфитеатра. Сидевшие в нем обитатели равелина приветствовали нас звоном парадных кандал. Присутствующих обносили мороженым, прохладительными напитками. В зените роились перистые облака. Слышалась «Santa Lucia».

«Позвольте программку!» — окликнул я билетера.

«Извольте,— учтиво он протянул экземпляр.— А бинокль не берете?»

«Мерси, у меня имеется».

«Цейс?»

«Тридцать диоптрий. Трофейный».

В программе перечислялись действующие лица и исполнители, коротко излагались их анкетные данные, политические пристрастия, любимые блюда, цвета, изречения, произведения искусства, заслуги и провинности перед Отечеством. В роли Лаврентия Берии занят был майор театральных войск Арчибальд Гекуба. Не зная действительной ситуации, трудно было бы усомниться в достоверности приговоренного: на арену, посыпанную опилками, вывели человека, похожего на моего давно покойного родственника до абсурда.

Оркестр заиграл увертюру. Расстрел начался.

Казнимого привалили к стене, нахлобучили на глаза ему заячий арестантский треух, вторично зачитали вердикт и лишь затем дали залп.

«Позор крестословам Высокого Альдебарана!» — успел вскричать Лжелаврентий. После чего он нелепо взмахнул руками и вскоре не шевелился, упав. Все было кончено. Представление определенно не удалось. Отточенное и лакони-

ческое по форме, но выхолощенное по идейному содержанию, оно отзывалось упадническим буффо, отдавало обыденщиной и казенщиной.

«Что ж, Юрий Гладимирович, большая сценическая удача всего коллектиаа. Творили свежо, талаитлиао, с огоньком»,— делился я впечатлениями записного критика, когда, оставив место события, мы шли приусадебным парком, гуляя его обрывистыми аллеями.

Андропов не отвечал. Он выглядел огорченным.

«А вы, я смотрю, не в духе? Что так? Неудовлетворенность требовательного к себе художника? Или просто взгрустнулось? А может, вас обескуражил натурализм финала? Может, гибель героя была излишне бесповоротной?»

«Отчасти,— сказал генерал — Отчасти».

«Позвольте, но разве игра дублера не стоит свеч? Непыльная в принципе деятельность, а оплачивается неплохо. Сидишь себе за кулисами, вживаешься потихоньку в образ, а тебе надбавка за вредность идет, за верность, за выслугу лет. Плюс всякие льготы, пайки, исключительное уважеиие. Ну, когда-никогда, а приходится выходить на публику — фигурировать — лоб подставлять. Да ведь сцеиа — место такое, жертвенное. Так что я даже не понимаю, что именно вам Гекуба».

«Сам майор тут почти не при чем.— возражал Храиитель.— Сотрудник он был неприятный, заносчивый, и жалости у меня к нему нет. Здесь другое. Пару недель иазад, будучи далеко не в ударе, заехал я к Арчибальду Матвеичу в Алешинский равелин на предмет подкидного и эдак продулся, что денег таких с собой у меня не случилось. Естественно, обещал на днях завезти — да запамятовал. И — вы видели? — Аидропов остаиовился.— Вы видели, как он смотрел с арены? Он прямо выедал меня взглядом. Тут-то и подойти бы да и отдать ему причитающееся, а мне, дураку, невдомек. И только когда уже унесли его и пятно на опилках открылось, будто червовый туз,— дескать, козыри — вини,— тогда только я вспомнил про долг. А у Лаврентия — верней, у Гекубы у этого, иа беду ни жены, ни детей, так что даже посмертно ие через кого аозвратить».

«А много лн?»

«Чепуха, девятьсот целковых с копейками. Впрочем, сколько бы ни было, тут же не в сумме суть. Тут порядочность моя на кону стояла. Человек, понимаешь, поверил, а я — обманул. Вот накладка!»

«Послушайте, Юрий Гладимирович, а вы не желали бы возвратить их через меня? Я же ему родственник некоторым образом. Он — как бы Лаврентий, я — как бы я. Играть так играть, согласитесь. Играть на театре и в карты, на бильярде и в жизнь. Неистово! С полной самоотдачей! На полный нерв! Играть, как играл Гекуба. А? Сумма, действительно, не ахти-бахтн, но я бы не возражал. Мне скоро ведь ехать, а в дороге-то, знаете, как поиздержишься иной раз. Да и у вас на совести полегчает».

«В масть!» — обрадовался Андропов. Порывнсто достал он свое портмоне и, заправски тасуя купюры, отсчитал мне свой долг моему казненному «дяде». Так в образе Юрия обнаружил я исключительную принципиальность, порядочность — грань дотоле дискретную.

Тесьма на гамаше у генерала давно развязалась, и он наклонился, чтоб завязать.

Тревожно. Ветра выворачивают листы на серебряную изнанку.

О папуасы! Не к ним ли, на Гальмагеру, мы постоянно стремимся уехать из наших прохладных держав. Уехать — чтобы лет тридцать спустя возвратиться домой посвежевшими, загорелыми, бодрыми. Большинству не дано. Забываясь в заботах высоких широт, мы выходнм на пенсию бледнолицыми, вымороченными стариками.

(Листая «Нэшнл джиографик».)

«Вопрос о вашем освобождении решен, но еще рассматривается»,— объявил Андропов, придя с картою двух полушарий Землн, которые из-за обилия континентов, архипелагов и островов смотрелись раздробленными черепными коробками на рентгеновском снимке.

Весь день провели мы в беседе, условливаясь о шифрах, кодах, секретных каналах связи, уточняя дни явок и встреч с эмиссарами н «кротами» — в ресторанах, кафе и на частных квартирах Запада. Обсуждались также: последовательность моих действий по отношению к Сигизмунд Спиридонычу, к бабе Насте и стиль моего последнего к ней письма. «Люблю калоши» и прочую лирику пришлось опустить и перебелнть все наново.

Инструктаж завершился плотной тайной вечерей.

Инспектируя состояние человечества в его настоящем виде — человечества с его беспрнмерной стрюцкостью и мелочизмом по пустякам — мы по случаю собственной к нему принадлежности нспытываем столький стыд, что неаольно желается ринуться по стопам Лаврентия Павловича: взвинтить себя винтовой внутрибашенной лестницей — смаху толкнуть броней одетую дверь — и т. д. Но, бывает, зайдешь в воскресенье в церковь, поисповедуешься, а батюшка, намекнуа про геену, где мучаются руконаложники, непременно отговорит от затеи. Последнее это, скажет, дело, грех смертный. Потерпите, скажет, голубчик, покуда Господь уже сам приберет. Ну — и терпишь. А то бывает, что н священннк не нужен, ибо со всей остротой осознаешь, что путь Лаврентия Павловича — тоже не выход. Затянутые в порочную круговерть инкарнаций, мы всякий раз по уходе обречены на возврат, словно бы на места своих преступлений нли на вешалку за калошами. Так что самоубийством мы только портим себе всю карму. То есть вместо того, чтобы опять родиться в стенах Кремля и вести относительно сносное существование, родимся где-нибудь под забором, в нестиранном захолустье. Обретаясь в подобной мизерности выбора, видишь, как упованья на вечную и счастливую жизнь за гробом рассыпаются в прах. И, смиряясь, плетешься хоть как-то устраиваться в данной юдоли.

Минуют годы. Мы делаемся взрослей, безобразней. И крепнет наша душа, одеваясь броней коросты. И нам уже больше не совестно — ни за себя, ни за стрюцкое человечество. Мы становимся приспособленцами жизни, проводниками ее идей, ее клакерами. И даже неволю — тюрьмы и сумы, неволю обязанностей и прав предпочитаем петле, потому что смерть — фикция, нонсенс, самообман, не решенье аопроса. И, содрогаясь на дорогих подругах и милых приятельницах, с гордостью продолжаем мы род наш и, имея в виду: «Да здравствует homo sapiens!» — выдавливаем из себя сладострастный мык. И, как паре калош, без конца марширующих в мировой связи, но сработанных не за страх, а за совесть, нам нет ни цены, ни сносу.

(Инспектируя состояние человечества.)

День освобождения пришел в обличье андроповского глашатая в чесуче. Застав меня за клавиром, заслушался, загрустил. Я играл «Розенкрейцерову сонату». Закончив, взял из размякшей руки его справку об освобожденни, скрепленную подписью Местоблюстителя, и, предъявив у ворот, вышел с ней за ограды — в луга. Там со всей очевидностью наличествовала относительная свобода. Грачи прилетели, а вечером прибудет Андропов, переночует, и о заре мы убудем с ним в Эмск. И Кремль распахнет нам свои чертоги.

Как найденный невзначай в кармане чьего-нибудь балахона засохший окурок расскажет порой о своем владельце куда убедительней, нежели тот поведал бы о себе самолично, так н возвращенное Вам аместе с мундиром удостоверение личности на нмя какого-то мифического подхорунжего О. М. Стрюцкого заставнт о чем-то надолго задуматься.

(Едучи.)

КНИГА ПОСЛАНИЯ

Знал ли я, едучи, что когда-нибудь публикация моего «Тюремного дневника», по страницам которого мы только что бережно пробежались, сиищет мне репутацию одного из блистательных узников эры и вызовет эпидемию подражаний и отзывов.

«Экий волнительный человеческий документ!» — потрясенно напишет пекинская «Женьминь жибао».

«Очередные «Записки из Мертвого дома»? Пускай, но какие!» — будет запальчиво вторить ей барселонская «Ой».

«Возьмите воздушную легкость Барышникова, добавьте немного дисгармоничности Шостаковича, помножьте на проникновенную исступленность Кремера — и вы получите хоть какое-то пусть и самое отдаленное, представление о стиле этого еще одного русского». — будет эстетствовать «Нью-Йорк таймс».

Нет, ничего подобного я, конечно, не знал, не предвидел и не желал. Я просто ехал и ехал.

Страна просыпалась. Просыпался где-то в казармах горох барабанной побудки. Промчались куда-то атлеты. И с озабоченным видом прошествовали за катафалком какие-то люди. Жизнь продолжалась. И вот уж кленовые рощи предместий в припадке норд-оста бросают нам под копыта диковинной формы стрючки — силуэты ушанов в паренье. Но — мимо, мимо.

Когда на Садовой мы отпустили извозчика и зашагали пешком, в мрачноватых дворах строений матери призывали детей к обеду. Свежело, и, хотя в поле зрения мельтешил многочисленный сброд, дышалось великолепно, и трость все никак не могла приспособиться к моему широкому шагу. Она спотыкалась, падала, отставала, и вдруг — совершенно непредсказуем! — я швырнул ее в холм золотого хлама. Ах, палые листья! В бытность мою без ума от Шопена, Шумана, Шишкина я возлюбил вас всецело, словно сынов.

«Значит, едете?» — повторил Андропов излюбленный свой вопрос.

Решимость моя была неуклонна. «Не до седых же волос мне в кремлевских сиротах прозябать,— молвил я, на секунду забыв, что в силу наследственной алопеции на теле моем никогда не росло и не вырастет ни единого волоса.— Разумеется, еду, Юрий Гладимирович, лечу!»

«А — на чем?»

«Что — на чем?» — недопонял я.

«Едете»,— пояснил он.

Мысля глобально и никогда не задумываясь о частностях преодоленья пространств, ум мой, признаться, осекся. Действительно: плыть по морю или трястись чугункой? Задача не из простых, тем паче что авион за ненадежностью отпадает.

Из читаного я усвоил, что в поезде, даже в трансъевропейском экспрессе — Вас нет-нет да заденут в узком проходе локтем, подвергнут невыгодному сравнению, эпиграмме, частушке, ошпарят крутым кипятком из титана, во что-нибудь обыграют, ограбят и проч. А море — оно сулит испытания и похлеще. Достаточно вспомнить «Морскую болезнь» Куприна или «Гибель Титаника» Гауптмана. Зато путешествие пироскафом представило бы немало экзотики. В каком-нибудь Зонгульдаке на пристани, старец в феске и шароварах продал бы вам кулек сушеной макрели. Словоохотлив, беззуб, этот некогда удалой человек поведал бы, как он сражался за Севастополь, и долго бы Вам казалось, что Вы — на родине. И, только взглянув на сдачу, тускло мерцающую на ладони, Вы вдруг осознали бы: «Турция»! Точно такую ж макрель и в почти таком же кульке продал бы Вам стариксс в Афинах, старчелло в Неаполе, стармен в Ливерпуле, старье в Ларошели, стариньо в Парамарибо. А Ла-Манш несказанно порадовал бы размахом чаячьих крыл: шутка ли — до полутора метров. С другой стороны, поездка трансъевропейским экспрессом сокращала время в пути, и, таким образом, дилемма казалась неразрешимой.

«Смотрите, шарманщик!» — прервал мои буридановы размышления Юрий.

На самом углу возле рюмочной, лицом к расстилавшейся перед ним неширокой, однако вполне уважаемой площади подвизался в своем цикличном искусстве маэстро от механизированной музыки. Вид последнего был мизерабль. Костюм его требовал штопки, если не кройки, а сам артист напоминал продавца макрели. Поскольку кепи шарманщика лежало у ног инструмента, постольку сквозняк шевелил седовласые кудри, накрученные на судьбоносные свитки. Звучала песня окраин и подворотен. Шарманщик пел. Певчий дрозд, что сидел на плече у хозяина, подпевал. Мне сделалось пусто, и, подойдя, я бросил в кепи значительных ассигнаций. Покопавшись в кудрях музыканта, дрозд вытянул и протянул мне один из свитков. Я развернул его и прочел зловещее в своей неопределенности указанье: «Пойди туда — не знаю куда, сделай то — не знаю чего».

Прохожие миновались. Помедлив, проследовали и мы. Но покуда не удалились вполне, тягучая, малоприличная, но не лишенная обаянья баллада касалась наших ушей.

Пошел козел в кооператив,
Купил козе презерватив.—

пел шарманщик.

«Батюшки, сколько ж еще печали в российских напевах!» — вздохнул Андропов.

Я согласился.

«Вы, кстати, узнали его?» — продолжал дядя Ю.

«Шарманщика? Нет. А кто сей?»

«Владимир Высоцкий».

«Переменился, однако».

«Еще бы. Опала не красит».

«Опала? А мне кто-то сказывал, будто он испытал роковое, даже якобы умер».

«Не знаю, такого не слышал».

«Ах, Вольдемар, Вольдемар, — молвил я ему умогласно. — Вольно тебе было ссориться с власть предержащими. Видишь, к чему это привело: нужда, шарманство. А помнишь, как лихо гоняли мы с тобой почтарей по кремлевским крышам? Ведь то обстоятельство, что ты был сыном довольно мелкого крепостного служащего, не помешало мне протянуть тебе руку дружбы и покровительства. Младше тебя годами, я стал твоим чутким наставником, педагогом. Недурно перебирая на струнных в диапазоне от арфы до балалайки, я показал тебе ряд аккордов, придал твоей внешности артистический лоск, оказал протекцию и выдвинул на театр, на эстраду».

Мелодия не замирала. Шарманка пела о тех забавах нашего общего детства, что связаны были с чудесными каучуковыми колпачками, которые через знакомых старух доставал я в кремлевской аптеке:

Пошел козел на скотный двор
И показал козе прибор.
Коза сказала: «Не хочу».
Козел сказал: «Я заплачу».

Милое босоногое детство! Надув колпачки каким-то лабораторным газом[1], мы отправляли их с Вольдемаром в пастельные змеские выси и с голубятни, что находилась в Смотрильной башне, следили их непорочный полет. Словно мыльные пузыри младенческих грез воспаряли они и лопались — там, в поднебесье. Мы — ликовали.

Сейчас, расталкивая локтями прохожую шваль, я опять размечтался. Закупить бы таких колпачков побольше, да лучшего качества, дабы не лопались,— связать себя с ними единым вервием и, инсценировав незаконное пересечение рубежей, взмыть в посланне!

«Вообразите, какое паблисити! — поделился я соображениями с Андроповым.— Масс-медиа положительно оборзеет. Мол, бла-бла-бла, бу-бу-бу! Неприличнейшее бегство века! Гениальный русский Икарус! Наследник мосье Монгольфье!»

[1] Газ брали у кремлевских алхимиков.

Юрий бешено расхохотался и объявил, что больше того паблисити, которое у меня уже есть, мне не требуется, что меня уж и без того заждалась вся Европа и что кремлевское руководство, издерганное зарубежными «молниями» по моему вопросу, не чает выпроводить меня поскорее в послание, как в свое время Николая Александровича[1].

«Вы, между прочим, не забудьте посетить старика,— наказал Хранитель.— Как-то они на Майорке там с Александрой Феодоровной устроились, не обижает ли кто».

Судьба Романовых, долгие годы живших в Кремле под вымышленной фамилией Булганины, а после — по настоянью извне — отпущенных с Богом на перманентный отдых к детям, на Запад, беспокоила и меня. В страннопримимном доме раскоронованной пары, что стоял в живописной кедровой пуще возле Теремного дворца, я всегда был не только частым, но и желанным гостем. И я обещал генералу, что уж кого-кого, а Романовых, будущих моих прародителей, навещу непременно. И не один, а совместно с бабулей, которая, верно, тоже давно их не видела.

Возвратились к проблеме транспорта. Отфутболивая лежавший на пути его баклажан, Юрий молвил: «А как насчет дирижабля?»

«Звучит идеально.— заметил я.— Особенно если учесть, что по правилам классицизма прекрасное, в данном случае мой вояж, обязано быть величаво». Но сразу оговорился, что слышал, будто пожары на дирижаблях давно охладили пыл их любителей и, к вящему самодовольству мещан, замечательно выведенных у Горького в образе жирных гагар, воздухоплаванье цеппелинами официально похерено.

Юрий крякнул и рек: «В богоспасаемой нашей отчизне, дражайший мой Палисандр, законы, препоны и прочая дребедень существуют только для смертных. А к ним относиться мы не имеем участи». И, желчный, переступил Бороанцкий порог.

Переступил и я.

Предотлетные дни мои в крепости были считаны. Я посвятил их сборам, пространным прогулкам по дальним кремлевским чащам, лугам, оврагам, купанью в прохладных ручьях и гейзерах. Затянутый в новый дорожный шлафрок, брожу элегичный, хожу элегантный и то составляю сонеты на случай, то пополняю запас париков, то с помощью челяди упаковываю багаж. А то — распаковываю. Или запрусь в Грановитых покоях — и знай освежаю себя эсперанто: «Гляссе, плиссе, эссе...»

Местоблюститель с супругой со мной не здороваются, якобы не узнавая, но я не в претензии и при встрече непременно им чем-нибудь помашу.

Наконец наступает утро, когда вдохновенный, весь словно бы не от мира сего Андропов вручает мне какие-то документы, деньги, литературный проездной билет, пакеты с инструкциями. По доброй освященной веками традиции мы на прощанье присаживаемся — встаем — охорашиваясь, вертимся перед псише — к парадному крыльцу подают экипаж — мы садимся и катим на летное поле, где, живо напоминая циклопический баклажан, виднеется цеппелин. Возле — сонм провожающих. Чуть ли не все крепостные и новодевичьи прибыли проводить сироту в путь-дорогу.

«Привет вам, привет, дорогие, но более — оревуар!»

Уже из гондолы заметил в толпе Берды Кербабаева и, перевесившись через поручень: «Здравствуй, братец! Ну, что, прилетели твои летучки?»

«Нет, барин, теперь не сезон. Улетели».

«А матушка, матушка-то жива ли?»

«Какое жива, уж и кости, наверное, сгнили». Прекрасно зная, что кости в принципе не гниют, он явно бравировал скептицизмом, хотя по-прежнему презирал как эмоции, так и способы их выражения. Сдержанность его была заразительна. Беседуя с ним, Вы тоже практически не мигали и не употребляли рук.

[1] Здесь — Романова.

А рядом — рядом с Берды — в берете и пелерине — стоял — кто бы Вы думали? — Брикабраков.

«Оле, голубчик! Я буду ждать вас в Париже, на мосту Мирабо. Пусть чисто условно, но — вечно. Это ли не идеал отношений, подумайте. А может быть, лучше на пляс Пигаль, в бистро «Абажур»?

«Д'акор!» Мотыльковый, букашливый, граф послал мне воздушное целованье.

«А где Жижи?»

«Дежурит»,— ответил курьер.

«Передайте ей мой поклон. Пожелайте удач по служебной линии и семейного счастья. До новых оказий!»[1].

Вежливо кашляя, на борту дирижабля возникли чины таможенной инспектуры с проверкою моих тюфяков и личности. В смысле предметов национального достояния я декларировал семь матрешек для бабушки и посмертную маску деда Григория для личного пользования. Себя как бесценную реликвию государства я не объявил и немного гордился своею контрабандистскою смелостью. Трюк удался. Чины оказались олухами, взяли под козырек и напутствовали: «Счастливого анукованья!»

Пилоты залили горючего и закурили по папиросе. Устройство задействовало. Качаясь, мы поднялись в стратосферу, и Кремль вместе с прилепившимся к нему Эмском предстал наглядным пособием по архитектуре веков. К дерзающему подходили стюарды в смокингах, о чем-то спрашивали — отвечали — приносили напитков и яств — старались понравиться — угодить — заискивающе извивались телами — были приторны — неумны — было душно — скушно — банально — и все это я почему-то должен описывать. Надоело. Добавлю только, что между тем как пушистая, хвостатая и игривая, в рощах урочищ и на приволье равнин опочила себе зима,— отобедав, мне тоже вздремнулось.

Очнулся я от чьего-то взора. Пористая и овальная, будто фиброма души,— через иллюминатор — на меня загляделась Луна.

«Где мы?» — схватил я за хлястик мятущегося проходом стюарда.

«Перелетаем границу, сэр».

Я оглянулся. Слезливо подмигивая кому-то Всевышнему бельмами ночников, творила свою хронографию варварская страна чайковских и чичиковых, сидоровых и петровых, гениев и злодеев. И я сказал ей:

«О ты, оставляемая мною из лучших побуждений и до лучших времен! Не гляди сиротливо из-за острожных решеток, из-под соломенных крыш и чиновничьих козырьков, из замочных скважин и крепостных бойниц. Не пой грустных песен — не пей из копытца — поди туда не знаю куда — сотвори то не знаю чего — только бы не преглупо — только бы не предико. Да не укради — да не убий — не лжесвидетельствуй себе же во зло пред ужасным судом истории. Стань честнее. Будь доброй и славной. Благопристойной и чистой. Юродивой и святой. Будь, если можешь, счастливой. Будь!»

Ответьте, Биограф, в чем фокус? За что мы столь возлюбили Россию, что и оставив ее пределы,— оставив надолго, если не навсегда — все никак не можем о ней не терзаться, не маяться — ну, за что? За уменье пожить на широкий трен? За кротость и незлобивость ее монархов? За лихость ее лихачей, палачей и разбойников? За расхристанность братьев ее Карамазовых и хулиганов Раскольниковых? А может, за расстегаи, за шанежки, за блины с икрою? Что ж, в частности, и за это. Но более мы ее возлюбили за то, что в ней протекло большинство воплощений наших; что почти всякий раз утонченная наша Психея, покинув избытую оболочку на усмотрение академиков, ретируется в плотное русское тело. В тело русского созерцателя и работника, в живые мощи бессон-

[1] Сноска в будущее. Мы не встретимся с Брикабраковым ни в Париже, ни в Хельсинки, ни в Севилье. Не встретимся никогда и нигде. Беспринципный проныра, авантюрист и — подобно мне — полиглот, он вскоре добавит к своей коллекции среднеарабский, бросит семью, изменит имя и внешность и затеряется где-то в Ливии. Начав там простым разносчиком верблюжьего молока и кумыса, граф кончит совсем неважно. Как-то на ужине у Банисадра, в Ницце, я невзначай присмотрюсь к фотографии международной марионетки в Триполи Муаммара Каддафи и узнаю в нем нашего Брикабракова.

ного борзописца и пса борзого, в тушу лавочника и в тумбу молочницы, в белошвейку и в скакуна. Странно, дивно. Ведь там-то, в зыбких мирах, на досугах, чего бы, казалось, не выбрать отчизну теплее, уютнее, плоть постройнее, поглаже, приятней наружностью. Нет, даже и там, в непочатом краю свобод, сызнова мы выбираем русские судьбы, сызнова возвращаемся на родные круги: кто на каторгу, кто в присутствие, кто на паперть, а кому положено править,— в Сенат. Ибо русскость есть онтологическое качество наших душ, которое неиссякаемо.[1]

Сколько раз, совершая деловые прогулки по кладбищам многих стран, доводилось выслушивать сетования упокоенных там соотечественников, точнее, незримых тел их желаний, на жестокую эмигрантскую грусть. Не ведая в слепоте душевной, как вернуться в пенаты, они десятилетиями ожидали достойных оказий, а не дождавшись, вселялись в новорожденных летучих мышей и с весною — неслись. А если не было и таких вакансий, то принимали обличье сороконожек, цикад и гадов, чтобы усеменить, упрыгать или хоть уползти восвояси.

Журнал «Хай Сосайэти»[2] в канун Рождества присылает мне традиционную анкету. На вопрос «Ваше представление о несчастье?» я всегда отвечаю: «Живя на чужбине, внезапно обнаружить себя прохладным и гибким существом, пресмыкающимся о родине: тихий, шипящий ужас». «А — образ счастья?» — допытывается журнал. Мой ответ: «Пребывая в здравом уме и твердой памяти, в тепле и достатке, а главное — в своей собственной плоти, селиться в Отчизне, следить порханье ее снегов, вкушать голубики ее со сливками — да дрочен, да оладьев — внимать ее благовестам — слушать узорчатых беспрестанных птах — и по мере сил и возможностей содействовать ее величавости».

Родина! Мы ли не прикипели к твоим щедротам всем тщедушием наших астралов. И не наши ли судьбы сплетаются, о Россия, в твою.

Встав из кресел, иду на прогулочную площадку гондолы. Земля пробуждается нехотя. Исподволь светает ее изможденный лик.

«Эуропа?» — спросил я у первого штурмана и кивнул на бледнеющие внизу огни.

«Си, си, эсто эс Эуропа,» — ответил он. В петлицах его буржуазной тужурки бликовал перламутр.

«Утр,— нашел я к нему хорошую рифму.— Одно из утр».

Тусклея геральдикой муниципалитетов, ржавея рельсами конок, спицами вело, клинками штыков, эспадронов и шпицами кирх, под нами лежала изящная безделушка Европы.

На поле, где мы приземлились в одиннадцать с четвертью, нас — то есть меня с тюфяками — никто не встречал. Это входило в противоречие с инструкцией, ибо в ней утверждалось, что «коренастый, смуглый, лет тридцати пяти, с лоснящимися и переразвитыми, как у зайца, щеками и вывернутыми почти наизнанку губами носильщик за номером шестьсот шестьдесят шесть погрузит Ваше имущество на пролетку и отвезет Вас в имение Анастасии, где,» — но дальше начинался другой параграф инструкции.

Свив по пути венок из анютиных глазок и кошачьего котовяка, я украсил им темя и бодро прошествовал в здание аэростанции — аляповатое и запущенное строение позднего рококо с неряшливо расписанными под Миро плафонами. И пускай носильщика под искомым номером здесь не было тоже — как не было никаких носильщиков вовсе,— известная административно-хозяйственная жизнь в помещении теплилась. Несмотря на отсутствие паспортного контроля, видимость последнего, пусть и простым отданием чести, осуществлялась. А в мезонине, куда я поднялся из праздного любопытства, правили бритву, сучили ножницами, прыскали смехом пульверизатора, нафабривали усы. Так создавалась видимость парикмахерской. Производилось и впечатление вещехранилища. Личность, торчавшая в его оцинкованном жерле, в обмен на пятнадцать штук багажа протянула жетон сандуновского типа.

«Один?»

[1] Подробней об этом см. в моих «Кармических сочинениях» в девяти томах, издательство «Славянский базар».
[2] «Высшее общество» (англ.).

«Берите, это последний».

Поскольку большего никто не сулит, беру не торгуясь.

«А длинное не сдаете?»

«Баул? Исключается». И, споткнувшись о чистильщика щиблет (погода, по его мнению, стояла блестящая), я вышел на площадь. Впрочем, и тут, где публики было гораздо больше, нежели в здании станции, П. никто не встречал. Хотя по тому, с каким интересом его все рассматривали, он мог заключить, что инкогнито не состоялось — он узнан, и официальная цель приезда его — ни для кого не секрет.

«На резвых, Ваше Степенство!» — гортанно взывали извозчики, прохлаждавшиеся у сельтерского киоска.

Усевшись, мы покатили.

Местность, ниспосланная мне Провидением в качестве придорожного антуража, ласкала глаз путешественника завидным разнообразием. Произрастали оршады, слюдянисто отсвечивали потоки, пруды, в пущах водились фазаны и вепрь. А в чертогах, аркады которых увил честолюбец плющ, благоденствовала местная аристократия. Виднелись также фаллоидные водонапорные башни, старинные акведуки и храмы. В них — губными гармониками архангелов — светозарно и архаично — гремели органы.

«А далеко ли путь держите, осмелюсь спросить»,— сказал мой возница, дохнув на автора строк сыроватым грибным захолустьем полипов и альвеол да осеннею скукой пищеварительного тракта, заштатного и разъезженного.

«Не знаешь будто»,— ответил я сему простонародному человеку в холщовой рубахе навыпуск и в мешковатых, заправленных прямо в боты, штанах.

«Откуда мне знать,— обернулся он.— Чай, на вас не написано».

«А — в печати?»

«Не чтец я, сударь, все недосуг: то пятое, то десятое».

«Ай да лукавец! — воскликнул я мысленно и коротко приказал: — К бабуле!»

«Бабуля — дело хорошее,— отозвался возница.— Только вот адрес бы раздобыть.»

«Милки-Уэй,— сказал я вознице, побежденный его притаорством.— Шато Мулен де Сен Лу.»

«Доставим,» — с деланой невозмутимостью молвил он.

«Погоняй же!» — воскликнул я в нетерпенье. Затем я достал из кармана своего кимоно инструкции и перечел. Ни в них, ни в моем намерении им прилежно последовать не произошло никаких изменений. И это порадовало. План действий, который мы с Юрием разрабатывали в Архангельском равелине, был дерзок и вкратце таков.

Вот я прибываю, ахожу. Вот вскоре после взаимных приветствий и светской, т. е. ни к чему не обязывающей, болтовни предлагаю в кратчайший срок узаконить наши назревшие отношения и приступить к ним. Вот требую заблаговременного оповещения об увнучении через бельведерскую и прочую прессу. Затем предстояло всячески позаботиться о туалетах и пригласить наиболее видных деятелей послания, не говоря о сиятельствующих иноплеменниках. Прием имелось в виду обставить незаурядно. Следовало создать атмосферу избранности, для чего стол в гостиной накрыть персон на девяносто, не более; остальные закусывают а ля фуршет, на кухне и в дворницкой. Хорошо пригласить тапера. Пускай анфилады залов закружатся в вихре гавота! Пусть все смеются и шутят! А собственное поведение по преимуществу сдержанное. Улыбку производить в основном уголками рта. С лицами относительно невысокого происхождения соблюдать дистанцию. Чокаться выборочно. На брудершафт пить только с прямыми наследниками престолов. По завершении церемонии, м. б., в тот же вечер, начать сбор сведений о крестословских связях семьи. Полученную информацию передавать Андропову в Эмск дипломатическими каналами. Методы вызнавания не оговаривались, но разумелись сами собой. О внучатые ласки! Перебирая любимые снимки бабули, переданные мне Юрием накануне отлета, я уже предвкушал вас.

План дальнейших поступков долженствовал воспоследовать.

Тени укоротились. Па́рит.

«Что, братец, никак гроза собирается?» — толкаю я в бок мечтательно погоняющего возницу.

«Как угодно-с,» — роняет он мрачно.

Замок, или если угодно шато, к которому мы, наконец, подъезжаем извилистым и кремнистым изволоком, стоит на взлобье горы и построено в вычурном раннеготическом стиле. Сердце, изболевшееся по семейным узам и обязательствам, скачет и дает антраша.

«Мир тебе, тихая заграничная гавань, пристанище моего исковерканного сиротства!»

Шато молчало.

Возлюбя наезжать куда бы то ни было приятным сюрпризом, распоряжаюсь остановиться не доезжая, даю вознице банкноту в одиннадцать кло, что по тем временам почиталось немалой суммой, и далее отправляюсь бесшумным пешком. Кабриолет разворачивается и пропадает.

Неспешно, стараясь не причинить резонанс следую я подъемным мостом, переброшенным через ущелье какой-то гремучей реки, и вступаю на тот ее берег. И тут случается любопытнейший казус.

Поодаль, у полноводного озера, на софе картинно раскинулась дама того несказанного возраста, в котором — как полагает наша всезнающая молодежь — все в прошлом. Этюдник, мольберт — не раскрыты. Их, может быть, и не видно. Зато на плетеной из марокканской ветлы козетке расставлен уже недоеденный пока натюрморт: пол-арбуза, огрызок яблока, остатки кроличьих лапок, куриных крыльев, поросячьих мозгов и похожая на вырезанный аппендикс колбаса венская.

Оценивая этот концептуальный шедевр, я не мог не поразиться своей графологической прозорливости: бабуля была-таки не чужда искусствам! Причем не только этюд, а и облик самой художницы будили в ее без пяти минут внуке какие-то встречные артистические флюиды. Да и поза лежавшей внушала самые неподдельные чувства. Тем паче что новомодный купальник, пошитый под пеньюар, почти что не скрадывал ее старофламандских форм.

«Анастасия Николавна, бабуля! — кричу я, весь впечатленье.— Я прибыл!»

И, знаете, что примечательно? Та не слышит. Забылась ли? Впала ли в каталепсию? В летаргический сон? Говорят, на пленэре последний особенно освежающ. Или с ней нечто вполне летальное? Коли так, то во избежание кривотолков мне следовало бы немедленно удалиться. Ибо законы чужой страны при всем нашем к ним уважении зачастую грубы и абсурдны. Есть, например, державы, где термин «презумпция невиновности» почитается надругательством над памятью жертвы. А может быть, бабушка попросту тугоуха? И вот — ничего неизвестно. Как вдруг художница восстает из мертвых и сладко потягивается.

«Погодите, я сделаю вам потягуси!» — заботливо устремляется к ней дерзающее лицо.

Вы смотрите сверху: просторное озеро, дюны, кусты и луг. Лугом, стремясь оказать внучатые ласки бабушке, стремится солидный молодой человек в калошах, перчатках и канотье. Стоя к нему спиной, та не видит бегущего. Несомый им на плече баул стесняет его движенья. Отброшенный на бегу в изумрудную зелень трав, причудливо он в них пестреет. Участливо простирает бегущий к стоящей руки свои и, достигнув, ладонью ей прикрывает глаза.

«Угадайте-ка, угадайте-ка, кто приехал,» — интриговал он старую женщину, подталкивая ее обратно к софе.

Та — вырывается. Игриво она запрокидывает чело и, кокетливо ковыляя, уходит в бега. Вызов принят. Неловкий, скинув пыльник, а заодно обрушив в травы и натюрморт, приезжий припускается следом. Посохом служит ему в пути огромный, небрежно сложенный зонт, по случаю приобретенный на крепостной барахолке, а шнурок унаследованного от дяди пенсне так и вьется. И в этом горячечном беге по дюнам, в этой полушутливой, полуребячливой, но по-своему бескомпромиссной погоне по свежему следу определенно есть что-то от символистской эстетики. А полдневное солнце (Вы смотрите снизу) лоснится, и ластится, и ликует.

Нагнав беглянку, молодой человек опрокидывает и ее. Только уже не в зелень, не а изумруд, а в оранжевый жар песка. Обрушивается и сам. Случайно раскрывшийся при падении зонт целомудренно осеняет собой все дальнейшие действия пары, лишая Вас элементарного зрительского удовольствия. Вы смотрите, но ничего не видите. . . . .

В процессе мероприятия я заглянул ей в ушные раковины. Ларчик, конечно же, открывался просто: входы в их лабиринты, поросшие чуть ли не кукушкиным льном, закупорены были ватой. Достав из карманного несессера лупу и филателистический мой пинцет, я скупыми, но точными жестами Гиппократа вернул пациентку в мир звуков. И тут, при виде изъятых шариков, скатившихся на песок, словно с холста эпатирующего супернатуралиста, меня передернуло. Беглянка в ответ забилась, заерзала и вскоре обмякла. Обмяк и я.

Пахло водорослями.

Потом, когда оживленно болтая о том да о сем, мы шли, направляясь вдоль берега в сторону средневеково мрачневшего за кипарисами замка, я вдруг обратил внимание, что болтаю-то, в сущности, только я, а спутница — просто жует губами. И отстранился.

«Бабуля, а что это вы не в духах? Поделитесь.»

Не размыкая уст, та глядела несколько волком. Резонно было подумать, что бабушка не желает со мною беседовать из чисто светских условностей: мы ведь были еще не представлены. И тогда, опередив незнакомку на расстояние, показавшееся мне почтительным, я встал к ней анфас, сделал книксен и скромно назвался. Жертва своей художнической рассеянности и дальнорукости, я лишь тут рассмотрел ее подобающим образом.

Всей своей худородной и, я бы сказал, непотребной внешностью составляла она прямую противоположность образу, что сложился в моем сознании в качестве идеала бабушки. Я ведь грезил о бабушке крепких моральных устоев, о бабушке высоконравственной, строгой и необыденной; эта же виделась бабушкой вообще говоря — общепринятой, общедоступной, с порочными желваками на не имеющем никакого значенья лице. Вдобавок она только что разделила лоно своей природы с практически ей незнакомым странником, и, будучи им, я знал о ее падении прямо из первых рук и возможности усомниться в нем — не усматривал. Естественно, это было очень любезно с ее стороны, хотя это же делало ее в моих глазах бабушкой вовсе публичной, бабушкой, с позволения выразиться, полусвета.

«Я обознался,— сказал я себе в ту минуту.— Такая не может быть моей бабушкой.» И оказался прав. Не возвратив реверанса, старуха сухо представилась именем, которое и не намекало на наше будущее родство.

«Трухильда Абрего»,— сказала она прокуренным, как у Фои Стаде, меццо-сопрано и безо всякого перехода потребовала у меня денег за якобы оказанные ею услуги.

Меркантилизм Трухильды показался мне отвратителен.

«Не вымогайте! — бросил я ей.— Неизвестно еще, кто кому их оказывал.»

«Сибелий!» — плаксиво воззвала она к тому, кого нигде покуда не наблюдалось.

«К вашим услугам,— густо протрубил человек, вышагивая из беседки. Он был дремуч, монструозен. Рот его был утыкан тупыми, на совесть сработанными зубами. И он не спеша пережевывал ими какую-то сыпучую снедь, черпая ее большими горстями из кармана своего дворницкого передника. Судя по запаху, да и по виду, то был сушеный горох. Тяжелые складки на лбу едока свидетельствовали о трудном детстве, о сложных духовных исканиях юности, а бритый череп макроцефала не предвещал ничего хорошего. И еще меньше хорошего предвещала дубина, что держал он в одной из рук.

Я смешался.

«Сибелий, меня обманули,— притворно всхлипывала Трухильда.— Скажите им, пусть заплатят.»

«Платите,» — будинично предложил мне Сибелий. Очи его были круглы и печальны, словно часы без стрелок.

Я заплатил.

«А, то-то же»,— назидательно сказала она. Обильно слюнявя пальцы. Трухильда считала данные мною кло. Сочтя, она сунула их в чулок. Впрочем, не все; две или три кредитки старуха дала Сибелию. Тот опустил их в карман, где и смешал с горохом.

«Послушайте,— осведомился я корректно,— а вы тут, собственно, кто?»

«Кто надо,» — проинформировал он.

«Не грубите,— сказала ему Трухильда.— Господин уже расплатился.»

Сибелий хмыкнул.

«Сибелий — наш управляющий,» — объяснила Трухильда.

«А вы?» — молвил я.

«Я кухарка.»

«Боже милостивый! — подумалось мне с какою-то сардонической жутью.— Связаться с продажной женщиной, да еще и с кухаркой!»

«Откуда такая разборчивость,» — съязвил мне внутренний голос, намекая на шуры-муры с Жижи и Ш.

«Оставьте! — приказал я ему.— Жижи — не в счет. То была абсолютно абстрактная страсть, опрокинутая куда-то вовне. Моментальная вспышка. А Ш.— я имел к ней чувство. А чувство, м. г., оно, как проворовавшийся Громовержец: спалит все дотла — и спишет.[1] А главное, главное, мы никогда не вступали в товарно-денежные отношения, и никогда дух наживы не витал в наших кельях!»

«Так,— сказал я Трухильде.— А где хозяева?»

«На галерее,— сказала она.— Пойдемте.»

Накрапывало. На западе озоровали зарницы. Тень Сибелия с палицей на плече следовала за нами.

«А отчего это меня не встречали ныне?» — чтоб не молчать, обратился я к моим чичероне.

«Знать, птица невелика,» — рек Сибелий.

Тогда, указывая на него большим пальцем, Трухильда сказала: «Не обращайте внимания, мы у нас не в себе, потому что когда наша матушка была на сносях, случился потоп, и ее потоптали гипопотамы.»

«Ложь! — с прогорклой обидой в горле крикнул Сибелий.— Страусы!»

«Гипопотамы,» — спокойно возразила кухарка.

«Страусы!» — заорал Сибелий. Пароксизм настойчивости исказил его вдавленный лик.

«Гипопотамы, братец, гипопотамы,» — ехидно твердила Трухильда и пародировала их разбитную походку: шла, лукаво дразня ягодицами, лакомо косолапя.

«Страусы! Страусы!» — Управляющий отбросил дубину и в намерении произвести надлежащий эффект, запрыгал и замахал руками. Как страус, он был воплощенье гротеска. Сыпавшийся из его кармана горох мешался с пошедшим градом.

«Не верьте ему,— говорила Трухильда.— Он все перепутал. В детстве мы жили в Австралии, но родились в Месопотамии — сразу после потопа. Так что это могли быть только гипопотамы. Только.»

«Вы — близнецы?»

«Разумеется,— возражала старуха.— Разве не видно?»

Действительно, не было бы на свете двух более схожих между собою людей, если бы не их поразительное различие. Не усматривая, однако, принципиальной разницы, там или тут, равно как те или эти твари атаковали мать нашего

[1] Гроза, несмотря на индифферентное отношение к ней фаэтонщика, действительно собиралась.

управляющего и кухарки, я дал себе слово, что нынче же похлопочу об немедленном их увольнении. И, оставив спорящих, зашагал круто к ветру.

Вскоре я оказался на галерее замка. Каменная лестница вела куда-то наверх, вероятно, на самый. Лакей, катевший вдоль балюстрады легкий холодный ужин с клико, молвил, что вследствие непогоды господа перешли в каминную, и спросил меня, как доложить.

«Доложи, Аноним из России,— ответил я.— Знатный странник.»

Слуга хотел уже уходить, когда я подумал, что следовало бы явиться в сей дом на правах своего человека, но только не как-нибудь, а как-нибудь так, чтобы сделать явление знаменательным. И не желая впутывать в это узкосемейное дело лакея, я дал последнему денег и приказал ничего не докладывать.

«Воля ваша,» — ответил взяточник, удаляясь.

«Мир стяжательства и коррупции,— мыслил я по поводу мира, в котором приходится жить.— Мир, где царят расчет, аккуратность, точность и процветает посредственность. Мир филистеров и человеков в футлярах. Мир, где толпы по-прежнему взыскуют лишь хлеба и зрелищ, а глас поэта презрительно незамечаем.» Так, слушая, как, постукивая на стыках замшелых плит, отъезжает закусочная околесица, мыслил я в наступающем одиночестве. Щеголеватые, но бесплотные рыцари, украшавшие перспективу аркад, лишь усугубляли его. Правда, я все-таки не отказал себе в удовольствии осмотреть их ратную утварь. Их латы, копья, мечи относились к эпохе развитого кузнечного производства, когда металлические отношения определили весь ход поступательного процесса, когда деревянные сохи сменились железными, а маски и колпаки арлекинов — забралами и киверами кнехтов. Однако и та эпоха пришла в упадок. Она обветшала и рухнула. И вот уже я, обитатель очередного столетья, любуюсь, как на сих смехотворных сейчас доспехах бликуют зарницы нового дня, каждая из которых способна придать энергию тысячам электрических стульев. Теперь я знал: сын эры высокого напряженья, я должен войти в каминную нашего замка не иначе как с первым ударом грома, подчеркивая тем самым огромность явления, указывая на его созвучие времени.

Облокотившись на балюстраду, я ждал. Пейзаж — расстилался. Цвета грозового фронта были сурик и ртуть. В зияньях — закатная медь и цинк. Ветер — сыр и порывист.

И дальний колокол.

Непогода и быстро наступавшая темнота обострили мне все инстинкты и чувства, и в какое-то из мгновений я понял, что далеко не впервые стою на галерее данного замка, обозревая его окрестности. Я опознал их детально. То был эффект умозрения, доказывающий регулярную обращаемость нашу на круговых путях бытия: воспоминанье о будущем, провиденье прошлого. На Западе сей феномен зовут дежавю, у нас — ужебыло.

Теснимый армадой туч, я медленно отступал в направлении каминной и, наконец, оказался в ее преддверье. Типичный образчик барочных сеней с в меру выспренним рококо пилястров и каннелюр, преддверье было украшено фресками Ботичелли, Мессины, Вальполичелло, Ламбруско, Кампари, Перно и других искусников Кватроченто. Смоленой гикори дверь содержала мозаичные вкрапления на сюжеты древних шахматных композиторов и геральдистов. Была приоткрыта.

Разговор в каминной, невольным слушателем которого я стал, перекликался с моими недавними размышлениями.

«Мой умовывод пока что тот,— говорил кто-то голосом, лишенным каких бы то ни было нот упования,— что суть нашего жизнесмысла непознаваема.»

«Типичная ницшеанская бесовщина,— заметил голос благовоспитанного клаксона.— Мы живем в восхитительные века,— витийствовал он.— Непрестанно ведутся поиски утраченного времени, ищутся и находятся новые манускрипты, скрижали, бесценные факты отшумевших эпох!»

«Мне бы ваши заботы,— насмешливо мямлил ему в ответ собеседник.— А, впрочем, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.»

Гром раздался. И со словами «Мир дому сему!» — возник я в проеме дверей.

В просторной комнате, за столом, покрытым бязевой скатертью, и в крахмальных сорочках ужинали два господина различных статей и лет. Перед ними за занавесом из старых кольчуг разыгрывалась феерическая инфернилия домашнего очага. Вещавший голосом благовоспитанного клаксона был румяная круглая сдоба недавней, явно университетской, выпечки. Прочий, с голосом, лишенным нот упования, был раскисший в бульоне ржаной гренок пенсионного возраста. В значительное отличие от первого, сидевшего на рыцарском кресле, второй господин восседал на высокой конструкции для расслабленных, что будила в Вашем воображении образ турус на колесах. Кроме колес, у нее различались страховочные перильца по трем сторонам, спинка и полка для ночного горшка под сиденьем с овальным провалом. Живость, правда, оставила восседавшего не вполне: он, казалось, не только переживал, но также и пережевывал ужин всем сердцем.

«Вы — ретроград! — упрекнул я его с порога.— В эпоху, когда целым нациям отшибает коллективную память, нам, этрускам, следует особенно дорожить всякой справкой о прошлом. Ибо кто же мы станем без нашей архивной документации, куда погрядем. История! Светоч гуманитарных наук, подумайте. Да народ без нее все равно что беспаспортный беглый каторжник: никаких перспектив, бродяга.»

«С кем честь имею?» — вяло, хоть не без некоторой иронии, поинтересовался гренок.

«Палисандр Дальберг,» — ответил П., резко вскидывая подбородок

Он был в центре внимания и, стоя на фоне вешалки, несколько рисовался.

«А вы, я догадываюсь, Сигизмунд Спиридонович?»

«Боюсь, я скорее Адам Милорадович,— ответил гренок и обернулся к своему сотрапезнику за поддержкой: — Ведь так?»

«Вне сомнений. Вы Адам Милорадович Навзнич. А я — Модерати Петр Федорович, ваш зять, опекун и, если угодно, нотариально заверенное лицо, адвокат,» — косвенно отрекомендовался тот.

«Я прибыл сюда по делам деликатного свойства и желал бы видеть хозяев имения,» — сказал Палисандр.

«Хозяин имения я,— сказал Адам Милорадович.— Но насколько мне представляется, я такими делами не занимаюсь. Да и у дел ли я в целом? Навряд ли, навряд.» — Он вздохнул.

«Вы теперь не у дел,— мягко молвил ему Модерати.— Вы отдыхаете.»

«Вот видите,— сказал Палисандру Адам Милорадович,— я оказался прав. Я теперь на заслуженном отдыхе, не у дел, и мой нотариальный свидетель обеспечивает мне алиби. Поэтому не доверять мне у вас нет никаких оснований.» — И он удовлетворенно высморкался.

«А вы не ошиблись случайно замком?» — спросил Модерати.

«Не думаю,— отвечал Палисандр.— Это ведь Мулен де Сен Лу?».

«Как будто,» — сказал адвокат.

«Быть может,— сказал тогда Палисандр,— может быть, вы смогли бы мне указать, где в таком случае жительствуют барон Чавчавадзе Оглы и супруга его Anastasia.

«Жительствуют? Мне кажется, это слово не очень точно определяет их нынешнюю ситуацию. Вы, верно, оговорились. Я думаю, вы хотите спросить, где они упокоены.»

«Нет,— сказал Палисандр.— Non,— сказал он.— Nolo.»

«Они упокоены здесь в Бельведере,» — сказал адвокат.

«О горе!» — вскричал ему Палисандр.

Известие было действительно не из приятных, т. к. в случае его подтверждения рушились все заграничные планы. Казалось, будь его воля, П. кликнул бы стражников с алебардами, и они укоротили б зловестника на целую голову.

«Клянитесь!» — сказал приезжий.

«Слово душеприказчика. И, если желаете, я покажу вам свидетельства об их смерти, нотариально заверенные лично мною. Точнее — копии, потому что оригиналы свидетельств хранятся в мэрии. Но копии довольно хорошие, четкие.»

«Ах,— вздохнул Адам Милорадович, кушая бланманже.— Я тоже, признаться, долго не мог поверить в эти кончины. Вы помните?»

«Да-да,— подтвердил Модерати,— достаточно долго.»

«Чудесные были люди,— делился воспоминаниями Адам Милорадович.— Благодетельные, работящие. Не их ли собственными руками разбита клумба у нашего дома призрения. Вообразите: огромная клумба с кактусами. Просто прелестно. Ничто так не украшает позднюю старость, как кактусы, говаривали покойники. А как они огорчались, как сетовали на смерть, когда уходил кто-нибудь даже не слишком близкий. И ни одна панихида у нас в долине не обходилась без их живейшего участия.— Навзнич был неподдельно эпитафичен, и бланманже капало ему на слюнявчик.— Однажды я спрашиваю: баронесса, ну, что же вы с Сигизмунд Спиридонычем так расстраиваетесь всякий раз? Неужто все они стоят ваших терзаний? И, знаете, что она отвечала? Дурные, говорит, батюшка, люди не умирают. И вот вам пожалуйста: сами же и скончались. Не правда ли?»

«Но как же это могло случиться!» — сказал Палисандр, мысленно заламывая себе руки.

«По-разному,— возражал Модерати.— Барон хворал-хворал да и отошел понемногу. А баронесса — та в одночасье отмучилась. Дело житейское, знаете. А имение Адам Милорадовичу перешло. Я как раз ему и оформил все в соответствии с завещанием.»

«А вы что им будете?» — обратился я к Навзничу.

«Адам Милорадович приходился им внуком,— объяснил адвокат.— Приемным внуком».

«Не хотите ли вы сказать, что его увнучили?»

«Абсолютно.»

«Да почему его? На каком основании?» — Я расстегнул себе верхний крюк.

«На основании результатов конкурса,» — рек Модерати

«А разве был конкурс?»

«Негласный. И, сколько помнится, первой кандидатурой шел какой-то высокородный отпрыск из Эмска. Шел-шел, да задерживался, все что-то не ехал, а позже мелькнуло, кажется, сообщение, что он плохо кончил. Так что его и ждать перестали.»

Чудовищная гипотеза просияла в моем удрученном мозгу, слушая адвоката: «Албанское танго», в котором я прочитал объявленье покойных ныне супругов, было не первой свежести. Подтвержденье догадке сыскалось мигом. Я вспомнил опубликованное в нем пророчество футуролога, что белье для дам зашагает в ногу с прогрессом. Теперь, находясь в каминной шато Мулен де Сен Лу, я умозрительно переворошил туалеты своих симпатий — воспитательниц, нянь и тетушек разных пор — и понял, что время, предсказанное пророком, давно наступило. Ибо белье переставало быть актуальным уже во дни моих благородных ремесленных классов, что, увы, и содействовало падению нравов.

Меня передернуло.

«Что это с вами? — обеспокоился Модерати.— Вам дурно?»

«Мне странно,» — сказал Палисандр.

Ему предложили раздеться, стул и кружку козьего молока.

Он сбросил безвольно пыльник, однако ни пить, ни садиться не стал.

С другой стороны, связал я прерванную нить размышлений, в «Албанском танго» было помещено сообщение о самоубийстве Лаврентия, каковое событие пришлось уже на мои монастырские дни, то есть случилось почти недавно.

Дабы преодолеть открывшиеся вдруг временны́е «ножницы», я довольно легко убедил себя в том, что русская мода несколько опережает этрусскую: то что пока еще носят в консервативной Европе, в России уже перестали. Куда труднее было избавиться от непривычного ощущения, что опоздал — не поспел — прибыл к шапошному разбору.

«А что вам странно? — сказал Модерати.— Развейте мысль.»

«Мне странно, что господин, кушающий себе бланманже и не дующий в ус, занимает место под солнцем, по праву принадлежащее совершенно другому.»

— Кому это?» — Навзнич язвительно повертел головой, делая вид, будто ищет кого-то взглядом.

«Мне, Адам Милорадович, мне. Ибо высокородный отпрыск из Эмска, который якобы плохо кончил,— он перед вами.»

Все помолчали. Зарницы вспыхивали беспрестанно.

«Зачем же вы столь припозднились?» — спросил адвокат.

«Я был сослан, гоним. Я замешкался по монастырям и острогам. Я сиротливо мытарствовал и страдал.»

«Вот и страдали, и мытарствовали бы далее.— развязно заметил Навзнич.— Чего ж благородней! И нечего было ехать.»

«Побойтесь Бога! Разве я мог забыть о своих внучатых обетах, пускай и заочных. Я никогда не простил бы себе ничего подобного. И потому — лишь случилась оказия — во исполнение их кинул я все, вплоть до самой Отчизны включительно. Но — следите — следите с пристрастием! – но приехав по данному адресу, выхожу персона нон грата. Меня не только не встретили, а и не ждали. А господину, жующему бланманже, все сие – трын-трава. Ему нисколько не совестно, что он каким-то обманным манером заиял вакансию, уготованную иному.»

«Отчего непременно обманным,— сказал Модерати.— Адам Милорадович поступал по всем принципам, сообразуясь с уложениями о положениях. И, кроме того, он тоже и сирота, и отпрыск светлейший князь Черногории, если угодно.»

«Пусть хоть Месопотамии! — возражал я тогда адвокату.— Трудно и вообразить, насколько надо было втереть очки почтенным супругам, чтоб те, не дождавшись прекрасного юного соотечественника, увнучили некоего иноплеменного ремоли со слюнявчиком, ничтожество на этажерке с горшком!»

Светлейший затрясся. «Вы оскорбили меня в присутствии нотариально заверенного,— разжиженно завизжал он.— Вы — хам, и я попросил бы у вас сатисфакции!»

«Фехтовать! — бросил я умозрительную перчатку.— Я проколю вас, как коллекционную куколку.»

«Шпаги в ножны,» — твердо приказал Модерати. И тут я почувствовал, что не сумел бы ослушаться этого визуально мягкотелого интеллигента. В нем было нечто от моего учителя черно-белой магии Вольфа Мессинга — какой-то неумолимый стержень. Когда маэстро был еще в силе, а я — лишь копил ее, он единственный изо всех педагогов мог заставить меня, ребенка, выполнить свои указания. Методы Мессинга общеизвестны: гипноз и внушение через влияние.

«Шпаги в ножны,» — повторил адвокат. Исходившая от него энергия подчинения была почти осязаемой. И не без некоторого удивления я подчинился. Затих и Навзнич.

Поднявшись из кресла, Петр Федорович щелкнул подтяжками и оборотился к огню. Озаренные им щеки его, наводившие на раздумья о двустороннем флюсе, о Грибоедове, о партитурах его недописанных вальсов, разодранных фанатиками ислама заодно с композитором и дипломатом,— были переразвиты, как у зайца. Они лоснились. Однако губы нотариально заверенного казались более втянуты, нежели вывернуты. Иными словами, на роль шестьсот шестьдесят шестого носильщика он не годился.

«Мне представляется, мы беседуем в обстановке какого-то опереточного недоразумения,— рек адвокат.— Позвольте,— он посмотрел на меня,— позвольте задать вам, сударь, нескромный, но вместе с тем совершенно анкетный вопрос относительно вашего возраста.»

«Я готов,— отозвался П., становясь в основную позицию.— Задавайте.»

«Сколько вам лет?» — наотмашь хватил Модерати.

«А сколько б вы думали?» — парировал я, закручивая пируэт вероники. Дыхание мое участилось, будто в предвиденье незабываемой встречи.

«Пожалуйста, не кокетничайте,— сделал он выпад.— Я волен думать о вашем возрасте все, что заблагорассудится. Но я сейчас ни при чем. Это — ваш возраст, и поэтому важно, что вы сами о нем полагаете. Ну, так сколько?» — уколол адвокат.

«М-м, да лет что-то такое шестнадцать, что ли, семнадцать.»

«А если точнее?»

«От силы осьмнадцать, Петр Федорович. От силы. Конечно, я могу заблуждаться, с кем не бывает. Тем паче что я ведь себе не нянька, ходить за собой не приставлен. Да и что щепетильничать, чего там нам с вами бухгалтерствовать на предмет ловли блох, подумайте. Все одно не упомнишь, не уследишь. Годы-то, сами знаете, как стремят. Как воды. Здесь плюс, тут минус. И все сквозь пальцы да сквозь пески. А вы в метрику в метрику, если угодно, извольте взглянуть, там указано. Только где она — метрика? Только она у меня в багаже, Петр Федорович, в багажнике, вместе с прочими документами. А багаж, как известно, в камере. Так что одно из двух: ждать утра, зари и с первыми птахами и лучами мчаться на станцию относительно метрики — иль поверить мне на слово. Либо—либо, решайтесь.»

Модерати не отвечал. Тогда я вывел взор из прострации и осмотрелся.

Князь Навзнич, углубившись в свежеподанные улитки, в беседе более не участвовал. Неторопливость моллюсков, казалось, была заразительна, ибо по мере их поглощенья он кушал, мыслил и восседал все медленнее.

А Петр Федорович — тот просто стоял у камина и в упор свидетельствовал поступки мои и речи. Во взгляде его мешались два компонента: насмешка и жалость. Никто еще, надо сказать, не смотрел на меня таким скверным образом. Потому что я никогда не заслуживал подобного на себя воззрения. Воззрения, граничащего с презрением. Да прежде я бы и не потерпел его, я бы пресек. Отчего же не пресекаю нынче?

«Что вы задумали, Петр Федорович? Зачем это отчуждение, холод? Разве я их достоин?» — Мой глас был шепот.

«А разве — нет?»

«Не знаю, право, не знаю. Откуда мне знать? Хотя я могу поручиться, что в основном стараюсь быть всячески на высоте. На высоте положения. Ибо оно обязывает, возвышает. А потом еще воспитание. Верите ли, я довольно незаурядно воспитан. Но, может, все это уже далеко не так — кто ведает. Может, мой опыт, вкус и манеры здесь не найдут ни малейшего применения. Или уже не находят. И получается чистый вздор — абсурдистика — ничто о ничем. В общем, смотрите, вам, верно, виднее. Смотрите, но будьте тактичны, вежливы, соблюдайте меру. К чему столько воли к власти? Смотрите, но не насквозь!» Смятение мое нарастало. Я шепелявил и бормотал.

«А сами,— сказал Модерати,— неужели вы сами не пробовали понаблюдать за собою со стороны, сравнить, так сказать, точки зрения на свой собственный счет — ту и эту?»

«О, вот вы о чем, понимаю. Нет, Петр Федорович, не довелось. При всей моей отрешенности от всего примитивного, низменного я до сих пор не решился. Предательское малодушие — неожиданные движения душевного поршня вспять— соображения чисто практического порядка, дескать, а вдруг не вернусь, что тогда? — кто продолжит вместо меня мой земной, телесный мой путь? — все сие повисало пудовыми гирями, и выход в астрал всякий раз откладывался и откладывался. А в принципе спору нет — седуктивная штука.»

«Оставьте, какой там астрал! Я говорю об элементарном зеркале. Вы когда-нибудь обращали,— сказал нотариус,— обращали ли вы,— он сказал,— вы внимание,— выговаривал адвокат,— на собственное,— подчеркивал он,— отражение в зеркале? Или еж елакрез в еинежарто еонневтсбос ан еинаминв илащарбо ен адгокин ыв?»

«Ну что вы, стоит ли обращать внимание на подобные пустяки»,— легкомысленно молвил я, покрываясь атавистической конской испариной.

«Э-э, приблизьтесь»,— потребовал он.

«Не губите!» — одними губами воззвал я к его милосердию. Тем не менее встал и шагнул, не владея ничем в рассуждении органов передвижения и баланса. Идя — был предказненно беспредметен. И одинок. Сердцем — гулок. И — шел. И, приблизясь, приблизился. Он же, который приказывал, посторонился. Тогда — открылось. Тогда — зазияло овально. Тогда засквозило глубокой голубизною осеннего омута — провалом винтового лестничного пролета — о, о — тогда.

Я отпрянул.

«Чего вы страшитесь? Пугает ли вас зазеркалье? Считаете ли, что это епархия дьявола? Верите ли, что разбитое зеркало — весть о смерти?» Меня забросали вопросами.

«Я не думаю о таких материях. Петр Федорович.— И сказал сокрушенно: — «Все вами названное — не моего ума пища. Но я не хочу, не хочу лицезреть себя. Не имеет значения где: в зеркалах ли, в витринах, в очах мимохода иль где там — да мало ль! Вообще поразительно, сколькие вещи, явления или события отражают — или способны — при минимальном воображении нашем — нас отразить.»

«Как вы дошли до этого? Что с вами случилось? Когда?»

«Вы, может быть, не поверите,— начал я.— но когда-то я был относительно маленьким. И, покуда не вырос, все полагал, что все люди за исключеньем меня — безобразны. Имея в ту пору ясный — впоследствии замутненный бельмом — взгляд на вещи и на подобных себе, я понимал их подобность в узком, софистическом смысле. В том смысле, что все они или равны меж собою, или подобны себе самим. И не усматривая в том никакого противоречия, отчетливо различал их внешние, да и внутренние недостатки: от грязных носков до защемления грыжи. А сам я был чист и здоров и думал, что ни к чему не причастен. Причина моих заблуждений? Она тривиальна. В той крепости, где протекло, или лучше сказать, прошествовало величавое, словно равелевское болеро, мое детство, зеркала почитались роскошью. Их хранили по сундукам и запасникам, а зеркальные стены покоев были задрапированы бархатом и панбархатом приблизительно на три аршина от плинтуса: там стояла эпоха тотальной скромности, Беззеркалье. Так что если я и страдал нарциссизмом, то он был довольно абстрактен. Случилось, однако, так, что я вырос. Я вытянулся за черту драпировки, увидел свое отражение и пережил типичную драму смертного человека. Мне стало вдруг ясно, что я не лишен присущих всем остальным недостатков, то бишь нелеп и гадок, как все остальные. То есть — подобен им, эрго — причастен к их порочному кругу. И потрясение едва не погубило начинающего артиста.»

«Вы что — рисовальщик?» — перебил адвокат.

«Я — хроникер текущего времени, Петр Федорович. Хронограф. И, дабы запротоколировать его, не пренебрегаю никакими условностями. Вернее — искусствами. Сочиняю, рисую, слегка музицирую. Не чужд и хореографии. Словом — артист, Петр Федорович, артист. Ничего не попишешь.»

«Продолжайте»,— сказал Модерати.

«А где мы остановились?»

«Потрясение едва не погубило его.»

«Совершенно верно. Едва. Т. к. несмотря на внушительные размеры, он был невероятно раним, утончен, обладал элитарным сознанием. И вот у него горячка — судороги — виденья — и мысль поминутно рвется, словно гнилая тесемка. А выздоровев, решил сколь возможно забыть о своем типичном уродстве, что в первую очередь означало — бежать своих отражений. И он бежал. Поначалу с весьма переменным успехом, ибо они не дремали тоже. Тем более что Беззеркалье кончилось. Скромность вышла из моды, ушла в резерв. Зеркала извлекли из запасников, а драпировку содрали. Отражения стали подсматривать, подкарауливать в самых внезапных местах. Они постигали, как озарения свыше. Они ослепляли, глумились, мучали страхом. Кроме стекла и полированного металла и дерева, коварствовала водная гладь. Опасны были озера, реки, болота, пруды и лужи — их зеркала. Особенно ясной ночью. Но вряд ли было что во Вселенной ужасней, губительней и месмеричней ночного, полного дальних солнц колодца. Ведь отразившись в нем вместе с ними, вы словно бы начинали падать в его пролет, будто в космос. Падать и пропадать из виду, утрачивая себя, свою бесценную индивидуальность и бессмертную душу. Падать и становиться одной из миллионов падающих в беспредельность звезд. Кремлевский колодец! Ему, безусловно, не было дна, и он еженощно манил артиста своею волшебной кромешностью. Но молодой человек не сдавался. Жестоким усилием воли он заставил себя забыть о колодце. Борясь с отражениями, он придумал различные трюки. Так, пошивая у крепостного меховщика доху, он мог часами стоять перед зеркалом, не открывая глаз. А когда уставал, надевал очки с фиолетовой оптикой — для слепых, называемые им гомерическими. То же и у цирюльника. Позже возникла идея маски. Я стал почти постоянно носить всевозможные маски — палаческие, карнавальные, марлевые и т. д. Тогда справедливость восторжествовала, ибо мои отражения больше не узнавали меня, а я не узнавал в них себя. И, следовательно, мы не узнавали друг друга. О душевное равновесие, я обрел тебя вновь. Вы же, Петр Федорович, желаете, чтобы я опять его потерял. Ради чего? К чему эта иезуитская казуистика?»

«Ради вашего будущего благополучия,— сказал Модерати.— Хотя благополучия относительного, конечно, поскольку абсолютного не бывает, да и не требуется: оно аморально.»

Я силился возразить, но мои аргументы мешались в мозгу, как карты. Влияние Петра Федоровича было огромно. Теперь я почти усматривал шедшие от него токи, а нейтрализовать их собственными не смел. Его излучение обезволивало, превращало дерзающего в трусливое и тупое жвачное, жующее собственные слова. И, когда указующий перст нотариуса повелел мне вернуться к зерналу, я сомнамбулически повиновался.

«Смотрите»,— приказал Модерати.

Сонная гнусавость гипнотизера исключала всякие возражения. Ваш покорный слуга поднял веки и покосился.

Из-за прошедших накануне дождей в овале осеннего омута было мутно, и опознать дрейфующего в глубинах утопленника не представлялось возможным. Мешали его рассмотреть и листья — бордовые, ветром оборванные с обрамляющего терновника листья, гонимые им по всей поверхности водоема, как пьяные джонки.

«Извольте надеть пенсне,— настоятельно рекомендовал индуктор, будто откуда-то издалека.— А вуалетку откиньте.»

Поступив по им сказанному, лицо, претендующее быть мне подобным, обрело четкость черт. Не лишено моих примет и костюма, оно тем не менее представало чужим, и по-прежнему я не умел, а точней — не желал — я отказывался опознать неизвестного — а? Вы слышите, господин адвокат? — не могло быть и речи о том, чтобы я согласился когда-нибудь опознать претенциозного самозванца. Ведь он — он ведь был каких-то решительно неприемлемых — неуместных — неподобающих, а главное — каких-то решительно непоправимых лет. Даже весьма приблизительная их сумма не укладывалась в сознании вашего корреспондента.

Что делать? Вот воистину верный вопрос, долженствующий быть предложен себе самому, не способному опознать в возникшем живом мертвеце самого же себя, но знающему, что это никто иной. Вопрос тем более правомерен, что в силу самодостаточности своей ответа не требует и не предполагает. Которое тысячелетье висит он над каждодневным из нас, рефлексирующих русских интеллигентов.

А — муть овала?— быть может, спросите Вы.— А — листья?

А муть овала осела, омут словно прозрел, и листья, казавшиеся бордовыми джонками, оказались бордовыми языками каминного пламени, отраженными в омуте. Озабоченно, по-кошачьи, вылизывали они отражение новоявленного старика, сплетаясь над мрачным его челом в огнелистый терновый венец. И я горел не сгорая, будто неопалимая купина».

Стояла вопиющая тишь. Только чавкал мой неудавшийся Чавчавадзе, князь Навзнич, тявкали где-то собаки да катафалком по дряхлому мосту катилась над Бельведером гроза.

«Какой катаклизм! — застонал я, точно спросонок, и, пав на колени, стал нищенски шарить ладонями по полу, по его хладным, могильного вида плитам. Не ведая, что творю, я приискивал то не знаю чего — подсознательно, подслеповато и тщетно. Не обретя ничего, кроме нескольких шариков бисера, я осознал, что искомое мною был растранжиренный жемчуг лет, и спонтанно и не вставая с колен, принялся излагать ламентации на быстротечность всего земного и заодно уж — с присущей мне щедростью выразительных средств — исповедался в своих обстоятельствах.

Местами я впадал в несусветности, вдохновенно бредил, и голос мой диаметрально менялся. Я глаголил в обратном порядке, на вдохе, не —из, но — вовнутрь, отчего теснившиеся в плотном теле переживания не находили исхода и буйствовали — и душили. По той же причине революционно менялся порядок слов в моих фразах и букв — в словах: первые становились последними, последние — первыми, а средние так и оставались посредственными. Услышав меня в тот час, Вы, верно, подумали бы, что мной овладели бесы или что я овладел новой группой мертвых наречий и мучусь их оживить. И в чем-то — были бы правы, ибо словообразование «Чернильный мешок каракатицы», употребленное мною наоборот, звучало довольно по-арамейски. Тем не менее Модерати легко понимал меня. Оказывается, он тоже был полиглот и подобно всем полиглотам знал, как целительно всякое говорение, особенно искреннее. С течением моей речи она становилась плавнее, осмысленней, и душевное равновесие обреталось мной сызнова. Я возрождался из пепла.

«А знаете, Петр Федорович,— сказал я ему, подымаясь с колен,— знаете, дорогой мой, что я вам должен заметить?»

«Я слушаю вас внимательно».— отозвался он, наблюдая, как гувернер с галунами разворачивает княжеские турусы и увозит на них опочившего Навзнича в опочивальню.

«А ведь это,— сказал я тогда,— это ведь я, пожалуй, с дороги так сдал. Дорога, подумайте. Она же не красит. Бывает, припудрит тебя в пути путевою пылью, припорошит, и все думаешь, думаешь — эк тебя, думаешь, сироту, возмужало да посуровело: не успел оглянуться, а уж и в деды себе записался.»

«Сходите,— сказал адвокат,— и умойтесь.»

«Куда прикажете?»

«Прямо по коридору.»

«Слушаюсь. Впрочем, я с вашего разрешения принял бы душ, если только не ванну.»

Он посмотрел на меня. «Законы гостеприимства не позволяют мне отказать вам.»

«Вот и чудесно, вот и договорились,— говорил я ему, борясь с брикабраковской суетливостью собственных жестов.— А полотенце найдется лишнее? Да? А кремы? Халаты? Смена белья?»

«Все там, в ванной комнате.»

«У-у, совсем замечательно. А то мое-то все в камере, знаете ли, хранения. А быть может, я там и переночую?»

«Где? В ванной? Но там, вероятно, сыро, сороконожки.»

«О, это-то пусть, это штука привычная. Главное, чтобы вам беспокойства не оказать. Да, кстати, чуть не забыл. А не мог бы я, коль уж события приняли такой оборот, провести в вашем замке ряд дней — как вы мыслите?»

«Хамству вашему нет предела»,— сухо уведомил адвокат.

«Ах, Господи, зачем эта черствость! Я же ведь не настаиваю. Я просто подумал, вам все равно. Да и в самом-то деле, что страшного, если один этруск посвойски погостит у другого недели, положим, две — а? Устроились вы не пыльно, хозяйство обширное, озеро вон, гуси-лебеди плещутся, а гостей чураетесь. Странно, право. А может быть, вы желали бы выручить за услуги определенную мзду? Извольте, от выплаты не уклонюсь. Только счета — непосредственно в казначейство, Морозову. Адрес тот же, что у меня. Зафиксируйте. Кремль, Эмск, Россия. Просто во избежание путаницы. Договорились? Уж будьте любезны. А то скрупулистики не оберешься: расход-приход, нетто-брутто. Подумайте.»

Он подумал и отвечал, что во мзде не нуждается и что, учитывая мою очевидную идееспособность, разрешает пробыть мне в замке пять дней.

«Пять? Негусто, милейший, негусто. Надбавили б от щедрот.»

«Пять»,— сказал Модерати.

«А после?»

«После вам лучше уехать. У нас вам не будет удобно.»

«Помилуйте, да куда из такой благодати уедешь! Здесь так живительно, так живительно. Уж ежели здесь не будет удобно, то где же будет?»

«На родине,— отвечал адвокат.— На родине.»

«Экий вы, право, скушный, идейный. Вы, Петр Федорович, пунктуал, вот вы кто!» — крикнул я, удаляясь прямо по коридору, по стенам которого висели портреты российских и европейских монархов текущих столетий.

Санузел был оборудован в оранжерее, и крыша его была настоящий хрусталь. Цветы всевозможных растений повили, повапили ванну, как саркофаг. Окутаны теплой влагой, Вы созерцали ее же стихийные струи, вдребезги бившиеся о твердыню кристалла. Ночь почти перешла, но дремучий дракон грозы отсверкал далеко не всеми чешуями.

Есть лица, на пожизненное знакомство с которыми мы буквально обречены,— философствовал я на следующее утро, исподтишка изучая одно из них в туалетном зерцале ванной и параллельно вдевая стопы свои, освеженные ванным сном, в ботфорты, полные неизвестности[1].

Бельведерская ночь не внесла, однако, существенных коррективов в мое отражение. А, используя мыло, мочалку и даже пемзу, дерзающему удалось смыть не более двух-трех лет. Тут бы, казалось, и впасть в отчаяние, возроптать на судьбу, да таково уже свойство нашего человека и гражданина, что все ему нипочем. Прирожденный стоик, он свыкается с самыми плачевными обстоятельствами существования, терпит лишения до последней возможности и только затем, основательно взвесив все «за» и «против», накладывает на себя руки.

Я оглянулся: «О молодость! Молодость! А?» Никакого эффекта. Искры жалостливости были бенгальскими, и фитиль патетики не возгорался. Окончательно осознав себя стариком, я чувствовал, мыслил и поступал типично по-стариковски: мерно, трезво, расчетливо.

Да, молодость отлетела,— я мыслил. Но велика ли печаль? То есть разве не этого — потихоньку от самого себя — ты ждал вожделенно все истекшие годы? Не так ли благовоспитанный джентльмен ждет пристойного повода для разрыва с капризной и требовательной содержанкой? О молодость, сколько с тобою мороки! Сколько энергии, времени, сил уходит впустую на удовлетворение твоих вздорных прихотей, на чаяния твои и мечтания. Совсем иное — добротная — габардиновая и байковая — на ватной подкладке и меховом ходу — старость. Все мелкое, суетное, в том числе нездоровые страсти,—побоку. Плоть ненавязчива. И чинно, солидно, с сознанием честно исполненного пути впадаешь в заслуженное и счастливое детство. Да, жизнь оказалась короче, нежели принято полагать. Не страшно. Подумаешь, невидаль—жизнь. Да, заря потухает. В проеме временного провала сквозит другой. То провал моей уникальной миссии. Милки-уэй, петлей захлестнувший Мулен де Сен Лу, за убытием прежних хозяев шато в лучший мир, наверное, никуда не ведет. Вот и ладно. Осталось купить обратный билет — проститься — вернуться в Эмск — снять с себя шпионские полномочия — выйти в отставку — отречься от всякой самости и поселиться в каком-нибудь отдаленном, заштатном углу Кремля, в нетопленой деревенской хижине с земляными полами, соломенной крышей и бычьими пузырями в окнах. И там, молясь и влача безупречное одиночество, составляя определитель кремлевских целебных трав и прядя кудель, все пытаться припомнить: в какие провалы кануло отпущенное тебе безвременье, и когда преуспел ты столь необратимо потратиться, пообноситься собой? В остроге? В монастыре ли? Пересекая ли рубежи?

[1] Ибо мы никогда не знаем, что ждет наши конечности там, в потемках, в потайных лабиринтах обуви, а заглянуть, поинтересоваться все ленимся. Недалеко, знать, ушли мы по части любознательности от прислуги своей.

В предвкушении этой задумчивой перспективы я вынул блокнот и занес в него вариант эпиграфа для будущих «Воспоминаний о старости», озаглавленных в некоторых редакциях как «Свеча на ветру». [1]

Гложет старость постепенно
Тело бренное мое,
А душа-таки нетленна,
Хоть не видно нам ее.

Вы, Биограф, конечно и неоднократно штудировали упомянутый труд и, надеюсь, усвоили, что там к чему, не хуже меня. Позвольте же в общих чертах освежить в Вашей памяти основные его положения и постулаты, пройтись бархоткой по сюжетной канве, дать выдержки.

«Мысль о новаторстве первая, что приходит на ум, перечитывая настоящие воспоминания,— писал я в анонимном предисловии.— Все дышит в них дерзостным обновлением. Взять композицию. Пусть, выстраивая ее, Палисандр Александрович опирается на опыт предшественников — неистовых модернистов древности: пусть! Зато, опершись, отправляется дальше своим путем. Так, если у Джойса в «Уллисе» все действие укладывается в двадцать четыре часа, то в нашем случае речь идет о минутах, в течение коих длится инцестуальный коитус. Им книга начинается, вместе с ним и заканчивается. Совершая его, автор успевает не только утешить соблазнившую его престарелую родственницу, но и проанализировать причинно-следственную цепочку приведших к нему событий историко-политического и бытового характера. По сути, этот ярчайший во всей словесности — шире — во всей мировой культуре акт человеческой близости представляет собою не что иное, как грубую свежевытканную основу — холстину для изображенья на ней многокрасочной панорамы той грандиозной эпохи, что так чутко совпала со старостью Командора,— эпохи сплошных страстей и коллизий. Террор и войны. Митинги и совещания. Похищения и совращения. Все сколько-нибудь забавное и замечательное имеет здесь свое место. Искусный словесный ткач. П. Прелестный всегда сочетает общественное и личное таким образом, что первое выгодно дополняет и оттеняет второе. И vice versa. События, люди, предметы всегда находят себе у П. параллель или пару и так или иначе переплетаются и вплетаются в ткань панно, образуя узоры симметрии, аналогии и метафоры. Рождение образа проще всего проследить на конкретном примере.

Снискав себе — после некоторых препирательств — расположенье одряхлой королевы цыган Чавелы Четвертой, жуирующей свои каникулы в Пизе (Италия), Палисандр, удовлетворенно покрякивая в накладные усы, спускается поутру в вестибюль отеля за почтой. О том, что именно происходило минувшей ночью в их сдвоенном номере, или, по выраженью портье, «тандеме», тактично умалчивается, и читатель волен догадываться об этом в меру своей испорченности. До тех, во всяком случае, пор, пока Палисандр не увидит на фото в местной газете обломки упавшей в конце концов башни и не отметит с азартом завзятого кегельмана: «Ага, тоже пала!» (Конец цитаты.)

Затем возникает вопрос о жанре. Ведь вопреки названию «Воспоминанья о старости» — не мемуары. Вернее, не совсем мемуары. Т. е. и мемуары, и нет. Они — мемуары лишь в той только мере, в какой мемуарами можно назвать знаменитые пушкинские «Воспоминания в Царскосельском лицее.» Размышляя в авторских комментариях к первой главе, имеет ли право мемуарист на вымысел, а читатель — на фабулу и сюжет, Палисандр обнаруживает, что и тот, и другой — имеют. И признается, что книга его — документальный роман в отлично пригнанной форме воспоминаний, а также просит во всех последующих изданиях сохранять специально подобранный им муаровый переплет, приличествующий, по его мнению, всем мемуарам.

Приятно добавить, что многотомье «Воспоминаний» — не столько роман, сколько целый не то что бы цикл, а каскад романов, плавно переходящих друг в друга естественными уступами: не успевает один закончиться, а следующий уж

[1] Не путать с одноименным произведением Максвелла Андерсона (1888—1959).

начался. Произведение выстроено по принципу пресловутой матрешки: роман в романе, роман в романе and so on.

«Расписная матрешка,— набрасывает Командор в дневнике,— воплотила в себе убежденность нашего мужика в неистребимости рода людского». И ниже: «Матрешка — это оптимистическая трагедия об инкарнации, карме, детотворении. Это, наконец, очаровательная человеческая комедия, выполненная из обыкновенной российской липы».

Если закрыть глаза на пролог, где предельно выпукло — с тщательными описаниями обстоятельств места, времени и образа преступного действа — рисуется картина кровосмешения, то книга открывается ретроспективным анализом завтрака, съеденного главным героем на следующий по приезде в Мулен де Сен Лу полдень. Кроме козьего молока мне в ванную комнату привезли изумительные зукини, броколи, рататуи. Прекрасны были и длинные зеленые феттучини, и буйобес: а требуха молодого кукагви — неподражаема. Наоборот, выйдя после на галерею в одном из довольно безвкусных хозяйских халатов, я сталкиваюсь прямо в дверях с курьером нашего консула, и курьер передает мне пакет, таящий в себе пренеприятнейшее известие.

Преломляю сургуч — распечатываю — читаю — пытаюсь вчитаться — перечитать — бесполезно: рука занемела, дрожит, мысли — врозь, и ясно только одно: совершилось чудовищное недоразумение века. И — дата. И какая-то неразборчивая, но буйная подпись.

Во гневе я принял вестника за цыпленка, начал его когтить и, наверное, придушил бы, однако на визг ничтожества сбежалась презренная челядь и с боем вырвала у меня добычу. Курьера свели к тарантасу, и вопли несчастного унеслись вместе с ним в направлении Шманца. Мигом я отправляюсь следом. Со мною в виде нотариально заверенного — Модерати.

Мы въехали на возвышенность.

Герцогство, обозреваемое с нее целиком, казалось довольно провинциальным. Хотя праздный разврат, которому предавались туземцы, был чисто столичный. Сладострастные крики, восхищенные стоны раздавались в купальнях и в термах, на лаун-теннисных кортах и на холмистых лугах, где, клацая стотысячными челюстями, лупили по разноцветным шарикам прожигатели состояний и пенсий. А в колизеях, точнее — на стадионах, творился гвалт как бы массовых оргий. Там бегуны отстаивали цвета человечества в заочных ристаниях среди обитателей суши. Преследуемое слоновством, человечество держалось вплотную за домашним кошачеством, т. е. почти настигало его, претендуя занять почетное двадцать четвертое место. А несколько впереди этой тройки стремилась сильная группа шакалов, жирафов, кроликов, дышавшая прямо в затылок гончим, койотам, гиенам, монгольским ослам и лисицам серым. Основную лидирующую когорту составили львы, газели, олени, алжирские антилопы и иже с ними. Однако гепарды с их ежечасной поспешностью в сто коломенских верст опережали всех. А замыкали забег домашние свиньи, индейки, ящерицы, пауки, тараканы, лягушки, гусеницы и признанный аутсайдер улитка садовая liguus fasciatus, ночующая под застрехой почтовой станции, где можно сменить лошадей, разузнать, нет ли писем, спросить самовар, посудачить с всклокоченным телеграфистом и тоже заночевать в отведенной Вам комнате. Ваш денщик Одеялов затеплит свечу, и тень, отбрасываемая кроватью под балдахином куда-нибудь на стену, напомнит философического Тянитолкая, не участвующего ни в каких состязаниях. Доброй ночи. А утром — утром Вам предстоит проснуться. Проснуться со всей основательностью. Во всех отношениях. Проснуться, как верно подметил поэт, каждой веткой и птицей. Проснуться, чтоб осознать: я проснулся! Вы поняли меня, молодой сейчас человек? Я! То есть не черт его знает кто, не какой-нибудь незадачливый некто, а именно я. Я — в своем собственном богоподобном облиЧье, уме и пижаме. О, как это неувядаемо. Благодатное утро! Оно разбудит Вас колокольчиком пролетайки — подаст Вам завтрак в постель — умоет — оденет — причешет — вселит упругую крепость в члены — пристально брызнет солнцем. И — вот Вы уже поскакали, смотрите!

«Мерзавцы! — кричал я, ворвавшись в русскую миссию.— Персов на вас не хватает, жулье проклятое! Меня, меня, которого уважает и любит весь Кремль,— отлучить от присущего государства! Позор узурпаторам!»

На что восседавшие за прилавком плешивые господа, которых я постеснялся б назвать соотечественниками, заявляли, что, дескать, они ни при чем, поскольку полученный мною указ издан не ими, а метрополией и подписан самим Андроповым, что на днях приступил к обязанностям Местоблюстителя.

«А дядя Леня? Его отстранили?»

«Преставился.»

«О!» — сердце защемило, как дверью. Милый друг мой, товарищ и покровитель моих охотничьих похождений, прощай и прости. Быть может, в твоей кончине отчасти повинен и я. Потому что мы все виноваты, что не уберегли тебя, хрупкого и дорогого. И знай: мы никогда не нашли бы себе покою и навсегда истерзались, если бы всякий из нас не учел завета, данного доблестным новодевичьим стражем Берды: «Смерти нет!»

«Разрешите бумаги,— сказал Модерати.— Мы нынче ж отправим обжалование.»

«Обжалованию,— издевательски осклабились из-за прилавка,— не подлежит.»

Ограбленно, опустошенно, не зная, что предпринять и сразу как-то ссутулившись и осев, я вышел.

Вышел и адвокат.

Мы вышли.

За нами захлопнулось.

А перед нами лежала неотвратимая данность мира, конкретизированная в ощущениях улицы.

«На вашем месте,— посоветовал Модерати,— я бы немедленно позвонил в Кремль, Андропову и попытался бы выяснить отношения.»

«Я не умею звонить»,— молвил я, облачая в перчатки свои виноградные гроздья.

«Так я и думал,— сочувственно кивнул адвокат.— А писать, надеюсь, умеете?»

«Да,— отвечал я скромно.— Только письма теперь не доходят.»

Шманц оказался унылой канцелярской дырой с всюду, где только не лень, понатыканными колокольнями, то и знай вызванивающими клинг-кланг, что в переводе означает не более, чем дин-дон. Изо всех обойденных нами купеческих лавок запомнилась лишь одна «Мареографы, дождемеры, курвиметры.» Там состоялась покупка комнатного термометра. По словам нотариуса, супруга его любила повышенную температуру спален, и Петр Федорович замыслил презентовать ей прибор на День независимости.

Из заведений же злачных достаточно будет назвать пивную «Тринадцать апостолов». Сей глубокий и глубокоуважаемый подвал, где некогда и нещадно пытали еретиков, а ныне — судя по вывеске — еретики заправляли сами, поглотил нас на несколько утешительных пинт бочкового напитка Молсона, о котором я не премину упомянуть своеместно.

Платил Модерати. Полуразрушенный граммофон бредил Штраусами, и под них за двенадцатью столиками утоляли свои печали какие-то деклассированные элементы. Наш был тринадцатым.

«Обратите внимание! — вскричал я заверенному через какой-нибудь час.[1] Вселенная по Эйнштейну загибается, будто труба у этого граммофона. Или как шейка матки. Спирально. И если довериться Фрейду, то следует кануть в нее обратно — концептуально завихриться в ней — затеряться в загибах ее относительности — и тогда — тогда.»

«Не надо — сказал Модерати.— Не доверяйтесь.»

«Вы настоящий товарищ,— промолвил я, целуя ему запястье. В сердцевине Европы при догорающих и никак не могущих догореть огарках и фитилях я осознавал себя пронзительно одиноким, отверженным странником. Хотелось прижаться к кому бы то ни было всем собою, хотелось забыться в исповеди, хотелось тепла. А меж тем — сквозило. И с неподдельною горечью открылся ему, вчера еще незнакомому: «Я — свеча на ветру, дорогой Петр Федорович, свеча на ветру.»

[1] Эль, приправленный шнапсом, действует без задержки.

«А детей,— отвечал он,— детей у вас нет?»

«Какие там дети, дружище. Мне кажется, я еще сам ребенок. Или уже. Иль — двояко. Не знаю. Нет, дети — не выход. Скорее, наоборот. Родишь, не дай Бог, какого-нибудь прохвоста, поставишь его, негодяя, на ноги, всю душу в него, недоумка, вложишь, а он тебе и стакана чаю на смертный одр не подаст. Стакана чаю, Петр Федорович, стакана.»

«А вот вы сказали — выход,— спросил Модерати.— А — из чего?»

«Из чего бы то ни было. Из того, из чего его все почему-то ищут. Изначально и без конца. Разве вы не заметили? Из трубы, Петр Федорович, из тотальной, всемирной трубы». И растроган его участливостью и тряской обратной дороги, я поведал попутчику о своем безвозвратном кремлевском прошлом — о счастье, которое видится таковым лишь после, по исчерпновенье своем. И еще говорил я заверенному о превратностях первых буйств, о трудностях монастырского и тюремного быта — ну и вообще: обо всем, что было значительно, значимо и имело цену в т о й жизни. Поддавшись модератовскому магнетизму, не смог умолчать и о теневых сторонах биографии.

Увы, я приехал сюда не только в качестве потенциального внука, но и как матерый шпион,— признается Дальберг — Однако теперь моя карта бита, с былым покончено, я раскаиваюсь и прошу у вас политического убежища».

Тут по ходу повествования и поездки, используя в качестве фона подернутые первым снегом нивы, крупным планом дается портрет моего попутчика. Сдержанность — мать выразительности. И хотя мне не жаль ни штрихов, ни деталей, я отпускаю их дозами гомеопата. К примеру, описывая края манжет, высовывающиеся у Модерати из-под обшлагов пальто, я ни разу не употребляю слова м а н и ш к а: ведь мне оно глубоко отвратительно. И все-таки, несмотря на такое обходительное умалчивание, манишка заверенного очевидна слепому. С аналогичной скупостью рисуется и судьба нотариуса.

Сын бесправных российских посланников италийского происхождения с нансеновскими паспортами, Петр Федорович с детства тянулся к своду законов. Рос — мыслил — мечтал — учился — и вот женат.[1] Полнокровный образ его в дальнейшем послужит мне прототипом Папье Шерше, героя правдивой повести о лионских ткачах и брюссельских суфлерах. Он шагнет на ее страницы из самой толщи мелкобуржуазной толпы — из прокуренности юридических заседален — прокрустовости следственных кабинетов — из залов судов. Шагнет, не успев ни стяжать себе славы, ни стянуть канцелярские нарукавники, из-под которых — и дальше опять про манжеты. Мне нравится эта книга. А Вам?

Что же далее? По возвращении в замок садимся мы с адвокатом к столу, приступаем, и я говорю: «Ну-с, а где сегодня у нас Адам Милорадович?»

«У себя»,— говорит Модерати.

«Отчего же его не привозят? Он, верно, тоже не возражал бы перекусить.»

«А светлейшего почти никогда не привозят. Он кушает у себя.»

И, действительно, до самого моего убытия из Мулен де Сен Лу я так его и не видел. Да и после убытия тоже. Иначе сказать, я не видел его более никогда. Не странно ль: сойтись с человеком лишь для того, чтобы уже никогда не встретиться. Хотя подумаешь — важность. Не встретились и не встретились. Разминулись. Обычная вещь. Но бывает, вдумаешься на досуге — и задохнешься. Дышать станет нечем. Нет, вовсе даже не странно. Страшно — вот точное слово. Ибо вообразите, какая кромешность, какой дичайший эдгаровский невермор — без просветов, будто в чернильном мешке каракатицы. Она-то в сопровождении трюфелей и сморчков и следовала третьим блюдом. Считаю своим приятным бытописательским долгом уведомить вас, что в повестке дня наблюдалась также индейка жареная.

«Голубчик,— сказал Модерати, проваливаясь после десерта в трясину дива-

[1] И на ком! О, несчастный. Впрочем, это его личное дело.

на.— Позвольте мне разуметь вас в том смысле, что ваш Андропов — порядочный интриган, пусть вы этого прямо и не высказывали.» И он изложил мне свою гипотезу, основанную на моей исповеди.

Получалось, что Юрий Гладимирович, якобы обуреваемый ницшеанскою волей к власти, годами стремился к ней. Не брезгуя методами политической эквилибристики, планомерно он устранял, мол, других претендентов на место Местоблюстителя. Из них наиболее вероятным был я, внучатый племянник своего дедоватого дяди, всеобщий любимец и баловень, популярнейший гражданин Кремля. Мое влияние на умы и сердца было неограниченным. Несмотря на свои необщительность, отчужденность или благодаря им, для многих я был своего рода гуру, духовным вождем и наставником. Сам того не осознавая, я подвизался негласным правительственным советником по общим вопросам и, если бы захотел, сделал бы самую головокружительную карьеру. Андропов знал: по известным мистическим соображениям меня нельзя устранить привычным ему манером, а именно — умертвить. Ведь откровение Нострадамуса Грозному могло оказаться отнюдь не легендой. А если так — если за аннигиляцией последнего из рода Дальбергия последует разрушение Кремля в прямом, да, видимо, и в переносном смысле, то настанет безвластие и бороться окажется не за что. Тогда смысл всей его, андроповской, жизни будет утрачен. Он, Юрий Гладимирович, будет никем, даже не генерал-генералом.

Подвигнув меня покуситься на Брежнева, Юрий намеревался убить двух зайцев: один устранит другого, а оставшегося устранит правосудие. Казнить не казнит, но изолировать — изолирует. К тому же церковь предаст террориста анафеме, а общественное мнение поставит на нем крест. На случай провала покушения заготавливается запасной вариант — удаление меня из страны под видом переселения в Бельведер к покойной и тем самым фиктивной бабушке. Чтобы это переселение выглядело еще благовидней в глазах соратников, сочиняется миф о порученной мне секретной миссии. Покушение провалилось. Я арестован. Однако под давлением либеральных лобби меня освобождают, и Юрий использует заготовленный вариант. Я уезжаю. Тогда, оставшись единственным кандидатом на высший пост, Андропов приходит к власти, так или иначе устраняет моих сторонников и собственноручно — росчерком все того же пера — отлучает меня от России и государства.

«И еще неизвестно,— сказал адвокат,— своею ли смертью умер его предшественник господин Брежнев. Историкам предстоит разобраться.»

«Уж больно у вас все гладко выходит,— ответил я.— Слишком плавно. Я, видите ли, знаю Юрия Гладимировича как человека кристально честного, преданного всяческим идеалам. По-моему, уж кто-кто, а Андропов никак не способен на подлые фортели. Я скорее готов допустить, что он сам стал игрушкой в чьих-то нечистоплотных, недобрых руках и его принудили подмахнуть документ об моем отлучении — а? Может быть, подпись эта как раз и была той ценою, которую ему пришлось заплатить за новое место службы,— кто знает, Петр Федорович, кто знает, в Кремле как в Кремле — все сплетничают, грызутся. По правде сказать, я никогда не вмешивался во все их дворцовые свары, никогда не интересовался, что там у них и к чему. Я, понимаете ли, фаталист. По мне как есть — так и будет. И власть меня — ну ни капельки не соблазняет. Ну, если предложат вакансию подходящую, может, и соглашусь, послужу немного. А так, чтоб бороться там, хлопотать, по трибунам паясничать — то от подобного унижения попросил бы уволить. Низко все это, на мой взгляд, и христианина ничуть недостойно. И потом посмотрите: похож ли я на политика? Упаси Господь. Я — простите за прямоту — художник, то есть идеалист и эстет. Я склоняюсь более идеализировать, нежели очернять, и мне как-то даже обидно, что вы господина Андропова в хмуром свете себе рисуете. Вы уж, пожалуйста, не мизантропствуйте в его адрес. Фигура он, может, и сложная, противоречивая, на журавля отчасти похож, да в основе-то личность радужная. Просвещен, не без юмора, где-то и компанейск. А потом — он мне чуть ли не родственник в некотором отношении, председатель Совета опекунов.»

«Был,»— сказал Модерати. Обычная послеобеденная облатка, что он положил себе под язык, приятно горчила.

«Как знать, Петр Федорович. Весьма вероятно, что все скоро выяснится, и окажется, что никакого отлучения не произошло. Недоразумение, скажут, ошибка. Так что давайте-ка носа на квинту не вешать, давайте-ка уповать.»

«Отлично, давайте. Только как вы себе или, положим, мне объясните фокус с «Албанским танго»?»

«А вот как,— нашелся я.— Очень просто. Служил у нас в крепости некий Оле Брикабраков. Курьер. Редкий, следует доложить, путаник и шутник. Он-то и перепутал все, надо думать. А может, и пошутил, напроказил. Достал, вообразите себе, разворот с объявлениями из старого выпуска — где достал, не играет роли — достал, и все — вероятно, в Румянцевских фондах — там, знаете ли, занимается ученая профессура, мозг нации, накурено — не продохнешь — это сразу же за Манежем — сразу же — ну, достал, Петр Федорович, заполучил—и вложил его, стало быть, в свежий номер. А после приносит, подметывает. Прежде — Юрию, после — мне.»

«Ловко,— рек Модерати,— ловко.»

«Не говорите, такой, ей-Богу, шутник был — до слез иногда расхохочет, до колик. Беда с ним прямо. Ах, порхал все, порхал. Одно слово — бельгиец, латинская его кость. Думал, видите, нас потешить, а вышло недоразумение: и Андропова понапрасну обеспокоил, и меня в послание укатал.»

Модерати не возражал мне. Он достал откуда-то ладный, с притертою пробкой флакон с будоражащим нюхательным порошком, откупорил и понюхал.

«Такие, в принципе, пироги, Петр Федорович,— объявил я ему.— А ежели вас что-то еще волнует, особенно в рассуждении переговоров,— дескать, как это так случилось, что Юрий имел переговоры насчет увнучения с лицами, которых, можно сказать, не случилось в живых, то спешу вас предположительно убедить, что переговоры велись не им, а какими-то неблагонадежными его офицерами, заинтересованными в удалении меня из державы. Вернее, переговоров и не было. Была их чистейшая видимость. Были инсинуации, фикции, махинации. На протяжении лет нас снабжали поддельными письмами, ложным сведениями и т. п., и т. д., т. е. не только я, но и сам Юрий стал жертвой какой-то Нечисти, каких-то туманных сил, свивших себе гнездо в сердце Родины. Вот ведь тоже бедняга.»

Понюхав, Модерати закупорил и убрал. «Блажен, кто верует, Палисандр Александрович. Правда, я обязан заметить, что теперешняя ситуация ваша напоминает мне сотни аналогичных, запечатленных в летописях всех времен и народов.» И Петр Федорович отрекомендовал меня к некоторым томам.

Нахохлясь, проследовал в библиотеку и, взгромоздясь на насест стремянки, листаю рекомендованное. И что же? В такие-то и такие-то веки такие-то и такие-то сироты знатного происхождения, служившие там и сям при дворах в разных качествах и количествах, были направлены за рубеж на предмет увнучения или усыновления и по отъезде из милых отчизн отлучены от них навсегда. В изгнанье влачили элегантную бедность.

Тихий, вкрадчивый ужас исторического параллелизма покрыл мою кожу мурашками. Боже сил! Неужели я более никогда не увижу родную твердыню, не поприсутствую на заседаниях ее дум, комитетов, советов, не полюбуюсь со стен ее и из башен на достославный Эмск, не услышу дыханья ее камней, тиканья ее восхитительных ходиков, боя курантов.

Тем временем посланный за моим багажом Сибелий вернулся буквально ни с чем. Оказалось, что разыгравшаяся минувшей ночью гроза не прошла напрасно. Одна из многочисленных молний угодила в здание станции и целиком испепелила багажное отделение вместе со всеми его чемоданами.

«А парикмахерская как поживает?» — спросил я Сибелия.

«Парикмахерская открыта»,— мрачно сказал управляющий.— «Я побрился.»

«Вот и чудесно»,— порадовался я чужому успеху.— «Не зря, знать, пропутешествовали, оправдали, как говорится, поездку.»

С. удалился, а П. — разрыдался.

Стоя в фонарного типа альковe с меланхолическим видом на вянущий сад, я видел, как управляющий направляется по аллее к озеру, намереваясь кормить лебедей. Я видел, как черные птицы торжественно плыли ему навстречу, окуная свои розоватые клювы в черное зеркало вод, по которому ветер рассеивал пьяные джонки листьев. Я видел все это и мыслил сквозь слезы о том, что предчувствие не обмануло меня: бритый череп макроцефала действительно не сулил ничего хорошего.

Очередной раздел «Свечи на ветру», которая, если Вы обратили внимание, состоит из тысячи двухсот тридцати четырех разделов, передает содержание эпистолярного диалога, имевшего место в замке Мулен де Сен Лу вечером следующего дня.

П. Д. — П. М.

«Сумерки. Библиотека. Число.

Милостивый государь Петр Федорович, у меня предложение. Нечего нам с Вами буками по углам сидеть — давайте-ка переписываться. Давеча по дороге из города я просил у Вас политического убежища. Ныне в свете случившегося на воздушном вокзале пожара, пожравшего все мои вещи и документы за вычетом, разве, походной ванны, посмертной маски Распутина и квитанции об уплате таможенной на нее пошлины, нужда моя в таковом убежище представляется крайней, и я призываю Вас мне его немедленно предоставить. Ваш акт доброй воли будет расценен как проявление истинного человеколюбия с большой буквы. Кроме того, укажите, пожалуйста, старенькой горничной, которая передаст Вам записку, что у ней развязалась подвязка и сполз чулок. Я указал бы ей сам, да боюсь, что слова мои истолкованы будут превратно.

Прощайте. Пишите почаще. Ваш П.»

П. М. — П. Д.

Без обращения и помет.

«Если помните, я сказывал третьего дня, что в доме у нас Вам удобно не будет. Сейчас говорю то же самое. В пятницу мы ожидаем большой заезд постояльцев, и присутствие здесь посторонних было бы нежелательно.»

Без подписи.

П. Д. — П. М.

«Вечер. Гостиная. При свечах.

Милый Петр Федорович, мое почтение! С каких таких пор я причислен к лику посторонних? Я, который мог стать родителем Вашей супруги и лишь в силу временного провала уступил эту должность какому-то чуженину, величающему себя светлейшим князем. Вашему корреспонденту прискробно. Судьба сыграла с ним не по правилам. В поисках семейного очага он оставил Родину и потерял ее, не обретя взамен ничего адекватного. И, думается, Вы не смеете класть в его руку, протянутую за кусочком тепла, хладный камень. Порядочно ли отвергать старика лишь на том сомнительном основании, что прибывают какие-то постояльцы? В традициях ли сие готического гостеприимства, по-рыцарски ли, по-адвокатски ль? Никоим образом. Взойдите на галерею — озритесь. В окрестностях замка Мулен де Сен Лу ветер, используя выражение Лю-Да-Бая, настойчиво сводит листья с ума. Не сегодня-завтра приступит к своим обязанностям жестокий сезон. Обретаясь в преддверии нового оледенения, не пора ли нам так или иначе навести мосты и поладить? Ведь есть же, наверное, в данной стране специальные уложения, позволяющие официально выяснить отношения нашего с Вами типа, с тем чтобы клятвенно в них расписаться. И Вы, живущий от буквы закона, те уложения знаете. О, мы не говорим сейчас об увнучении! Кто об этом вообще сейчас говорит; это нынче не в моде. Да и Бог весть, кому бы я мог быть сегодня полезен в качестве внука. Мне, верно, и в сыновья поздновато — а? Я догадываюсь. Я сознаю, пусть и не слишком отчетливо. Так что никто не вправе заподозрить меня в состоянии великовозрастного маразма. Я чую грань невозможного, как непрозревший щенок-интуит, что положен на край обрыва и все ползет, Петр Федорович, ползет прочь от края. Прочь! — к тесным патриархальным узам любого наименования. Прочь! — молча, но бодро, подобно брейгелевским слепцам. Прочь! — в надежде, что кто-нибудь, повстречав тебя на бесславном пути, приютит, даст еды и ссбачью подстилку, чтоб, лежа на ней у огня, ты был бы весьма и весьма признателен. Не теряя, впрочем, достоинства, не теряя — зачем? И перефразируя назаретского плотника, разрешите вскричать: «Не молчу Вам — увнучьте, но: просто — учеловечьте — учеловечьте, молчу я Вам!»

Нотабена. Будьте построже с прислугой. Тип, что доставит Вам это письмо, — дворецкий? — тайком попивает ликеры из бара в столовой.

За сим остаюсь. Благодарный заранее Палисандр.»

П. М. — П. Д.

Без числа, без привета.

«Настоящим решаюсь поставить Вас перед рядом немаловажных фактов.

Первое. Шато Мулен де Сен Лу, в коем я вынужден Вас принимать, представляет собою частный приют для наших соотечественников преклонного возраста и умственной отклоненности.

Второе. Лица, которых Вы полагаете нашей прислугой, в том числе идиот Сибелий, возомнивший себя управляющим замком и братом Трухильды, и сама Трухильда, считающая себя его сестрою и нашей кухаркой, — суть не прислуга, а насельники дома.

Третье. Большая часть насельников в данный момент пребывает на отдыхе в Лонжюмо (Франция) и на днях возвращается.

Четвертое. В тех же числах из Эпсома (Великобритания) возвращается моя жена Мажорет. Она — попечительница заведения и держатель его основных акций.

Пятое. Никаких законов о родственном «учеловечивании» в Бельведере не существует. Правда, Вы можете написать прошение на имя моей жены с просьбой «учеловечить» Вас в качестве богадела.

Шестое. Денег на проживание в нашем доме у Вас, вероятно, нет. Но я мог бы похлопотать, испросить для Вас государственный пенсион по недееспособности, хотя по возрасту Вы еще не вполне подходите.

Седьмое. Однако зная Вас несколько лучше, чем Вы, быть может, подозреваете, и зная весьма своеобычные нравы, царящие среди здешней публики, я еще раз подчеркиваю: удобно у нас Вам не будет.

Восьмое. По возвращении Мажорет я снимаю с себя обязанности исполняющего обязанности попечителя и всяческую ответственность за Ваше благополучие.

Петр.»

П. Д. — П. М.

«Милый Петр, любезный друг, buona sera. Стать насельником богадельни, руководимой супругой достойнейшего джентльмена, каким Вы с таким совершенством являетесь, — о подобной чести дерзаю только мечтать. Тем не менее заявление прилагаю. Also спешу заверить, что бритый череп управляющего макроцефала еще недостаточно худая примета, чтобы из-за нее лишать себя упомянутой выше чести и удовольствия влиться в вашу старческую семью, к некоторым членам которой я успел уже искренне привязаться.

Вечно Ваш Палисандр.

Дано в поздних сумерках ванной комнаты третьего этажа.»

В следующем разделе «Воспоминаний о старости», или «Свечи на ветру», непредвзято описаны первые и — как выяснится вскоре — последние радости П. в Мулен де Сен Лу.

На фоне буколики бабьего лета он предается прогулкам по гулкому бору, знакомствам с постепенно съезжающимися после каникул обитателями поместья, играет с ними в серсо и в булль и переживает два-три увлечения. В том числе миловидной старушкой Л., певшей в местном церковном хоре. Как видим, и за границей П. остался верен своему интересу к духовной музыке.

«У ней был самый дивный колоратурный фальцет из всех, что мне доводилось слышать. За исключением, может быть, моего собственного,— вздыхает автор.— Л. пела так, что внутри у меня все обрывалось. Мы сблизились. У нас начались вечерние спевки. Дуэт, казалось, вот-вот состоится, и, вдохновлен, я то нежно пожму ей руку, то выстрою планы на общее будущее, как вдруг выясняется, что она обручена с другим из насельников и в субботу у них церемония.»

Палисандр не верит в истинность ее чувств к избраннику и считает, что этот брак меркантилен, о чем открыто высказывается в ей посвященном романсе:

Твой голос, упругий, как мячик,
Тот мячик, который упруг,
Звучал совершенно иначе,
Чем голос твоих же подруг.

Когда ты на клиросе пела,
На клиросе пела когда,
Мне, в сущности, не было дела
До целого мира тогда.

Листва оголтелая, сыпься!
Я жить и без листьев могу.
Но как об расчет я расшибся
Всем буйством моим — на бегу!

А голос, упругий, как мячик,
Тот мячик, который упруг,
Который пружинит и скачет,—
Пружинит и скачет вокруг![1]

«Я не пошел на венчание. К дьяволу! Келейно изъяв из бара в столовой бутыль мартеля, величественно удаляюсь на водоем. Челн был мал, утл. Но, героически, я выгреб на середину, позволил себе ряд бодрящих глотков и по мере того, как джонка теряла всякое управление, делался все бодрее. Так что когда в соборе Нотр-Дам-де-ля-Неж грянули колокола Гименея, не пуститься в чечетку было бы непростительным упущением. И я поступил так. Судно весело накренилось, и плящущий навигатор с плеском вывалился в зазеркалье. О равновесие, он потерял тебя!»

В рассужденье, принять ли с расстройства каких-нибудь порошков, дать ли обет безбрачия, Палисандр поделился сомнениями с поместным массовиком-затейником, тот сразу все понял и хитроумно отвлек его от терзаний.

«Мы стояли с ним на веранде флигеля. „Взойдем на террасу",— сказал он мне. Мы проследовали. Вид — распахнулся. „Попробуем игротерапию,— говорил затейник.— Минут через десять солнце начнет садиться, и кто первый воскликнет, когда оно краем коснется воды, получит за ужином обе порции сладкого: свою и партнера". Направив луч мыслительного прожектора в нужном ракурсе, я сообразил, что игра стоит свеч. Мы сели. Гулявшие неподалеку насельницы, возбужденные тем, что мы сделались неподвижны и смотрим куда-то вдаль, тоже поднялись на террасу. Затейник вкратце изложил им правила развлечения. Новички разбились на пары, придвинули стулья к перилам, расселись. После высокогорных вакаций дамы выглядели посвежевшими: на их загорелые и оттененные белыми форменными панамами лица было не наглядеться. Однако я твердо решил, что не хочу отвлекаться, чего бы мне это ни стоило. Остальные тоже сосредоточились. Было ясно, что желающих остаться без тирольского штрудля нету, а получить лишний ломтик хотел бы каждый. Азарт электризовал атмосферу. Психологизм медитации усугублялся тем, что все мы забыли спросить у затейника, что именно нужно воскликнуть, а сейчас, в разгаре игры, вдаваться в расспросы казалось почти святотатственно. И каждый в немом одиночестве приискивал тот единственный верный звук, что адекватно выразил бы восторг Психеи перед великим таинством — иллюзией сочетания вод и огня. До касания оставалось совсем немного, когда новобрачная Л., оказавшаяся среди участниц, не выдержала.

„Что кричать? — закричала она.— Что кричать? Отвечайте! Довольно козней и тайн, шантажа и интриг! Mesdames, товарищи! Нами манипулируют! Нас используют в интересах определенных сил! На баррикады!"

С ней случилась истерика, и сестра милосердия отвела ее в процедурную.

[1] На мотив Белы Бартока.

В пути она пела «Интернационал» и держала над головою составленное из пальцев обеих рук удлиненное О, символ фетишиствующих феминисток.

„Несчастная женщина".— проронил вполголоса массовик.

И снова сделалось тихо. А когда светило коснулось — коснулось! — поверхности водоема, мы все и почти одновременно закричали одно и то же „Ом! Ом! Ом!" — закричали мы все, хотя у одних это древнее заклинание вырвалось клекотом, у других — ревом, у третьих — мыком иль блеянием. Так под действием медитации высвободились дремавшие в нас таланты, спонтанно проявились инкарнационные склонности, называемые нередко атавистическими. Я лично заржал. Заржала и В., бывшая депутат бельведерской Думы от консерваторов, вся из себя чрезвычайно поджарая, чопорная и неприступная. Но природа взяла свое. После ужина (он увенчался гала-распределением сладких блюд среди победителей, из которых я выглядел самым невозмутимым, ибо все прочие откровенно растрогались) мы с В., не сговариваясь, обрели друг друга в глуши конюшни в объятиях друг друга же.

Наши нервные ноздри не находили покою: дурман помещения возбуждал безмерно, и целомудренность уступила в нас место разнузданности в каком-то невероятно сквозном — пожарном — порядке. Взаимозаменяемость этих вроде бы непохожих абстракций оказалась полной. И тут выяснилось, что обладание нелюбимой особой бывает особенно благотворно в том отношении, что помогает забыть о любимой. Лишь поначалу, когда мы с экс-депутаткой скрипично замирали в нюансах или давали сбой, образ Л. учинял в составителе строк душевную смуту, и снова я словно бы слышал ее упругий, опоэтизированный мною голос. Но затем рутина соития увлекла меня целиком. Сантименты себя совершенно изжили, и после часов и часов интенсивного полового контакта наступила целительная пустота сознания,— удовлетворенно констатирует Палисандр. И продолжает: — На рассвете ко мне постучали. Я резво переоделся в сухое и вышел из ванной комнаты в коридор, где меня приветствовал массовик. Сей уведомил, что восток нынче чист, воздух свеж и прозрачен, и что если мне будет угодно, то на восходе солнца он мог бы взять у меня реванш за поражение на закате. „Ну, что ж,— отвечал я ему,— ну, что ж". И заспан, но в добром расположении духа заторопился с ним вместе туда, где маячили очертания флигеля.

В безобразно нагих платанах ныл ветер. Пал иней. Поверхность земной коры заскорузла и напоминала черствую корку хлеба, посыпанную крупной солью,— лакомство незваных гостей и нищих. И все-таки верилось в новый успех.

На веранде уже толпились. У многих в пальцах блестели спицы, другие менялись выкройками, третьи были филателисты, четвертые сочиняли считалки. пятые коллекционировали курьезные происшествия.

„Подымемся на террасу",— сказал массовик.

Поднялись и расселись. И когда восходящее из зазеркалья светило кривым своим лезвием взрезало амальгаму и лебединую гладь стекла и пролилась ее кровь,— крик мой снова опередил вопль затейника на целую долю секунды, и первым, кто поздравил меня с победой в утреннем туре, был он. Он искренне радовался моему успеху, а мне искренне нравилось его спортивное благородство, уменье красиво проигрывать. Мы подружились.

„Де Сидорофф",— протянул он мне кисть, расплющенную каким-то нелегким трудом.

„Откуда у вас сей прелестный партикул?"

„Не правда ль, забавен?"

„Скорее очарователен".

„Мне уступили по случаю в Гамбурге".

„Мелочная торговля?"

„Ja-ja, Люмпен-гассе, толкучка за ратушей".

„Верх изящества".

„Вы находите?"

„Чудный, чудный брелок. Не теряйте".

„Вы льстите мне, право. Да, кстати, тут вот, на обороте что-то начертано.

Вы не прочли бы? А то я что-то не разбираю. Какие-то иероглифы, филигрань. Безобразный почерк".

„А, староваллийский. Здесь, видимо, выгравировано имя оригинала. Что? Брикабракофф? Какая встреча! Позвольте рекомендовать: вы приобрели себе де старинного моего приятеля, проданное некогда за долги на Птичьем рынке. Подумать только — достойнейший дворянин, а титул пошел с молотка за типичный бесценок". И я поведал затейнику о нелегкой эмигрантской доле семьи Брикабракофф; на что де Сидорофф рассказал о своей».

Мастер расформированных в период военных действий механических мастерских, де Сидорофф, а в ту пору обыкновенный Сидоров Дмитрий Евграфович, командирован в Бангкок за наждачной бумагой. Погода благоприятствует. Тем не менее уже в Рангуне ему становится ясно, что все коммуникации прерваны. Сведя знакомство с антисоциальными элементами, Сидоров покупает в Калькутте турецкий паспорт, чтобы отплыть с ним в Бразилию, где встречается с молодым Одеяловым, дед которого, Одеялов-дед, обучал в свое время Сидорова начаткам механики. В тот период у них в цеху сотрудничал и отец Одеялова, Одеялов-отец. Работал также Петров, трудились другие рабочие. Все они довольно неплохо знали друг друга и часто, особенно летом, ухаживали за гулявшими мимо работницами. Де Сидорофф живописал те приятные годы сочными и скупыми мазками глаголов и междометий. Рассказанное запечатлелось. И когда денщик Одеялов поведает мне впоследствии историю своего рождения, она не застанет меня врасплох, но прозвучит повторением пройденного. И, сидя в застиранном хитатарэ с блокнотом в руках на фоне бредущих на запад пейзажей, в сотый раз осознаю, что вся эта публика — эти сидоровы, одеяловы и петровы — они-то и составляют тот самый народ, о счастье которого мы все так мучительно и неумело печемся, который жалеем за неприспособленность к жизни к судьбе, за который боремся и скорбим на каторгах и в стихах, в повестях и в застенках. А между тем этот самый народ никогда не просил и не уполномочивал нас заниматься его делами, ибо дела его обстояли не так уж и худо. И на примере одной механической мастерской мы легко убеждаемся: жили да были, работали да ухаживали, рождались да умирали. А что еще нужно? Какого рожна? Счастья? Счастье слишком непрочно. Благополучия? Оно безнравственно. И поэтому лучшее, что возможно сделать для своего народа,— это оставить его в покое, не тормошить и не дергать, словно того прикорнувшего у Вас на плече усталого спутника — дескать, очнитесь, а то проедете остановку. Не надо, не будите народ Ваш — пусть выспится. И вообще — что мы тут все мудрствуем, дерзаем. Мир сей сотворен не нами, не нам его и менять.

«А вы как рассчитываете, Дмитрий Евграфович?» — спросил я затейника, изложив ему свои охранительные умозрения.

Тот был солидарен. Неладно скроен, да крепко сшит, он держался вызывающе прямо, носил жокейское кепи, имел ароматное кожаное портмоне, малахитовый портсигар и курил «Дым Отечества». Дым названных по роману Тургенева отечественных папирос был сладок, да зол и ел ему носоглотку и серые с поволокой глаза. Но даже и под таким благовидным предлогом де Сидорофф никогда б не заплакал по прошлому. «Черта-с-два»,—говаривал он своей ностальгии. Родился же Дмитрий Евграфович под созвездием Девы, и сим сказано то остальное, что следовало бы добавить о нашем затейнике.

Мы фланировали лугами.

«Родной мой,— я взял его под руку.— Могу я вас вызвать на откровенность?»

«Что за вопрос, разумеется».

«М-м, признайтесь, вы любите первоснежье?»

«А чего его не любить,— возражал де Сидорофф,— мероприятие дельное».

«Дмитрий Евграфович, а вы обратили внимание, какая в них бездна вкуса, в снежинках?»

«Порхают,— отметил он.— Попархивают».

«Вы могли бы их с чем-нибудь сопоставить, сравнить?»

«С чем, к примеру?»

«С чем-нибудь отвлеченным, эфирным».

«Пух, пух,— сопоставил затейник, попыхивая папиросой.— Порою перо.»

«Ах, как хорошо вы сейчас сказали, граф, как точно! Особенно про перо. Мол — порою! У вас талант. Вам бы в Венецию куда-нибудь, на этюды.»

«Куда мне!» — смутился затейник. Он сделался горд похвалою.

«Скажите, Ваше Сиятельство, а на что это намекала давеча истеричка Л.? Я имею в виду ее ламентацию на определенные силы. Неужто и вправду какие-то низкие люди терроризируют тут стариков?»

«Не верьте. Здесь давно уже нет ничего определенного. А тем более — сил. Запад весь обессилен удобстаами, роскошью. Запад сгнил.»

«А вы что-нибудь слышали о крестословах?» — спросил я на всякий случай.

«Их уничтожила инквизиция.»

«Даже Высокого Альдебарана?»

«Тех — в первую голову.»

Ответы графа показались мне убедительными. Я успокоился, впал в безмятежность и жду прибытия Мажорет. Рассеяния мои тех дней незатейливы. Вылепливание снежных баб, выпиливание лобзиком по фанере, рассуждения на заданные себе самому темы, солнечная игротерапия.

Наконец попечительница прибывает.

Сначала она прибывает в Шманц, совершает там кое-какие покупки, заказывает билеты в неприличное синема, заходит к модистке и только затем направляется а Мулен де Сен Лу. Попутно изображается духовный мир героини — растленной, распущенной и погрязшей в пороках и наслаждениях богатой латифундистки. Мир этот нищ и убог, и автор не поступается никакими доступными средствами выразительности, дабы обрисоаать его с максимальной правдивостью.

Единственная дочь бельведерской помещицы и черногорского князя, Мажорет едва ли не девочкой отбивается от безвольных родительских рук и ко дню своего первого причастия успевает сменить не только пар тридцать розовых с черной пяткой чулок, но и столько же, если не более, кавалеров. Отец Моришаль Кантелло, священник-иезуит православного толка, причащающий неофитов, в смятении: всю церемонию напролет девочка Навзнич снедает его таким плотоядным взором и строит такие явные куры, что вот — он в смятении. А через неделю на исповеди Мажорет назначает ему рандеву в городском отеле «Тре Кроче», и он не умеет — он просто не в состоянии молвить проказнице нет.

Накануне свидания отец Моришаль колеблется — может быть, не идти? Нет, все-таки он отправится. Впрочем, затем лишь, чтоб убедить заплутавшую душу оставить дурную стезю. Там, в номере, куда никто не взойдет без стука, сделать это будет гораздо удобнее, чем в любом общественном месте. Чем даже и в храме, где вечно кто-нибудь околачивается, глазея на витражи, изваяния и бренча осточертевшими четками. Да, он поедет. Однако священник отчетливо осознает, как сложно будет ему, нестарому, еще хоть куда монаху, выстоять против дьявольского соблазна, когда он останется с нею наедине в меблирашке, где все — отец Моришаль помнил это от семинарских пор — все пропитано липким духом греха — когда она топнет своей кривоватой и оттого вдвойне соблазнительной ножкой, требуя, чтобы он запер дверь, — и он сделает так — не посмеет не сделать — и, обернувшись,— увидит вдруг — он вдруг увидит, что крестная дочь его, дочь его аккуратнейшей в бытность ее в живых прихожанки — Навзнич — совсем еще девочка — а уже неодета. Тогда — о, тогда, когда уже никто не взойдет к ним — со стуком ли или без — при мысли, что совершится тогда, его колотило. Итак, одному ему не выстоять. И отец Моришаль решает отправиться на свидание с кем-нибудь из наиболее добропорядочных прихожан. Решение иезуита тем более твердо, что девочка Навзнич отнюдь не настаивала, чтоб он явился непременно один. Напротив, она недвусмысленно давала понять, что не имела бы ничего против, если бы он приехал с приятелем. Странно: ему никак не удавалось припомнить, как — какими словами выразила она эту идею. Он помнил только, что в продолжение исповеди Мажорет по-детски держала, кап-

ризничала и показывала ему язык. «Шалунья, он у нее такой длинный-длинный, у глупенькой, узкий-узкий,» — думал священник, ловя себя на блаженной улыбке.

Итак — отправились. Он — и кто-то из паствы. Скорее всего директор той частной гимназии, которую посещает девочка. Едут, скачут. По-видимому, в ландо. Ну-с, вот и приехали.

Превосходно, воистину превосходно описано у меня свидание в номере. На столе и вино, и закуски, и что-то еще, а на стенах — образчики гостиничного искусства. И поскольку драпри интимно задернуты и в комнате — полумрак, сюжеты картин не прослеживаются. Идейное содержание также неразличимо. Видно лишь, что работы выполнены непосредственно на обоях. Техника — спонтанные брызги масла. Неясно, правда, какого — растительного или животного. Да это и несущественно. Существенно то, как неисследимо наставление девочки Навзнич на истинный путь переходит в соблазнение ею и этой пары мужчин, в обладание ими.

«В Вашей прозе нет ничего конкретного. В ней все размыто и запредельно. Она похожа на цепь облаков, баловливо смазанных бризом, и уследить, где кончается то и начинается се, особенно в эротических сценах, почти немыслимо,» — хвалил меня в приветственном адресе по случаю какого-то многолетия В. Аксенов. — Вы — истинный чародей пера, — настаивал он, сам тоже порядочный иллюзионист. Что ж, пусть! И сцена в «Тре Кроче» решена именно в этом неопределенном ключе. Хотя при известном старанье здесь можно заметить чисто условную грань, за которой события развиваются необратимей, чем перед. Грань проходит на уровне фразы: «Раздеиьте меня, мне душно!» Ее произносит девочка Навзнич, раскрасневшаяся от бутыли «Альб де Мюссе».

Примечательно, что ни тот, ни другой из наставников не способен противостоять магнетизму маленькой нимфоманки. Воля благочестивых мужей подавлена, смята, и положение их заслуживает всяческого сочувствия. Взгляните, они еще проповедуют, наставляют, но уже не могут не раздевать. Эпизодов, сходных с бегло здесь пересказанным, в «Свече на ветру» немало. И если в них участвует Мажорет, то партнеры ее, как правило, люди не первой молодости, годящиеся ей то в отцы, то в деды. Иными словами, девочка Навзнич хорошо разбирается в нас, мужчинах, и юному простофиле и губошлепу всегда предпочтет двух, четырех, а то и полдюжины старожилов покрепче.

Прекрасно, но куда же смотрят родители? Э, что с них взять, с теперешних либералов. Хотя старикам Мажорет мягкотелость отчасти простительна: единственная наследница, дитя любви — как не побаловать. К тому же она довольно рано осиротела. Мамаша-то у нее умерла не иначе как родами. Поэтому девочка ее навряд ли и помнит. А Адам Милорадович после смерти жены загрустил, опустился и воспитание дочери поручил своему побочному отпрыску, мать которого неоднократно требовала, чтобы князь документально признал его таковым и дал ему свое имя. Но князь был разборчив, и некоторое уродство сына не позволяло светлейшему поступить по всей совести. Он ограничился компромиссом с ней. Преобразив своего ублюдка из конюхов в гувернеры[1], князь т. о. приблизил его к себе. То был, как вы, наверное, догадались, Сибелий, сын нашей кухарки Трухильды.[2]

Добрейший малый, он научил подрастающую княжну всему, что знал и умел делать сам. Вычитать и складывать. Стрелять и косить. Браниться и драться. Курить и ездить на лошади. Первое катание Мажорет оказалось неординарным. Ей едва исполнилось лет, что ли, девять, и едва рассвело, когда единственным в своем роде июльским утром Сибелий, не седлая чалого Хобби, сел на него, посадил впереди себя воспитанницу и умчался с нею в луга. Царила такая рань, что чибисы еще не проснулись, а на княжне была лишь короткая ночная сорочка. Перед тем как им въехать в чащу, Сибелий попридержал коня и попросил Мажорет пригнуться, сказав, будто ветви висят над тропой слишком низко, а конь высок. В те годы княжна была довольно послушной девочкой,

[1] По другим источникам — в управляющие.
[2] По другим источникам — брат.

и она сначала пригнулась, а после даже и прилегла ничком, ухватившись за гриву лошади. Сибелий тронул. Отцовская пуща осенила их своими ветвями, и брат, воспользовавшись прилежной позой сестры, на скаку лишает ее невинности.

Девочка восторженно привязалась к бывшему конюху, и верховые прогулки внедряются в ее образовательную программу столь планомерно, что Адам Милорадович, сам старый кавалерист с кривыми ногами на дагерротипии саравского портретиста, не нарадуется успехам дочери. К сожалению, рамки настоящей рецензии не позволяют нам привести в ней те, может быть, излишне натуралистические подробности, коими иногда грешат такого рода прогулки. Отмечу только, что когда я набрасывал главу о первом катании Мажорет, то сопереживал всемерно. А перечтя воссозданное, поистине исстрадался. Отчасти из-за того, что уж больно правдиво все оказалось воссоздано, психологично, и стиль исключительно выдержан. А потом — что же мне не страдать, если я сам пережил нечто аналогичное в том же и даже более нежном и ознобливом возрасте. Произошло это так.

В детстве за мною ухаживала моя бедная няня. Не в том отношении бедная, что жалования ей не хватало — подобное в крепости не допускалось ни при каких правительствах, — а в том достойном жалости отношении, что казалась она уж очень какой-то убогонькой да богобоязненной. Ветхая была дама, стародежимная, у Романовых еще нянчила. А за нею наездами из монастыря ухаживал небезызвестный Вам Берды Кербабаев. Но хоть мужчина он был, как Вы знаете, видный и не без царя в голове, Агриппина моя капитану долго отказывала под тем предлогом, что, мол, бриьянтовые те колье да колечки, которыми он ее то и знай одаривал, — суть вещи усопших.

«Живых обирать — это еще туда-сюда, — ворчала она, примеряя новое украшение. — А вот покойников обездоливать — совсем не годится.» И, зашивая подарок в подкладку цигейковой кацавейки или в подушку, предупреждала: «Смотрите, подвергнетесь Вечной Погибели, узнаете тогда, почем фунт изюму.»

«Предрассудочная вы женщина, — беспечно возражал ей Берды. — А еще христианка.»

Несмотря на такие существенные разногласия по вопросам этики и морали, природа в конце концов возымела на Агриппину свое воздействие, и пожилые люди стали любовниками. То было в лучших традициях городского романса — весною, в тени берез. И, взирая на происходящее из песочницы, я не мог не порадоваться чужому порыву. Но счастье их оказалось минутным. Хотя ни жестов, ни мимики за капитаном не числилось уже в те сроки, он пользовался у женщин успехом и был повеса и ветреник. Не прошло и недели, как Берды благородно и честно поставил Агриппину перед фактом неверности.

Они расстались.

Она смотрела из-под руки, как он уходит, пересекая Манежную площадь. Он пересек ее и, любуясь останками допотопных тварей в окнах палеонтологического музея, направился по Моховой. Он дошел до скрещенья ее с бульваром, свернул налево, к Арбату, и затерялся в одном из тех переулков, где в ожиданье племянника жительствовали мои многоюродные.

Агриппина расстроилась и (это ли не характерно для русской женщины той эпохи — эпохи быстрых фокстротов, по-островски мелких мещанских страстей и ложно понимаемой гордости) вспыхнула отомстить Кербабаеву. Я жалел Агриппу, старался не огорчать ее непослушанием, как-то развлечь, быть полезным. Вот почему, когда ранним субботним утром она спросила меня из ванной комнаты, не могу ли я потереть ей спину, я — хоть ушел с головой в вышивание — с готовностью отозвался: «Иду, дорогая, иду! Можно?»

«Входите, дружочек.»

«Какой у тебя тут пар, Агриппа. Как в бане. Я ничего не вижу.»

«Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь.»

«А мочало?»

«Тут оно, тут. Нате-ка. А сами-то не желали бы поплескаться? Ботинки только снимите, а то намокнут.»

«Тебе?»

«Себе, дружочек, себе, я без всего купаюсь: привыкла. Шагайте. Не горячо? Ах, дитя мое, как вы правильно трете! Так, так. И чуточку ниже. О, ласковый. Да вы придвиньтесь немного, а то не с руки вам. И не серчайте уж, что подсказываю на первых порах. Ну, не томите, прошу вас. Ы!! Вот как ловко у вас получается. Ах, за что вы так балуете свою бедную няню? Она ведь не заслужила. Ей совестно. Няня — бяка. Нет, нет, не слушайте, продолжайте, пожалуйста, трите.»

Я продолжал.

«Ну и баловник же вы, батюшка,» — говорила она, расслабленно покидая ванную после трех дней сплошного катарсиса. Месть не подозревавшему о ней Берды была сладка, но преступна, и с той поры Агриппина стала моей совершенной рабою.

В сходственных отношениях состояли юная Мажорет и старик Сибелий. Забавно: и ей, и мне любовники наши вскоре набили порядочную оскомину, и точно так же, как Агриппина по моему требованию сводила меня с товарками, Сибелий, не смея перечить воспитаннице, стал обеспечивать ее своими дружками. Как видите, идея о родственности наших с ней душ и вкусов напрашивается сама собой. Переиначивая господина Флобера, я мог бы в сокрушенности сердца признаться, что Мажорет — это я, однако мне хочется, чтобы Вы сами пришли к этому заключению, и потому промолчу.

Флобер! Вот фигура, вызывающая наше историко-литературное алас! Его изречения затаскали подобно фетровым шлепанцам, надеваемым поверх обуви при входе в музей. У них еще такие тесемки на задниках, чтобы завязывать. К сожалению, далеко не все посетители наших лувров дают себе труд внимательно прочитать инструкцию министерства культуры, и поэтому многие завязывают их нерашливо, нехаляво. А некоторые не завязывают совсем, в результате чего тесемки влачатся и увиваются за такими любителями изящного, словно шлейфы. А если бы все посетители следовали инструкции и завязывали себе тесемки как следует быть, вперехлест, в подражание древним, то вид экскурсий был бы куда приглядней и шлепанцы служили бы нам и верней, и дольше. На основании сказанного вовсе однако не следует, что девочка Навзнич знакома с «Мадам Бовари», с «Лолитой» или «Манон». Нет-нет, положительные героини, девочки, так сказать, бонтонных манер, Мажорет не интересуют. Случись госпоже Бовари познакомиться с госпожою Навзнич, и поделись француженка с бельведеркой своими любовными неурядицами, последняя дико расхохоталась бы гордой Эмме в лицо и, всю раздев, исхлестала б ее своим жокейским хлыстом, шепелявя: «Не сметь, не сметь обманывать мужа!» Ибо она шепелявила. А после она позвала бы с улицы каких-нибудь отвратительных, покрытых хрестоматийными струпьями нищих бродяг и приказала бы им взять несчастную. Те приступили бы с живостью, а та, сознавая, что наказание это целительно и что она заслужила его, та возблагодарила бы небо за то, что оно ей послало в приятельницы такую чуткую и справедливую женщину, и по ходу сеанса просила бы только: «Еще, еще!» Госпожа же Навзнич смотрела бы на экзекуцию как бы со стороны и тихо светилась бы, радуясь.

Дело в том, что небольшая склонность к жестокости, замеченная у ней в детстве, постепенно переросла в неуемную страсть к чужому страданию, причем страданию определенного типа. Причиной тому явилось известного сорта чтиво. «Воспоминанья» маркиза де Сада издавна стали настольными и постельными книгами девочки Навзнич, что было почти неизбежно, поскольку произведения эти принадлежали перу ее отдаленного предка по материнской линии. Служа семейной реликвией, переиздания и переводы трудов сиятельствующего мерзопакостника занимали в библиотеке ее отца много полок и насчитывали более восьмисот томов. Изучение девочкой параллельных текстов сказалось. В шестнадцать она защебетала на языках похлеще маленького Одеялова. И в том же возрасте вышла замуж. Причем исключительно из светских соображений.

Руки Мажорет добивались многие, но изо всех претендентов княжна умышленно выбирает себе небогатое, незнатное и сравнительно с нею — лишь с нею! безвольное существо. «Вы ничего не умеете,» — брезгливо цедит ему Мажорет в их первую и единственную брачную ночь, не испытывая к молодому адвокатскому телу практически ничего, кроме понятной нам с Вами гадливости. С тех пор — равно как и до них — Петр Федорович Модерати нужен был ей лишь в одном супружеском качестве, номинальном, и в спальню ее оказался невхож. А поскольку Бог не послал им детей, Петр полностью сублимировался в юридическое обслуживание коммерческих заведений, в оформление купли-продажи недвижимости, в решение вопросов налогового законодательства, в составление завещаний и соглашений по найму, в регистрацию актов гражданского состояния, а также в ведение бракоразводных и прочих удручительных тяжб.

Во все тяжкие припускается и княжна. Став супругой весьма уважаемого господина, мадам Мажорет Модерати преисполняется внешнего благочестия. На словах она — глубоко религиозная, высоко порядочная светская женщина. А — на деле? На деле едва ли не дьяволица. Ее стихией делаются маскерады, балы, балы-маскерады, рауты, пикники, бенефисы — словом, сплошные адюльтеры. Далее. Не ограничена в средствах родителя, эта ханжа по вступлении в брак осуществляет жгучую отроческую фантазию: в замке Мулен де Сен Лу на базе частного старческого приюта, организованного еще Чавчавадзе-Оглы, задействовал тайный гарем. Давшие при поступленьи в приют подписку о собственной недееспособности богаделы были по сути бесправны. Их жалобы на измывательства попечительницы принимали в инстанциях за маразматический вздор и выбрасывали, не читая. К тому же эротические мероприятия проводились в замке под видом торжественных утренников, добротворительных и юбилейных концертов, обедов и вернисажей. Обустраивалось все это с такой помпой и было исполнено столькой елейности и столького всеприличия, что, слушая или глядя со стороны, Вам было бы решительно не понять — чествуют там кого-то или бесчестят. Не понимал и Закон. Тем паче что князь, полагавший затеи дочери детскими шалостями, оплачивал любого рода услуги властей предержащих авансом и с поистине черногорской щедростью. Словно ржа железную чешую кольчуг разъедает коррупция герцогство.

Будучи не в курсе вышеизложенного, Палисандру ничуть невдомек, отчего по мере истечения дней, остающихся до приезда княжны, лица насельников делаются все тревожней. А граф де Сидорофф? Зачем бы ему не уведомить вновь обретенного друга о происходящих бесчинствах? Зачем в ответ на попытку подозревавшего о чем-то (пусть и о чем-то совсем другом) П. поговорить откровенно Дмитрий Евграфович лишь рассеял его подозрения? Да затем, что при поступлении на работу в замок граф давал мадам Модерати клятву о неразглашенье служебных тайн; и клятве был верен.

Портрет блудницы не будет полным, если не подчеркнуть, что она проводила каникулы в Эпсоме, городе скаковых испытаний кобыл, каковых испытаний она завсегдатай! И вот она прибывает.

Ее открытый — с несообразно всему ее образу жизни суровым форейтором — кабриолет, влекомый нецелесообразным количеством довольно-таки неплохих лошадей, въезжает в ворота Мулен де Сен Лу ровно в сумерки. И когда, сминая бегонии луга, бегу я, взаолнованно помолодевший, ему навстречу, со мною случается ужебыло — очередной его приступ.

Писатель использует здесь прием аппликации. Он берет картину моего моментального озарения и накладывает ее на перспективу пространств и времен. И тогда на сумрачном фоне их, словно на смуглом челе ирокеза, обрамленном перьями перламутровых облаков, картина обретает сугубую ясность и оживляется звуками, овевается ароматами, одевается светотенью. И я узнаю и сидящую в кабриолете особу в черном дорожном жакете с высоким жабо, и форейтора в желтых крагах, и профиль дальних отрогов, и запах альпийского ветра, и себя самого — в панаме и бриджах на лямках крест-накрест — бегущего, сминая бегонии луга. «Постойте,— молча говорю я себе и в удивлении приостанавливаюсь,— но ведь это же Вы, любезнейший, бежите навстречу кабриолету,— Вы.

только невинным ребенком — только в одном из предшествующих воплощений. А что касается той особы в дорожном, то это она, та самая родственница — единоутробная сестра Вашей прежней матери, Ваша прежняя тетка. Она приехала в ваш фамильный замок стать наложницей Вашего дряхлого, но богатого батюшки и — по его словам — заменить Вам недавно умершую мать.» И сейчас, вспоминая, что будет дальше, я содрогаюсь. Да, это она, безобразно смазливая «дама из Амстердама», развратила меня, совратив. А когда в бытность мою почти нецелованным крепостным сиротой я впервые отчетливо вспомнил, как именно все сие ужебыло — было (Вы помните? как будто не с нами, а с жабами), тогда-то моей добродетели, скромности и был положен предел. То первое полноценное воспоминание разбудила во мне Агриппина. Разбудила, мстя Кербабаеву. Там, в ванной комнате. И я сам под влиянием ее простосердечной пылкости — тоже проснулся. Проснулся сознанием. Проснулся, не понимая еще, что к чему и зачем,— лишь предчувствуя, что после всего пережитого не смогу оставаться прежним, что начинается — уже началось — нечто смутное, суетное и тлетворное для души и тела, чему воспротивиться не дано мне — чему я не ведал и имени. Позже, копаясь в допотопных энциклопедиях, где то и знай попадались высохшие клопы, но не было ни намека на Палисандра Дальберга (что привело его в конвульсивное бешенство и подвигло швырнуть в камин ряд многотомных изданий), я выясню, что смутное нечто зовется казенно и скушно, а именно — половая жизнь. И вот я проснулся к ней. Каждой веткой. И птицей.

Половые эмоции меланхолика, в частности, половая память, подчинены законам обратной перспективы. Если текущий момент с его мнимозначительностью похож в ней на периферийный театр, в котором всегда заурядно и перебор декораций, то истекший — с уже отсеченным лишним — насущно животрепещет. Краски его разгораются, он оголен и целиком поглощает воображение. Поэтому я не гневаюсь на мою бедную няню. Она ведь сиюминутна. Она соблазнила меня недавно — вот — только что. Даже пар в ванной комнате еще не успел рассеяться, так что по-прежнему я ничего не вижу и как бы кричу ей туда, на другой, затуманенный берег Леты: «Агриппа, ты где? Не прячься! Я на тебя не гневаюсь. Мне не за что гневаться. Ты просто разбудила меня. Откликнись!» И она откликается: «Сюда, Палисандр Александрович, няня здесь!» И руки ее проступают сквозь душные испарения и сквозь хмурую кутерьму вьюжной тюри — тянутся ко мне из-за теплых летейских струй в летаргическом декабре, истомленно маня. О, велик мой соблазн. Но — отшатываюсь, но — отстраняюсь, но — прочь. Ибо мне — не пора, не время. Я должен дописать Вам, Биограф, это сказание, эти инструкции, эти последние, м. б., мемуары. А там будь что будет. За предназначенной гранью, за предначертанною чертой я уже не уклонюсь от ее объятий. Шагну ей навстречу. И, перейдя реку вброд, обрету свою няню снова — на том берегу. «Здравствуй, няня,— скажу я ей впопыхах.— Я — соскучился.» Смерти нет, господин Биограф; но существует отдохновенье в тиши залетейских рощ, есть соитие с Вечностью, с Забытьем в образе бедной няни. И я отойду туда, чтобы слиться. И я отдохну там. Забудусь. Уж там-то — наверняка. Я поступлю так, чтоб с новыми силами взяться потом за преобразование государства российского, милостивый государь. Т. к. творцам и летописцам Истории свойственно возвращаться. Верьте в это. И уходите как можно скорей, чтоб скорей отдохнуть и вернуться.

Итак, Агриппину простил я. Но ту растлительницу из о т д а л е н н о г о, что согрешила со мною когда-то и где-то (как позже выяснится — в Мулен де Сен Лу) и которую я дразнил про себя «дамой из Амстердама»,— ее подсознательно возненавидел. И, возжелав возмездия, стал его воздавать ей в лице ее сластолюбивого пола как такового, предпочитая особ пожилого возраста.[1] За весь причиненный мне ею стыд и бесчестие я воздавал стыдом и бесчестием же и — не кривя душой — утверждаю, что проделывал это неистово, жадно и смачно. Амабилис!

Признайтесь-ка вы, мои разноплеменные и мимолетные пассии, кого я напоминал вам в те буйственные часы? неужто и вправду лямура? Только не обеляйте меня, будьте искренни. Нет, не лямура, но склизкую рвотную жабу с пупырышками и бородавками напоминал я вам в те часы. Как, впрочем, и вы мне. Я предавался возмездию пучеглазо, величественно, всячески изощряясь и аппетитно поквакивая, а вы мне вторили, подпевали своими лягушьими дискантами. Явленные во всем природном великолепии, мы были достойны друг друга. Мы были равно отвратны. Но тот, кто намерен швырнуть в нас камень, пусть бросит его вначале в себя. Ибо нет человека, в котором издревле не дремала бы жаба. И беда — нет-нет, не вина — наших бедных нянь состояла в том, что они будили не только нас, но и в нас — ту жабу, т. к. сами делались ее первыми жертвами. Ах, слышали б Вы, каково им квакалось! Снисхождение? Я лично не ведал его. Да и кто его ведал в те годы.[1]

[1] Кстати, чтоб не забыть. Я надеюсь, что Вы скорее одобрите, чем осудите мое предпочтение: ведь интерес историка к разного рода антиквариату довольно естествен.

Ну вот, а форейтор — он был и будет просто форейтор — во все времена: неотесанный бельведерский мужик в зеленой ливрее и крагах на босу ногу. Придурковат, но, умело прикидываясь полной дубиной, он состоял негласным любовником «дамы из Амстердама», чье имя — поскольку я не могу его сразу припомнить, а скоропись хронографии не терпит никаких проволочек — пусть будет теперешним: Мажорет. А — мое? Я был сыном своего престарелого батюшки герцога фон Бельведер, и не исключена возможность, что он из любви к искусству назвал меня Аполлоном. Я был Аполлон Бельведерский, вообразите! К несчастью, сейчас, в эпоху победоносного плебса, мало кто понимает, что значит носить подобное имя.

Итак, сминая бегонии луга, я все бегу навстречу ее экипажу: теперь — и тогда — и завтра — и всякий раз, как в том возникает необходимость — в любом из человеческих воплощений моих — неукоснительно, всенепременно — я все бегу. И с каждым разом предшествующая Мажорет все менее отличается от последующей, а форейтор — все менее от форейтора, бег — от бега, и луг — от луга, и я — от я. И однажды наступит час, когда все многократно воспроизведенные дежавю со всеми их вариациями сольются за глубиной перспективы в единое ужебыло. И я не смогу себе дать отчета, в каком из бытий моих я бегу вот сейчас, вот сию минуту, и что такое сия минута, и к чему здесь эти бегонии, и причем тут — а если причем, то кто — кто этот некто, обозначаемый с Вашего позволения буквой «я». Хотя, если честно, я не способен в том отчитаться уже и ныне и тем не менее все бегу и бегу.

Обдав Палисандра дорожной грязью, кабриолет проносится мимо, и наш герой остается один в кругу нерешенных вопросов. Циническая манера мемуариста все подвергать сомнению, курьезная слепота его сексуальной памяти приводят к эффекту сомнительной ценности. Текст постепенно утрачивает присущую ему изначально четкость и обретает расплывчатость. И хотя субъективно автор по-прежнему не поступается никакими средствами, чтобы как можно полнее раскрыть внутренний мир персонажей, читатель претерпевает лишения путника, застигнутого наступающей ночью. В смятении свидетельствует он ускользновенье деталей. Сначала из поля зрения ускользает третьестепенное, после — второстепенное и т. д. Так, на странице семьсот четырнадцать, где почему-то еще раз рисуется внешность встречающего жену Модерати, отсутствует привычное упоминание о его манжетах. Следующие четыре страницы посвящены рассказу о том, как выглядела приехавшая. Но и тут Вам остается лишь восхититься умением автора описать все так, чтобы не описать ничего. Доходит и до курьезов. Положим, когда господин Модерати тянется за расческой, чтоб причесаться, рука его навсегда повисает в Вашем сознании, символизируя типическую незавершенность акта, ибо ни сам адвокат, ни предметы его обихода в тексте более не фигурируют, точно их совсем уже описали и опечатали. Исчезает и такая деталь, как время. Причем регулярно. Проблема его систематического отсутствия мучит мемуариста всечасно. В этой связи вспоминается эпизод из вставного романа «Там, в ванной комнате». Вернее, два эпизода.

[1] Подробней об этом читайте в моем труде «Этическая логика гуманизма», особенно в главе «О детской и отроческой жестокости». Последняя, по моему глубокому убеждению, есть оборотная сторона такой медали, как сердобольность.

Носимый по всем континентам различными веяниями и судьбами П. оказывается в стране кленового листа девятьсот девяностых годов второго тысячелетия.

«Дела привели меня в мятежный Квебек,— пишет автор.— Локальнее — в Монреаль, ставший своего рода канадским Бейрутом. Часы на вокзальной башне показывали полшестого, на моих было девять, а по Молсону[1] дело близилось к полночи. Вдали постреливали.

«Эй, приятель! — по-свойски окликнул я какого-то мимохода в бойких усах.— Сколько времени, малограмотно говоря?»

«Виноват, но этого больше нету.»

«Pourquoi?» — чуть ли не удивился я.

«Разве сами не знаете?» — тихо сказал субъект.

«Понятия не имею. Я, видите ли, приезж, прямо с поезда.»

«То, о чем вы спросили, упразднено.»

«Кем?»

Он оглянулся и молвил: «Бунтовщиками.»

«Безумцы!» — всплеснул я руками.

«Презумпция? — извратил мимоход, уносимый сквозняком мятежа в некую подворотню.— Презумпцию отменили тоже.»

«Зато,— заочно полемизирует с ним Палисандр,— в провинцию была возвращена из-за океана традиционная галльская гильотина. Лонгвийский гравер вывел вдоль лезвия девиз злопамятных кебекуазов — «Je me souviens»[2] — и адрес: «Великому народу Квебека от металлургов Лорейна.»

Отделение провинции от остальной Канады, состоявшееся в те же дни, сопровождалось повальным саморазоблачением ренегатов и отчленением их туловищ от голов. Первым по недоразумению казнили Рене Левека, вдохновителя победившего беспорядка.

На эшафоте бывший премьер-министр выглядел осунувшимся, но счастливым. Знак V не давал покою кистям его рук, и Клио дышала ему в лицо, словно преданная химера. Растроганно-благодарный народ ликовал и плакал. Закон — молчал. Лишь в последний момент возникает революционный герольд и кричит, что постановлением свыше лишение головы заменяется господину Левеку гражданским умалишением. Раздосадован неуместной гуманностью, он в сердцах эмигрирует из республики в тот же вечер.

Безвременье вредно, губительно. Оно разъедает структуру повествования до мутной неузнаваемости. И вместе с самим Палисандром мы перестаем понимать, в какой из его инкарнаций все это случается. Кто он — осиротевший мальчик Средневековья, юноша Железного века или старик Переходной эпохи, взыскующий приюта в том замке, где он по меньшей мере однажды родился и вырос? А может быть, он двулик — многолик и происходящее с ним есть двудейство — иль многодейство? Неясно. Тем более что привычная логика бытия достаточно опрокинута. Ясно только, что при знакомстве с прибывшей Палисандр испытывает неизъяснимый трепет и что после знакомства она ведет его за руку анфиладами комнат в зал актов, а может быть, в процедурную; словом, куда-то туда, где уж все приготовлено: фрукты, вино, писчебумажные принадлежности. Расстелена и постель. Там совершится непоправимое. Хоть и не сразу. Сначала он распишется в собственной недееспособности, и некто, чья личность не будет установлена никогда, скрепит его подпись личной печаткой. Затем Мажорет, влекомая прелестями Аполлона, начнет домогаться его внимания.

«О, разденьте меня, разденьте»,— задышит она благовониями своего похотливого рта и тела.

«Ах, тетушка, разве можно, ведь мы не одни, у нас возрастная пропасть, подумайте, я — ваш пасынок, мы только что оформили соответствующие документы, я же почти что ребенок, а вы — — — вы так страшно юны, что с лихвою

[1] Молсон — канадский пивной король. Его гигантский завод в Монреале построен на вершине горы Монтроял. Часы, вмонтированные в трубу предприятия, видны почти с любой точки города.

[2] Я вспоминаю (фр.).

годитесь мне в дочери, вообразите, что скажет высшее общество, Бельведер, ежели вдруг узнается — нам не дадут проходу — а муж? Посмотрите, разве это не Петр сидит за клавиром, наигрывая краковяк? Ему, наверное, было бы неприятно, ревностно. Он, видимо, выбежал бы с расстройства прочь. О Петр Федорович, милый вы мой человек, вольно же вам было брать в жены такую молоденькую да ветреницу. Не приведи Господь, захвораете, сляжете,— так такая вам и стакана чаю на одр не подаст, Петр Федорович, стакана. Или это не Петр? — — — А, это герцог, мой одинокий papá. Вы знаете, как он ждал вас, ma tante... Все выбегал, все спрашивал, нет ли писем из Нидерландов. Он, знаете ли, отчаянный филателист, а голландские марки теперь так ценятся. Да не в них, разумеется, счастье. Что марки! Он вовсе не меркантилен. Он любит вас просветленно, искренно, без посторонней мысли. Его любовь есть какой-то незамутненный источник вечной привязанности. И если бы papá узнал, что вы мне тут предлагаете, он бы просто не вынес и, увядая, твердил бы одно и то ж: «Ах-ах-ах, зачем я ее только выписал из этого Амстердама, зачем я ее только выписал?»

Мажорет раздражилась. «Так, значит, вы не хотите раздеть меня?»

«Я не смею, дружочек, я, право, не смею. Мне совестно.»

«Что ж, тогда раздевайтесь сами.»

«Позвольте, а мне-то к чему?»

«Вас осмотрят.»

«Я совершенно здоров, уверяю вас.»

«Карл Густавович, осмотрите,» — сказала она.

Сидевший за инструментом восстал, стукнул крышкой. Свет ранних лампад и звезд лег ему на чело, подбородок, выявил щеки и нос. И я понял, что обознался. То был не Петр и не отец мой герцог.

«Но разве вы — Карл Густавович?» — сомневался я, отступая, меж тем как он, без сомнения, надвигался — и плотью, и тенью.—Вы управляющий наш Сибелий, не правда ли? Только не отпирайтесь. Ваш бритый череп выдал вас с головой.»

«Ошибаетесь,— рек он грустно.— Я — Карл Густав Юнг, здешний доктор и должен завести на вас медицинскую карту, историю ваших болезней. Без этого вы не сможете стать насельником.»

«Вы — самозванец, почтеннейший,— сказал я ему.— Юнг был моложе. Я прекрасно помню его по лекциям в Дерптском университете.»

«Некогда все мы были моложе,— звучал ответ.— Раздевайтесь.»

«Нет-нет, вы не смеете, я прошу вас нижайше.»

«Экий вы у нас, батенька, интроверт»,— говорил элегично некто, буравя меня пустым и томительным взором покойного моего учителя Вольфа Мессинга.

«Боже мой, я стал гипиабелен, как ребенок,» — думал я, проваливаясь куда-то вниз, в подсознание. Но, прежде чем окончательно кануть, успел, повинуясь немому приказу гипнотизера, сбросить шлафрок и расстегнуть себе лифчик.

Когда я очнулся, то понял, что тело мое лежит на постели предельно обнажено и кто-то умело и жадно пальпирует его в четыре руки. Присматриваюсь: то были некто и Мажорет. И он говорит ей: «Пощупайте здесь, сударыня. Оригинальный анатомический случай — истинный гермафродит.»

«Тем лучше,» — сказала она, пощупав.

И я сказал им: «О ком это вы сейчас говорили? Кто — истинный?»

И он сказал мне: «Вы-с, батенька, вы, сладенькое мое.» Физиономия бритоголового остраняла выражением деловитости, граничащей с непричастностью к происходящему действу, а лицо Мажорет отталкивало выражением слюноточивой похоти.

Взвиться — кинуться анфиладами и галереями, кровезавораживающе верещa — удариться в гневный античный бег бога гнева, запечатленный в массе мозаик. Это следовало проделать немедля — тотчас, не откладывая в долгий ящик. Но — стыд! Густопсовый и муторный, он сковал мне и волю, и члены. И только уничижительный лепет: «Простите, я совершенно запамятовало»,— было ответом моим незнакомцу.

До сих пор лишь четверо, кроме меня самого,— мать, отец, дядя Лаврентий и дядя Иосиф — знали о теневой стороне моей исключительности. Врач, принимавший роды у мамы,— не в счет. Поняв, что знает излишне много, он в ту же ночь выпил снотворного. «Он был воплощенное благоразумие,» — сказал о нем Лаврентий на панихиде. А кормилицам, боннам и прочему персоналу раздевать меня категорически возбранялось. Так что после смерти Лаврентия я оказываюсь единственным хранителем тайны, возведенной в ранг государственной. Я храню ее беззаветно. Дабы не проговориться во сне, стараюсь забыть о ней, для чего не гляжу на себя нагое, а также не думаю и не пишу о себе в среднем роде. Выражение «дерзающее лицо» — единственное исключение.

Сын грядущего райского века с его безоговорочным равенством всех полов, а то и с гермоархатом, Вы, может быть, изумитесь: к чему мне подобная скрытность? Я объясню.

В нашу эру общественное мнение рассматривало гермафродита как сексуального отщепенца, а быть таковым полагалось порочно, безнравственно, а подчас и преступно. Поэтому миллионы моих соотечественников-гермафродитов — ложных и истинных — воспитывались в том сознании, что они суть мальчики или девочки. Они носили соответствующие имена, прически, одежду и, не распознаны, не разоблачены, пользовались правами и привилегиями единополых граждан: активно участвовали в жизни своих трудовых коллективов, посещали спектакли, концерты, синематографические и другие увеселительные учреждения за исключением общественных бань [1].

Изначально я было сопричислено к мальчикам и неплохо справлялось с порученной ролью. Ни в крепости, ни в монастыре, ни в остроге никто, насколько я знаю, не заподозрил подлога. Но, как видите, на старости лет тайное стало явным, разоблачение мое состоялось. Обидно. А с другой стороны, наступило известное облегчение — с плеч гора, камень с сердца. Ведь хорошо, когда не нужно что-либо скрывать, таиться. Тогда можно мыслить и чувствовать нараспашку, без комплексов и парадоксов, существовать полноценно, светло. Славно значиться личностью как тковой, но во сто крат славнее значиться личностью соприродного пола. (Афоризм мой.— **П. Д.**)

И вот, эйфорически изнывая под ласкою настоятельных рук, я бормотало себе: «Свершилось — бита и эта карта. Отныне пусть ведают все: я — Палисандро, оригинальное и прелестное дитя человеческое, homo sapiens промежуточного звена, и я горжусь сим высоким званием.»

Коллега Биограф! Мой истинный почитатель и друг! Разрешите мне на пороге дальнейших перипетий обратиться к Вам с отступлением. Позвольте ныче же, здесь, взяв в свидетели эти витые кремлевские свечи, связать Вас научной клятвой.

Общеизвестно, что в жизненной практике высокородных и высокопоставленных лиц происходят порою настолько щекотливые инциденты, что экспонировать их ко всеобщему обозрению полагается нежелательным, ибо интимные сведения о великих мира сего профанируют-де и снижают их образы. Здесь описывается как раз такой эпизод. Однако я никогда не страшилось и не страшусь профанации, т. к. образ по-настоящему честного человека настолько высок, что снизить его никому не удастся. И я говорю Вам, Биограф, со всей настоятельностью: «Человечество должно знать суровую правду: я было гермафродитом!» Нет, я не эксгибиционисто, любезнейший, как меня, вероятно, трактуют иные ваши хронографы от порнографии; я скорее действительно интроверто. Но я хочу — претендую — дерзаю быть тем единственным, кажется, лидером нашей злосчастной эпохи, который всегда и во всех обстоятельствах оставался предан исторической истине — душою и телом. И я хочу быть уверен, что осознание Вами моей двуполости и изучение связанных с нею особенностей моего правления и личного экзистенса не пройдут под грифом «секретно», что Вы не погребете определенные факты моей биографии где-нибудь в ниве памяти, втуне, в ог-

[1] Те, кто подобно Вашему корреспонденту, догадались мыться в пижамах, посещали и бани.

раде академической посвященности, а, наоборот, предадите их публикации и огласке. Чрез разделяющие нас прорвы столетий — однажды и навсегда — клянитесь мне в том. Клянитесь, а я со своей стороны обязуюсь быть сколь возможно признательно и не остаться в долгу. Давайте-ка вот что — давайте я посвящу Вам одно из своих произведений. Неважно какое — ноктюрн, акварель или что-либо из элоквенции. Только клянитесь — и я одним посвящением обессмерчу Ваше имя. Идет? Где-нибудь в уголке произведения, чтобы особенно не бросалось в глаза посторонним, я начертаю слова: «Посвящается моему будущему биографу.» И распишусь. А Вы потом аккуратно припишете свои инициалы и посвящение обнародуете. Не думаю, чтобы кто-нибудь усомнился в его подлинности на зыбком основании того, что я не могло угадать Ваших инициалов. Что значит — не могло! Ясновидение решает еще и не такие задачи. Договорились? Тогда клянитесь. Вы слышите? Не упускайте шанс!

Благодарю Вас. Я всегда полагало, что кудель гробовой тишины спрядена из шепотов будущего, и вот теперь отчетливо различаю меж ними Ваш клятвенный, страстный отзыв. Читайте ж, читайте меня, Биограф. И, не коря за корявость руки и слога, простите за натурализм описаний.

«Карл, вы будете первым,— сказала ему Мажорет.— Приступайте.»

Женщина, наблюдавшая за процедурой из глубокого кресла, постанывала, часто дышала и шумно сглатывала: зуд похоти одолевал ее. И когда, насладившись, бритоголовый поднялся, она принялась раздеваться. Отблески каминного пламени бликовали на ее колье и браслетах, а ее самое била дрожь. Подстегиваемая жестоким желанием, она торопилась и сбрасывала белье прямо на пол.

«Фуй, какая вы чувственная, Мажорет Адамовна,— замечало я, не испытывая никакого влечения к ней как к девочке Навзнич, однако без всяких видимых оснований пленяясь чарами немолодой амстердамки.

«Молчите,— одышливо возражала женщина, упиваясь моими пропорциями и формами.— Не ваше дело.»

Я замолчало; но запретить мне думать она не посмела, и, глядя на ее выкрутасы, я заключило: «Фрейд прав. Зизи есть та самая ось, на которой вертится вся вселенная.»

Когда выпуклая луна в окне стала вогнутой и забрезжило, меня забили в колодки, и мы перешли в скульптурную галерею, где поколениями замковладельцев собрана была недурная коллекция мировых шедевров. То были по преимуществу изваяния императоров, королей, богов и богинь. Среди них терпеливо ждала поклоненья и жертв изуродованная катаклизмами Богиня любви из Мелоса — безрукая и безногая. И вот — дождалась. Мажорет привязала меня к богине лицом к лицу и безжалостно застегала жокейским хлыстом.

«Ах, мачеха,— плакало я, прижимаясь к прекрасной калеке, чей образ вдруг пробудил в моей памяти будущие монастырские страсти по Ш.— зачем он вас только выписал!»

«Вот тебе! — злорадствовала дама из Амстердама.— Вот тебе, чтобы не путался с этой эллинской шлюхой! А это,— продолжала княжна, полосуя мне ягодицы,— это за то, что вы изнасиловали кухарку Трухильду!»

«Помилуйте, я только хотело сделать ей потягуси.»

«Вот вам за потягуси, вот вам, вот, вот!»

Бич бичевал, свистая.

Потянулись будни. Обыкновенно княжна заполняла их воплощением своих садо-мазохистских кошмаров в жизнь — мою и других насельников дома. Причем с каждым днем затеи хозяйки делались все изощреннее, обретая характер китайских пыток.

Вы, верно, заметили, что я никогда не кичилось своей образованностью, однако и не таило ее понапрасну. По едва проговоренным, вскользь кинутым разноязычным цитатам, ремаркам моим и пометам на книжных полях Мажорет сумела понять, что судьба свела ее с крупным филологом и лингвистом. Тщеславие

знатной профанки было уязвлено интеллектом непменитого вроде бы богадела. Тогда решает унизить его как ученое.

«Mon cher,— говорит она ему как-то за кофеем томным голосом великосветской львицы,— в нашем герцогстве уже семьдесят лет процветает салон ревнителей этрусской словесности.»

Я встрепенулось.

«В четверг,— продолжала она,— у нас в приюте состоится юбилейное заседание. Не желали бы вы открыть его приветственной речью?»

«Разумеется — непременно — почту за честь.»

«Вот и отлично. Так, значит, в четверг, не забудьте.»

«В четверг, дорогая, в четверг.»

И в свободные от экзекуций минуты, любовно пользуясь первоисточниками, П. набрасывает доклад на тему «О некоторых особенностях этрусского языка» и в назначенный день и час возникает перед собравшимися.

Ученое Божией милостью П. наивно и близоруко. Ему и в голову не приходит, что и заседание общества, и общество как таковое — блеф и что сидящие в зале насельники готовы по указанию Мажорет разыграть омерзительную комедию.

«Дамы и господа,— обращаюсь я к ним по-латыни и щелкаю каблуками шлепанцев.[1]— Господа и дамы,— повторяю я обращение по-монегаскски и древнегречески.— Дамы и господа! В сей сверкающий, припорошенный кристаллами изморози денек разрешите мне в вашем лице благодарно поздравить наш величавый этрусский язык со всеми его удивительными склонениями и спряжениями, суффиксами и префиксами, падежами и препинаниями.»

Продолжить не довелось.

«Эй, старуха! — развязно крикнул кто-то из аудитории.— Кончай баланду травить!»

Провокатора поддержали. Слова его послужили как бы сигналом к обструкции. Воцарился чудовищный гвалт. Лектора забросали тухлыми авокадо, потом низвели, опрокинули в приготовленную заранее купель со смолой и, вынув, вываляли в лебяжьем пуху, благо Сибелий не постоял за излишками оного. Затем, улюлюкая, хохоча, гримасничая и портя воздух в лучших традициях средневекового рыцарства, меня возвели обратно на подиум и заставили читать речь в обратном порядке — справа налево. И, по мере того как я выступало, обструкция быстро перерастала в безотносительное веселье, а то — в повальную вакханалию с употреблением бранных слов, гашиша и спиртного.

Я оглянулось окрест. Залы, ниши и комнаты — коридоры и лестницы — балконы и галереи кишели разнообразнейшей публикой. Тут было, казалось, все наше послание — от дворянской интеллигенции до конной, с плюмажами, артиллерии. «Сливки общества,— думало я,— и такой пассаж.» И внутренне все сотрясалось.

А — Мажорет? Сидя в ложе верхнего яруса, та наслаждалась и зрелищем оргии, и страданиями докладчика и распивала шартрезы. Эриния! Форменная Эриния!

Случай распалил воображение Мажорет еще пуще. Теперь наши сеансы творились по преимуществу в ванной, где, будучи дальней, но прямолинейной родственницей адмирала Роджерса, она вынуждала меня играться с нею в кораблики и особое удовольствие получала в пылу морского сражения. Если же мы встречались в алькове, то там она изощрялась иначе. Устройством инженера А. С. Попова княжна вылавливала из эфира концерты тропической музыки и требовала, чтобы я утешало ее в соответственном ритме. И сие тоже было мучительно и докучно, ибо на мой абсолютный слух те лихорадочные мелодии суть ритмы собачьей свадьбы, и подлаживание под них в процессе чего бы то ни было порочит звание гражданина. Но ежели гражданин беззащитен, бесправен и слаб, его не жалеют и пользуются им по своему усмотрению. И тогда —

[1] Единственная моя пара сапог за систематическое непослушание и ряд самовольных отлучек получила выговор с занесением в послужную скрижаль и находилась под домашним арестом, приказ о котором подписан был лично мною.

тогда он должен подлаживаться. Меня — не жалели. Хищнически транжиря мое природное дарование, Мажорет оставляла мне лишь четыре наполеоновские часа на сон, который осуществлялся на исключительно жесткой койке и едва освежал изможденное тело. Не отдыхала и голова, ибо подушкой служила пустая, в сущности, наволочка.

Попутно отметим: было это именно в тот период духовной моей эволюции, когда под влияньем Плутарха я особенно увлекалось вопросами морали и нравственности. Ежедневно теория настаивала на одном, а практика требовала противного. Легкое раздвоение личности в сочетании с ее половым изнурением привели к депрессии, которая усугублялась неуважительным ко мне отношением большинства богаделов. Весть о моей двуединости произвела на публику тот эффект, что — о нет, я не побоюсь этого слова! — мной стали б р е з г о в а т ь — мной, самым что ни на есть чистоплюем!

Впрочем, я тоже особенно их не жаловало. Я — презирало их. Презирало за их мелкотравчатость, ретроградство. За европейский релятивизм. За грязь под ногтями. За незнание языков. За нестираные чулки и носки. За перхоть, гунявость. За трепет перед скорою смертью. За суетные о ней разглагольствования и сплетни. С большой обличительной силой рисуются автором нравы иввзнического приюта.

«Особенно,— пишет П.,— мне претили их пошлые застольные шутки, без коих не обходилось, наверное, ни одно принятие пищи. Считалось хорошим тоном во всеуслышание предположить, что шеф-повар Амбарцумян[1] снова мыл свои закавказские ноги в кальмаровом супе, а яблочное пюре выглядит так, будто однажды его уже съели. И все в том же роде.»

Следует также учесть, что по просьбе всего коллектива со столов не сходило козье молоко, которое я никогда не пил, т. к., по моему глубокому убеждению, оно откровенно пахнет подмышкой; а бывшая депутат бельведерской думы В., сидевшая за столом напротив меня, без конца уверяла, что проклинает тот день и час, когда пришла на конюшню. «Отдаться гермафродиту!» — говорила она драматическим шепотом.— «Quel cauchemar!»[2]

Ко всему добавьте влачимое мною духовное одиночество, сравнимое разве что с одиночеством сверхмарафонца,— и вот Вы уже почти догадались, зачем, сокращая и без того краткий сон и стараясь не видеть неба, я хаживало за водяную мельницу, на берега близлежащей трясины. Я хаживало туда отойти душою и сладко поплакаться жабам на идиотизм богадельского экзистенса. Предсказанное Модерати сбылось: удобно в шато Мулен де Сен Лу мне не было. И все, что мне оставалось делать,— это молиться. И я поступало так.

«Воззри, о Господи, на Твоего Палисандро. Се человек, пораженный сиротством, лишенный надежд на увнучение, родины и свободы, реноме и невинности, юности и багажа. И все это — в самые сжатые сроки. Воззри на него, Господи, и призри.»

Когда я смолкало — тогда воцарялась Вечность. Твердь цвета индиго молча глядела сверху. А снизу — но тоже молча — из своих бородавчатых тел наблюдали жабы. И молча пустыми глазницами циферблатов смотрела на сироту История. И молчали: каждое дерево, всякая птица, любые комар и крот. И лишь со стороны богадельни, из окна, озаренного ночником, доносилось сольфеджио сладострастия. Вкушая амброзии Гименея, колоратурный фальцет пел бельканто.

И все-таки выдалась ночь, когда, утомившись утехами, новобрачные угомонились. И стало так тихо, что Вечность воцарилась вполне. Так тихо, что Тот, к Кому я взывал в молитвах, услышал меня и внял им. И взял надлежащие меры.

На следующий день Он посылает ко мне затейника.

«Извините,— взволнованно-вежливо сказал де Сидорофф, подсаживаясь ко мне в кафетерии.— вы отфриштикали?»

[1] Мне показалась его стряпня. Поэтому, когда в девяносто девятом решался вопрос, кто будет кормить нас в походе, я вспомнило об Амбарцумяне, вызвало его к себе в ставку и произвело в кашевары-на-марше. То был его звездный час, никогда им не чаянный.

[2] Какой кошмар! (фр.)

«Более или менее.»

«У меня для вас новость. Только выйдем, пожалуй, а то тут сквозит.»

«Давайте отправимся к озеру.»

«Не возражаю, давайте. Правда, я до сих пор не пойму, отчего вы зовете озером то, что всегда было морем.»

«Я сам не пойму. Вероятно, по той же причине, по какой перелетные стаи дают колоссального кругаля в облет абсолютно ровного и сухого пространства. В силу какой-то необъяснимости. Мистика, всюду мистика.»

Я накинуло кофту, и мы удалились в дюны.

«Не знаю, по-видимому, это совсем не моя забота, но приобретенный партикул, который вы так хвалили, дает мне право по крайности предупредить вас.» Он говорил так, что его волнение стало моим. «И помимо того, я вам попросту благодарен. Ведь вы открыли во мне поэта. Вы окрылили меня. Я — пишу.»

«Неужели и вы?»

«Позвольте, кстати, зачесть образчик.»

«Благоволите.»

Простой когда-то механик де Сидорофф привел помещаемое здесь двенадцатистишие.

Осень, пора золотая!
Воздух ядреный алкая,
Утром из ящика вынь
Письма Верклея, Барклая,
Письма династии Минь,
Вынь и другие. Листая,
Крикни соседке: — Аглая!
Что вы там как неживая?
Вам от царя Манелая
Весть поступила благая.
— Ах, наконец-то!
— Аминь.

«Филигранно,— отметило я.— А главное — исторично. Моя мастерская, моя.»

«Вот видите. Короче, я очень признателен и хотел бы предупредить вас о неприятности.» — Дмитрий мялся.

«Не мнитесь. Излагайте сплеча, по-нашему.»

«Вчера,— объявил затейник,— мне стало известно, что на последних скачках в Эпсоме Мажорет Адамовна проигралась на тотализаторе и поэтому отдает вас в сераль.»

«Поэтому? Я не усматриваю тут никакой логической связи.»

«Связь? Деньги. Она хочет отдать вас туда в погашение долга.»

«А в чей, Дмитрий Евграфович? В чей, если не тайна, сераль?»

«Кронпринца Аравии Фад Ибн Абдул Азиза.»

«Это тот, что с бородкой, такой симпатичный?»

«Да-да, они все там с бородкой.»

«Презренное злато! Но отчего непременно меня? Разве я более ей не мило?»

Массовик не ответил. Он знал, что я знаю ответы на эти вопросы само. Отменный психолог, я давно обратило внимание, что Мажорет пресытилась мною, что наша связь ее тяготит.

«Ваш ход, господин затейник?»

«Конем»,— возражал де Сидорофф.

«На которое поле?»

«i9.»

«Бежать? — Идея представилась суетной.— А куда? В сопредельные княжества, что ли? А паспорт?»

«Я вам достану. У меня хорошие связи.»

«Послушайте,— а может, проще пожаловаться куда-нибудь? В прокуратуру там, в мэрию.»

«Исключено. Вас и слушать не станут. С момента поступления в старческий дом вы на территории Бельведера бесправны, за вас все решает администрация.»

«Ну, бежать так бежать,— согласилось я, не отваживаясь еще представить, на чем и куда конкретно, а также, что будет с моим государственным пенсионом,

который мне, вероятно, с таким трудом выхлопотал Модерати.— А вы, Дмитрий Евграфович, не желали бы присоединиться?»

«Я — пас.»

«Жаль, а то за компанию — как бы славно.»

«Увы,— с большою определенностью отвечал затейник.— Мое место — здесь, среди угнетенных духом. Я развлекаю их — и вижу в том свое основное призвание. Буду работать, пока хватит сил,— одушевленно делился планами Дмитрий.— А когда не хватит — просто умру. Я умру, развлекая!» — воскликнул он.

«Что ж, тоже дело,» — одобрило я.

Де Сидорофф вскрыл портсигар: «Угощайтесь.»

Мы закурили, и дым отечества переполнил нам легкие [1].

«Не поминайте лихом!» — бросило я затейнику наступившей ночью.

Он отвечал адекватно. Мы обнялись. Незаметно Дмитрий сунул в карман моего архалука какой-то пакет.

«Вероятно, деньги,— мелькнуло во мне; и мелькнуло: — Как чуток!» И гордость за человечного земляка заставила подтянуться и приосаниться.

Передряга, нанятая им в соседней деревне, тронулась. Из вещей со мною лишь надувная ванна, единственное мое утешение во всех походах.

Выехав за пределы поместья, действие ускоряется. Впопыхах торопливого повествования неизбежно становишься сбивчив. Не успеваешь додумать мысль, досмотреть путевой эпизод. Бегство! Воля!

Прощай, моя растлительница Цирцея, чрез час я буду уже в смежной державе. Фальшив ли мой паспорт на имя какого-то мосье Монпасье, фальшив ли я сам — что нужды, коль помыслы искренни и высоки — как высоки и искристы пики пепельно розовеющих в отдалении Альп. О, складчатый край Жан-Жака, раскрой на этом рассвете бутоны своих одуванов навстречу очередному Кандиду, сентиментальному беглецу от страстей человеческих.

В Женеве, а может, в Цюрихе или Берне — зашло в журнал:

«Я покушался на Брежнева.»

«Брежнев? А кто это?»

Объясняю.

«А, этот. Так он ведь, простите за прямоту, того-с.»

«Допустим, но память о нем жива.»

«Память — это не актуально.»

«Sic transit gloria mundi,» — печалилось я, направляясь в своем пестроватом заморском пончо — вок. Пряча презрительную гримасу в пенсне, я напоминало себе очковую выхухоль.

Диалоги, подобные приведенному выше, имели место в редакциях прочих изданий. Паблисити не состоялось. А пытаясь встать в связь с Николаем Романовым, узнаю, что и его времена истекли. Просрочены оказались явки. В растерянности решаю завербоваться в наемники — шлю документы на Корсику, в штаб Иностранного легиона. И вновь неудача: не подхожу по возрасту.

Подстегиваемо нуждою, берусь за работу. Служу в управах по ведомству всевозможной статистики: считаю и пересчитываю число экипажей, проехавших через мосты в единицу времени; учитываю количество стихийных бедствий: из них пожаров, разливов, обвалов, восстаний, свадеб, деторождений, измен — столько-то. Подвизаюсь курьером в посредническом бюро неприятных известий. Поливаю цветы в обезлюдевших апартаментах. Даю уроки стихосложения и дзюдо, оригами и камасутры. Гадаю на картах и по руке. Держу пансион для

[1] В те годы я злоупотребляло курением всласть. Бесшабашные сроки! Непосредственность восприятия, свежесть мысли, ясность побуждений и чувства, неудержимо брызжущая моложавость членов — зрелость! Куда что девалось? Прошло. Сегодня — ванна, а завтра — в отставку, в запас, в скромный горного хрусталя саркофаг. И — в барельеф, в горельеф, в мемориальную плашку. Да, смерти нету. Но есть запредельная, одутловатая тишь да гладь, и в кувшине у изголовья казенные по расписанию лютики. И взгляните! Не сами ли мы кувшины и амфоры хрупки, прихотливо сработанные сосуды с горячей кровью, медленно стынущей с течением бытия, чтобы остыть окончательно.

собак и кошек из хороших семей. Составляю кроссворды и притчи, скороговорки и некрологи. Наведываться по вечерам.

Но деньги имеют тот категорический недостаток, что, пока их не слишком много, их неизменно недостает. И тогда наступает пора припомнить, что, кроме уже потраченной мною суммы, в пакете, что положил мне в карман де Сидорофф, имелось рекомендательное письмо к его другу, парижскому сутенеру Ц.

И вот я в Париже. Порывистый ветер с реки треплет кудри моего парика, опрокидывает мольберты художников на Монмартре, лотки букинистов в Латинском квартале и дует в уши угрюмому волку в безлюдном зоо.

Первый клиент, как и первый учитель, незабываем. А у меня оказалось два первых клиента сразу. То была пожилая чета Пежо, пресытившаяся брачной рутиной и вместе ищущая внесемейных возможностей. Искушенность супругов равнялась их неразборчивости. Они перепробовали, казалось бы, все сколько-нибудь интересное — от цирковых обезьян до резиновых кукол. Но отведать истинного гермафродита им никогда еще не выпадало. Миллиардеры, они откупили меня на неделю. Мы быстро сблизились и уже на вторые сутки сделались так неразлучны, что даже в санузел, ласкавший взор чистым золотом унитазов, умывальников и биде, ходили все вместе. Однако Запад есть Запад. В последний вечер мы вновь стали холодны, замкнуты, почти незнакомы, едва раскланивались и опять говорили друг другу vous. И когда, расставаясь в фойе их версальского особняка на площади де Фюрстенберга, мосье Пежо подал мне шубу и зонт, я — в прощальной попытке детанта неловко шутя — сунуло в руку ему какую-то мелочь — су двадцать. А он — он не увидел тут шутки и принял свои чаевые за чистую, как говорится, монету. «О Русь! — я подумало.— Моя закадычная бессребреница! Днем с огнем не сыскать по здешним пале-роялям твоей разбойничей неразберихи и щедрости.» Словом, алчность клиента омрачила мне весь дебют.

Биограф; если когда-нибудь Вам случится прогуливаться Парижем и Вы набредете на скандально известный сквер Порт Дофин, что неподалеку от русской миссии,— остановитесь. Снимите в молчании шляпу. И сострадательно вдумайтесь. Тут, где-то тут, совершило я свою первую профессиональную сделку с совестью. Под стать событию сквер был заплеван, как душа потаскухи. Да и прочий Париж моих полусветских дней не отличался особым лоском. Проворовавшиеся отцы города вконец его запустили. Отчаянно возмечтав стимулировать экономику, власти открыли новый аттракцион — экскурсии по системам канализации. Варварское развлечение рекламировали кощунственные афиши: к путешествию радушно приглашал Мыслитель Родена, восседавший на стульчаке. Но Эльдорадо не выгорело. Париж продолжал нищать и обнашиваться. Вообразите, на тех самых улицах и площадях, где еще столетье тому вершились судьбы Европы, сегодня грязь, на углах валяются тряпки, которыми дворники направляют сток дождевой воды в решетки клоак; валяются также клошары; полно каких-то арабов и в обилии бродят подозрительные существа, торгующие своими несвежими телесами. И Вы — одно из таких существ, персонаж с набережной Сены, с улицы Сен-Дени. Вы — проститутко. Вращаясь на общественном дне, неплохо представленном в разного рода шедеврах критического реализма, Вы опустились, обрюзгли. Вашим единственным утешением делается работа, а увеселением — рентгеновский автомат в кегельбане. Всего за какие-нибудь пять франков можно часами сидеть у экрана, пить свой абсент и любоваться собственной требухой и скелетом в свете пронизывающих лучей. А по утрам Вы испытываете комплекс вселенской вины и, плетясь домой, в конуру на рю дез Аршив[1], сознаете, что жизнь подмяла Вас под себя беспардонно.

Спасает случай.

Однажды, когда продавцы печеных каштанов опять взвинтили и без того непомерные цены и закрепленная за Вами панель отзывалась сплошным неуютом

[1] Address, как Вы понимаете, далеко не prestigious

осени, Вас подцепил и отвез к себе в номера некий Шарль, назвавшийся антрепренером.

«Давно ты занимаешься этим?» — спросил он меня потом, когда, отдыхая на низкой тахте, мы освежали себя анжуйским и сладостями.

Я сказало. Тогда он признался, что я ему нравлюсь и подхожу, и справился, не желало ль бы я участвовать в одном предприятии, связанном с дальними путешествиями.

Предложение заинтересовало меня. Мы обговорили контракт и ударили по рукам. Выезд назначили на воскресенье.

Кибитка Шарля ждала меня на Елисейских полях. Миновав Триумфальную арку, мы в полдень были уже в Клиши и не успели достичь Лаваля, как в Орлеане нагнали главный обоз. Мне огляиулось: «Адье, Пари, я не любило тебя, друг мой!»

Жара шла на убыль, но пыль, подымаемая передними тарантасами, практически не оседала. «Черт с ней,» — думалось мне, чихая.

К закату остановились, разбили шатры, стали ужинать, хохотать, у костров заслышались песни, и чьи-то влюбленные тени шептались на придорожном погосте. Пахло прелью. Дышалось всем существом. А где-то в селенье плясали джигу, бубнил тамбурин, и какой-то крупный вития достал откуда-то целую пригоршню звезд и зашвырнул их на небо. Чувствуя себя в новой компании совершенно своим, счастливым и пьяным, я не испытывал астрофобии и о звездах думал не менее снисходительно, чем о пыли: «Пусть, пусть роятся, если не лень.» И мыслил: «Со старым покончено. Время жить набело, перечеркнув в кондуите Рока все прежние страхи, грехи, огрехи. Время высветлить себе всю артистическую палитру, воспрянуть. И время нажать на какие-нибудь потайные пружины жизни столь страстно, чтобы — расшевелить — ускорить — увеселить ход событий. Время — вперед!»

В таком энергическом настроении влился я тем незапамятным вечером в несколько необычный, точнее, единственный в своем роде художественный коллектив — труппу странствующих проституток. Не стану распространяться о судьбах ее миловидных актрис, рассуждать о творческих методах и твердить о волнительных буднях и трудных радостях этой немолодой, а вместе с тем вечно юной профессии. Позволю себе лишь несколько беглых штрихов из области путевых зарисовок.

Перевалив через Пиренеи, мы постепенно откочевали в долину Тибра и встретили Новый год в Вечном городе. Начиналась коррида. По улицам бежали взъерошенные быки, по небу — тучи. Шел дождь. Барахло, выбрасываемое из окон темпераментными тиффози, немедленно намокало.

А после была Португалия, были Греция, Мадагаскар, Филиппины. И открылся весь мир. И повсюду происходило не то, так это. Так, в Белфасте какие-то сорванцы забросали меня снежками. В Стокгольме, у Академии, столкнулось с самим Сведенборгом, и он меня сильно выбранил. Огорчили и Салоники. Там, в краеведческой галерее, мне показали ясли-кровать, сработанную местными мастерами по заказу Екатерины Великой. От нашей, манежной, эта отличалась более изощренной, изысканной росписью и отделкой. «А, вот почему она никогда не брала нас с кн. Григорием в греческие свои паломничества!» — подсказала мне застарелая конская ревность. И содрогаясь коварству Катрин Алексевны, я проклялo всех жеребцов Эллады и вышло, пылая отчаянием. И, впав в прострацию и в безветрии уронив ветви рук, долго-долго маячило на углу с незакуренной пахитоской в губах, пока подошедший клиент не поднес к ней зажженную спичку.

«А!» — воскликнуло я в испуге и отшатнулось.

«Почем?» — прицениился клиент.

«Нынче — даром,» — сказало я, мысля шальную, с надрывом, ночь — ночь возмездия.

И быстро мы зашагали к белевшему в отдалени шапито, где размещался наш бродячий борделло.

И снова — в путь. Снова пущена карусель калейдоскопических впечатлений: Бразилия, Гваделупа, Английское Конго, Венесуэла и Гондурас с его обрывистым побережьем.

Не забыть и страну победившей нирваны. Там капля дождя, достигая поверхности лужи, отчетливо произносит не «кап», а «дзен». Там — все концы и начала.— Там — благодать. Только, пытаясь ей приобщиться, не спрашивайте у прохожего, который час или век, видел ли он, как течет река или квадрат Малевича. В лучшем случае Вас не поймут, не заметят, пройдут насквозь. В худшем — унизят, станут бить палкой по голове.

Вряд ли будет преувеличеньем сказать, что кругосветное странствие требует от вояжера выдержки и хладнокровия. Как-то в Иоганесбурге иль в Дуйсбурге иду по бульвару, и кто-то внутренним голосом окликает меня внезапно по имени-отчеству: «Палисандр Александрович, а, Палисандр Александрович!» И притом — абсолютно явственно. Мне сделалось остраненно. Однако я быстро взяло себя в руки и не только что не откликнулось, но даже и в голову не повернуло. Спаси Господь — невозможно — чуть выкажешь им слабинку — сразу слетятся — осеият шершавыми крыльями, и начнутся такие страсти, хоть в петлю лезь. Нет-нет, увольте, милые тетушки, от ваших загробных заигрываний. Вы слышите? Кыш!

Но есть, сударь, голос, есть мысль и чувство — есть их триединство, которому Вы не ответить не в силах и на которое не оглянуться Вы не имеете никакого морального права. И — будьте прокляты, если однажды Вы все-таки не ответите — не оглянетесь и перестанете быть верны ему всею сущностью человека, пусть человека, быть может, затоптанного или затянутого нездоровой средой и в довольно прискорбных кармических обстоятельствах — человека греха и маразма, сумы да тюрьмы, нор да дыр. Т. к. если Вы не ответите — не оглянетесь — не помыслите встречно, значит, Вы хуже плевка на лоне земли — копошащееся ничто, абсолютная склизкая слизь. Простите, что изъясняюсь с таким придыханием; речь — о России. Зане как бы она ни была к нам строга и немилосердна, в какие б обличия ни рядилась, мы обязаны ей слишком многим, чтобы не оказывать хоть элементарного пиетета. Почтите, впрочем, за лучшее возлюбить ее и вседневно, всечасно хворайте о ней гражданской душой. Лично я, безусловно, было, есть и останусь горячим поклонником нашей неброской отчизны. Конечно, у меня с ее дипломатами в Бельведере сложились весьма, как Вы знаете, натянутые отношения. Да ведь что дипломаты? Гниль, плесень, плебейская шушера: нынче эти, а завтра другие. Россия же — та неизбывна. И вместе с тем никогда я не звало ее ни мамашей, ни бабушкой или там теткой. И не казалась мне родина ни вечерней звездой, ни полдневной в бору кукушкой, ни ранней — ни свет ни заря — молошницей, каковою она являлась джойсовскому студиозусу в башне на берегу бурноценного моря Гиннес; она мне всегда рисовалась скуластой болезненной нищенкой с паперти храма Святого Василия, рахитичным подростком с матовыми и подсвеченными светом свечи щеками, с высоким костистым челом и в чьих-то обносках. И прекраснейшим среди этих обносков мне было ее застиранное подвенечное платье. Похожий на проползень городской поземки шлейф его был дыряв и ввиду отсутствия пажей влачился по праху. Мы никогда не знакомились, и в неведении об ее настоящем имени я нарекло ее Рек. Примелькавшись друг другу в предшествующих бытиях, при встрече мы молча раскланивались. И хотя нищета ее меня тяготила, я ни разу не подало ей: благотворительность с моей стороны оскорбила бы нас обоих. Ведь несмотря на все внешнее их отсутствие, нас связывали известные отношения: мы тянулись друг к другу. И пусть мы жили по разные стороны крепостной стены, с годами наша приязнь все крепла, становилась возвышенней и нежней, но в силу моей посвященности женщинам пожилым, могла быть лишь платонической. Назовите ее любовью издалека, и Вы нисколько не ошибетесь, ибо до самого отъезда дерзающего лица в послание мы так и не сблизились, не обмолвились словом. А там, в посланнии, под влиянием похождений во мне — будто старая рана — открылась по ней ностальгия. А тут еще мои экзальтированные товарки с их воздыханиями о первой любви — ах, чему еще предаваться странницам на привалах. Истории женщин были душещипательны и

единообразны: всем им некогда наобещали с три короба, всех соблазнили иль изнасиловали и всех покинули. И вот они перед вами.

В походе о первой любви рассказывается у костра, по кругу, и вы не можете отказаться от исповеди, хотя бы и выдуманной. Но я ничего не хотело выдумывать, я повествовало лишь правду.

«Жила-была девочка с вечнозелеными, как у Луны, глазами»,— начинало я повесть. Тьма наступала и миновалась. И я заканчивало: — «И она была столь прекрасна, что почти не была, потому что была когда-то, в иной, невозвратной жизни. Не плачьте, сударыни, — утешало я спутниц. — «Пора в дорогу, светает». — И — в сторону: — «И ты тоже не плачь обо мне, Россия. Не плачь, ведь тебя больше нету. Как и меня. Нас нету. Мы перешли. Отболели. И все-таки — да здравствуем мы, вечно сущие в области легенд и преданий, мы, обреченные вечной разлуке брат и сестра».

Мы сбирались и выезжали. Обще говоря, дорога — если только Вас не везут на казнь — рассеивает унынье. Но что примечательно. Едешь Тропиком Козерога ли, Рака — едешь в феске, косынке или чалме — едешь во мраке ночи или невежества, где-то в тебе неустанно пульсирует потаенная мысль — о Рек, о родина! И в ответ — ее ласковый, словно ля укулеле глас — О Палисандр, брат мой! И чувство не то чтобы смутной, а какой-то неопределенной печали — печали и жалости — жалости и томления — догробового томления по малолетней, предсказанного Вам в отрочестве горбатой преображенской соительницей,— томленья и неги — помните? — помните? — целая гамма чувств брезжит в Вас здесь, в посланнии, как брезжила там, в равелине. Гамма эта — она, конечно, сродни уже-было. Двоюродна? Даже роднее. Наверное, единоутробна. Кажется, будто что-то кому-то должен, будто бы надо куда-то пойти иль уехать, кого-то о чем-то предупредить. А может — не кажется? Может — действительно надо? Но если и так, то, пожалуй, потом, не нынче. Отсрочка сладка. Вы млеете. Мыслится лавка кожевника, голубика со сливками иль латук. А мулы, гонимые стимулами возниц, бегут, фуры — катят, и экзистенс, соблазняя, пьяня и виясь наподобие то ль алкогольного, то ли возушного змия, пирует в неописуемой славе. И неисчислимы фантазии его и сюрпризы.

Пережитое побудило меня вплотную задуматься о судьбе простого трудящегося гермафродита в теперешнем мире, о положении гермафродита вообще. Меморандумом «В защиту двуполых», адресованным главам восьмидесяти четырех[1] разновеликих держав, началась моя общественная деятельность. Я умело сочетаю с работой по специальности и литературно-художественными исканиями. Последние увенчались заслуженными успехами, которые общеизвестны. Поэтому если ниже мы с Вами и пробежимся по ним, то довольно глиссандо.

Сначала в «Пингвине» выходит мой автобиографический путеводитель по сингапурским домам терпимости, исполненный сценами самого исступленного толка. За ним последовал созданный по заказу Северо-атлантического союза трезвенников роман «С глазами кроликов», оказавшийся на поверку досужих критиков апологией алкоголизма. И в том же году свет увидел мой «Бронкс» — сборник жизнеутверждающих повестей из быта нью-йоркских мусорщиков. Все три произведения получили большую прессу и стали бестселлерами. Снятые по ним синема запретили повсюду.

Но наилучшая участь постигла еще один том моих мемуаров. Книга выдержала девяносто изданий. Ее тиражи превысили таковые гитлеровских дневников, опубликованных годом ранее. В пространном предисловии к ней редактор журнала «Колл-Бой» Белл Соллоу указывал: «Обстоятельства внучатого племянника» — так с присущей ему неброской громоздкостью озаглавил свой труд сам автор. Однако, соболезнуя нездоровому интересу читающей публики к интригующим и фривольным названиям, мы вынесли на обложку одно из них: «Инцест кремлевского графомана». И оно тем более извинительно, что обнажает всю суть по-сол-

[1] В честь международного года Оруэлла.

датски сразу, без фарисейских преамбул, так что читатель с первых страниц догадывается, что Агриппина, растлившая маленького Палисандра, не просто няня его, а родная прабабушка — А. А. Распутина-Книппер. Кроме того, есть уверенность, что второе название не только успешней определяет пафос воспоминаний, но и точнее очерчивает весь круг тогдашних общественных идеалов и мучительных поисков на путях всемирной генеалогии, кремленологии и словесности».

Финансовый успех публикаций позволяет мне удалиться от странствий. «Отныне,— писал я в Лигу морального большинства,— прошу считать меня вашим членом».

Желая очиститься от всяческой скверны, провожу я два года в монастыре на острове Санторини. Затем по предложению приятеля моего Ж.-К. Дювалье обосновываюсь у него на Гаити и становлюсь владельцем широкой сети массажных салонов таиландского типа. В них массируются виднейшие просветители, музыканты, артисты, промышленники и политические прохвосты. Я богатею. И с ростом банковских накоплений растет моя страсть к собирательству. Бессонными тропическими ночами, исполненными трепетных отношений массажного персонала и клиентуры, она особенно неотступна.

«Коллекционировать!» — стрекочут цикады.

«Коллекционировать!» — лепечет океаническая волна, перебирая береговую гальку.

«Коллекционировать!» — мыслит тростник.

«Да, во что бы то ни было»,— соглашаюсь я.— «Только — что?»

В нашумевшей статье «Что нам коллекционировать?», опубликованной в еженедельнике «Вэнити феер», я ставлю этот вопрос совершенным ребром.

«Пароходы? — писало я.— Дома? Летательные аппараты? Громоздко. Искусство? Банально. Искусством уставлена и увешена уж любая гостиная. Марки? Пуговицы? Монеты? Или каких-нибудь кафкианских жуков? Ничтожно. Оставим сие на откуп посредственностям и неимущим».

Проблему решило время. Дни, когда повальное увлечение ненасущным вышло из граней разумного и коснулось потустороннего,— наступили. Стало модным скупать и дарить старинные захоронения, урны, а то и целые кладбища и колумбарии. Мелкая буржуазия разбирала останки более или менее известных людей восемнадцатого, девятнадцатого веков. Крупная приобретала средневековых правителей, именитых повстанцев, деятелей Ренессанса. Последние стоили баснословно. Еще больше ценились философы и пророки дохристианской эры, популярные воины и диктаторы Рима. А за древнеиндийские и древнеегипетские погребения платили вообще неслыханно.

Кладбищенская лихорадка достигла апогея в том самом году, когда египетский президент Мубарак презентовал мне на именины мощи своего далекого предка Тутанхамона. Специалисты оценивали роскошное подношение в четырнадцать миллиардов гурдов! Столько не стоили все сокровища покойного фараона, взятые вместе. И хотя эта натуго перетянутая выцветшими бинтами мумия не являла собой ничего вдохновляющего, она, доставленная в мою высокогорную резиденцию в самый разгар галопа, произвела впечатление неразорвавшейся бомбы. Следовало видеть физиономии дорогих во всех отношеньях гостей, когда двери бального зала разъехались — и двенадцать ливрейных в лиловом внесли подернутый катакомбной патиною саркофаг. Раскрыв, из него пахнуло стоячим нильским болотом, древними поверьями, испарениями нечистот. «Смотрите! — вскричала, если не ошибаюсь, вдова тридцать пятого президента Америки Жаклин Онассис.— Он похож на куколку шелкопряда!» Фурор сделался необыкновенный. Некоторым стало дурно, другие только поморщились, но восторг был всеобщим, и дамы уверяли мужей, что «Тутти» замечательно сохранился.

По совету своего бальзамолога я поместило «Тутти» в прохладу и сухость собственной холостяцкой постели, причем неудобств это практически не доставило: ведь само-то я почивало по преимуществу в ванных покоях, обитых на всякий случай пуленепробиваемой пробкой. И вот, злодеи, врывавшиеся по ночам в мою

спальню убить меня и заставшие в ней другого, бывали, по-видимому, весьма раздосадованы таким оборотом событий, и моя репутация оборотня, которую я приобрело еще во дни отрочества, заметно упрочилась.

Благодаря Тутанхамону, а точней — Мубараку, я тоже подпало поветрию моды: решаю коллекционировать старинные захоронения. Только не захоронения вообще; вульгарным любительством, эклектизмом я не грешило и в малом. Натура систематическая и сознавая себя патриотом в послании, автор делает соответственный выбор: коллекцию составят останки соотечественников, умерших вне родины.

Не мешкая, П. встает в связь с пастырями русских зарубежных епархий, с агентством по скупке краденых трупов и урн, с коза-нострой и другими всесильными институциями при Организации объединенных наций. В известность относительно его планов ставятся тысячи близких ему по духу политических лидеров и единиц печати. Обаятельно и щедро, оно заручается их поддержкой.

Хорошо, запершись ввечеру у себя в мезонине с бутылкою старого дебюсси, перебирать, ворошить персональные карточки, медленно наливаясь той самой знакомой всякому собирателю рыцарской скупостью и хмелея в грезах о новых сериях и раритетах. В одночасье — со всеми их милыми, но никому уж не нужными фразами, позами и проказами — мелькнут перед Вашим умственным взором различные Крупенские, Михайловы, Струве. Возникнут графья Толстые и Граббе, князья Лихтенбергские и Люцнферские. Явится столп послания Оползнев, мемуарист. Обремененные знаниями грузно прошествуют в беличьих душегрейках философы Шестов, Бердяев. Пройдет и сам Николай Александрыч с семейством. Снобируя толпу почитателей, профланирует последний даорянский писатель Бунин, нобелевский лауреат.

Как Вам известно, я тоже удостоилось скандинавских лавров. Моя борьба за эмансипацию и равноправие гермафродитов была высоко оценена в Осло. И той же, довольно туманной, осенью литературные мои достижения получили признание у стокгольмских высокоумов, с одним из которых, если Вы не забыли, мне уже приходилось сталкиваться. Приехав, я зачитало речи и, расшаркавшись своим вечным пером в обеих премиальных ведомостях, сделало таким образом первый в истории нобелевский дубль. Премии были, конечно, весьма символические, карманные, вкупе что-то около шестисот тысяч долларов, но в добром хозяйстве все пригодится. Приблизительно эта сумма покрыла расходы, связанные с приобретением небольшого братского захоронения в Константинополе.

Постепенно престиж мой и международный авторитет возросли предельно. Я делаюсь фигурой поистине раблезианского измеренья. Меня цитируют и узнают повсеместно. Достаточно указать, что на автора строк оборачивались не только на улицах индонезийских или новозеландских весей и городов, но и в долинах Тибета, хотя путешествовало я постоянно в масках.

«Не беда, что моя посланническая карьера не задалась,— подводило я некоторые итоги в амбарной книге, служившей мне блокнотом для тригонометрических экзерсизов и максим.— И не беда, что не слышно, непрошено подступает ко мне беззуханная старость. Зато она обеспечена и беспечна, а я уважаемо и овеяно опахалами преданных лиц. Я — почетнейший член сотен клубов, лиг, комитетов и академий. Я — обладатель целой связки ключей от столиц планеты, держатель самых высоких в мире — кладбищенских — акций. Я — владелец земельных угодий. Из них болот, пустырей и оврагов — столько-то. Я — хозяин замков, гасьенд и вилл, дирижаблей и барж, фаэтонов и катафалков. Я знамение. Я — знамение своего времени. Я его знаменосец. И, неопалимо пылая огнем гуманизма,— горю, озаряя заблудшим овнам народов путь в ночи бытия.»

«Но родина,— бредило я порою, рея в этом неверном свете,— где моя родина? — шарило я в этом мраке руками ветвей и ветвями дланей. И внутренним голосом возражало: — Про Реи — забудьте. Ваше отечество — Хаос».

Но вот заходит ко мне однажды сосед Дювалье на предмет обсуждения биржевых новостей и, поглаживая моего кота В., говорит:

«Вы слышали, кстати? В России-то опять катавасия намечается.»

«Полноте!»

«Истинный крест.»

Посылаю за прессой. Приносят. На первый взгляд все как прежде. Бастуют трамвайщики, кладовщики. А студенты, подстрекаемые агентами иностранных разведок, ушли в беспорядки и вирши. Ничего примечательного. Серые эволюционные будни. Однако меж строк отчетливо прочитывается: «Началось!» И поэтому почти что не удивляюсь, когда в один из нежнейших бермудских полдней месяца Козерога моя экономка Пепита, вся в буклях, протягивает мне в плескалище со сгущенными сливками пакет с приветственным адресом, подписанным всеми кремлянами.

«Кремль,— говорилось в нем,— гордится своим легендарным сыном и желает ему и его коллекции скорейшего возвращения в Отчизну.» И реагировало телеграммой сдержанного согласья: «Грядем.» Ответная депеша из Эмска гласила: «Орден часовщиков назначает Вас комендантом Российского кладбищенского зарубежья.»

Тогда, сняв себе в Гибралтаре отличную штаб-квартиру с видом на одноименный пролив, действенно собираюсь я в путь. В продолжение ряда лет мой разбросанный по всему свету антиквариат эксгумируется, изымается из ниш колумбариев и пироскафами свозится в сей юго-западный угол Европы. Здесь, на запасных путях тупикового толка, формируются составы сугубого назначения. Первым со мной во главе отправится партия неизвестных солдат, видных деятелей культуры, науки, политики, кое-кто из генералитета и некоторые члены императорской фамилии. А за ним в соблюдение субординации потянутся поезда с менее именитым прахом...[1]

«Дерзайте! — говаривало я подчиненным, инспектируя ход погрузочных операций.— Служа своему народу, грузите и помните: смерти нет!»

Накануне отправки — еще одна телеграмма из Эмска. «Правящий Орден часовщиков просит Вашего разрешения заочно провозгласить Вас Свидетелем по делам Российского хронархиата и Командором Ордена по праву наследия.»

Не смутясь высочайшими званиями, отбиваю ответ: «Провозглашение разрешаю.» Затем поворачиваюсь к Одеялову и повелеваю трубить поход.

Дни в дороге летят стремглав. Не успели мы оглянуться, а Западная Европа уже за холмами: мчимся Чехией, Польшей. И вот как-то под вечер Одеялов выходит на станции купить газет и узнать заодно, где стоим. И, когда возвращается, спрашиваю: «Ну, где?»

Имя города, произнесенное денщиком, походило на звук, сопутствующий откупориванию шампанского: «Чоп!» — сказал Одеялов.

Мы были на грани родины.

Встрепенувшись, я высунулось из окна. Пахло мятой и чебрецом. Вдали голубело. И всю наполненную гулом колес и сердца ночь напролет была Малороссия, праотчий край Николая Гоголя и Якова Незабудки. А утром пошла Смоленщина — Русь.

Остановив состав на случайном разъезде, спустилось в какую-то балку и долго лежало ничком, исступленно прильнув губами к нещедрой земной коросте. Но, позволив себе эту слабость, поспешно вернулось в вагон и до самого Эмска диктовало секретарю реестр первоочередных мероприятий. Уже подъезжая к вокзалу, на крыше которого колыхался плакат «Дальберг — совесть нашего человечества», продиктовало последний тезис: «Культ моей личности всячески пресекать.» И вышло на крытый перрон, где оркестры шумели «Аве Марию», ставшую позже державным гимном.

Встречавшее в полном составе Временное правительство — трепетало. Я пристально поздоровалось.

В крепость ехали по Тверской, ныне проспект Кербабаева. Заложив руки

[1] Для справки. К Стрельцу девяносто шестого года в картотеке коллекции насчитывалось более двух миллионов имен: от известного своей сообразительностью шахматиста Алехина до какого-то слабоумного и всеми забытого однофамильца его, скончавшегося в хронологической глуши восемнадцатого столетия в Эль Чико-Потато.

за спину и мерно покачиваясь с носков на пятки, я стояло в открытом авто и экспромтом бросало на ветер речь «К моему народу».

«Безвременье кончилось,— говорило я, говоря.— Наступила пора свершений и подвигов. Разберем кирки и лопаты и маршем бодрой печали и горестного ликованья отправимся хоронить своих мертвецов. Клянусь вам, мы разобьем для них кладбища лучше прежних!»

«Да здравствует!» — кричали в ответ и устилали дорогу любезными моей сердцевине иерихонскими розами. А? Вы помните? И повсюду — по улицам, закоулкам и площадям — по всему ненаглядному Эмску — по всей Москве — штопорили метельные крутни.

Эпилог

Жизнь обрывалась. Она обрывалась безвкусно и медленно, словно тот ничтожный бульварный роман, что заканчивается велеречивой смертью героя. Заштатный бульвар, на котором его листали, пролег осыпан огарками спичек и звезд, и окурками, и неотвратимой в демисезонной литературе листвой. Там стояли скамейки. Они стояли витиевато, массивно, с незыблемой основательностью кованого литья, сучковатого дуба, антично изогнутой пустоты. На них и листали — слюнявя и замусоливая. И, листая его, сей роман моего непотребного экзистенса, Вы забывали об унизительных тяготах и трудах своего. Вы — забывались. И мысли о бренности всех и всего переставали подтачивать, чревоточить труху организма. Вы увлекались настолько, что Вам иногда мерещилось, будто этому тексту ничуть не дано затеряться во времяворотах и завихрениях относительности. Вы заблуждались. Хотя вся предваряющая меня словесность есть только робкая проба пера, неуклюжая клинопись, дань человеческому бескультурью и хамству,— дано: затеряется всякое слово.

И очертя похмельную голову— и опрокидывая стоящие на пути предметы житейской утвари — и навзрыд — автор слепою летучей опрометью кидается вон — на засаленную черную лестницу Имени Достоевского и, вцепившись в перила негибкими пальцами, наклоняется над пролетом имени Гаршина, которого некогда бесконечно ценило. И, наклонившись, искоса оно оглянулось. О детство! О юность! О молодость! О любовное догробовое томление по девочке Рек, с которой мы более никогда не виделись. Или же — виделись, но не узнали друг друга, поскольку оба неузнаваемо постарели. О старость! Даже и ты отлетела. И — обратите внимание! — все, что случилось, случилось напрасно и зря. А пробрешь — зияла, а жизнь — отболела. И — медленно она обрывалась.

Тогда автор привстало на цыпочки. И подавшись еще немного вперед, перевесилось и вообразило ее себе во всех ее пошлостях, безобразиях и гнойниках, как если бы это была не жизнь, а какая-то прокаженная сифилитичка, продажная тротуарная дрянь, которую оно когда-то боготворило. Его передернуло. Борт души накренился. О равновесие, инстинктивно робея утратить тебя самым необратимым образом, оно держалось одною рукой за перила, меж тем как иною нащупывало неразличимые в свете перегоревшей лампочки спекшиеся уста свои. Нащупав, оно разомкнуло их. Разъяло и челюсти. И привычным движеньем бывалого ключника сунуло в разверстую скважину рта ключ двуперстия.

Автора вырвало.

И, вращая стрелки вселенских часов — часов на мильонах небесных брильянтов в мильярды карат,— прихлынули в виде воспоминаний все остальные столетия.

год 2044 ДАЛЬБЕРГ

Илья ОКАЗОВ

Лабиринт

Вещий Олег

Ты вещий, ты знаешь, что должен окончиться путь,
Что вехи расставлены вдоль многоверстой дороги,
Что злая стрела не вонзится в могучую грудь
И яд ее медленный в сердце вползет через ноги.

Но ты предводитель, ты воин, ты князь, а не волхв,
Не должен показывать связи с другими волхвами —
И воешь ночами в палатке, как загнанный волк,
А утром опять развеваешь победное знамя.

Ты с другом расстался, но тяга земная сильна,
И конь от земли не подымет на воздух отныне —
Свиваясь змеей, пробудилась она ото сна,
И станешь ты жертвой для этой суровой богини.

И князь, отправляясь на череп стопу возложить,
Спокоен. Он знает, что смерть — за величье награда,
Что будут недолго князь Игорь и Ольга тужить,
Что щит отодрали давно от ворот Цареграда.

И, чуя, как к сердцу подходит томительный яд,
Он видит, топорща под рыжею кожею скулы,
Как старые други на тризне за чашей сидят,
Как тянет свою борозду вокруг света Микула...

До Рима

Волчица кормит Ромула и Рема,
И молоко им поровну двоим.
О них еще не сложена поэма,
И ими даже не основан Рим.
Еще нескоро посреди застолий
Им будут здравицы провозглашать.
Покуда — только голый Капитолий
И зубы нежно скалящая мать.

Все тихо, все как будто неизменно.
Латинский холм еще угрюм и нем.
Еще нескоро перескочит стену
С веселым хохотом беспечный Рем.
Еще нет Рима, и додревность длится,
И братья у сосцов еще дружны.
Еще нескоро будет выть волчица
Над мертвым телом около стены.

Лабиринт

Проклятие строителю Дедалу,
Проклятие — но и благословенье
Воздвигшему прекрасный и ужасный,
Священный, ненавистный Лабиринт.

Седеющие дети Лабиринта,
Мы странствуем по замкнутому кругу
И вспоминаем море и Афины,
Все дальше уходящие от нас:

Как плыли мы на лупоглазом судне,
Как нам отверзли двери Лабиринта —
И каждый возомнил себя Тесеем
И ринулся в витую глубину...

Мы бродим по пронизанным спиралям,
Взыскующие тщетно Минотавра,
Которого ни разу не видали —
И вряд ли доведется увидать:

Ведь Минотавра выдумали люди,
Привыкшие страшиться и молиться,
И если он и есть на самом деле,
То не задумывается о нас...

Мы научились чувствовать, где север,
И обходиться без воды и пищи,
И видеть в самых темных закоулках,
И выбирать недолгого царя.

К нам раз в семь лет приходит пополненье —
Афинские мальчишки и девчонки;
Мы учим их бродить по коридорам
И не искать себе пути назад:

Ведь если что-то вечное бывает,
То это наши арки и колонны,
И переходы, и долги, и страсти,
И весь наш каждодневный Лабиринт!..

Перед боем

У последней мы построились черты.
Брешут лисы на червленые щиты.
Кружат коршуны в небесной синеве.
Не ворочаются мысли в голове.

Там, вдали, за этой мутною чертой
Над оврагами туман встает густой.
Он вздымается, как конские бока.
Звуки слышатся чужого языка.

И неважно, победит ли нынче князь, —
Мы и так, и сяк замесим кровью грязь.
Слышишь? Див с вершины древа прокричал.
Поскорей бы, что ли, недруг нас кончал...

А. И. ДЕНИКИН

Очерки русской смуты

Глава XII — БОЛЬШЕВИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ. ПОПЫТКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ. ГАТЧИНА. ФИНАЛ ДИКТАТУРЫ КЕРЕНСКОГО. ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ В СТАВКЕ И БЫХОВЕ

Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующим положением; неизжитая еще рабья психология масс; инертность большинства и полная безграничного дерзания деятельность организованного, сильного волей и беспринципного меньшинства; пленительные лозунги: власть — пролетариату, земля — крестьянам, предприятия — рабочим, и немедленный мир... Вот в широком обобщении основные причины того неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского народа факта — восприятия им или, вернее, непротивления воцарению большевизма. И это в стране, где «степень экономического развития... и степень сознательности и организованности широких масс пролетариата делают невозможным немедленное и полное освобождение рабочего класса»... Где «без сознательности и организованности масс, без подготовки и воспитания их открытой классовой борьбой со всей буржуазией о социалистической революции не могло быть и речи...» Так по крайней мере думал и писал не кто иной, как Ленин, в 1905 году *.

Власть падала из слабых рук Временного правительства, и во всей стране не оказалось, кроме большевиков, ни одной действенной организации, которая могла бы предъявить свои права на тяжкое наследие во всеоружии реальной силы. Этим фактом в октябре 1917 года был произнесен приговор стране, народу и революции.

Троцкий имел основание сказать в Совете за неделю до выступления: «Нам говорят, что мы готовимся захватить власть. В этом вопросе мы не делаем тайны... Власть должна быть взята не путем заговора, а путем дружной демонстрации сил».

Действительно, весь процесс захвата власти происходил явно и открыто. Северный областной съезд Советов, Петроградский Совет, вся большевистская печать, в которой работал под своим именем и скрывшийся Ленин, призывали к восстанию. 16 октября Троцкий организовал военно-революционный комитет, к которому должно было перейти фактическое и исключительное право распоряжения петроградским гарнизоном. В последующие дни, после ряда собраний полковых комитетов, почти все части гарнизона признали власть революционного комитета, и последний в ночь на 22-е объявил приказ о неподчинении войск военному командованию.

Исполнительный комитет возмущенно протестовал: «Только безумцы или непонимающие последствий выступления могут к нему призывать. Всякий во-

Окончание II тома. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

* «Две тактики социал-демократов в революции». («Две тактики социал-демократов в демократической революции».— Прим. ред.)

оруженный солдат, выходящий на улицу по чьему-либо призыву, помимо распоряжений штаба округа,.. явится преступником против революции...» Это воззвание было актом лицемерия. Ибо те же люди, когда они, казалось, обладали властью, в конце апреля говорили петроградскому гарнизону: «Товарищи солдаты! Без зова Исполнительного комитета (Петроградского Совета) в эти тревожные дни не выходите на улицу с оружием в руках. Только Исполнительному комитету принадлежит право располагать вами». Не все ли равно, чьими руками хоронилась правительственная и военная власть — апрельской «семерки» * или октябрьской «шестерки»... **. С 17 октября при полном непротивлении служащих из казенных складов выдавалось оружие и патроны по ордерам революционного комитета рабочим Выборгской стороны, Охты, Путиловского завода и др. 22-го в различных частях Петрограда состоялся ряд митингов, на которых виднейшие большевистские деятели призывали народ к вооруженному восстанию. Власть и командование находились в состоянии анабиоза и делали бесплодные попытки «примирения» с Советом, предлагая усилить его представительство при штабе округа. Только 24 октября в заседании «Совета республики» председатель правительства решился назвать то положение, в котором находилась столица,— восстанием.

Заседание это, не имевшее никакого реального влияния на ход событий, представляет, однако, большой интерес для характеристики настроений правивших кругов и демократии. Из речи Керенского страна узнала о великом долготерпении правительства, почитавшего своей целью стремление, «чтобы новый режим был совершенно свободен от упрека в не оправдываемых крайней необходимостью репрессиях и жестокостях». Что достоинства этого режима вполне признаны даже организаторами восстания, считающими, что «политические условия для свободной деятельности всех политических партий наиболее совершенны в настоящее время в России». Что до сих пор большевикам «предоставлялся срок для того, чтобы они могли отказаться от своей ошибки», но теперь все времена и сроки вышли и необходимы решительные меры, на принятие которых власть испрашивает поддержку и одобрение Совета.

Только в правой «цензовой» части правительство нашло нравственную поддержку. Демократия в ней отказала. Поставленная на голосование формула левого блока (с.-д., меньшевики и интернацион., лев. с. р-ы и с. р-ы) вместо поддержки выразила осуждение деятельности правительства и потребовала немедленной передачи земли в ведение земельных комитетов и решительных шагов к началу мирных переговоров; что касается ликвидации выступления, то она возлагалась на «комитет общественного спасения», который должны были создать городское самоуправление и органы революционной демократии. Формула прошла 122 голосами против 102 (прав. блока), при 26 воздержавшихся; в числе последних были нар. социалисты (Чайковский), часть кооператоров (Беркенгейм) и земцев.

Мотивы такого решения революционная демократия привела с полной откровенностью устами Гурвича (Дана): предстоящее выступление большевиков, несомненно, ведет страну к катастрофе, но бороться с ним революционная демократия не станет, ибо «если большевистское восстание будет потоплено в крови, то, кто бы ни победил — Временное правительство или большевики,— это будет торжеством третьей силы, которая сметет и большевиков, и Временное правительство, и всю демократию». Что касается левых с. р-ов, то, по свидетельству Штейнберга, накануне открытия «Совета республики» между ними и большевиками состоялось полное соглашение и последним обещана полная поддержка в случае революционных выступлений вне Совета ***.

* По постановлению И. К. 21 апреля власть над петроградским гарнизоном вручена была Чхеидзе, Скобелеву, Виноаску, Скалову, Гольдману, Филипповскому и Богданову.

** В бюро военно-революционного комитета под руководством Бронштейна (Троцкого) вошли: Лазимир, Антонов, Садовский, Подвойский, Сахарков.

*** Окончательный союз заключен синедрионом в составе представителей центральных органов: от большевиков гг. Бронштейн (Троцкий) и Розенфельд (Каменев), от л. с. р-ов Натансон, Кац (Камков) и Шрейдер.

Итак, пусть гибнет страна во имя революции!

Вопрос решился, конечно, не речами, а реальным соотношением сил. Когда 25-го в столице началось вооруженное столкновение, на стороне правительства не оказалось никакой вооруженной силы. Несколько военных и юнкерских училищ вступили в бой не во имя правительства, а побуждаемые к тому сознанием общей большевистской опасности; другие, считавшиеся лояльными, части, вызванные из окрестностей столицы, после моральной обработки их посланными Троцким агитаторами отказались выступить; казачьи полки сохраняли «доброжелательный» к большевикам нейтралитет. Весь остальной гарнизон и рабочая красная гвардия были на стороне Совета; к ним присоединились прибывшие из Кронштадта матросы и несколько судов флота.

Снова, как восемь месяцев тому назад, на улицы столицы вышел вооруженный народ и солдаты, но теперь уже без всякого воодушевления, с еще меньшим, чем тогда, пониманием совершающегося, в полной неуверенности и в своих силах, и в правоте своего дела, даже без чрезмерной злобы против свергаемого режима.

Описания жизни обеих столиц в эти дни свидетельствуют о невероятной путанице, нелепости, противоречиях и о той непроходимой, подавляющей пошлости, которая вместе с грязно-кровавым налетом облекла первые шаги большевизма. Вообще самый переворот перейдет в историю без легенды, без всякой примеси героического элемента, заслоняя декорациями из «Вампуки» и подлинные личные драмы, и великую трагедию русского народа. Немногим лучше была обстановка и в противном лагере: наступление на Петроград войск Краснова, отъезд — бегство Керенского, диктатура в Петрограде в лице глубоко мирного человека доктора Н. М. Кишкина, паралич штаба петроградского округа и метание «комитета спасения», рожденного петроградской думой.

Только военная молодежь — офицеры, юнкера, отчасти женщины — в Петрограде и в особенности в Москве — опять устлала своими трупами столичные мостовые, без позы и фразы умирая... за правительство, за революцию? Нет. За спасение России.

Генерал Алексеев в эти дни принимал самое живое участие в работе «Совета республики», предоставляя свой авторитет, свой богатый опыт и знание русской армии либеральному блоку и, в частности, находясь в постоянном общении с к. д.-ским центром. Одновременно он проявлял большое участие к судьбе бездомного, нищего офицерства, выброшенного буквально на улицу — в результате обстоятельств корниловского выступления и непрекращавшихся гонений солдатской среды. Ему удалось в качестве почетного председателя одного благотворительного общества путем изменения устава его распространить благотворительную деятельность на пострадавших воинов. Общество с тех пор стало оказывать негласную помощь офицерам, юнкерам, кадетам и другим военным лицам в целях спасения их от преследования большевиков, а впоследствии и направления их на Дон. Помощь оказывалась самая разнообразная: советом, деньгами, одеждой, фальшивыми пропусками на большевистских бланках, железнодорожными билетами и удостоверениями о принадлежности к одному из казачьих войск или самоопределяющихся окраин.

Еще 25-го видели характерную фигуру генерала Алексеева на улицах города, уже объятого восстанием. Видели, как он резко спорил с удивленным и несколько опешившим от неожиданности начальником караула, поставленного большевиками у Мариинского дворца, с целью не допускать заседания «Совета республики». Видели его спокойно проходившего от Исаакия к Дворцовой площади сквозь цепи «войск революционного комитета» и с негодованием обрушившегося на какого-то руководителя дворцовой обороны за то, что воззвания приглашают офицеров к Зимнему дворцу «исполнить свой долг», а между тем для них не приготовлено ничего — ни оружия, ни патронов...

Приближенные генерала крайне беспокоились за его судьбу, при резком с его стороны противодействии принимали некоторые меры к его безопасности и настоятельно советовали ему выехать из Петрограда.

В ближайший день вечером в конспиративную квартиру, в которую перевезли генерала Алексеева с Галерной, прибыл Б. Савинков в сопровождении какого-то другого лица и с холодным деланным пафосом, скрестив руки на груди, обратился к генералу:

— Итак, генерал, я вас призываю исполнить свой долг перед Родиной. Вы должны сейчас же со мной ехать к донским казакам, властно приказать им седлать коней, стать во главе их и идти на выручку Временному правительству. Этого требует от вас Родина.

Присутствовавший при разговоре ротмистр Шапрон стал горячо доказывать, что это бессмысленная и непонятная авантюра. Сегодня еще он беседовал с казачьим советом, который заявил, что надежд на 1-й, 4-й, 14-й донские полки, бывшие в составе петроградского гарнизона, нет никаких. Казаки сплошь охвачены большевизмом или желанием «нейтралитета», и появление генерала, не пользующегося к тому же особенным их расположением, приведет только к выдаче его большевикам. Шапрон указал, что если кому-нибудь можно повлиять на казаков, то, вероятно, скорее всего «выборному казаку» Савинкову.

— Где же ваши большие силы, организация и средства, о которых так много было всюду разговоров? — закончил он, обращаясь к Савинкову.

Генерал Алексеев отклонил предложение Савинкова как совершенно безнадежное. Опять патетическая фраза Савинкова:

— Если русский генерал не исполняет своего долга, то я, штатский человек, исполню за него.

И в эту же ночь он уехал. Но не к полкам, а в Гатчину, к Керенскому.

Эпизоды вооруженной борьбы под Петроградом описаны подробно и красочно многими участниками *. Я не могу внести в них ничего нового. Остановлюсь лишь на общей картине, чрезвычайно характерной как эпилог первого восьмимесячного периода революции, в котором, как в фокусе, отразилась вся внутренняя ложь революционной традиции, приведшей к нелепейшим противоречиям в области политического мышления верхов, к окончательному затмению сознания массы, к вырождению революции.

Гатчина — единственный центр активной борьбы: Петроград агонизирует. Ставка бессильна. Псков (штаб Черемисова) стал явно на сторону большевиков: генерал Черемисов, предав и своего благодетеля Керенского, и Временное правительство, еще 25-го приказал приостановить все перевозки войск к Петрограду, склоняя к этому и главнокомандующего Западным фронтом.

В Гатчине собрались в с е.

Керенский — сохраняющий внешние признаки военной власти, но уже оставленный всеми, по существу — не то узник, не то заложник, отдавший себя на милость «царского генерала» Краснова, которого он «поздравляет» с назначением командующим армией... армией в 700 сабель и 12 орудий!.. **

Савинков, который два месяца тому назад с таким пылом осуждал «мятеж» генерала Корнилова, теперь возбуждающий офицеров гатчинского гарнизона против Керенского и предлагающий Краснову свергнуть Керенского и самому стать во главе движения... В поисках «диктатора», создаваемого его руками, он отбрасывал уже всякие условные требования «демократических покровов» и от идеи власти, и от носителя ее.

Циммервальдовец Чернов, прибывший неизвестно с какой целью и одобряющий решение лужского гарнизона «сохранять нейтралитет»...

Верховный комиссар Станкевич, приемлющий и пораженчество, и оборончество, но прежде всего мир — внутренний и внешний — и ищущий «органического соглашения с большевиками ценою максимальных уступок».

Представители «Викжеля», который держал вначале «нейтралитет», т. е. не пропускал правительственных войск, потом выставил ультимативное требование примирения сторон.

* Ген. Краснов, комиссар Станкевич, Я. Миллер и т. д.

** Части корпуса распоряжением ген. Черемисова были разбросаны по всему Северному фронту, а сосредоточению их препятствовал Черемисов, военно-революционные комитеты и Викжель.

Господа Гоц, Войтинский, Кузьмин и т. д.

И среди этого цвета революционной демократии — монархическая фигура генерала Краснова, который своими чувствами и побуждениями глубоко чужд и враждебен всему политическому комплоту, окружающему его и ожидающему от его военных действий спасения — своего положения, интересов своих партий, демократического принципа, «завоеваний революций» и т. д.

Поистине трагическое положение. Здесь — обломки Временного правительства; в Петрограде — «комитет спасения», не признающий власти правительства. Здесь, на военном совете, обсуждают даже возможность вхождения большевиков в состав правительства... Какие же политические цели преследует предстоящая борьба в практическом, прикладном их значении? Свержение Ленина и Троцкого и восстановление Керенского, Авксентьева *, Чернова? **.

Особенно мучительно переживало это трагическое недоумение офицерство отряда; оно с ненавистью относилось к «керенщине» и если в сознательном или безотчетном понимании необходимости борьбы против большевиков стремилось все же на Петроград, то не умело передать солдатам порыва, воодушевления, ни даже просто вразумительной цели движения. За Родину и спасение государственности? Это было слишком абстрактно, недоступно солдатскому пониманию. За Временное правительство и Керенского? Это вызывало злобное чувство, крики «Долой!» и требование выдать Керенского большевикам. Столь же мало, конечно, было желание идти и «за Ленина».

Впрочем, никаким влиянием офицерство не пользовалось уже давно; в казачьих частях к нему также относились с острым недоверием, тем более что казаков сильно смущали их одиночество и мысль, что они идут «против народа».

Офицерский корпус в эти дни вступал в новую, наиболее тяжелую и критическую фазу своего существования: на той стороне, как говорил Бронштейн (Троцкий), было также «большое число офицеров, которые не разделяли наших (большевистских) политических взглядов, но, связанные со своими частями («loyalement attachés»), сопутствовали своим солдатам на поле боя и управляли военными действиями против казаков Краснова» ***.

В результате этого общего великого «недоумения» шли небольшие стычки, в которых сбитый с толку «вооруженный народ» в лице солдат, казаков, матросов, красногвардейцев то постреливал друг в друга, то бросал оружие и уходил, то целыми часами митинговал — совместно оба лагеря. Вчерашние враги, сегодняшние друзья спорили до одури, воспламенялись истеричными криками какого-нибудь случайного оратора и расходились с еще более затемненным разумом, унося глухую злобу одинаково — против правительства и командиров, Ленина и большевиков. И у всех было одно неизменное и неизбывное желание — окончить как можно скорее кровопролитие.

Окончилось все 1 ноября бегством Керенского **** и заключением перемирия между генералом Красновым и матросом Дыбенко. Судьба жестоко мстила теперь творцам истории о «корниловском мятеже», повторяя в обратном, уродливом преломлении все важнейшие этапы его. Все те элементы, на которых опиралась правительственная власть в борьбе против Корнилова, теперь отвернулись от нее: вожди революционной демократии уже делили ее ризы; Советы отрекались от правительства; армейские комитеты один за другим составляли постановления о нейтралитете; «Викжель» остановил перевозку правительственных войск. Совет народных комиссаров, возглавивший Российскую державу 26 октября, писал декреты об «изменниках народа и революции» и ввергал в тюрьмы

* Был назначен Керенским его заместителем.

** Военно-революционные организации прочили Чернова на пост председателя нового правительства.

*** «L'avénement du bolchevisme».

**** В показании, данном большевикам 1 ноября 1917 г., генерал Краснов приводит, между прочим, такую фразу из своего последнего разговора с Керенским: «Если вы честный человек, вы должны сейчас же ехать в Петроград под белым флагом, отыскать революционный комитет, с которым и вступить в переговоры как глава правительства». В своей статье «На внутреннем фронте» («Архив. русс. революции», т. 1) Краснов признает, что помог Керенскому бежать: «...Как ни велика вина ваша перед Россией,—сказал я,—я не считаю себя вправе судить вас. За полчаса времени я вам ручаюсь...»

членов Временного правительства. Единственными элементами, к которым можно было обратиться за помощью для спасения государственности, по иронии судьбы оказались все те же «корниловские мятежники» — офицеры, юнкера, ударники, текинцы, все тот же 3-й конный корпус. Только уже лишенные сердца, ясного стимула борьбы и вождя.

1 ноября ген. Духонин ввиду безвестного отсутствия Керенского принял на себя верховное командование и приказал прекратить отправку войск на Петроград. Он призывал фронт сохранять спокойствие в ожидании «происходящих между различными политическими партиями переговоров для сформирования Временного правительства».

Подчинившись всецело политическому руководству комиссара Станкевича и Общеармейского комитета, Ставка отказалась от всякой активной борьбы. Такое положение в отношении «правительства народных комиссаров» — без борьбы и без подчинения — не могло быть долговечным. 7 ноября Совет народных комиссаров «повелел» Верховному главнокомандующему тотчас же «обратиться к военным властям неприятельской армии с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров». Духонин 8-го ответил по аппарату комиссару по военным делам Крыленко, что он также считает «в интересах России — заключение скорейшего мира», но что это может сделать только «центральная правительственная власть, поддержанная армией и страной». В тот же день Совет комиссаров «за неповиновение и поведение, несущее неслыханное бедствие трудящимся всех стран и в особенности армиям», сместил Духонина, предписав ему «продолжать ведение дела, пока не прибудет в Ставку новый главнокомандующий» — Крыленко *.

Духонин, опираясь на решение Общеармейского комитета, не признал возможным оставить свой пост.

Положение Ставки между тем становилось критическим. Техническое управление фронтом принимало все более фиктивный характер, так как отдельные части, дивизии, корпуса, целые армии мало-помалу переходили на сторону большевиков. Крыленко на фронте 5-й армии вступал уже в переговоры с немецким командованием, и вскоре в Ставке получены были сведения о движении матросского эшелона с новым «Главковерхом» на Могилев сквозь сплошное расположение правительственных войск, объявивших себя «нейтральными». В Могилеве в это время Общеармейский комитет, Чернов, Авксентьев, Скобелев и друг. представители революционной демократии вели нескончаемые разговоры о создании новой власти, потонув в партийных догмах и как будто не замечая, что они одни, совершенно одни — никому не нужные, никому не интересные — среди взбаламученного и их руками народного моря.

Быхов переживал чрезвычайно больно новое народное несчастье. Много раз мы обсуждали события. Ген. Корнилов входил в сношения со Ставкой, с советом казачьих войск, Довбор-Мусницким и Калединым. 1 ноября он обратился к Духонину с письмом, которое я привожу в подробном извлечении и с пометками Духонина, рисующими взгляд Ставки на тогдашнее положение:

«Вас судьба поставила в такое положение, что от Вас зависит изменить исход событий, принявших гибельное для страны и армии направление главным образом благодаря нерешительности и попустительству старшего командного состава. Для Вас наступает минута, когда люди должны или дерзать, или уходить, иначе на них ляжет ответственность за гибель страны и позор за окончательный развал армии.

По тем неполным, отрывочным сведениям, которые доходят до меня, положение тяжелое, но еще не безвыходное. Но оно станет таковым, если Вы допустите, что Ставка будет захвачена большевиками, или же добровольно признаете их власть.

* Николай Васильевич Крыленко (1885—1938). Член больш. партии с 1904 г., прапорщик старой армии. В первом Сов. пр.-ве член Комитета по военным и морским делам, нарком. С 9 ноября 1917 г. по март 1918 г. Верховный главнокомандующий. В годы гражд. войны председатель Ревтрибунала, затем государственный обвинитель на политических процессах. **(Прим. ред.)**

Имеющихся в Вашем распоряжении Георгиевского батальона, наполовину распропагандированного, и слабого Текинского полка далеко недостаточно.

Предвидя дальнейший ход событий, я думаю, что Вам необходимо безотлагательно принять такие меры, которые, прочно обеспечивая Ставку, дали бы благоприятную обстановку для организации дальнейшей борьбы с надвигающейся анархией.

Таковыми мерами я считаю:

1. Немедленный перевод в Могилев одного из чешских полков и польского уланского полка.

Пометка: «Ставка не считает их вполне надежными. Эти части одни из первых пошли на перемирие с большевиками».

2. Занятие Орши, Смоленска, Жлобина и Гомеля частями польского корпуса, усилив дивизии последнего артиллерией за счет казачьих батарей фронта.

Пометка: «Для занятия Орши и Смоленска сосредоточена 2 Кубанская дивизия и бригада Астраханских казаков. Полков 1 польской дивизии из Быхова не желательно (брать) для безопасности арестованных. Части 1 дивизии имеют слабые кадры и потому не представляют реальной силы. Корпус определенно держится того, чтобы не вмешиваться во внутренние дела России» *.

3. Сосредоточение на линии Орша — Могилев — Жлобин всех частей Чешско-Словацкого корпуса, Корниловского полка, под предлогом перевозки их на Петроград и Москву и 1—2 казачьих дивизий из числа наиболее крепких.

Пометка: «Казаки заняли непримиримую позицию не воевать с большевиками».

4. Сосредоточение в том же районе всех английских и бельгийских броневых машин с заменой прислуги их исключительно офицерами.

5. Сосредоточение в Могилеве и в одном из ближайших к нему пунктов, под надежной охраной запаса винтовок, патронов, пулеметов, автоматических ружей и ручных гранат для раздачи офицерам и волонтерам, которые обязательно будут собираться в указанном районе.

Пометка: «Это может вызвать эксцессы».

6. Установление прочной связи и точного соглашения с атаманами Донского, Терского и Кубанского войск и с комитетами польским и чехословацким. Казаки определенно высказались за восстановление порядка в стране **, для поляков же и чехов вопрос восстановления порядка в России — вопрос их собственного существования.

Вот те соображения, которые я считал необходимым высказать Вам, добавляя, что нужно решиться, не теряя времени».

Безотрадный взгляд Ставки на общее положение обрисовался и в письме генерал-квартирмейстера Дитерихса к генералу Лукомскому. По словам Дитерихса, главное усилие Духонину и ему приходилось направлять для того, чтобы удержать на месте армию — в сущности, большевистскую — и дать собраться новому правительству, которое, «какое бы оно ни было, первым вопросом поставит мир». «К Вам, представители всей русской демократии,— говорил Духонин в своем обращении к стране,— к вам, представители городов, земств и крестьянства, обращаются взоры и мольбы армии: сплотитесь все вместе во имя спасения Родины, воспряньте духом и дайте исстрадавшейся земле Русской власть — власть всенародную, свободную в своих началах для всех граждан России и чуждую насилия, крови и штыка».

Но надежд на это объединение было немного, так как, по словам Дитерихса, «борьба с большевизмом как бы отошла на задний план, а на главный выдвигается партийность и личности... Искренней же, бескорыстной поддержки нет ни от кого, в том числе и от казачества, ибо оно поставило девизом — поддержку только коалиционного правительства»... Ставка как будто защищала идею могилевских организаций — однородное социалистическое министерство от народных социалистов до большевиков включительно, с Черновым во главе — против донского «либерализма». Это уже значительно суживало базу «всенародности», отзываясь оппортунизмом хотя и последовательным, но в данных условиях вовсе беспочвенным и бесполезным. Действительно, к середине ноября могилевское совещание революционной демократии распалось, не придя ни к какому соглашению. Общеармейский комитет объявил «нейтралитет» Ставки как военно-технического аппарата, обещая ей вооруженную защиту, явно неосуществимую за отсутствием войск.

* Ген. Довбор-Мусницкий отдал приказ, чтобы польские войска, отнюдь не вмешиваясь в русские дела, подавляли, однако, беспощадно силою оружия всякие посягательства на имущество и безопасность мирных жителей без различия национальности — в районе их расположения.

** К сожалению — только общеказачий совет и казачьи правительства.

Было ясно, что Ставка, обезличенная долгими месяцами керенского режима, упустив время, когда еще были возможны организация и накопление сил, не может стать моральным организующим центром борьбы.

Глава XIII. ПЕРВЫЕ ДНИ БОЛЬШЕВИЗМА В СТРАНЕ И АРМИИ. СУДЬБА БЫХОВЦЕВ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА ДУХОНИНА. НАШ УХОД ИЗ БЫХОВА НА ДОН

В первые же дни после переворота Совет народных комиссаров издал ряд оглушительных декретов: предложение всем воюющим державам немедленного перемирия на всех фронтах и немедленного открытия переговоров о демократическом мире; о передаче всей земли в распоряжение волостных земельных комитетов; о рабочем контроле в промышленных заведениях; о «равенстве и суверенитете народов России... вплоть до отделения и образования самостоятельных государств»; об отмене судов и законов и т. д.

Однако за смелыми, казалось, до безрассудства действиями новой власти чувствовалась еще полная неуверенность ее в успехе, а в народных массах — недоумение и колебание. В широких кругах, не только чисто обывательских, но и зрелых политически, царило убеждение, что новый режим — только злокачественный нарыв на теле революции, который очень скоро вскроется, оздоровив наконец немощный, отравленный организм страны.

— Две недели.

Эти «две недели» — плод интеллигентского романтизма — и потом в течение долгих лет черной ночи озаряли тьму своим обманчивым светом, чередуясь с днями отчаяния и безнадежности...

Тем временем в стране шла борьба, принявшая наиболее реальные формы в трех ее проявлениях: в центробежном стремлении окраин, в противодействии местных самоуправлений и в сопротивлении и саботаже со стороны городской демократии.

Объявили о своем суверенитете Финляндия и Украина, об автономии — Эстония, Крым, Бессарабия, казачьи области, Закавказье, Сибирь... Это явление, нося внешние признаки государственной целесообразности в непризнании самозваной центральной власти, заключало в себе серьезную опасность для будущего как в ослаблении и, может быть, порыве внутренних исторических связей некоторых окраин с Россией, так, главным образом, в полном разъединении материальных и моральных сил при предстоящей борьбе с большевизмом. Внешне как будто все обстояло благополучно: Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Тифлис заговорили о федерации и коалиционном составе центрального правительства. Но на практике картина получалась иная: Украина «аннексировала» уже Харьковскую, Екатеринославскую, Херсонскую, часть Таврической губерний; Дон вел тяжбу с Украиной о границах, и из-за пустого, в сущности, вопроса Екатерининской ж. дороги обе «высокие стороны» придвигали к «пограничным» пунктам гарнизоны; самоопределившиеся «горские народы» огнем и оружием начали уже разрешать спорные исторические вопросы с Тереком; Тифлис накладывал руку на огромные общегосударственные средства Кавказского фронта. Но наиболее гибельной и предопределившей весь исход борьбы явилась идея, воспринятая по убеждению националистами и по заблуждению — лояльным элементом: сначала отгородиться совершенно в территориальных, областных,

национальных рамках не только от районов, пораженных большевизмом, но и от сравнительно «здоровых» соседей, заняться внутренней организующей работой и накоплением сил, а потом уже выступить активно сообразно со сложившейся политической обстановкой. Эта глубоко ошибочная идея давала большевизму время и возможность, действуя по «внутренним, операционным направлениям» стратегического и политического фронта, разбить по частям и смести разрозненные противодействовавшие силы.

Политически действенные элементы октябрьский переворот разбил на три группы: 1) решительно отрицающих большевизм — в том числе к.-д-ты, народные социалисты, кооператоры, группа Единства, правые с.-ры и большинство профессиональных союзов; 2) приемлющих соглашение с большевиками — с. д. меньшевиками и 3) большевики с примыкавшими к ним левыми с.-р-ами и интернационалистами. В зависимости от численного или интеллектуального преобладания той или другой группы в городах сохранялись и возникали самые разнохарактерные центры местного управления, как-то правительственные комиссариаты, общественные комитеты спасения, городские самоуправления и, наконец, большевистские военно-революционные комитеты. Иногда одновременно существовало несколько органов власти. Шла борьба, местами принимавшая ожесточенный и кровавый характер, и в этой борьбе решающее значение получила опять-таки тыловая чернь — армия. Мартиролог русских городов, все более растущий, носил характер трагический и однообразный: по получении известия о падении Временного правительства в городе образовывалась обыкновенно общественная власть; подымался гарнизон; после краткой борьбы, иногда жестокого артиллерийского обстрела власть сдавалась и в городе начинались повальные обыски, грабежи и истребление буржуазии.

Весьма длительную и упорную борьбу, хотя и чисто пассивную, повела городская демократия — в широком смысле этого слова, главным образом служилый элемент. Служащие государственных и общественных учреждений, инженеры, техники, писцы, железнодорожники, телеграфисты, телефонисты, лица либеральных профессий — прямо или косвенно отказывались служить новому режиму, не пугаясь угроз и насилий, терпеливо перенося отсутствие заработка и содержания, изгнание из квартир и лишение пайков. Это сопротивление как будто грозило остановить весь государственный механизм нового «крестьянско-рабочего» правительства, которое не на шутку испугалось «саботажа буржуазии», призывало ее образумиться и грозило жестокой расправой.

Фронт был покорен «миром».

Союзные правительства через своих военных представителей протестовали перед Ставкой «против нарушения условий договора 23-го августа 1914 г.» и грозили, что «всякое нарушение договора со стороны России повлечет за собою самые тяжелые последствия». Духонин и общеармейский комитет рассылали воззвания и приказы. Главнокомандующий Юго-западным фронтом генерал Володченко признал гражданскую власть Центральной Рады, оставив за собою оперативную свободу. Этот фронт и Румынский, где наличие румынской армии сдерживало буйные порывы, внешне еще держались. Закавказье переживало дни смертельного страха за свою судьбу перед лицом турецкого нашествия и перестраивало фронт на национальных началах.

Но мало-помалу становилось совершенно ясно, что все это только последние пароксизмы «оборончества». Северный и Западный фронты перешли в подчинение советской власти, а от края к до края русских линий началось стихийное, ничем уже не предотвратимое «сепаратное заключение мира» — армиями, полками и даже ротами.

В эти же дни, в середине ноября, по всем железнодорожным линиям непрерывной вереницей потянулись эшелоны немецких войск с востока на запад.

В связи с падением Временного правительства юридическое положение быховцев становилось совершенно неопределенным. Обвинение в покушении на ниспровержение теперь ниспровергнутого строя принимало совершенно нелепый характер. Кто наши обвинители, наши судьи, какой трибунал может судить нас?

Перед нами встал вопрос, не пора ли оставить гостеприимные стены Быховской тюрьмы, тем более что вся совокупность обстановки указывала на возможность и необходимость большой работы. Генерал Корнилов, истомленный вынужденным бездействием, рвался на свободу. Его поддержали некоторые молодые офицеры. Но генералы были против: ничего определенного о формировании нового правительства неизвестно; нам нельзя уклоняться от ответственности; сохранилась еще законная и нами признаваемая военная власть Верховного главнокомандующего, генерала Духонина; а эта власть говорит, что наш побег вызовет падение фронта.

Падение фронта!

Этот фатум тяготел над волей и мыслью всех военачальников с самого начала революции. Он давал оправдание слабым и связывал руки сильным. Он заставлял говорить, возмущаться или соглашаться там, где нужно было действовать решительно и беспощадно. В различном отражении, в разных проявлениях его влияние наложило свою печать на деятельность таких несхожих по характеру и взглядам людей, как император Николай II, Алексеев, Брусилов, Корнилов. Даже когда разум говорил, что фронт уже кончен, чувство ждало чуда и никто не мог и не хотел взять на свои плечи огромную историческую ответственность — дать толчок его падению, быть может, последний. Кажется, только один человек уже в августе не делал себе никаких иллюзий и не боялся нравственной ответственности — это Крымов...

Вопрос остался открытым. Однако вскоре мы узнали, что Корнилов приказал Текинскому полку готовиться к походу, назначив в один из ближайших дней выступление. Побеседовали совместно — Лукомский, Романовский, Марков и я — и решили, чтобы мне переговорить по этому поводу с Корниловым. Я пошел к Верховному.

— Лавр Георгиевич! Вы знаете наш взгляд, что без крайней необходимости нам уходить отсюда нельзя. Вы решили иначе. Ваше приказание мы исполним беспрекословно, но просим предупредить по крайней мере дня за два.

— Хорошо, Антон Иванович, повремени́м.

Некоторая подготовка между тем продолжалась. Составили маршрут на случай походного движения с текинцами. Приготовили поддельные распоряжения от имени следственной комиссии Шабловского об освобождении пяти генералов* на случай, если бы текинцы остались, чтобы не подводить их и коменданта. Изучали железнодорожный маршрут на Дон. Дело в том, что по инициативе казачьего совета атаман просил Ставку отпустить быховских узников на поруки Донского войска, предоставив для нашего пребывания станицу Каменскую. Ставка колебалась. Корнилову не нравилась такая постановка вопроса, и он решил в случае осуществления этого проекта покинуть в пути поезд, чтобы не связывать ни себя, ни войско.

Но к середине ноября обстановка круто изменилась. Получены были сведения, что к Могилеву двигаются эшелоны Крыленко, что в Ставке большое смятение и что там создалось определенное решение капитулировать. Наши друзья приняли, по-видимому, энергичные меры, так как, если не ошибаюсь, 18-го в Быхове получена была телеграмма безотлагательно начать посадку в специальный поезд эскадрона текинцев и полуроты георгиевцев для сопровождения арестованных на Дон.

Мы все вздохнули с облегчением. Что готовит нам судьба в дальнем пути, это был вопрос второстепенный. Важно было выбраться из этих стен на свет Божий, к тому же вполне легально, и снова начать открытую борьбу. Быстро уложились и ждали. Прошли все положенные сроки — не везут. Ждем три, четыре часа... Наконец получается лаконический приказ — телеграмма генерала Духонина коменданту: все распоряжения по перевозке отменить.

Глубокое разочарование, подавленное настроение. Обсуждаем положение. Ночь без сна. Между Могилевом и Быховом мечутся автомобили наших доброжелателей из офицерского комитета и казачьего союза. Глубокой ночью узнаем об-

* Оставшихся последними.

стоятельства перемены Ставкой решения. Представители казачьего союза долго уговаривали Духонина отпустить нас на Дон, указывая, что в любую минуту он, Верховный Главнокомандующий, если сам не покинет город, может стать просто узником. Духонин согласился, наконец, вручить казачьему представителю именные распоряжения о нашем переезде на имя коменданта Быховской тюрьмы и главного начальника сообщений, но под условием, что эти документы будут использованы лишь в момент крайней необходимости. Казачьи представители нашли, что 18-го этот момент настал. Духонин, узнав о готовящейся посадке, отменил распоряжение, а явившимся к нему казачьим представителям сказал:

— Еще рано. Этим распоряжением я подписал себе смертный приговор.

Но утром 19-го в тюрьму явился полковник генерального штаба Кусонский и доложил генералу Корнилову:

— Через четыре часа Крыленко приедет в Могилев, который будет сдан Ставкой без боя. Генерал Духонин приказал вам доложить, что всем заключенным необходимо тотчас же покинуть Быхов.

Генерал Корнилов пригласил коменданта, подполковника Текинского полка Эргардта, и сказал ему:

— Немедленно освободите генералов. Текинцам изготовиться к выступлению к 12 часам ночи. Я иду с полком.

. . . .

Духонин был и остался честным человеком. Он ясно отдавал себе отчет, в чем состоит долг воина перед лицом врага, стоящего за линией окопов, и был верен своему долгу. Но в пучине всех противоречий, брошенных в жизнь революцией, он безнадежно запутался. Любя свой народ, любя армию и отчаявшись в других способах спасти их, он продолжал идти скрепя сердце по пути с революционной демократией, тонувшей в потоках слов и боявшейся дела, заблудившейся между Родиной и революцией, переходившей постепенно от борьбы «в народном масштабе» к соглашению с большевиками, от вооруженной обороны Ставки как «технического аппарата» к сдаче Могилева без боя.

В той среде, с которой связал свою судьбу Духонин, ни стимула, ни настроения для *настоящей борьбы* он найти не мог.

Его оставили все: общеармейский комитет распустил себя 19-го и рассеялся; Верховный комиссар Станкевич уехал в Киев; генерал-квартирмейстер Дитерихс укрылся в Могилеве, и, если верить Станкевичу, это он уговорил остаться генерала Духонина, сдавшегося было на убеждения ехать на Юго-западный фронт. Бюрократическая Ставка, верная своей традиции «аполитичности», вернее, беспринципности, в тот день, когда чернь терзала Верховного Главнокомандующего, в лице своих старших представителей приветствовала нового главковерха!..

Еще 19-го командиры ударных батальонов, прибывших ранее в Могилев по собственной инициативе, просили разрешения Духонина защищать Ставку. Общеармейский комитет перед роспуском сказал «нет». И Духонин приказал батальонам в тот же день покинуть город.

— Я не хочу братоубийственной войны,— говорил он командирам.— Тысячи ваших жизней будут нужны Родине. Настоящего мира большевики России не дадут. Вы призваны защищать Родину от врага и Учредительное собрание от разгона...

Благословив других на борьбу, сам остался. Изверился, очевидно, во всех, с кем шел.

— Я имел и имею тысячи возможностей скрыться. Но я этого не сделаю. Я знаю, что меня арестует Крыленко, а может быть, меня даже расстреляют. Но это смерть солдатская.

И он погиб.

На другой день толпа матросов, диких, озлобленных, на глазах у «главковерха» Крыленко растерзала генерала Духонина и над трупом его жестоко надругалась.

В смысле безопасности передвижения трудно было определить, который способ лучше: тот ли, который избрал Корнилов, или наш. Во всяком случае, далекий зимний поход представлял огромные трудности. Но Корнилов был крепко привязан к текинцам, оставшимся ему верными до последнего дня, не хотел расставаться с ними и считал своим нравственным долгом идти с ними на Дон, опасаясь, что их иначе постигнет злая участь. Обстоятельство, которое чуть не стоило ему жизни.

Мы простились с Корниловым сердечно и трогательно, условившись встретиться в Новочеркасске. Вышли из ворот тюрьмы провожаемые против ожидания добрым словом наших тюремщиков-георгиевцев, которых не удивило освобождение арестованных, ставшее последнее время частым.

— Дай вам Бог, не поминайте лихом...

На квартире коменданта мы переоделись и резко изменили свой внешний облик. Лукомский стал великолепным «немецким колонистом», Марков — типичным солдатом, неподражаемо имитировавшим разнузданную манеру «сознательного товарища». Я обратился в «польского помещика». Только Романовский ограничился одной переменой генеральских погон на прапорщичьи.

Лукомский решил ехать прямо навстречу крыленковским эшелонам через Могилев — Оршу — Смоленск в предположении, что там искать не будут. Полковник Кусонский на экстренном паровозе сейчас же продолжал свой путь далее в Киев, исполняя особое поручение, предложил взять с собою двух человек — больше не было места. Я отказался в пользу Романовского и Маркова. Простились. Остался один. Не стоит придумывать сложных комбинаций: взять билет на Кавказ и ехать ближайшим поездом, который уходил по расписанию через пять часов. Решил переждать в штабе польской дивизии. Начальник дивизии весьма любезен. Он получил распоряжение от Довбор-Мусницкого «сохранять нейтралитет», но препятствовать всякому насилию советских войск и оказать содействие быховцам, если они обратятся за ним. Штаб дивизии выдал мне удостоверение на имя «помощника начальника перевязочного отряда Александра Домбровского»; случайно нашелся и попутчик — подпоручик Любоконский, ехавший к родным, в отпуск. Этот молодой офицер оказал мне огромную услугу и своим милым обществом, облегчавшим мое самочувствие, и своими заботами обо мне во все время пути.

Поезд опоздал на шесть часов. После томительного ожидания, в $10^1/_2$ час. мы наконец выехали.

Первый раз в жизни — в конспирации, в несвойственном виде и с фальшивым паспортом. Убеждаюсь, что положительно не годился бы для конспиративной работы. Самочувствие подавленное, мнительность, никакой игры воображения. Фамилия польская, разговариваю с Любоконским по-польски, а на вопрос товарища-солдата:

— Вы какой губернии будете?

Отвечаю машинально — Саратовской. Приходится давать потом сбивчивые объяснения, как поляк попал в Саратовскую губернию. Со второго дня с большим вниманием слушали с Любоконским потрясающие сведения о бегстве Корнилова и быховских генералов; вместе с толпой читали расклеенные по некоторым станциям аршинные афиши. Вот одна: «Всем, всем. Генерал Корнилов бежал из Быхова. Военно-революционный комитет призывает всех сплотиться вокруг комитета, чтобы решительно и беспощадно подавить всякую контрреволюционную попытку». Идем дальше. Другая — председателя «Викжеля», адвоката Малицкого: «Сегодня ночью из Быхова бежал Корнилов сухопутными путями с 400 текинцами. Направился к Жлобину. Предписываю всем железнодорожникам принять все меры к задержанию Корнилова. Об аресте меня уведомить». Какое жандармское рвение у представителя свободной профессии! Настроение в толпе довольно, впрочем, безразличное. Ни радости, ни огорчения. Любоконский пытается вступать с соседями в политические споры, я останавливаю его. Где-то, кажется, на станции Конотоп, пришлось пережить неприятных полчаса, когда красноармейцы-милиционеры заняли все выходы из зала, а их начальник по странной случайности расположился возле нашего стола... Не доезжая до Сум,

поезд остановился среди чистого поля и простоял около часа. За стенкой купе слышен разговор:

— Почему стоим?

— Обер говорил, что проверяют пассажиров, кого-то ищут.

Томительное ожидание. Рука в кармане сжимает крепче рукоятку револьвера, который, как оказалось впоследствии... не действовал. Нет! Гораздо легче, спокойнее, честнее встречать открыто смертельную опасность в бою под рев снарядов, под свист пуль — страшную, но вместе с тем радостно волнующую, захватывающую своей реальной жутью и мистической тайной.

Вообще же путешествие шло благополучно, без особенных приключений. Только за Славянском произошел маленький инцидент: в нашем вагоне, набитом до отказа солдатами, мое долгое лежание на верхней полке показалось подозрительным, и внизу заговорили:

— Полдня лежит, морды не кажет. Может быть, сам Керенский?.. (следует скверное ругательство).

— Поверни-ка ему шею!

Кто-то дернул меня за рукав, я повернулся и свесил голову вниз. По-видимому, сходства не было никакого. Солдаты рассмеялись: за беспокойство угостили меня чаем.

И с ним встреча была возможна: по горькой иронии судьбы в одно время с «мятежниками» прибыл в Ростов бывший диктатор России, бывший Верховный Главнокомандующий ее армии и флота Керенский, переодетый и загримированный, прячась и спасаясь от той толпы, которая не так давно еще носила его на руках и величала своим избранником.

Времена изменчивы...

Эти несколько дней путешествия и дальнейшие скитания мои по Кавказу в забитых до одури и головокружения человеческими телами вагонах, на площадках и тормозах, простаивание по много часов на узловых станциях — ввели меня в самую гущу революционного народа и солдатской толпы. Раньше со мной говорили как с главнокомандующим и потому по различным побуждениям не были искренни. Теперь я был просто «буржуй», которого толкали и ругали — иногда злобно, иногда так — походя, но на которого, по счастью, не обращали никакого внимания. Теперь я увидел яснее подлинную жизнь и ужаснулся.

Прежде всего, разлитая повсюду безбрежная ненависть — и к людям, и к идеям. Ко всему, что было социально и умственно выше толпы, что носило малейший след достатка, даже к неодушевленным предметам — признакам некоторой культуры, чуждой или недоступной толпе. В этом чувстве слышалось непосредственное, веками накопившееся озлобление, ожесточение тремя годами войны и воспринятая через революционных вождей истерия. Ненависть с одинаковой последовательностью и безотчетным чувством рушила государственные устои, выбрасывала в окно вагона «буржуя», разбивала череп начальнику станции и рвала в клочья бархатную обшивку вагонных скамеек. Психология толпы не обнаруживала никакого стремления подняться до более высоких форм жизни: царило одно желание — захватить или уничтожить. Не подняться, а принизить до себя все, что так или иначе выделялось. Сплошная апология невежества. Она одинаково проявлялась и в словах того грузчика угля, который проклинал свою тяжелую работу и корил машиниста «буржуем» за то, что, тот, получая дважды больше жалованья, «только ручкой вертит», и в развязном споре молодого кубанского казака с каким-то станичным учителем, доказывавшим довольно простую истину: для того, чтобы быть офицером, нужно долго и многому учиться.

— Вы не понимаете и потому говорите. А я сам был в команде разведчиков и прочесть, чего на карте написано или там что, не хуже всякого офицера могу.

Говорили обо всем: о Боге, о политике, о войне, о Корнилове и Керенском, о рабочем положении и, конечно, о земле и воле. Гораздо меньше о большевиках и новом режиме. Трудно облечь в связные формы тот сумбур мыслей, чувств и речи, которые проходили в живом калейдоскопе менявшегося населения поездов и станций. Какая беспросветная тьма! Слово рассудка ударялось как о каменную стену. Когда начинал говорить какой-либо офицер, учитель или кто-нибудь из «буржуев», к их словам заранее относились с враждебным недоверием. А тут же какой-то по разговору полуинтеллигент в солдатской шинели развивал невероятнейшую систему социализации земли и фабрик. Из путаной, обильно снабженной мудреными словами его речи можно было понять, что «народное добро» будет возвращено «за справедливый выкуп», понимаемый в том смысле, что казна должна выплачивать крестьянам и рабочим чуть ли не за сто прошлых лет их потери и убытки за счет буржуйского состояния и банков. Товарищ Ленин к этому уже приступил. И каждому слову его верили, даже тому, что «на Аральском море водится птица, которая несет яйца в добрый арбуз и оттого там никогда голода не бывает, потому что одного яйца довольно на большую крестьянскую семью». По-видимому, впрочем, этот солдат особенно расположил к себе слушателей кощунственным воспроизведением ектеньи «на революционный манер» и проповеди в сельской церкви:

— Братие! Оставим все наши споры и раздоры. Сольемся воедино. Возьмем топоры да вилы и, осеня себя крестным знамением, пойдем вспарывать животы буржуям. Аминь.

Толпа гоготала. Оратор ухмылялся — работа была тонкая, захватывавшая наиболее чувствительные места народной психики.

Помню, как на одном перегоне завязался спор между железнодорожником и каким-то молодым солдатом из-за места, перешедший вскоре на общую тему о бастующих дорогах и о бегущих с поля боя солдатах. Солдат оправдывался:

— Я, товарищ, сам под Бржезанами в июле был, знаю. Разве мы побежали бы? Когда офицера нас продали — в тылу у нас мосты портили! Это, брат, все знают. Двоих в соседнем полку поймали — прикончили.

Меня передернуло. Любоконский вспыхнул:

— Послушайте, какую вы чушь несете! Зачем же офицеры стали бы портить мосты?

— Да уж мы не знаем, вам виднее...

Отзывается с верхней полки старообразный солдат «черноземного» типа:

— У вас, у шкурников, всегда один ответ: как даст стрекача, так завсегда офицеры виноваты.

— Послушайте, вы не ругайтесь! Сами-то зачем едете?

— Я?.. На, читай. Грамотный?

Говоривший, порывшись за бортом шинели, сунул молодому солдату засаленный лист бумаги.

— Призыва 1895 года. Уволен вчистую, понял? С самого начала войны и по сей день, не сходя с позиции, в 25-й артиллерийской бригаде служил... Да ты вверх ногами держишь!

Солдаты засмеялись, но не поддержали артиллериста.

— Должно быть, «шкура»... * — процедил кто-то сквозь зубы.

Долгие, томительные часы среди этих опостылевших разговоров, среди невыразимой духоты и пряной ругани одурманивают сознание. Бедная демократия! Не та, что блудит словом в советах и на митингах, а вот эта — сермяжная, серошинельная. Эта — от чьего имени в течение полугода говорили пробирающийся теперь тайно в Новочеркасск Керенский, «восторженно приветствуемый» в Тифлисе Церетели и воцарившийся в Петрограде Ленин.

Приехали благополучно в Харьков. Пересадка. Сгрудились стеною для атаки вагона ростовского поезда. Вдруг впереди вижу дорогие силуэты: Романовский и Марков стоят в очереди. Стало легче на душе. Ни выйти из купе, ни даже приоткрыть дверь в коридор, устланный грудой тел, было невозможно. Расстались с Любоконским. Поближе к Дону становится свободнее. Теперь в купе нас всего десять человек: два торговца-черкеса, дама, офицер, пять солдат и я. Проверил документы и осматривал багаж только один раз где-то за Изюмом вежливый патруль полка Пограничной стражи. У черкесов и у солдат оказалось много мануфактуры.

* Так называли сверхсрочных в солдатской среде.

Все обитатели купе спят. Только два солдата ведут разговор — шепотом, каким-то воровским жаргоном. Я притворяюсь спящим и слушаю. Один приглашает другого, по-видимому, старого приятеля, «в дело». Обширное предприятие «мешочников», имеющее базы в Москве и Ростове. С севера возят мануфактуру, с юга хлеб; какие-то московский и ростовский лазареты снабжают артель «санитарными билетами» и проездными бланками. Далее разговор более тихий и интимный: хорошо бы прихватить черкесскую мануфактуру... Можно обделать тихо, в случае чего припугнуть ножиком — народ жидкий; лучше — перед Иловайской; оттуда можно свернуть на Екатеринослав...

Неожиданное осложнение для нелегального пассажира. Через несколько минут дама нервно вскочила и вышла в коридор. Очевидно, и до ее слуха что-нибудь долетело. На ближайшей большой остановке «мешочники» вышли в окно за кипятком. Я предупредил черкеса и офицера о возможности покушения. Черкесы куда-то исчезли. Из коридора хлынуло в купе, давя друг друга, новое население. Перебравшись с трудом через спящие тела, перехожу в отделение к друзьям. Радостная встреча. Поздоровался с Романовским. Марков сгорает от нетерпения, но выдерживает роль — не вмешивается.

Здесь гораздо уютнее. Марков — денщик Романовского — в дружбе с «товарищами», бегает за кипятком для «своего офицера» и ведет беседы самоуверенным тоном с митинговым пошибом и ежеминутно сбиваясь на культурную речь. Какой-то молодой поручик, возвращающийся из отпуска в Кавказскую армию, посылает его за папиросами и потом мнет нерешительно бумажку в руке: дать на чай, или обидится?.. Удивительно милый этот поручик, сохранивший еще незлобие и жизнерадостность, думающий о полку, о войне и как-то конфузливо скромно намекающий, что его, вероятно, уже ждут в полку два чина и «Владимир». Он привязался за время пути к Романовскому и ставил его в труднейшее положение своими расспросами. Иван Павлович на ухо шепнул мне: «Изолгался я до противности». Поручик увидел меня.

— Ваше лицо мне очень знакомо. Ваша летучка не была ли во 2-й дивизии в 16-м году?

2-я дивизия действительно входила в состав моего корпуса на Румынском фронте. Я спешу отказаться и от дивизии, и от знакомства.

Но вот, наконец, цель наших стремлений — Донская область. Прошли благополучно Таганрог, где с часу на час ожидалось прибытие матросских эшелонов. Вот и Ростовский вокзал — громадный военный лагерь с каким-то тревожным и неясным настроением. Решили до выяснения обстановки соблюдать конспирацию. Марков остался до утра у родных в Ростове. Кавказский поручик предупредительно предлагает взять билеты на Тифлис и озаботиться местами.

— Нет, милый поручик. Едем мы вовсе не в Тифлис, а в Новочеркасск. А во 2-й дивизии мы с вами действительно виделись и под Рымником вместе дрались. Прощайте, дай вам Бог счастья...

— А-а! — Он застыл от изумления.

В Новочеркасск прибыли под утро. В «Европейской» гостинице — «контрреволюционный штаб» — не оказалось ни одного свободного номера. В списке жильцов нашли знакомую фамилию — «полковник Лебедев». Послали в номер заспанного швейцара.

— Как о вас доложить?

— Скажите, что спрашивают генералы Деникин и Романовский,— говорит мой спутник.

— Ах, Иван Павлович! Ну и конспираторы же мы с вами!..

В это чуть занимавшееся утро не спалось. После почти трех месяцев замкнутой тюремной жизни свобода ударила по нервам массой новых впечатлений. В них еще невозможно было разобраться. Но одно казалось несомненным и нагло кричало о себе на каждом шагу:

Большевизм далеко еще не победил, но вся страна — во власти черни.

И не видно или почти не видно сильного протеста или действительного сопротивления. Стихия захлестывает, а в ней бессильно барахтаются человеческие особи, не слившиеся с нею. Вспомнил почему-то виденную мною раз сквозь приотворенную дверь купе сцену. В проходе, набитом серыми шинелями, высокий, худой, в бедном, потертом пальто человек, очевидно, много часов переносивший пытку стояния, нестерпимую духоту и, главное, всевозможные издевательства своих спутников, истерически кричал:

— Проклятые! Ведь я молился на солдатв... А теперь вот, если бы мог, собственными руками задушил бы!..

Странно — его оставили в покое.

Поздно вечером 19 ноября комендант Быховской тюрьмы сообщил георгиевскому караулу о полученном распоряжении освободить генерала Корнилова, который уезжает на Дон. Солдаты приняли это известие без каких-либо сомнений... Офицеры караула капитан Попов и прапорщик Гришин беседовали по этому поводу с георгиевцами и встретили с их стороны сочувствие и доброе отношение к уезжающему.

В полночь караул был выстроен, вышел генерал, простился с солдатами, поблагодарил своих «тюремщиков» за исправное несение службы, выдал в награду 2 тысячи рублей. Они ответили пожеланием счастливого пути и провожали его криками «ура!». Оба караульные офицеры присоединились к текинцам.

В час ночи сонный Быхов был разбужен топотом коней: текинский полк во главе с генералом Корниловым шел к мосту и, перейдя Днепр, скрылся в ночной тьме.

Из Могилева двигался навстречу 4-й эскадрон с командиром полка. Командир не сочувствовал походу и не подготовил полк к дальнему пробегу, но теперь шел с ним, так как знал, что не в силах удержать ни офицеров, ни всадников. Не было взято ни карт, ни врача, ни фельдшера и ни одного перевязочного пакета; не запаслись и достаточным количеством денег. Небольшой колесный обоз, взятый с собой, обслуживался регулярными солдатами, которые после первого же перехода бежали.

Текинский полк шел всю ночь и весь день, чтобы сразу оторваться от могилевского района. Следуя в общем направлении на юго-восток и заметая следы, полк делал усиленные переходы, преимущественно по ночам, встречая на пути плохо еще замерзшие, с трудными переправами реки и имея впереди ряд железнодорожных линий, на которых ожидалось организованное сопротивление. В попутных деревнях жители разбегались или с ужасом встречали текинцев, напуганные грабежами и разбоями вооруженных шаек, бороздивших тогда вдоль и поперек Могилевскую губернию. И провожали с удивлением «диких», в первый раз увидев солдат, которые никого не трогают и за все щедро расплачиваются.

В техническом отношении полковник Кюгельген вел полк крайне неискусно и не расчетливо. В первые семь суток пройдено было 300—350 верст, без дневок, по дорогам и без дорог — лесом, подмерзшими болотами и занесенной снежными сугробами целиной,— по двое суток не расседлывали лошадей; из семи ночей провели в походе четыре; шли обыкновенно без надлежащей разведки и охранения, сбивались и кружили; пропадали отсталые, квартирьеры и раненые...

Был сильный мороз, гололедица; всадники приходили в изнеможение от огромных переходов и бессонных ночей; невероятно страдали от холода и, как говорит один из участников, в конце концов буквально «отупели»; лошади, не втянутые в работу, шли с трудом, отставали и калечились. Впереди — огромный путь и полная неизвестность. Среди офицеров сохранялось приподнятое настроение, поддерживаемое обаянием Корнилова, верностью слову и, может быть, романтизмом всего предприятия: из Быхова на Дон, больше тысячи верст, в зимнюю стужу, среди множества преград и опасностей, с любимым вождем — это было похоже на красивую сказку... Но у всадников с каждым днем настроение падало, и скоро... сказка оборвалась: началась тяжелая проза жизни.

На седьмой день похода, 26-го, полк выступил из села Красновичи и подходил к деревне Писаревке, имея целью пересечь железную дорогу восточнее станции Унечи. Явившийся добровольно крестьянин-проводник навел текинцев на большевистскую засаду: поравнявшись с опушкой леса, они были встречены

почти в упор ружейным огнем. Полк отскочил, отошел в Красновичи и оттуда свернул на юго-запад, предполагая обойти Унечи с другой стороны. Около 2 ч. дня подошли к линии Московско-Брестской железной дороги около станции Песчаники. Неожиданно из-за поворота появился поезд и из приспособленных «площадок» ударил по колонне огнем пулеметов и орудия. Головной эскадрон повернул круто в сторону и ускакал;* несколько всадников — свалилось; под Корниловым убита лошадь**, полк рассыпался. Корнилов, возле которого остались командир полка и подполковник Эргардт, отъехал в сторону.

Долго собирали полк; подвели его к Корнилову. Измученные вконец текинцы, не понимавшие что творится вокруг, находились в большом волнении. Они сделали все, что могли, они по-прежнему преданы генералу, но...

— Ах, бояр! Что мы можем делать, когда вся Россия — большевик...— говорили они своим офицерам.

«Подъехав к сборному пункту полка,— рассказывает штабротмистр С.,— я застал такую картину: всадники стояли в беспорядке, плотной кучей; тут же лежало несколько раненых и обессилевших лошадей и на земле сидели и лежали раненые всадники. Текинцы страшно пали духом и вели разговор о том, что все равно они окружены, и половины полка нет налицо, и поэтому нужно сдаться большевикам. На возражение офицеров, что большевики в таком случае расстреляют генерала Корнилова, всадники отаетили, что они этого не допустят, и в то же время упорно твердили, что необходимо сдаваться. Офицеры попросили генерала Корнилова поговорить с всадниками. Генерал говорил им, что не хочет верить, что текинцы предадут его большевикам. После его слов стихшая было толпа всадников вновь зашумела и из задних рядов раздались крики, что дальше идти нельзя и надо сдаваться. Тогда генерал Корнилов вторично подошел к всадникам и сказал:

— Я даю вам пять минут на размышление, после чего, если вы все-таки решите сдаваться, вы расстреляете сначала меня. Я предпочитаю быть расстрелянным вами, чем сдаться большевикам.

Толпа всадников напряженно затихла; и в тот же момент ротмистр Натансон без папахи, встав на седло, с поднятой вверх рукой, закричал толпе:

— Текинцы! Неужели вы предадите своего генерала? Не будет этого, не будет!.. 2-й эскадрон, садись!»

Вывели вперед штандарт, за ним пошли все офицеры, начал садиться на коней 2-й эскадрон, за ним потянулись остальные. Это не был уже строевой полк — всадники шли вперемешку, толпой, продолжвя ворчать, но все же шли покорно за своими начальниками. Кружили всю ночь и под утро благополучно пересекли железную дорогу восточнее Унечи.

В этот день Корнилов решил расстаться с полком, считая, что без него полку будет легче продвигаться на юг. Полк с командиром полка и семью офицерами должен был двигаться в М. Погвр, вблизи Стародуба, и далее на Трубчевск, а Корнилов — с отрядом из всех остальных офицеров (одиннадцать) и 32 всадников на лучших лошадях пошел на юг на переправу через Десну, в направлении Новгорода-Северска. Отряд этот натыкался на засады, был окружен, несколько раз был обстрелян и, наконец, 30-го отошел в Погар. Здоровье генерала Корнилова, который чувствовал себя очень плохо еще в день выступления, окончательно пошатнулось. Последний переход он уже едва шел, все время поддерживаемый под руки кем-либо из офицеров; страшный холод не давал возможности сидеть на лошади. Считая бесцельным подвергать в дальнейшем риску преданных ему офицеров, Корнилов наотрез отказался от их сопровождения и решил продолжать путь один.

В сопровождении офицера и двух всадников он, переодетый в штатское платье, отправился на станцию Холмечи и, простившись с ними, сел в поезд, отправлявшийся на юг. Командир полка послал телеграмму Крыленко приблизи-

* 1-й эскадрон прошел западнее и более к полку не присоединился; за Клинцами а м. Павличи он был разоружен большевиками и отправлен в Минск, где некоторое время офицеров и всадников держали в тюрьме.

** Вынесла его из огня и пала.

тельно такого содержания: выполняя приказание покойного Верховного Главнокомандующего, генерала Духонина, Текинский полк сопровождал на Дон генерала Корнилова; но 26-го полк был обстрелян, под генералом Корниловым убита лошадь, и сам он пропал без вести. За прекращением задачи полк ожидает распоряжений.

Но распоряжений не последовало. Пробыв в Погарах почти две недели, отдохнув и устроившись, полк в составе 14 офицеров и не более чем 125 всадников двинулся на юг, никем уже не тревожимый; принимал участие где-то возле Новгород-Северска в бою между большевиками и украинцами на стороне последних, потом после долгих мытарств попал в Киев. И в январе ввиду отказа украинского правительства отправить Текинский полк на Дон и последовавшего затем занятия большевиками Киева полк был распущен. Десяток офицеров и взвод всадников с января сражались в рядах Добровольческой армии.

В ночь на 3 декабря в арестантском вагоне под сильным украинским караулом везли в Киев двух отставших и пойманных текинских офицеров. Один из них, ротмистр А., на станции Конотоп в сопровождении караульного офицера был отпущен в буфет за провизией. На перроне его окликнул хромой старик в старой, заношенной одежде и в стоптанных валенках:

— Здорово, товарищ! А Гришин с вами?

— Здравия... здравствуйте, да...

Старик кивнул головой и исчез в толпе.

— Послушайте, да ведь это генерал Корнилов! — воскликнул караульный офицер.

Ледяной холод в сердце, неискренний смешок и сбивчивая речь в ответ:

— Что вы, ха-ха, как так Корнилов, просто знакомый один...

6 декабря «старик» — по паспорту Ларион Иванов, беженец из Румынии — прибыл в г. Новочеркасск, где его ждали с тревожным нетерпением семья и соратники.

Глава XIV. ПРИЕЗД НА ДОН ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА И ЗАРОЖДЕНИЕ «АЛЕКСЕЕВСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ». ТЯГА НА ДОН. ГЕНЕРАЛ КАЛЕДИН

30 октября генерал Алексеев, не перестававший еще надеяться на перемену политической обстановки в Петрограде, с большим трудом согласился на уговоры окружавших его лиц бросить безнадежное дело и согласно намеченному ранее плану ехать на Дон. В сопровождении своего адъютанта ротмистра Шапрона он 2 ноября прибыл в Новочеркасск и в тот же день приступил к организации вооруженной силы, которой суждено было судьбой играть столь значительную роль в истории русской смуты.

Алексеев предполагал воспользоваться юго-восточным районом, в частности Доном как богатой и обеспеченной собственными вооруженными силами базой для того, чтобы собрать там оставшиеся стойкими элементы — офицеров, юнкеров, ударников, быть может, старых солдат и организовать из них армию, необходимую для водворения порядка в России. Он знал, что казаки не желали идти вперед для выполнения этой широкой государственной задачи. Но надеялся, «что собственное свое достояние и территорию казаки защищать будут».

Обстановка на Дону оказалась, однако, необыкновенно сложной. Атаман Каледин*, познакомившись с планами Алексеева и выслушав просьбу «дать приют русскому офицерству», ответил принципиальным сочувствием; но, считаясь с тем настроением, которое существует в области, просил Алексеева не задерживаться в Новочеркасске более недели и перенести свою деятельность куда-нибудь за пределы области — в Ставрополь или Камышин.

* Алексей Максимович Каледин (1861—1918) — генерал от кавалерии. В первую мировую войну командовал корпусом, армией, летом 1917 г. избран войсковым атаманом войска Донского. После победы Окт. рев. провозгласил независимость Донской области, стал собирать силы для борьбы с Сов. властью. Потерпев поражение, в янв. 1918 г. застрелился. (Прим. ред.)

Не обескураженный этим приемом и полным отсутствием денежных средств Алексеев горячо взялся за дело: в Петроград, в одно благотворительное общество, послана была условная телеграмма об отправке в Новочеркасск офицеров, на Барочной улице помещение одного из лазаретов обращено в офицерское общежитие, ставшее колыбелью добровольчества, и вскоре получено было первое доброхотное пожертвование на «Алексеевскую организацию» — 400 руб.— это все, что в ноябре месяце уделило русское общество своим защитникам. Несколько помогло благотворительное общество. Некоторые финансовые учреждения оправдывали свой отказ в помощи циркулярным письмом генерала Корнилова, требовавшим направления средств исключительно по адресу Завойко. Было трогательно видеть и многим, быть может, казалось несколько смешным, как бывший Верховный Главнокомандующий, правивший миллионными армиями и распоряжавшийся миллиардным военным бюджетом, теперь бегал, хлопотал и волновался, чтобы достать десяток кроватей, несколько пудов сахару и хоть какую-нибудь ничтожную сумму денег, чтобы приютить, обогреть и накормить бездомных, гонимых людей.

А они стекались — офицеры, юнкера, кадеты и очень немного старых солдат — сначала одиночно, потом целыми группами. Уходили из советских тюрем, из развалившихся войсковых частей, от большевистской «свободы» и самостийной нетерпимости. Одним удавалось прорываться легко и благополучно через большевистские заградительные кордоны, другие попадали в тюрьмы, заложниками в красноармейские части, иногда... в могилу. Шли все они просто на Дон, не имея никакого представления о том, что их ожидает,— ощупью, во тьме через сплошное большевистское море — туда, где ярким маяком служили вековые традиции казачьей вольницы и имена вождей, которых народная молва упорно связывала с Доном. Приходили измученные, оборванные, голодные, но не павшие духом. Прибыл небольшой кадр Георгиевского полка из Киева, а в конце декабря и Славянский ударный полк, восстановивший здесь свое прежнее имя «Корниловский».

Одиссея Корниловского полка чрезвычайно интересна, как показатель тех внутренних противоречий, которые ставила революция перед сохранившими верность долгу частями армии.

Корнилов, прощаясь с полком 1 сентября, писал в приказе: «Все ваши мысли, чувства и силы отдайте Родине, многострадальной России. Живите, дышите только мечтою об ее величии, счастьи и славе. Бог в помощь вам». И полк пошел продолжать свою службу на Юго-западный фронт, в самую гущу озверелой и ненавидевшей его солдатской массы, становясь на защиту велений ненавидимого им правительства. Слабые духом отпадали, сильные держались. В сентябрьскую и октябрьскую полосу бунтов и мятежей правительственные комиссары широко использовали полк для усмирений, так как «революционные войска» — и х войска — потеряли образ и подобие не только воинское, но и человеческое. Полк был закононослушен и тем все более навлекал на себя злобу и обвинение в «контрреволюционности». В последних числах октября, когда в Киеве вспыхнуло большевистское восстание, правительственный комиссар доктор Григорьев * от имени Временного правительства просит полк поддержать власть и ведет его в Киев, поставив его там нелепыми и безграмотными в военном отношении распоряжениями в тяжелое положение. На улицах города идет кровавый бой, в котором политическая дьявольская мельница отсеяла три течения: 1. корниловцы и несколько киевских военных училищ (Константиновское, Николаевское, Сергиевское) — на стороне не существующего уже Временного правительства; 2. украинцы совместно с большевиками, руководимые двумя характерными фигурами — генеральным секретарем Петлюрой и большевистским комиссаром Пятаковым; 3. чехи и донские казаки, сохраняющие «нейтралитет» и не желающие «идти против народа».

Опять гибнет стойкая молодежь, расстреливаемая и в бою, и просто на улицах, и в домах — **украинцами и большевиками**.

В разгар боя комиссар заявляет, что «выступление правительственных войск

* Помощник Иорданского.

в Киеве против большевиков натолкнулось на национальное украинское движение, на что он не шел, а потому он приступает к переговорам о выводе правительственных войск» *.

Власть в городе переходит к Центральной раде в блоке с большевиками. Военные училища отправляются на Дон и Кубань, а Корниловский полк получает приглашение Петлюры остаться... для охраны города! Какие чувства недоумения, подавленности и отчаяния должны были испытывать эти люди среди того сплошного бедлама, в который обратилась русская жизнь!

С большим трудом выведя полк из Киева, Неженцев послал отчаянную телеграмму в Ставку, прося спасти полк от истребления и отпустить его на Дон, на что получено было согласие донского правительства. Ставка, боясь навлечь на себя подозрение, категорически отказала. Только 18 ноября, накануне ликвидации Ставки, получено было распоряжение Верховного, выраженное условным языком телеграммы: передвинуть полк на Кавказ «для усиления Кавказского фронта и для новых формирований»... Но было уже поздно: все пути заняты большевиками, «Викжель» им содействует; оставалась только одна возможность присоединения по частям к казачьим эшелонам, которые как «нейтральные» пропускались на восток беспрепятственно. Начинается лихорадочная погрузка полкового имущества. Составили поезд, груженный оружием, пулеметами, обозом,— ни один казачий эшелон не берет его с собою. Тогда полк решается на последнее средство: эшелон с имуществом под небольшой охраной с фальшивым удостоверением о принадлежности его к одной из кавказских частей отправляется самостоятельно, полк распускается, а по начальству доносят, что весь наличный состав разбежался...

И вот после долгих мытарств к 19 декабря прибывает в Новочеркасск эшелон Корниловского полка, а к 1 января 1918 г. кружными путями в одиночку и группами собираются 50 офицеров и до 500 солдат.

Передо мною список этих офицеров: большая половина их, в том числе и доблестный командир полка, сложили свои головы на тернистом пути от Курска до Новороссийска и Крыма... Прочие — одни живы, других судьбы не знаю.

Я остановился на этих страницах полковой истории, чтобы показать, в каких муках рождалась на свет Добровольческая армия и в какой суровой жизненной школе закалялись упорство и твердость первых бойцов ее. Была и человеческая накипь, быть может, очень много, но ей не заслонить светлую идею и подвиг добровольчества.

Пока не определялись еще конкретно ни цели движения, ни лозунги; шел только сбор сил вокруг генерала Алексеева, и имя его служило единственным показателем их политического направления. Но в широких кругах Донской области съезд «контрреволюционного офицерства» и многих людей с одиозными для масс именами вызвал явное опасение и недовольство. Его разжигали и агитация, и свободная большевистская печать. Рабочие, в особенности в Ростове и Таганроге, волновались. Степенное казачество видело большие военные приготовления советской власти и считало, что ее волнение и гнев навлекают только непрошеные пришельцы. Этому близорукому взгляду не чуждо было и само донское правительство, думавшее соглашательством с местными революционными учреждениями и лояльностью в отношении советской власти примирить ее с Доном и спасти область от большевистского нашествия. Казачья молодежь, развращенная на фронте, больше всего боялась опостылевшей всем войны и враждебно смотрела на тех, кто может вовлечь ее в «новую бойню». Сочувствующая нам интеллигенция была, как везде, безгласна и бессильна.

— С Дона выдачи нет!

Эта старинная формула исторической казачьей традиции, значительно, впрочем, поблекшая в дни революции, действовала все же на самолюбие казаков и служила единственным оправданием Каледину в его «попустительстве» по отношению к нежелательным пришельцам. Но по мере того, как рос приток добровольцев, усиливалось давление на атамана извне и увеличивалось его беспокой-

* Из рапорта командира полка, капитана Неженцева.

ство. Он не мог отказать в приюте бездомным офицерам и не хотел раздражать казачество. Каледин просил Алексеева не раз ускорить переезд организации, а пока не делать никаких официальных выступлений и вести дело в возможной тайне.

Такое положение до крайности осложняло развитие организации. Без огласки, без средств, не получая никакого содействия от донского правительства — небольшую помощь, впрочем, оказывали Каледин и его жена тайком, в порядке благотворительности «беженцам»,— Алексеев выбивался из сил, взывал к глухим, будил спящих, писал, требовал, отдавая всю свою энергию и силы своему «последнему делу на земле», как любил говорить старый вождь.

Жизнь, однако, ломала предрассудки: уже 20 ноября атаман Каледин, желая разоружить стоявшие в Новочеркасске два большевистских запасных полка, кроме юнкеров и конвойной сотни, не нашел послушных себе донских частей и вынужден был обратиться за помощью в «Алексеевскую организацию». Первый раз город увидел мерно и в порядке идущий офицерский отряд.

Приехав в Новочеркасск около 22 ноября, я не застал ген. Алексеева, уехавшего в Екатеринодар на заседание правительства Юго-восточного союза. Направился к Каледину, с которым меня связывали давнишнее знакомство и совместная боевая служба. В атаманском дворце пустынно и тихо. Каледин сидел в своем огромном кабинете один, как будто придавленный неизбежным горем, осунувшийся, с бесконечно усталыми глазами. Не узнал. Обрадовался. Очертил мне кратко обстановку.

Власти нет, силы нет, казачество заболело, как и вся Россия. Крыленко направляет на Дон карательные экспедиции с фронта. Черноморский флот прислал ультимативное требование «признать власть за советами рабочих и солдатских депутатов». В Макеевском районе объявлена Донецкая социалистическая республика. Вчера к Таганрогу подошел миноносец, несколько траллеров с большим отрядом матросов; траллеры прошли гирла Дона и вошли в ростовский порт. Военно-революционный комитет Ростова выпустил воззвание, призывая начать открытую борьбу против «контрреволюционного казачества». А донцы бороться не хотят. Сотни, посланные в Ростов, отказались войти в город. Атаман был под свежим еще гнетущим впечатлением разговора с каким-то полком и батареей, стоявшими в Новочеркасске. Казаки хмуро слушали своего атамана, призывавшего их к защите казачьей земли. Какой-то наглый казак перебил:

— Да что там слушать, знаем, надоели!

И казаки просто разошлись.

Два раза я еще был у атамана с Романовским — никакого просвета, никаких перспектив. Несколько раз при мне Каледина вызывали к телефону, он выслушивал доклад, отдавал распоряжение спокойным и теперь каким-то бесстрастным голосом и, положив трубку, повернул ко мне свое угрюмое лицо со страдальческой улыбкой.

— Отдаю распоряжения и знаю, что почти ничего исполнено не будет. Весь вопрос в казачьей психологии. Опомнятся — хорошо, нет — казачья песня спета.

Я просил его высказаться совершенно откровенно о возможности нашего пребывания на Дону, не создаст ли это для него новых политических осложнений с войсковым правительством и революционными учреждениями.

— На Дону приют вам обеспечен. Но, по правде сказать, лучше было бы вам, пока не разъяснится обстановка, переждать где-нибудь на Кавказе или в кубанских станицах...

— И Корнилову?

— Да, тем более.

Я уважал Каледина и нисколько не обиделся за этот совет: атаману виднее, очевидно, так нужно. Но знакомясь ближе с жизнью Дона, я приходил к выводу, что все направление политики и даже внешние этапы жизни донского правительства и представительных органов сильно напоминали общий характер деятельности и судьбы общерусской власти... Это было тем более странно, что во

главе Дона стоял человек, несомненно, государственный, казалось, сильный и, во всяком случае, мужественный.

Каледина я знал еще до войны по службе в Киевском военном округе. Тогда военная жизнь была проще и требования ее элементарнее. Знающий, честный, угрюмый, настойчивый, быть может, упрямый. Этим и ограничивались мои впечатления. В первый месяц войны 12-я дивизия, которою он командовал, шла перед фронтом 8-й армии Брусилова в качестве армейской конницы. Брусилов был недоволен действиями конницы и высказывал неодобрение Каледину. Но скоро отношение переменилось. Успех за успехом дал имя и дивизии, и ее начальнику. В победных реляциях Юго-западного фронта все чаще и чаще упоминались имена двух кавалерийских начальников, только двух,— конница в эту войну перестала быть «царицей поля сражения»,—графа Келлера и Каледина, одинаково храбрых, но совершенно противоположных по характеру: один пылкий, увлекающийся, иногда безрассудно, другой спокойный и упорный. Оба не посылали, а водили в бой свои войска. Но один делал это, вовсе не рисуясь,— это выходило само собой — эффектно и красиво, как на батальных картинах старой школы; другой — просто, скромно и расчетливо. Войска обоим верили и за обоими шли. Неумолимая судьба привела их к одинаковому концу: оба, следуя совершенно разными путями, в последнем жизненном бою погибли на проволочных заграждениях, сплетенных дикими парадоксами революции.

Наши встречи с Калединым носили эпизодический характер, связаны с воспоминаниями о тяжких боях и могут дать несколько характерных черточек к его биографии. Помню встречу под Самбором, в предгорьях Карпат, в начале октября 1914 года. Моя 4-я стр. бригада вела тяжелый бой с австрийцами, которые обтекали наш фронт и прорывались уже долиной Кобло в обход Самбора. Неожиданно встречаю на походе Каледина с 12-й кавал. дивизией, получившей от штаба армии приказание спешно идти на восток, к Дорогобычу. Каледин, узнав о положении, не задумываясь ни минуты пред неисполнением приказа крутого Брусилова, остановил дивизию до другого дня и бросил в бой часть своих сил. По той быстроте, с которой двинулись эскадроны и батареи, видно было, как твердо держал их в руках начальник.

В конце января 15-го года судьба позволила мне отплатить самборский долг. Отряд Каледина дрался в горах на ужгородском направлении, и мне приказано было усилить его, войдя в подчинение Каледину.

В хате, где расположился штаб, кроме начальника отряда, собрались командир пехотной бригады генерал Попович-Липовац и я со своим начальником штаба Марковым. Каледин долго, пространно объяснял нам маневр, вмешиваясь в нашу компетенцию, давая указания не только бригадам, но даже батальонам и батареям.

Когда мы уходили, Марков сильно нервничал:

— Что это он, за дураков нас считает?!

Я успокоил его, высказав предположение, что разговор относился преимущественно к Липовацу — храброму черногорцу, но малограмотному генералу. Но началось сражение, а из штаба отряда шли детальные распоряжения, сбивавшие мои планы и вносившие нервность в работу и раздражение среди исполнителей. Помню такой эпизод: на третий день боя наблюдаю, что какая-то наша батарея стреляет ошибочно по своим; стрелки негодуют и жалуются по всем телефонам; набрасываюсь на батарейных командиров; получаю ответ, что цели видны прекрасно и ни одна из батарей не стреляет в этом направлении. Приказал на несколько минут прекратить огонь всей артиллерии; продолжаются довольно удачные разрывы... над нашими цепями. Бросились искать таинственную артиллерию и нашли, наконец: в трехстах шагах за моим наблюдательным пунктом, в лощине, стоит донская батарея, которую Каледин послал ко мне на подмогу, указав ей сам путь, место и даже задачу и цели.

Началась неприятная нервная переписка. Дня через два приезжает из штаба отряда офицер генерального штаба «ознакомиться с обстановкой».

— Это официально,— говорит он мне.— А неофициально хотел доложить по одному деликатному вопросу. Вы не сердитесь. Генерал всегда так вначале не-

доверчиво относится к частям, пока не познакомится. Теперь он очень доволен действиями стрелков, поставил вам задачу и больше вмешиваться не будет.

— Ну спасибо, кланяйтесь генералу и доложите, чтоб был спокоен, австрийцев разобьем.

Сильный мороз; снег по грудь; бой чрезвычайно тяжелый; уже идет в дело последний резерв Каледина — спешенная его кавалерийская бригада. Я никогда не забуду этого жуткого поля смерти, где весь путь, пройденный стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они застыли в тех позах, в каких застигла их вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти. Бригада растаяла.

Каледин не любил и не умел говорить красивых, возбуждающих слов. Но когда он раза два приехал к моим полкам, посидел на утесе, обстреливаемом жестоким огнем, спокойно расспрашивая стрелков о ходе боя и интересуясь их действиями, этого было достаточно, чтобы возбудить их доверие и уважение.

После тяжких боев взята была стрелками деревня Лутовиско,— центр позиции, потребовавшей смерти многих храбрых, и отряд, разбив австрийцев, отбросил их за Сан.

Май 1916 года застает Каледина в роли командующего 8-й армией. Он сменил Брусилова, назначенного главнокомандующим армиями Юго-западного фронта. Назрела большая операция, первоначальные приготовления к которой сделаны были Брусиловым. И как это ни странно, но Брусилов, обязанный всей своей славой 8-й армии, почти два года пробывший во главе ее, испытывал какую-то, быть может, безотчетную ревность к своему заместителю, которая проглядывала во всех их взаимоотношениях и в дни побед, и еще более в дни неудач. Помню, как главнокомандующий прислал своего начальника штаба, генерала Клембовского, проверить подготовку ударного фронта 8-й армии, выразил в приказе неудовольствие и потом приписал участию Клембовского весьма преувеличенное значение в успехе операции, наградив его георгиевским оружием. Позиции моей дивизии посетили и Клембовский, и Каледин. Первый был необыкновенно учтив и высказывал удовольствие от всего виденного, а потом вдруг в приказе Брусилова появилось несколько неприятных замечаний. Это казалось несправедливым, направленным через наши головы в штаб армии, а главное, ненужным: своего опыта было достаточно, и все с огромным подъемом готовились к штурму. Второй — приехал как всегда угрюмый, тщательно осмотрел боевую линию, не похвалил и не побранил, а уезжая, сказал:

— Верю, что стрелки прорвут позицию.

В его устах эта простая фраза имела большой вес и значение для дивизии.

В конце мая началось большое наступление всего фронта, увенчавшееся огромной победой, доставившее новую славу и главнокомандующему, и генералу Каледину. Его армия разбила наголову 4-ю австрийскую армию Линзингена и в 9 дней с кровавыми боями проникла на 70 верст вперед, в направлении Владимир-Волынска. На фоне общей героической борьбы не прошла бесследно и боевая работа 4-й стрелковой дивизии, которая на третий день после прорыва австрийских позиций у Олыки, ворвалась уже в город Луцк.

В июне и в июле шли еще горячие бои в 8-й армии, но к осени после прибытия больших немецких подкреплений установилось какое-то равновесие: армия атаковала в общем направлении от Луцка на Львов — у Затурцы, Шельвова, Корытницы, вводила в бой большое число орудий и крупные силы, несла неизменно очень тяжелые потери и не могла побороть сопротивление врага. Было очевидно, что здесь играют роль не столько недочеты управления и морального состояния войск, сколько то обстоятельство, что наступил предел человеческой возможности: фронт, пересыщенный смертоносной техникой и огромным количеством живой силы, стал окончательно непреодолимым и для нас, и для немцев; нужно было бросить его и приступить, не теряя времени, к новой операции, начав переброску сил на другое направление. В начале сентября я командовал уже 8-м корпусом и совместно с гвардией и 5-м сибирским корпусом повторил отчаянные кровопролитные и бесплодные атаки в районе Корытницы. Вначале

еще как-то верилось в возможность успеха. Но скоро не только среди офицеров, но и в солдатской массе зародилось сомнение в целесообразности наших жертв. Появились уже признаки некоторого разложения: перед атакой все ходы сообщения бывали забиты солдатами перемешанных частей, и нужны были огромные усилия, чтобы продвинуть батальоны навстречу сплошному потоку чугуна и свинца, с непрекращавшимся ни на минуту диким ревом бороздивших землю, подвинуть на проволочные заграждения, на которых висели и тлели не убранные еще от предыдущих дней трупы.

Но Брусилов был неумолим, и Каледин приказывал повторять атаки. Он приезжал в корпус на наблюдательный пункт, оставался по целым часам и уезжал, ни с кем из нас не повидавшись, мрачнее тучи. Брусилов не мог допустить, что 8-я армия, *его* армия, топчется на месте, терпит неудачи, в то время как другие армии, Щербачева и Лечицкого, продолжают победное движение. Я уверен, что именно этот психологический мотив заслонял собою все стратегические соображения. Брусилов считал, что причина неудачи кроется в недостаточной настойчивости его преемника, и несколько раз письменно и по аппарату посылал ему резкие, обидные и несправедливые упреки. Каледин нервничал, страдал нравственно и говорил мне, что рад бы сейчас сдать армию и уйти в отставку, как бы это ни было тяжело для него, но сам уйти не может — не позволяет долг.

После одного неудачного штурма и очередного неприятного разговора с главнокомандующим Каледин пригласил нас — пять корпусных командиров — к себе; не предлагая сесть, чрезвычайно резко и сурово осудил действия войск и потребовал прорыва неприятельских позиций во что бы то ни стало. Через несколько дней — новый штурм, новые ручьи крови и... полный неуспех.

Когда на другой день я получил приказ из армии «продолжать выполнение задачи», в душу невольно закралось жуткое чувство безнадежности. Но через несколько часов Каледин прислал в дополнение к официальному приказу частное «разъяснение», сводившее все общее наступление к затяжным местным боям, имевшим характер исправления фронта. В первый раз, вероятно, суровый и честный солдат обошел кривым путем подводный камень воинской дисциплины.

Боевая деятельность на фронте армий с этого дня постепенно начала замирать.

Когда вспыхнула революция и в армию хлынули потоком роковые идеи «демократизации», Каледин органически не в состоянии был не только принять «демократизацию», но даже подойти к ней. Он резко отвернулся от революционных учреждений и еще глубже ушел в себя. Комитеты выразили протест, а Брусилов в середине апреля сказал генералу Алексееву:

— Каледин потерял сердце и не понимает духа времени. Его необходимо убрать. Во всяком случае, на моем фронте ему оставаться нельзя.

Вновь назначенный главнокомандующий Румынским фронтом генерал Щербачев согласился было предоставить Каледину 6-ю армию вместо Цурикова, окончательно запутавшегося в демагогии. Но по требованию комитетов Цуриков был оставлен. Тогда я, будучи весною начальником штаба Верховного, предложил Каледину 5-ю армию на Северном фронте и вошел в соответственные сношения по этому поводу. Но генерал Драгомиров отстаивал своего кандидата — Юрия Данилова, Верховный не поддержал меня, и для генерала Каледина, давшего армии столько славных побед, не нашлось больше места на фронте: он ушел на покой в Военный совет.

Когда из Петрограда Каледин ехал на Дон и его спросили, согласится ли он принять пост донского атамана, на который его выдвигают донские деятели, он ответил:

— Никогда! Донским казакам я готов отдать жизнь, но то, что будет,— это будет не народ, а будут советы, комитеты, советники, комитетчики. Пользы быть не может. Пусть идут другие. Я — никогда *.

Однако избранный огромным большинством голосов, после неоднократных отказов Каледин сдался. И 18 июня Донской круг постановил: «По праву древ-

* Рассказ полк. Гущина.

ней обыкновенности избрания войсковых атаманов, нарушенному волею Петра I в лето 1709 и ныне восстановленному, избрали мы тебя нашим войсковым атаманом»...

Каледин принял власть, «как тяжелый крест». Он говорил:

— Я пришел на Дон с чистым именем воина, а уйду, быть может, с проклятиями...

Русский патриот и Донской атаман!

В этом двойственном бытии — трагедия жизни Каледина и разгадка его самоубийства. Этот всей революционной демократией и темной толпой подозреваемый, уличаемый и обвиняемый человек проявлял такую удивительную лояльность, такое уважение к принципам демократии и к воле казачества, его избравшего, как ни один из вождей революции. В этом было его моральное оправдание и политическое бессилие. Он мыслил и чувствовал, как русский патриот; жил в эти месяцы, работал и умер, как донской атаман. Каледин ставил себе государственные задачи так же ясно, как Алексеев и Корнилов, и не менее страстно, чем они, желал освобождения страны. Но в то время, когда они, ничем не связанные, могли идти на Кубань, на Волгу, в Сибирь — всюду, где можно было найти отклик на их призыв, Каледин, выборный атаман, отнесшийся к своему избранию, как к некоему мистическому предопределению, кровно связанный с казачеством и любивший Дон, мог идти к общерусским национальным целям только вместе с донским войском, только возбудив в нем порыв, подняв чувство если не государственности, то по крайней мере самосохранения. Когда пропала вера в свои силы и в разум Дона, когда атаман почувствовал себя совершенно одиноким, он ушел из жизни.

Ждать исцеления Дона не было сил.

Глава XVI. «МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР». СВЯЗЬ МОСКВЫ С ДОНОМ. ПРИЕЗД НА ДОН ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА. ПОПЫТКИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ЮГЕ: «ТРИУМВИРАТ» АЛЕКСЕЕВ — КОРНИЛОВ — КАЛЕДИН; СОВЕТ; ВНУТРЕННИЕ ТРЕНИЯ В ТРИУМВИРАТЕ И СОВЕТЕ

Когда мы съехались в Новочеркасск, там многое изменилось.

Каледин признал окончательно необходимость совместной борьбы и не возбуждал более вопроса об уходе с Дона Добровольческой армии, считая ее теперь единственной опорой против большевизма.

6 декабря приехал Корнилов, с нетерпением ожидавшийся всеми; после первого свидания его с Алексеевым стало ясно, что совместная работа их вследствие взаимного предубеждения друг против друга будет очень нелегкой. О чем они говорили, я не знаю; но приближенные вынесли впечатление, что «расстались они темнее тучи»...

В Новочеркасске уже образовалась «политическая кухня», в чаду которой наезжие деятели сводили старые счеты, намечали новые вехи и создавали атмосферу взаимной отчужденности и непонимания совершающихся на Дону событий. Собрались и лица, игравшие злосчастную роль в корниловском выступлении. Б. Савинков с безграничной настойчивостью, но вначале безуспешно, добивался приема у генералов Алексеева и Корнилова. Добрынский сводил дружбу с приближенными Корнилова, свидетельствуя о своей преданности генералу и необходимости своего участия в новом строительстве. Его присутствие около организации благодаря неясному прошлому, странному поведению во время корниловского выступления и налету хлестаковщины производило досадное впечатление. Завойко я уже не застал. Он вызвал всеобщее недоумение монополией сбора пожертвований и плел какую-то нелепейшую интригу с целью свержения Каледина и избрания на должность донского атамана... генерала Корнилова. Ознакомившись с его деятельностью, Корнилов приказал ему в 24 часа покинуть Новочеркасск.

Приехали и представители Московского центра. Организация эта осенью 17 года образовалась в Москве из представителей к. д.-ской партии, совета общественных организаций, торгово-промышленников и других буржуазно-либеральных и консервативных кругов. Первоначально были присланы делегатами М. М. Федоров и А. С. Белецкий (Белоруссов) и еще двое. Позднее из числа этих лиц остался при Добровольческой армии только М. М. Федоров, а остальных заменили кн. Г. Н. Трубецкой, П. Б. Струве и А. С. Хрипунов.

Пригласив к себе на конспиративную квартиру генерала Алексеева, делегация обратилась к нему с глубоко прочувствованным словом, растрогавшим генерала. Задачу делегации Федоров в общих чертах определял так: «Служить связью Добровольческой организации с Москвой и остальной общественной Россией, всемерно помогать генералу Алексееву в его благородном и национальном подвиге своим знанием, опытом, связями; предоставить себя и тех лиц, которые могли быть для этого вызваны, в распоряжение генерала Алексеева для создания рабочего аппарата гражданского управления при армии в тех пределах, какие вызывались потребностями армии и всей обстановкой ее деятельности, и отвезти те первые средства, которые были тогда собраны».

У Алексеева явились, таким образом, надежды расширить значительно масштабы Добровольческой организации — надежды, весьма скоро обманувшие его.

18 декабря состоялось первое большое совещание московских делегатов и генералитета. Предстояло решить основной вопрос существования, управления и единства «Алексеевской организации». По существу весь вопрос сводился к определению роли и взаимоотношений двух генералов — Алексеева и Корнилова. И общественные деятели, и мы были заинтересованы в сохранении их обоих в интересах армии. Ее хрупкий еще организм не выдержал бы удаления кого-нибудь из них: в первом случае (уход Алексеева) армия раскололась бы, во втором — она бы развалилась. Между тем обоим в узких рамках только что начинавшегося дела было, очевидно, слишком тесно.

Произошла тяжелая сцена; Корнилов требовал полной власти над армией, не считая возможным иначе управлять ею и заявив, что в противном случае он оставит Дон и переедет в Сибирь; Алексееву, по-видимому, трудно было отказаться от прямого участия в деле, созданном его руками. Краткие, нервные реплики их перемешивались с речами общественных деятелей (в особенности страстно реагировал Федоров), которые говорили о самопожертвовании и о государственной необходимости соглашения... После второго заседания оно как будто состоялось: вся военная власть переходила к Корнилову. Недоразумения начались вновь при приеме «Алексеевской организации», когда выяснилась полная материальная необеспеченность армии не только в будущем, но и даже в текущих потребностях. Корнилов опять отказался от командования армией; но после новых уговоров было достигнуто соглашение. На Рождестве был объявлен «секретный» приказ о вступлении генерала Корнилова в командование Армией, которая с этого дня стала именоваться официально Добровольческой.

Предстояло разрешить еще один важный вопрос — о существе и формах органа, возглавляющего все движение. Принимая во внимание взаимоотношения генералов Алексеева и Корнилова и привходящие интересы Дона, форма «верховной власти» естественно определялась в виде триумвирата Алексеев — Корнилов — Каледин. Так как территория, подведомственная триумвирату, не была установлена, а мыслилась в пределах стратегического влияния Добровольческой армии, то триумвират представлял из себя в скрытом виде первое общерусское противобольшевистское правительство. В таком эмбриональном состоянии оно просуществовало в течение месяца, до смерти Каледина.

Конституция новой власти все еще обсуждалась и грозила внести новые трения в налаживавшиеся с таким трудом отношения. Поэтому я набросал проект «конституции» приблизительно по следующей схеме:

1. Генералу Алексееву — гражданское управление, внешние сношения и финансы.

2. Генералу Корнилову — власть военная.

3. Генералу Каледину — управление Донской областью.

4. Верховная власть — триумвират. Он разрешает все вопросы государственного значения, причем в заседаниях председательствует тот из триумвиров, чьего ведения вопрос обсуждается.

Моя записка, прочтенная в конспиративной квартире профессора К.-ва совещанию генералов*, была одобрена и проредактированная затем начальником штаба армии, генералом Лукомским, подписана триумвирами и послана Московскому центру с одним из возвращавшихся делегатов.

Если этот документ попадет когда-нибудь в руки государствоведа, то для сведения его сообщаю: это не было упражнением в области государственно-правовых форм власти, а исключительно психологическим средством, вполне достигшим цели. В то время и при той необыкновенно сложной обстановке, в которой жили Дон и Армия, формы несуществующей фактически государственной власти временно были совершенно безразличны. Единственно, что было тогда важно и нужно,— создать мощную вооруженную силу, чтобы этим путем остановить потоп, заливающий нас с севера. С восстановлением этой силы пришла бы и власть.

В таких же муках рождался Совет. По определению главного инициатора этого учреждения Федорова, задачи Совета заключались в «организации хозяйственной части армии, сношениях с иностранцами и возникшими на казачьих землях местными правительствами и с русской общественностью»; наконец, в «подготовке аппарата управления по мере продвижения вперед Добровольческой армии».

В состав Совета от русской общественности вошли московские делегаты Федоров, Белецкий, позднее Струве и кн. Г. Трубецкой; персонально П. Милюков.

Первое затруднение при образовании Совета встречено было со стороны «Донского экономического совещания», возникшего еще в половине ноября, возглавляемого к. д.-том Н. Парамоновым и состоявшего из донских и пришлых общественных деятелей. «Экономическое совещание» при донском атамане и правительстве играло до некоторой степени тождественную роль той, которая намечалась Совету. Явилось поэтому неприкрытое соревнование в вопросе о приоритете в освободительном движении донского казачества и добровольчества и сообразно с этим «Экономического совещания» и Совета... Вопрос, впрочем, был скоро улажен вмешательством Каледина и М. Богаевского: Совет был признан, и в состав его вошли Парамонов и М. Богаевский.

За кулисами продолжалась работа Савинкова. Первоначально он стремился во что бы то ни стало связать свое имя с именем Алексеева, возглавить вместе с ним организацию и обратиться с совместным воззванием к стране. Эта комбинация не удалась. Корнилов в первые дни после своего приезда не хотел и слышать имени Савинкова. Но вскоре Савинков добился свидания с Корниловым... Начались длительные переговоры между генералами Алексеевым, Корниловым, с одной стороны, и Савинковым — с другой, в которых приняли участие как посредники Милюков и Федоров. Савинков доказывал, что «отмежевание от демократии составляет политическую ошибку», что в состав Совета необходимо включить представителей демократии в лице его, Савинкова, и группы его политических друзей, что такой состав Совета снимет с него обвинение в скрытой реакционности и привлечет на его сторону солдат и казачество; он утверждал кстати, что в его распоряжении имеется в Ростове значительный контингент революционной демократии, которая хлынет в ряды Добровольческой армии...

Все три генерала относились отрицательно к Савинкову. Но Каледин считал, что «без этой уступки демократии ему не удастся обеспечить пребывание на Дону Добровольческой армии», Алексеев уступал перед этими доводами, а Корнилова смущала возможность упрека в том, что он препятствует участию Савинкова в организации по мотивам личным, восходящим ко времени августовского выступления.

На одном из военных совещаний генерал Алексеев предъявил ультимативный запрос Савинкова относительно принятия его условий. Конечным сроком для ответа Савинков назначал 4 ч. дня (было 2), после чего оставлял за собой «свободу действий». Члены триумвирата долго обсуждали это странное обращение; Лукомский, Романовский и я не принимали участия в их разговоре. Наконец, я выразил изумление, что уходит время на обсуждение более чем смелого требования лиц, представляющего только себя лично и уже один раз сыгравшего отрицательную роль в корниловском выступлении.

* Генералы Алексеев, Корнилов, Каледин, Лукомский, Романовский, Марков и я.

Условия, однако, были приняты на том основании, что не стоит наживать врага... В состав Совета вошли четыре социалиста — Б. Савинков и указанные им лица: бывший комиссар 8-й армии Вендзягольский, донской демагог Агеев и председатель крестьянского съезда, бывший ссыльный и эмигрант Мазуренко.

От предложения Корнилова, сделанного мне, вступить в состав Совета я отказался.

Участие Савинкова и его группы не дало армии ни одного солдата, ни одного рубля и не вернуло на стезю государственности ни одного донского казака; вызвало лишь недоумение в офицерской среде.

В силу общих неблагоприятных условий и отсутствия подлежащей управлению территории деятельность Совета имела самодовлеющий характер и в жизни армии не отражалась вовсе. К тому же в недрах самого учреждения создались совершенно ненормальные отношения, о которых один из членов Совета пишет: «Оба течения, правое и левое, держались обособленно. Савинков внушал к себе недоверие со стороны правых и чувствовал это. Когда он что-нибудь предлагал, все настораживались и старались отклонить его предложение. Но эта обструкция была поневоле слабой, потому что редко кто из нас вносил в свою очередь другое предложение».

Впрочем, Совет просуществовал всего лишь недели 2—3 и в середине января, с переездом штаба армии в Ростов, фактически прекратил свою деятельность.

Часть членов его разъехалась, Савинков взял на себя поручение «войти в сношение с некоторыми известными демократическими деятелями» и отбыл в Москву. Удостоверение за подписью Алексеева открывало ему новые возможности. Его именем он начал собирать офицерство, распыляя наши силы, и организовывать восстания, которые были скоро и кроваво подавлены большевиками.

Вендзягольский уехал в Киев — для связи с Юго-западным фронтом, отчасти с поляками и чехословаками, и вскоре обратился к армии с воззванием, начинавшимся такими неожиданными словами: «От имени последнего русского правительства — национального и неизменического, свергненного в октябре большевиками, я, военный комиссар 8-й армии, объявляю»... Вряд ли можно было найти более одиозные к тому времени в военной среде понятия, как «Временное правительство» и «комиссар», чтобы их авторитетом побудить офицеров и солдат ехать на Дон...

Главный вопрос, от которого зависело само существование армии — денежный — оставался по-прежнему неразрешенным.

Денежная Москва ограничилась «горячим сочувствием» и обещаниями отдать «все» на спасение Родины. «Все» выразилось в сумме около 800 тысяч рублей, присланных в два приема; и дальше этого Москва не пошла; впоследствии, по мере утверждения советской власти и захвата ею средств буржуазии, не ограниченные ранее финансовые возможности последней значительно сократились.

Повторилось опять то явление, которое имело место в дни корниловского выступления. И генералы Алексеев и Корнилов с полным основанием обращались с суровым осуждением к Московскому Центру в лице его делегатов.

Московский Центр в лице трех его членов, командированных в Петроград, обратился за финансовой помощью и к союзным дипломатам. Попытка эта также не привела ни к чему. В первое время после большевистского переворота иностранные посольства находились в состоянии страха и полной растерянности. Английское, впрочем, устами второстепенного представителя майора Киза обещало крупную материальную поддержку.

По мысли Федорова и московской делегации, от имени оставшихся на свободе членов Временного правительства местной казенной палате предложено было об-

ращать 25 процентов всех областных государственных сборов на содержание борющейся против большевиков армии. После длительных переговоров с атаманом и донским правительством эта мера и была осуществлена, причем общая сумма отнесена в равных долях на нужды Добровольческой и Донской армий.

Этот источник был главным средством существования армии и в силу зависимости от донской власти, постоянных трений с нею и крайне слабого поступления казенных доходов являлся весьма скудным и ненадежным. Чтобы расширить на тех же началах финансовую базу, в Екатеринодар и Владикавказ был командирован Федоров и г. Н. Кубанское правительство отказало наотрез, а с последовавшим падением Дона и исходом армии дальнейшие попытки в этом направлении прекратились.

Тем временем сбор средств шел и на местах: ростовская плутократия по подписке дала около $6^1/_2$ миллионов, новочеркасская — около 2-х. Половина этих сумм должна была поступить в фонд Добровольческой армии, но фактически до самого нашего выхода казначейству удалось собрать с трудом не более 2-х миллионов.

Временами состояние добровольческой казны было таково, что приходилось для ее нужд в ростовских банках учитывать мелкие векселя кредитоспособных беженцев. Впоследствии в учреждениях Юга России возникла даже тяжба для решения вопроса — кто был Мининым: банк или беженец.

Вместе с тем отделения государственного банка и казначейства Дона, не подкрепляемые наличностью, испытывали большие затруднения, грозившие еще больше запутать экономическое положение области. Ввиду этого по инициативе донского «Экономического совещания» донская власть приступила к печатанию собственных денежных знаков — операция, осуществленная в значительных размерах только весною 1918 г. после освобождения Дона.

Внутренние трения в триумвирате не прекращались. Однажды едва не кончились полным разрывом. 9 января, незадолго до переезда в Ростов, меня и Лукомского вызвали спешно в помещение канцелярии генерала Алексеева. Пришли мы поздно, когда все уже кончилось, и с удивлением услышали о происшедшем столкновении.

Некто капитан Капелька, состоявший при штабе Алексеева, со слов Добрынского доложил Алексееву о предстоящем «перевороте»: с переездом в Ростов генерал Корнилов должен был свергнуть триумвират и объявить себя диктатором; сделаны якобы уже назначения до «московского генерал-губернатора» включительно.

Невзирая на мутный источник этих сведений, генерал Алексеев, предубежденный в отношении Корнилова, не переговорив с кем-либо из нас, собрал членов Совета и старших генералов и пригласил генерала Корнилова для объяснений.

Корнилов, взбешенный подобным обвинением и инсценировкой «судилища», ответил резким словом и удалился. На другой день московская делегация получила письма с отказом от участия в организации обоих генералов — Алексеева и Корнилова. Опять пришлось уговаривать: Алексеева — мне лично, Корнилова — вместе с Калединым.

Корнилов удовлетворился извинениями Алексеева, но при этом потребовал от московской делегации: «1. письменного извещения, что Совет признает себя органом только совещательным при коллегии из трех генералов и ни один вопрос, внесенный на рассмотрение Совета, не получает окончательного решения без утверждения означенных трех лиц; 2. включения в состав Совета начальника штаба армии и председателя вербовочного комитета; 3. признания за командующим Добровольческой армией права назначения лиц, обязательно из военных, возглавляющих военно-политические центры...* с указанием, что эти лица получают инструкции по военным делам только от штаба армии» и проч.

В ответ на это требование 12 января поступило письмо, подписанное Федоровым, Струве и кн. Трубецким:

* Эпизоды с командировкой Савинкова в Москву и Вендзягольского в Киев.

«Обсудив вместе с генералами Лукомским, Деникиным, Романовским и Марковым общее положение организации и наиболее целесообразные способы наладить в дальнейшем работу ее, мы пришли к заключению»... и далее удовлетворялись все требования Корнилова.

Чтобы понять обращение Корнилова именно к московской делегации, нужно иметь в виду, что в глазах триумвирата она пользовалась известным значением, так как с ней связывалось представление о широком фронте русской общественности. Это было добросовестное заблуждение членов делегации, вводивших так же добросовестно в заблуждение и всех нас. Сами они стремились принести пользу нашей армии, но за ними не было никого: Московский Центр, по-видимому, забыл и своих представителей на Дону, и свои обязательства в отношении Добровольческой армии...

Итак, еще один подводный камень был обойден.

Много раз потом мне приходилось выслушивать сомнение, правильно ли поступали мы все, употребляя такие усилия, чтобы соединить несоединимое, статику и динамику добровольческого движения. И не лучше ли было предоставить каждому из вождей идти своим путем... Полагаю, что в обстановке того времени иначе поступать мы не могли, а в масштабе историческом то или иное решение вопроса вряд ли могло бы видоизменить ход событий, управляемых великими и неведомыми законами бытия.

Глава XVII. Формирование Добровольческой армии. Ее задачи. Духовный облик первых добровольцев

Под влиянием всякого рода недоразумений Корнилов все еще колебался в окончательном решении. На него угнетающе действовали отсутствие «полной мощи», постоянные трения и препятствия, встречаемые на пути организации армии, скудость средств и ограниченность перспектив. Извне на Корнилова оказывали давление в двух направлениях: одни считали, что для человека столь крупного «всероссийского» масштаба слишком мелко то дело, которое зарождалось в Новочеркасске, и что ему необходимо временно устраниться с военно-политического горизонта, чтобы впоследствии возглавить широкое национальное движение. Ранее этот взгляд поддерживал по побуждениям личным Завойко. Другие звали генерала в Сибирь, на его родину, где «нет самостийных стремлений» и где почва в социальном и бытовом отношении казалась наиболее чуждой большевизму. Наконец, были и просто авантюристы вроде И. Добрынского, который в неудержимом стремлении играть политическую роль применял все виды шантажа. Так, в половине января по каким-то атавистическим признакам он неожиданно оказался астраханским казаком, нашил желтые лампасы и явился к генералу Корнилову в сопровождении находившихся в Ростове г.г. Н. Киселева и Б. Самсонова в качестве делегации «от поволжского купечества и Астраханского соединенного с Калмыцким войска». Обращение, подписанное этими тремя лицами 16 января, после дифирамба диктатуре и вождю звало Корнилова в Астрахань для водворения в губернии законности и порядка, обещало широкую материальную поддержку и заканчивалось такой политически безграмотной тирадой, превращавшей идею добровольчества в своего рода средневековый институт ландскнехтов: «Купечество произведет милитаризацию своих предприятий, сохранив за военными навсегда их служебное положение, дав обязательство в том, что все назначения в этом смысле будут происходить с согласия генерала Корнилова».

В эти дни Астрахань, как я уже говорил, агонизировала и 24-го после жестокой резни перешла в руки большевиков.

Однако мало-помалу связь Корнилова с армией укреплялась все более и чем серьезнее, безвыходнее становилось положение, тем больше росла его привязанность к добровольцам и их преклонение перед своим вождем. Его имя сразу заняло центральное место и стало тем нравственным стержнем, вокруг которого группировались все боевые элементы армии. Те трения, которые происходили между Алексеевым и Корниловым, находили прямое отражение (иногда, наоборот,—

служили отражением) только среди политиканствующего привилегированного офицерства, стоявшего ближе к обоим генералам и создавшего разделение на «корниловцев» и «алексеевцев». Только в этой среде, и то весьма сдержанно, шли разговоры о «демократизме» Корнилова и «монархизме» Алексеева и делались вытекающие из этого выводы. Для армии это было тогда безразлично. Армия воспринимала положение более просто и непосредственно: она относилась с искренним уважением, доверием и любовью к Алексееву, помня его прежние заслуги, зная его доброту, доступность и трогательное внимание к ее нуждам. Но вместе с тем армия чувствовала, что повести ее в кровавый бой должен, конечно, Корнилов, имя которого было овеяно боевой славой, окружено уже легендой. В глазах добровольчества жизнь сплела эти имена. И Алексеев, и Корнилов были необходимы армии.

Поэтому я вместе с Лукомским и Романовским считал своим долгом примирять обе стороны и сглаживать насколько возможно возникавшие недоразумения. А накоплявшаяся на поверхности военно-общественного движения людская накипь вела между тем систематически разрушительную работу. Она проявлялась ежедневно во всех мелочах жизни, но дважды вызвала особенно тягостное впечатление: в эпизоде с «объявлением диктатуры», приведенном мною в предыдущей главе, и в событии, имевшем место перед самим выступлением армии из Ростова. Некоторые лица явились к начальнику штаба * и представили список офицеров, которые якобы решили организовать убийство Корнилова. В списке фигурировали имена людей «алексеевского окружения» и некоторых чинов штаба. Когда Романовский, смотревший на этот инцидент как на злостную выдумку, все же собрался доложить о нем генералу Корнилову, тот перебил его:

— Мне это известно.

И перешел к текущим вопросам.

Оскорбленные наветом офицеры требовали реабилитации или отчисления их из армии. Через 2—3 дня Корнилов собрал их и сказал:

— Дело не в Корнилове. Я просто не допускаю мысли, чтобы в армии нашлись офицеры, которые могли бы поднять руку на своего командующего. Я вам верю и прошу продолжать службу.

Донская политика привела к тому, что командующий Добровольческой армией генерал Корнилов жил конспиративно, ходил в штатском платье и имя его не упоминалось официально в донских учреждениях.

Донская политика лишила зарождающуюся армию еще одного весьма существенного организационного фактора... Кто знает офицерскую психологию, тому понятно значение **приказа**. Генералы Алексеев и Корнилов при других условиях могли бы отдать приказ о сборе на Дону всех офицеров русской армии. Такой приказ был бы юридически оспорим, но морально обязателен для огромного большинства офицерства, послужив побуждающим началом для многих слабых духом. Вместо этого распространялись анонимные воззвания и «проспекты» Добровольческой армии. Правда, во второй половине декабря в печати, выходившей на территории советской России, появились довольно точные сведения об армии и ее вождях. Но не было властного приказа, и ослабевшее нравственно офицерство шло уже на сделки с собственной совестью. Пробирались в армию сотни, а десятки тысяч в силу многообразных обстоятельств, в том числе главным образом тяжелого семейного положения и слабости характера, выжидали, переходили к мирным занятиям, преображались в штатских людей или шли покорно на перепись к большевистским комиссарам, на пытку в чрезвычайки, позднее на службу в Красную Армию. Часть офицерства оставалась еще на фронте, где офицерское звание было упразднено и где Крыленко доканчивал «демократизацию», проходившую, по словам его доклада Совету народных комиссаров, «безболезненно, если не считать того, что в целом ряде частей стрелялись офицеры, которых назначали на должность кашеваров»... Другая часть распылялась. Важнейшие центры — Петроград, Москва, Киев, Одесса, Минеральные Воды, Владикавказ, Тифлис — были забиты офицерами.

* Тогда был уже Романовский.

Пути на Дон были, конечно, очень затруднены *, но твердую волю настоящего русского офицера не остановили бы никакие кордоны. Невозможность производства мобилизации даже на Дону привела к таким поразительным результатам: напор большевиков сдерживали несколько сот офицеров и детей — юнкеров, гимназистов, кадетов, а панели и кафе Ростова и Новочеркасска были полны молодыми, здоровыми офицерами, не поступавшими в армию. После взятия Ростова большевиками советский комендант Калюжный жаловался в Совете рабочих депутатов на страшное обременение работой: тысячи офицеров являлись к нему в управление с заявлениями, «что они не были в Добровольческой армии»... Так же было и в Новочеркасске. Донское офицерство, насчитывающее несколько тысяч, до самого падения Новочеркасска уклонилось вовсе от борьбы: в донские партизанские отряды поступали десятки, в Добровольческую армию единицы, а все остальные, связанные кровно, имущественно, земельно с войском, не решались пойти против ясно выраженного настроения и желаний казачества.

Надежды на Москву также не оправдались. В ноябре приехал к генералу Алексееву посланец от Брусилова. Брусилов писал, что тяжелое испытание, ниспосланное России, должно побудить всех честных людей работать совместно. Узнав, что Алексеев формирует армию, он отдает себя в полное его распоряжение и просит полномочий для работы в Москве. Алексеев ответил сердечным письмом, в котором изложил свои планы и надежды, дал полномочия и поставил задачу — направлять решительно всех офицеров и все средства на Дон. Скоро, однако, алексеевский штаб убедился, что Брусилов переменил направление и, пользуясь остатком своего авторитета, запрещает выезд офицеров на Дон... Вероятно, нет более тяжелого греха у старого полководца, потерявшего в тисках большевистского застенка свою честь и достоинство, чем тот, который он взял на свою душу, давая словом и примером оправдание сбившемуся офицерству, поступавшему на службу к врагам русского народа.

Свою, вероятно, не последнюю в жизни эволюцию он объяснил позднее следующими, полными внутренней лжи словами:

— Я подчиняюсь воле народа — он вправе иметь правительство, какое желает. Я могу быть не согласен с отдельными положениями, тактикой советской власти; но, признавая здоровую жизненную основу, охотно отдаю свои силы на благо горячо любимой мною родины **.

Цели, преследуемые Добровольческой армией, впервые были обнародованы в воззвании, исходившем из штаба, 27 декабря.

«1. Создание организованной военной силы, которая могла бы быть противопоставлена надвигающейся анархии и немецко-большевистскому нашествию. Добровольческое движение должно быть всеобщим. Снова, как в старину, 300 лет тому назад, вся Россия должна подняться всенародным ополчением на защиту своих оскверненных святынь и своих попранных прав.

2. Первая непосредственная цель Добровольческой армии — противостоять вооруженному нападению на Юг и Юго-восток России. Рука об руку с доблестным казачеством, по первому призыву его Круга, его правительства и Войскового атамана, в союзе с областями и народами России, восставшими против немецко-большевистского ига,— все русские люди, собравшиеся на Юге со всех концов нашей Родины, будут защищать до последней капли крови самостоятельность областей, давших им приют и являющихся последним оплотом русской независимости, последней надеждой на восстановление Свободной Великой России.

3. Но рядом с этой целью — другая ставится Добровольческой армии. Армия эта должна быть той действенной силой, которая даст возможность русским гражданам осуществить дело государственного строительства Свободной России..: Новая армия должна стать на страже гражданской свободы, в условиях которой хозяин земли русской — ее народ — выявит через посредство избранного Учредительного собрания державную волю свою. Перед волей этой должны преклониться все классы, партии и отдельные группы населения. Ей одной будет служить

* С Кавказа не особенно затруднены. Большая группа офицерства, преимущественно гвардейского, в Минеральных Водах не откликнулась вовсе на призыв командированного туда ген. Эрдели.

** Из беседы с корреспондентом «Нового пути». Лето 1921 года.

создаваемая армия, и все участвующие в ее образовании будут беспрекословно подчиняться законной власти, поставленной этим Учредительным собранием».

В заключение воззвание призывало «встать в ряды Российской рати... всех, кому дорога многострадальная Родина, чья душа истомилась к ней сыновней болью».

Отозвались, как я уже говорил, офицеры, юнкера, учащаяся молодежь и очень, очень мало прочих «городских и земских» русских людей. «Всенародного ополчения» не вышло. В силу создавшихся условий комплектования армия в самом зародыше своем таила глубокий органический недостаток, приобретая характер *классовый*. Нет нужды, что руководители ее вышли из народа, что офицерство в массе своей было демократично, что все движение было чуждо социальных элементов борьбы, что официальный символ веры армии носил все признаки государственности, демократичности и доброжелательства к местным областным образованиям... Печать классового отбора легла на армию прочно и давала повод недоброжелателям возбуждать против нее в народной массе недоверие и опасения и противополагать ее цели народным интересам.

Было ясно, что при таких условиях Добровольческая армия выполнить своей задачи в общероссийском масштабе не может. Но оставалась надежда, что она в состоянии будет сдержать напор неорганизованного пока еще большевизма и тем даст время окрепнуть здоровой общественности и народному самосознанию, что ее крепкое ядро со временем соединит вокруг себя пока еще инертные или даже враждебные народные силы.

Лично для меня было и осталось непререкаемым одно весьма важное положение, вытекавшее из психологии октябрьского переворота:

Если бы в этот трагический момент нашей истории не нашлось среди русского народа людей, готовых восстать против безумия и преступления большевистской власти и принести свою кровь и жизнь за разрушаемую родину,— это был бы не народ, а навоз для удобрения беспредельных полей старого континента, обреченных на колонизацию пришельцев с Запада и Востока.

К счастью, мы принадлежим к замученному, но великому *русскому народу*.

Формирование армии вначале носило поневоле случайный характер, определяясь зачастую индивидуальными особенностями тех лиц, которые брались за это дело. К началу февраля в состав армии входили:

1. Корниловский ударный полк. (Подполковник Неженцев).

2. Георгиевский полк — из небольшого офицерского кадра, прибывшего из Киева. (Полковник Кириенко).

3. 1-й, 2-й, 3-й офицерские батальоны — из офицеров, собравшихся в Новочеркасске и Ростове. (Полковник Кутепов, подполковники Борисов и Лаврентьев, позднее полковник Симановский.)

4. Юнкерский батальон — главным образом из юнкеров столичных училищ и кадетов. (Штабс-капитан Парфенов).

5. Ростовский добровольческий полк — из учащейся молодежи Ростова. (Генерал-майор Боровский).

6. Два кавалерийских дивизиона. (Полковников Гершельмана и Глазенапа).

7. Две артиллер. батареи — преимущественно из юнкеров артиллерийских училищ и офицеров. (Подполковники Миончинский и Ерогин).

8. Целый ряд мелких частей, как-то «морская рота» (капитан 2-го ранга Потемкин), инженерная рота, чехословацкий инженерный батальон, дивизион смерти Кавказской дивизии (полковник Шириаев) и несколько партизанских отрядов, называвшихся по именам своих начальников.

Все эти полки, батальоны, дивизионы были, по существу, только кадрами, и общая боевая численность всей армии вряд ли превосходила 3—4 тысячи человек, временами, в период тяжелых ростовских боев, падая до совершенно ничтожных

размеров. Армия обеспеченной базы не получила. Приходилось одновременно и формироваться и драться, неся большие потери и иногда разрушая только что сколоченную с большими усилиями часть.

Около штаба кружились авантюристы, предлагавшие формировать партизанские отряды. Генерал Корнилов слишком доверчиво относился к подобным людям и зачастую, получив деньги и оружие, они или исчезали, или отвлекали из рядов армии в тыл элементы послабее нравственно, или составляли шайки мародеров *. Особенную известность получил отряд сотника Грекова — «Белого дьявола» — как он сам себя именовал, который в течение двух-трех недель разбойничал в окрестностях Ростова, пока, наконец, отряд не расформировали. Сам Греков где-то скрывался и только осенью 1918 года был обнаружен в Херсоне или Николаеве, где вновь по поручению городского самоуправления собрал отряд, прикрываясь добровольческим именем. Позднее был пойман в Крыму и послан на Дон в руки правосудия. Какой-то туземец вербовал персов, набирая их, как оказалось, среди подонков ростовских ночлежных домов... Все эти импровизации вносили расстройство в организацию армии и придавали несвойственный ей скверный налет. К счастью, вскоре этому был положен предел. Назревала мистификация и в более широком масштабе: из Екатеринодара приехал некто Девлет-хан-Гирей с предложением «поднять черкесский народ», для чего потребовался аванс в 750 тысяч рублей и до 9 тысяч ружей. Только пустая армейская казна остановила этот странный опыт, так неудачно повторенный впоследствии.

Армия пополнялась на добровольческих началах, причем каждый доброволец давал подписку прослужить четыре месяца и обещал беспрекословное повиновение командованию. Состояние казны давало возможность оплачивать добровольцев до крайности нищенскими окладами.

В офицерских батальонах, отчасти и батареях, офицеры несли службу рядовых в условиях крайней материальной необеспеченности. В донских войсковых складах хранились огромные запасы, но мы не могли получить оттуда ничего иначе, как путем кражи или подкупа. И войска испытывали острую нужду решительно во всем: не хватало вооружения и боевых припасов, не было обоза, кухонь, теплых вещей, сапог... И не было достаточно денег, чтобы удовлетворить казачьи комитеты, распродавшие *на сторону* все, до совести включительно...

Высоко поучительна история создания добровольческой артиллерии. Одну батарею (два орудия) украли в 39-й дивизии, ушедшей самовольно с Кавказского фронта и обратившей Ставропольскую губернию в свой лен. Сборный офицерско-юнкерский отряд произвел ночной набег на одно из селений, расположенных в районе Торговой (Ставропольской губ., верст за полтораста от Новочеркасска), где квартировала батарея; отбил у солдат два орудия и привез их в Новочеркасск. Два орудия мы взяли в донском складе с разрешения комитета для отдания почестей на похоронах добровольческого офицера и «затеряли». Одну батарею *купили* у вернувшихся с фронта казаков-артиллеристов, послав к ним полковника Тимановского, который споил команду и уплатил ей около 5 тысяч рублей. Можно себе представить наше огорчение, когда донцы неожиданно отказались от сделки ввиду того, что войсковой штаб назначил в батарею пополнение и неизвестно было, как оно отнесется к самоупразднению. Послали телеграмму в донской штаб, который поспешил отменить свое распоряжение.

Наконец, в начале января команда в составе около 40 офицеров и юнкеров была командирована в Екатеринодар за уступленными нам кубанским атаманом пушками. На узловой станции Тимашевской вагон с добровольцами окружили казаки местного кубанского полка, и, когда после долгих споров добровольцы, не желая пролития крови, согласились сдать оружие с тем, что их пропустят в Екатеринодар **, казаки перецепили вагон и под сильным конвоем отправили его... в Новороссийск, сдав добровольцев военно-революционному комитету. Несколько человек на полном ходу выбросились из вагона и вернулись в Ростов, остальные то-

* Донцам удалось сформировать несколько хороших партизанских отрядов, о которых говорится дальше.

** В этом их заверил и штаб офицеров кубанского полка.

мились почти восемь месяцев в новороссийской тюрьме в ожидании той участи, которая постигла там вскоре несчастных офицеров Варнавинского полка... (Команда контрминоносца «Керчь» совместно с советскими властями города сняла с транспорта, отходившего от пристани с 491-м Варнавинским полком, выданных солдатами после некоторого колебания всех офицеров полка. В тот же день, 18 февраля, офицеры, помещенные на баржу, были раздеты, связаны, изувечены, изрублены, расстреляны, а затем сброшены в море. Через несколько месяцев трупы несчастных стали всплывать на поверхность воды...) По счастливой случайности артиллеристы остались целы и были выручены вступившими в Новороссийск в августе 1918 года частями Добровольческой армии.

Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те «безумцы», которые шли в армию, невзирая на все тяжкие условия ее зарождения и существования!

Отличительным знаком новой армии был нашиваемый на рукав угол из лент национальных цветов.

Я был назначен начальником «Добровольческой дивизии», в состав которой входили все наши формирования, так что, в сущности, возникало двоевластие, устраненное впоследствии, в начале февраля. Хозяйственных функций у меня не было никаких. Начальником штаба «дивизии» стал генерал Марков; штаб — 4—5 офицеров.

При командующем армией образовался большой штаб армии, возглавляемый генералом Лукомским и ведавший всеми организационными, административными, хозяйственными вопросами, а также высшим оперативным руководством армии. Имел свой штаб и генерал Алексеев. Несоответствие численности наших штабов боевому составу армии резко бросалось в глаза и вызывало осуждение в рядах войск. Вызывалось оно разными причинами: широким размахом, который хотели придать всему начинанию, навыком начальников, занимавших ранее высокие посты и привыкших к большому масштабу работы, наличием многих опытных штабных работников, не годившихся к строевой службе, и, конечно, тем стихийным стремлением всех штабов всех времен к саморазмножению, с которым безнадежно боролись и Корнилов, и впоследствии я. Отчасти на этой почве в конце января произошло недоразумение между генералом Корниловым и генералом Лукомским, после чего в должность начальника штаба армии вступил генерал Романовский, а Лукомский был назначен представителем армии при Донском атамане.

Штаб армии состоял из двух отделов — строевого и снабжений. Первым ведал генерал Романовский, вторым — генерал Эльснер. В первый период деятельность Ивана Павловича заслонялась многими наслоившимися инстанциями и не привлекала к себе особенного внимания. Только его манера резко и откровенно обрывать людей недобросовестных, независимо от положения, людей, которые все больше и больше облепляли организацию,— создавала этому скромнейшему по характеру человеку репутацию «надменного»... Зато на почве тяжелого материального положения армии всеобщее озлобление обрушилось на голову начальника снабжений, генерала Эльснера. Его бранили и в строю, и в штабах, и среди общественных деятелей, прикосновенных к организации. Впоследствии А. Суворин зло и несправедливо обрушился на него в печати. Действительно, суровое время требовало и других людей. Эльснер был выдающимся начальником снабжения Юго-западного фронта, а здесь нужен был просто хороший, крепкий интендант, умеющий найти и купить. Эльснер был добросовестен, медлителен и трудолюбив, несколько придавлен бердичевским и быховским сидением, состарившим его, и слишком добр, тогда как требовались исключительная энергия, порыв и безжалостность. Наконец Эльснер был честен, тогда как подлое время требовало, очевидно, и подлых приемов. Генерал Алексеев по выходе книги А. Суворина, вступившись за Эльснера, между прочим писал: «Начинали мы работу с грошами, а главное, совершенно не имели времени и возможности готовиться к походу... Наиболее тяжким и кошмарным представлялся (тогда)... вопрос санитарный... Вы знаете причины этого: не недостаток средств, а полное отсутствие людей, готовых беззаветно и умело работать в этой области. Так и по другим частям: нет энергичного интенданта — толкового и дельного, нет других сотрудников, могущих честно и продуктивно работать в области хозяйства»*...

Был, впрочем, в организации один инженер, обладавший как раз всеми свойствами, противоположными тем, которыми судьба наделила Эльснера. Но и он в тогдашней удручающей обстановке не дал армии ничего, себе же создал весьма сомнительную репутацию.

Назначение начальников строевых частей вначале имело поневоле чисто случайный характер: выбора не было, людей не знали. Один оказался пьяницей и садистом и, будучи исключен из армии, впоследствии подобрал шайку, нанялся к ставропольским овцеводам и терроризировал население, пока не был предан суду. Другой, выдававший себя за родственника Корнилова,— бестолковый и недалекий, игравший на аракчеевском «без лести предан» и льстивший до приторности командующему, графоман и кляузник, в течение трех недель безнадежно путал в деле командования отрядом, пока случай не избавил нас от него: после одного тяжелого боя он уехал в Ростов и оттуда послал своему заместителю на позицию распоряжение присылать ежедневно по 15—20 человек под видом обмороженных; таким образом соберется весь отряд и отдохнет... А в эти дни поредевший фронт еле держался. Письмо попало в руки генерала Корнилова и решило участь писавшего: он был уволен в резерв.

Корнилов привязывался к людям, верил им и страдал, когда обнаруживалась ошибка. Помню, как в тот день он характерным жестом провел рукою по опечаленному лицу и сказал:

— Как тяжело разочаровываться в людях.

Такие типы были, однако, исключением; в большинстве подобрались высокодоблестные командиры, а тяжкие бои и поход создавали тесное взаимное общение и близкое знакомство и отсеивали постепенно все более слабое. Добровольческая армия чтит память многих первых своих командиров: Неженцев — влюбленный в Корнилова и в его идею до самопожертвования, пронесший ее нерушимо сквозь тысячи преград, бесстрашный, живший полком и для полка и сраженный пулей в минуту вдохновенного порыва, увлекая поколебавшиеся ряды корниловцев в атаку... Миончинский — этот виртуоз артиллерийского боя, живший, горевший и священнодействовавший в музыке смертоносного огня... Тимановский — весь израненый — в кубанских походах ходивший в атаку так же спокойно, с величайшим презрением к смерти, как и в дни Луцкого прорыва в рядах «железной дивизии»... «Наш» Марков... И много других, уже павших или уцелевших, которые с первых дней армии добросовестно и бескорыстно отдали ей свои силы и жизнь.

Много уже написано, еще больше напишут о духовном облике Добровольческой армии. Те, кто видел в ней осиянный страданием и мученичеством подвиг,— правы. И те, кто видел грязь, пятнавшую чистое знамя, во многих случаях искренни. Весь вопрос в правильном синтезе ряда сложных явлений в жизни армии — явлений, рожденных войной и революцией. Так, *каждый* в отдельности офицер, выведенный в купринском «Поединке»,— живой человек, но такого собрания офицеров такого *полка* в русской армии не было.

В нашу своеобразную Запорожскую сечь шли все, кто действительно сочувствовал идее борьбы и был в состоянии вынести ее тяготы. Шли и хорошие, и плохие. Но четыре года войны и кошмар революции не прошли бесследно. Они обнажили людей от внешних культурных покровов и довели до высокого напряжения все их сильные и все их низменные стороны. Было бы лицемерием со стороны общества, испытавшего небывалое моральное падение, требовать от добровольцев аскетизма и высших добродетелей. Был подвиг, была и грязь. Героизм и жестокость. Сострадание и ненависть. Социальная терпимость и инстинкт классовой розни. Первые явления возносили, со вторыми боролись. Но вторые не были отнюдь преобладающими: история отметит тот важный для познания русской народной души факт, как на почве кровавых извращений революции, обывательской тины и интеллигентского маразма могло вырасти такое положительное яв-

* Письмо генерала Алексеева к А. Суворину 13 августа 1918 года.

ление, как добровольчество, при всех его теневых сторонах сохранившее героический образ и национальную идею.

Добровольцы были чужды политики, верны идее спасения страны, храбры в боях и преданы Корнилову. Впереди их ждали увечье, скитание, многих — смерть; победа представлялась тогда в далеком будущем. Они дрались на подступах к Ростову, зная, что сотни тысяч казаков и ростовской буржуазии за их спиною живут легко и привольно. Они были оборваны, мерзли и голодали, видя, как беснуется и веселится богатейший Ростов, финансовая знать которого с большим трудом «пожертвовала» на армию два миллиона рублей, растворившихся быстро в бездонной ее нужде. Они встречали в обществе равнодушие, в народе вражду, в резолюциях революционных учреждений и социалистической печати злобу, клевету и поношение. Одиночные добровольцы, случайно попадавшие в Темерник — рабочие кварталы Ростова,— часто не возвращались... Однажды в Ростове, когда юнкерский караул, спровоцированный выстрелом на большом железнодорожном митинге, пустил в ход оружие, в результате чего оказались один или два рабочих убиты, это событие вызвало огромную демонстрацию; с разрешения донского правительства «жертвам» были устроены грандиозные похороны с толпами народа, депутациями, венками и речами, направленными против «врагов народа». А «враги народа» в это время каждый день тихо, без венков и речей, в наскоро сколоченных гробах, иногда и без гробов, опускались в холодную могилу возле чужих и незнакомых им станций и полустанков донской земли. И редко когда их провожала слеза друга или брата, ибо звериное время зачерствляло сердца и понижало цену жизни.

Гражданская война довершила тот психологический процесс, который только наметила война на фронте.

Вскоре стало известным, что большевики убивают всех добровольцев, захваченных ими, предавая перед этим бесчеловечным мучениям. Сомнений в этом не было. Не раз на местах, переходивших из рук в руки, добровольцы находили изуродованные трупы своих соратников, слышали леденящую душу повесть свидетелей этих убийств, спасшихся чудом из рук большевиков. Помню, какою жутью повеяло на меня, когда первый раз привезли восемь замученных добровольцев из Батайска — изрубленных, исколотых, с обезображенными лицами, в которых подавленные горем близкие едва могли различить родные черты... Поздно вечером, где-то далеко на заднем дворе товарной станции, среди массы составов, я нашел вагон с трупами, загнанный туда по распоряжению ростовских властей, «чтобы не вызвать эксцессов». И когда при тусклом мерцании восковых свечек священник, робко озираясь, возглашал «вечную память убиенным», сердце сжималось от боли и не было прощения мучителям...

Помню свою поездку на «Таганрогский фронт» в середине января. На одной из станций возле Матвеева кургана на платформе лежало тело, прикрытое рогожей. Это был труп начальника станции, убитого большевиками, узнавшими, что его сыновья служат в Добровольческой армии. Отцу порубили руки и ноги, вскрыли брюшную полость и закопали еще живым в землю. По искривленным членам и окровавленным, израненным пальцам видно было, какие усилия употреблял несчастный, чтобы выбраться из могилы. Здесь же были два его сына — офицеры, приехавшие из резерва, чтобы взять тело отца и отвезти его в Ростов. Вагон с покойником прицепили к поезду, в котором я ехал. На какой-то попутной станции один из сыновей, увидев вагон с захваченными в плен большевиками, пришел в исступление, ворвался в вагон и, пока караул опомнился, застрелил несколько человек...

Среди кровавого тумана калечились души молодых, жизнерадостных и чистых сердцем юношей. Однажды в Ростове, в парамоновском доме, до слуха моего долетел веселый разговор. Рассказывал о чем-то молодой подпоручик, почти мальчик, 17 лет. Я поинтересовался, в чем дело. Оказывается, шел он по улице, как обычно, с винтовкой через плечо. Наткнулся на облаву, устроенную милиционерами на бандитов, принял участие и одного бандита убил выстрелом.

— Вскинул ружье, бац — прямо в глаз, так и свалился, не пикнув!

И он сопровождал рассказ веселым смехом. Я обрушился на него:

— Стыдитесь, вы! Неужели вы не понимаете всего цинизма вашего смеха? Если судьба привела убить человека, так разве можно этому радоваться?

По мере того, как я говорил, лицо у подпоручика сводило сильной судорогой, глаза наполнились слезами, и он опустился беспомощно на стул. Мне рассказали потом его историю. Большевики убили его отца, дряхлого отставного генерала, мать, сестру и мужа сестры — полного инвалида последней войны. Сам подпоручик, будучи юнкером, принимал участие в октябрьские дни в боях на улицах Петрограда, был схвачен, жестоко избит, получил сильные повреждения черепа и с трудом спасся.

И много было таких людей, исковерканных, изломанных жизнью, потерявших близких или оставивших семью без куска хлеба там, где-то далеко,— на произвол бушующего красного безумия. Не они создавали основной облик армии, но их психология должна быть учтена теми в особенности, кто на крестном пути добровольцев склонен видеть только мрачные тени.

Большевики с самого начала определили характер гражданской войны: Истребление.

Советская опричнина убивала и мучила всех не столько в силу звериного ожесточения, непосредственно появлявшегося во время боя, сколько под влиянием направляющей сверху руки, возводившей террор в систему и видевшей в нем единственное средство сохранить свое существование и власть над страной. Террор у них не прятался стыдливо за «стихию», «народный гнев» и прочие безответственные элементы психологии масс — он шествовал нагло и беззастенчиво. Представитель красных войск Сиверса, наступавших на Ростов, Волынский, явившись на третий день после взятия города в Совет рабочих депутатов, не оправдывался, когда из меньшевистского лагеря послышалось слово — «убийцы». Он сказал:

— Каких бы жертв это ни стоило нам, мы совершим свое дело, и каждый, с оружием в руках восставший против советской власти, не будет оставлен в живых. Нас обвиняют в жестокости, и эти обвинения справедливы. Но обвиняющие забывают, что гражданская война — война особая. В битвах народов сражаются люди — братья, одураченные господствующими классами; в гражданской же войне идет бой между подлинными врагами. Вот почему эта война не знает пощады, и мы беспощадны *.

Выбора в средствах противодействия при такой системе ведения войны не было. В той обстановке, в которой действовала Добровольческая армия, находившаяся почти всегда в тактическом окружении — без своей территории, без тыла, без баз, представлялись только два выхода: отпускать на волю захваченных большевиков или «не брать пленных». Я читал где-то, что приказ в последнем духе отдал Корнилов. Это неверно: без всяких приказов жизнь приводила во многих случаях к тому ужасному способу войны «на истребление», который до известной степени напомнил мрачные страницы русской пугачевщины и французской Вандеи... Когда во время боев у Ростова от поезда оторвалось несколько вагонов с ранеными добровольцами и сестрами милосердия и покатилось под откос в сторону большевистской позиции, многие из них в припадке безумного отчаяния кончали самоубийством. Они знали, что ждет их. Корнилов же приказывал ставить караулы к захваченным большевистским лазаретам. Милосердие к раненым — вот все, что мог внушать он в ту грозную пору. Только много времени спустя, когда советское правительство, кроме своей прежней опричнины, привлекло к борьбе путем насильственной мобилизации подлинный народ, организовав Красную Армию, когда Добровольческая армия стала приобретать формы государственного учреждения с известной территорией и гражданской властью, удалось мало-помалу установить более гуманные и человечные обычаи, насколько это вообще возможно в развращенной атмосфере гражданской войны.

Она калечила жестоко не только тело, но и душу.

* «Рабочее дело» 14 февраля 1918 года.

Глава XXV. ШТУРМ ЕКАТЕРИНОДАРА

К 27 марта на правом берегу Кубани была уже конница Эрдели и 2-я бригада Богаевского. Бригада Маркова прикрывала обоз.

Смелый замысел, поразивший воображение большевиков и спутавший все расчеты их командования, не был доведен до своего логического конца. Над тактическими принципами, требовавшими быстрого сосредоточения всех сил для решительного удара, восторжествовало чувство человечности — огромная моральная сила вождя, привлекающая к нему сердца воинов и вместе с тем иногда сковывающая размах стратегии и тактики.

Корнилов мог, рассчитывая на трудную проходимость левобережных плавней, оставить для прикрытия обоза части вспомогательного назначения — охранную, инженерные роты, команды кубанского правительства, вооруженных чинов обоза и т. п. Бригада Маркова могла бы к вечеру 27-го сосредоточиться в Елисаветинской. Но раненые оставались бы тогда три ночи без крова и всему многочисленному населению обоза в случае серьезного наступления с тыла от аула Панахес грозила опасность попасть в руки большевиков.

И Корнилов оставил на левом берегу треть своих сил и... Маркова. 1-я бригада постепенно, по частям, выходила потом в боевую линию, начиная с полудня 28-го и до вечера 29-го.

Начался бой за Екатеринодар.

Утром 27-го отряд большевиков из Екатеринодара повел наступление на Елисаветинскую и открыл артиллерийский огонь по станице, явно нащупывая переправу. Сторожевое охранение корниловцев было потеснено, и Неженцев постепенно ввел в дело весь свой полк. Пополудни генерал Богаевский двинул в бой и Партизанский полк. Генерал Казанович, развернув свои батальоны партизан, двинулся в атаку без выстрела вдоль Екатеринодарской дороги, поддерживаемый редким огнем своей батареи. Большевики не выдержали атаки и бросились бежать в направлении на Екатеринодар. Бежали густыми толпами, в полном беспорядке и остановились только на линии «фермы» * и примыкающих к ней хуторов — в 3-х верстах от города.

Казанович, преследуя большевиков, овладел кирпичным заводом, стоявшим на берегу Кубани, в полупути от Екатеринодара.

Ввиду того что на Богаевского возложено было только прикрытие Елисаветинской, а атака Екатеринодара предположена была лишь после переправы всей армии, он счел свою задачу выполненной и, оставив на высоте кирпичного завода сторожевое охранение, отвел полки на ночлег в станицу.

Между тем в штабе настроение значительно поднялось. Легкость, с которой был одержан успех этого дня, моральная неустойчивость большевиков, доходившие сведения о панике в Екатеринодаре, о начинающейся будто бы эвакуации и вместе с тем о подходящих спешно подкреплениях — все это побудило Корнилова поспешить атакой и нанести решительный удар прежде, чем большевики опомнятся и усилятся, не дожидаясь сосредоточения всех наших сил. Поздно ночью отдан был приказ ускорить переброску Кубанского стрелкового полка (из бригады Маркова), а Богаевскому совместно с Эрдели атаковать Екатеринодар 28 марта.

В этом решении многие видели потом причину рокового исхода операции... На войне принимаются не раз решения как будто безрассудные и просто рискованные. Первые кончаются удачей иногда, вторые часто. Успех в этом случае создает полководцу ореол прозорливости и гениальности, неудача обнажает одну только отрицательную сторону решения.

Корнилов рискнул и... ушел из жизни раньше, чем окончилась екатеринодарская драма. Рок опустил внезапно занавес, и никто не узнает, каким был бы ее эпилог.

Утром 28-го Богаевский двинулся на Екатеринодар. Партизанскому полку приказано было атаковать западную окраину города, Корниловскому — Черноморский вокзал (севернее города). Еще левее шла конница Эрдели в охват города с севера и северо-востока; она должна была преградить большевикам пути по Черноморской и Владикавказской железным дорогам и поднять казаков станицы Пашковской.

* Образцовая ферма Екатеринодарского сельскохозяйственного общества.

Корниловцы, не получив почему-то своевременно приказа, задержались, и Казанович — этот несравненный таран для лобовых ударов — атаковал ферму и прилегающие хутора один и после горячего боя взял их. Ненадолго: большевики подвели крупные резервы, при содействии сильного артиллерийского огня перешли в контратаку и вновь овладели фермой. Но слева подходили уже корниловцы, опрокидывая большевиков; кубанские пластуны полковника Улагая поддержали партизан и вместе с ними снова ворвались на ферму, закрепив ее за нами окончательно. В этот день пало много храбрых: в числе других ранены генерал Казанович, полковник Улагай, партизан — есаул Лазарев...

Мы подъехали к ферме вскоре после ее занятия. Был ясный, солнечный день. С возвышенности, на которой стояла ферма, открывалась панорама Екатеринодара. Отчетливо видны были контуры домов предместья, кладбище и Черноморский вокзал. Впереди их — длинные неправильные ряды большевистских окопов.

Возле фермы стала наша батарея. Каждый выезд на позицию — это трагедия: десяток патронов — по целям, требующим сотен, молчание — когда пехота не в силах подняться из окопов под сплошным ливнем неприятельского огня. Вправо, ближе к берегу, пошли и скрылись в складках поля и в роще партизаны и пластуны, направляясь на кожевенные заводы. Севернее большой дороги наступает Корниловский полк, и Неженцев идет вперед, не обращая внимания на летящие пули, уже сразившие нескольких его спутников: идет к кургану, откуда должно быть видно, как на ладони, открытое поле, отделяющее нас от вокзала,— поле смерти, которое судьба на этот раз предоставляла преодолеть его полку.

Странно и жутко было видеть от фермы человеческие силуэты * на вершине бугра среди цепей и огня.

Ферма, где остановился штаб армии, расположена на высоком, отвесном берегу Кубани. Она маскировалась несколько рядом безлистых тополей, окаймлявших небольшое опытное поле, примыкающее к ферме с востока. С запада к ней подходила вплотную небольшая четырехугольная роща. Внутри двора — крохотный домик в четыре комнаты, каждая площадью не больше полутора сажен, и рядом сарай. Вся эта резко выделявшаяся на горизонте группа была отчетливо видна с любого места городской окраины и, стоя среди открытого поля, в центре расположения отряда, не могла не привлечь к себе внимания противника.

Перед вечером получено было донесение, что войска правого крыла под начальством полковника Писарева (партизаны, пластуны и подошедший батальон Кубанского стр. полка) после жестокого боя овладели предместьем города с кожевенным заводом и идут дальше.

Настроение «фермы» ликующее. Уже никто не сомневается, что Екатеринодар падет. Не было еще случая, чтобы красная гвардия, потеряв окраину, принимала бой внутри города или станицы. Корнилов хотел уже перейти на ночлег в предместье, и ему с трудом отсоветовали ехать туда. Коменданту штаба армии послано было приказание — к рассвету выслать квартирьеров...

Разместились тесно — на полу, на соломе: в одной комнатке — Корнилов с двумя адъютантами, в двух — Романовский со штабом и команда связи, четвертая — для перевязочного пункта; в маленькой кладовке рядом с комнатой Корнилова поместился я с двумя офицерами. Весь коридор был забит мертвецки спящими телами. Богаевский со штабом расположился возле, в роще, под бурками.

Мне плохо спалось: от холода, от стонов, раздававшихся всю ночь из перевязочной, и от напряженного ожидания.

Утром 29-го нас разбудил треск неприятельских снарядов, в большом числе

* Там оказались Казанович, Неженцев и их полковые штабы.

рвавшихся в районе фермы. В течение трех дней с тех пор батареи большевиков перекрестным огнем осыпвли ферму и рощу. Расположенне штаба становилось тем более рискованным, что ферма стояла у скрещения дорог — большой и береговой, по которым все время сновали люди и повозки, поддерживавшие сообщение с боевой линией. Но вблизи жилья не было, а Корнилов не хотел отдаляться от войск. Романовский указал командующему на безрассудность подвергаться такой опасности, но, видимо, не очень настойчиво, больше по обязанности, так как н сам лично относился ко всякой опасности с полнейшим равнодушием.

И штаб остался на ферме.

За ночь, оказалось, боевая линия не продвинулась. Писарев дошел до ручья, отделявшего от предместья артиллерийские казармы, обнесенные кругом земляным валом, представлявшим прекрасное оборонительное сооружение, и дальше продвинуться не мог. Атаки повторены были и ночью, н под утро — не оставившим строя раненым Казановичем, вызвали лишь тяжелые потерн (ранен был и полковннк Писарев), но успехом не увенчались. Казанович предпринимал более «солидную» артиллерийскую подготовку. На нашем языке это означало лишних 15—20 снарядов.

Неженцев оставался в прежнем положении, встретив упорное сопротивление и будучи не в силах преодолеть жестокий огонь противника. Корниловский полк, ослабленный сильно предшествовавшими боями, таял. В его ряды на пополнение влилн две-три сотни мобилизованных кубанских казаков по большей части необученных, которые, попадая сразу в самое пекло оглушительного боя, терялись н нервничали. Неженцев страдал за полк, ставил на чашу весов последнюю гирю — свое моральное обаянне — н второй день уже безотлучно сидел возле цепей на кургане, вокруг которого неустанно сыпались пулн и рвали в клочья человеческое тело вражескне гранаты.

Только у Эрдели дело шло, по-видимому, успешно: конница его заняла Сады *, пересекла железную дорогу и направилась к Пашковской. Станица эта, расположенная в 10 верстах к востоку от Екатерннодара, большая и многолюдная, была враждебна большевизму с первых его дней, и восстание там в ближайшем тылу екатеринбургского гарнизона сулило весьма благоприятные перспективы.

Между тем береговой дорогой к кожевенному заводу мнмо нас потянулись части Офицерского полка. Скоро показался н Марков. Идет широким шагом, размахивая нагайкой, и издали еще на ходу ругается:

— Черт знает что! Раздергали мой Кубанский полк, а меня вместо инвалидной команды к обозу пришили. Пустили бы сразу со всей бригадой — я бы уже давно в Екатеринодаре был.

— Не горюй, Сережа,— отвечает Романовский.— Екатеринодар от тебя не ушел.

Два близких друга — родственных по духу. В обоих — горит огонь. Только в одном он прорывается наружу ярким пламенем, другой сковал его силой воли и сознанием исключительной нравственной ответственности своего поста...

Ввиду сосредоточения всей бригады Маркова решено было разобрать перемешанные части и вечером в 5 часов повторить атаку всем фронтом: Маркову на артиллерийские казармы, Богаевскому против Черноморского вокзала.

Батарея полковнинка Третьякова редким огнем подготовляет штурм казарм. Цепи наши лежат, словно вросшие в землю; нельзя поднять головы, чтобы тотчас же не задела одна иэ тысяч летящих кругом пуль. В глубокой канаве — Марков с Тимановским, штабом (три человека) и командой разведчиков. Он ходит нервными шагами, нетерпелнво ждет начала атаки. Приказ отдан, но части медлят...

— Ну, виднмо, без нас дело не обойдется.

Вскочил на насыпь и бросился к цепям.

— Друзья, в атаку, вперед!

Ожило поле, поднялись добровольцы, и все живое бросилось к смертоносному валу — храбрые и робкие — падая, подымаясь, оставляя за собою на взрыхленном снарядами поле, на камнях мостовой судорожно подергивавшиеся и мертвенно неподвнжные тела...

* Северное предместье Екатеринодара со сплошными садами.

Артиллерийские казармы взяты.

Когда известие об этом дошло до левого фланга, Неженцев отдал приказ атаковать. Со своего кургана, на котором Бог хранил его целые сутки, он видел, как цепь поднималась и опять залегала; связанный незримыми нитями с теми, что лежали внизу, он чувствовал, что наступил предел человеческому дерзанию и что пришла пора пустить в дело «последний резерв». Сошел с холма, перебежал в овраг и поднял цепи.

— Корниловцы, вперед!

Голос застрял в горле. Ударила в голову пуля. Он упал. Потом поднялся, сделал несколько шагов и повалился опять, убитый наповал второй пулей.

Не стало Митрофана Осиповича Неженцева!..

Потрясенные смертью командира, потеряв раненым помощника Неженцева, полковника Индейкина, и убитым командира Партизанского батальона, капитана Курочкина, перемешанные цепи корниловцев, партизан и елисаветинских казаков схлынули обратно в овраг и окопы.

А к роковому холму подходнл последний батальон резерва *, и генерал Казанович с рукой на перевязи, превозмогая боль перебитого плеча, повел его в атаку. Под бешеным огнем, увлекая за собой и елисаветинцев, он опрокинул передовые цепи большевиков и уже в темноте по пятам бежавших двинулся к городу.

Вечером этого дня Богаевский объезжал позицию. «Большевики открыли бешеный пулеметный огонь,— рассказывает он,— пришлось спешнться и выждать темноты. Ощупью, ориентируясь по стонам раненых, добрался я до холмика с громким названием «штаб Корниловского полка» почти на линии окопов. Крошечный «форт» с отважным гарнизоном, среди которого только трое было... жнвых, остальные бойцы лежали мертвые. Один из живых, временно командующий полком, измученный до потери сознания, спокойно отрапортовал мне о смерти командира, подполковника Неженцева. Он лежал тут же, такой же стройный и тонкий; на груди черкески тускло сверкал Георгиевский крест.

От познции большевиков было несколько десятков шагов. Они заметили наше движение, и пули роем засвистели над нами, впиваясь в тела убитых. Лежа рядом с павшим командиром, я слушал свист пуль и тихий доклад его заместителя о боевом дне»...

К ночи в штабе армии положение фронта определялось следующим образом: бригада Маркова закрепляется в районе артиллерийских казарм. С партизанами Казановича связь потеряна, и о судьбе их ничего неизвестно. Корниловский полк, весьма расстроенный, занимает прежние позицин. Конница Эрдели отходит к Садам.

Когда Корнилову доложили о смерти Неженцева, он закрыл лицо руками и долго молчал. Был угрюм и задумчив; ни разу с тех пор шутка не срывалась с его уст, никто не видел больше его улыбки. Не раз он неожиданно прерывал разговор с новым человеком:

— Вы знаете, Неженцев убит, какая тяжелая потеря...

И на минуту замолчит, нервно потирая лоб своим характерным жестом.

Когда к ферме подвезли на повозке тело Неженцева, Корнилов склонился над ним, долго с глубокой тоской смотрел в лицо того, кто отдал за него свою жизнь, потом перекрестил и поцеловал его, прощаясь, как с любимым сыном...

На ферме как-то все притихли. Иван Павлович говорил мне в этот день:

— Никогда еще я не видел его такнм расстроенным. Стараюсь отвлечь его мысли, но плохо удается. Просто так вот по-человечески ужасно жалко его.

Опять ночь на ферме. Опять плохо спится — от холода, от стонов раненых и от... тревожного предчувствия.

Утром 30-го, ко всеобщему сожалению, мы узналн, что успех боя был уже

* 2-й батальон партизан, перешедший с правого фланга.

почти обеспечен и только ряд роковых случайностей вырвал его из наших рук. Генерал Казанович с вечера 29-го, преследуя бежавших большевиков, прошел мимо участка Кутепова и просил его атаковать одновременно правее и доложить об этом Маркову. Затем, рассеяв легко большевиков, занимавших самую окраину, ворвался в город и, не встречая далее никакого сопротивления, стал подвигаться по улицам в глубь его.

Этот удивительный эпизод, похожий на сказку, сам Казанович передает такими правдивыми и скромными словами:

«...Стрельба на участке 1-й бригады стихла. Я был уверен, что мои соседи справа также продвигаются по одной из ближайших улиц, а потому приказал от времени до времени кричать: «Ура генералу Корнилову!» — с целью обозначить своим место моего нахождения. Подвигаясь таким образом, мы достигли Сенной площади... Все было тихо. На площади стали появляться повозки, направлявшиеся на позиции противника. Преимущественно это были санитарные повозки с фельдшерами и сестрами милосердия, но попалась и одна повозка с хлебом, которой мы очень обрадовались, несколько повозок с ружейными патронами, и, что особенно ценно, на одной были артиллерийские патроны.

Между тем ночь проходила. Встревоженный долгим отсутствием каких-либо сведений о наших частях, я послал по пройденному нами пути разъезды на отбитых у большевиков конях».

Вернувшийся разъезд доложил, что «наших частей нигде не видно, что окраина города в том месте, где мы в него ворвались, занята большевиками, которые, по-видимому, не подозревают о присутствии у них в тылу противника».

Начальник разъезда, принятый за своего, успокоил большевиков, уверив их, что в городе все тихо.

«Потеряв надежду на подход подкреплений, я решил, что дожидаться рассвета среди многолюдного города, в центре расположения противника, имея при себе 250 человек, значит обречь на гибель и их, и себя без всякой пользы для дела. Построив в первой линии партизан с пулеметами, за ними елисаветинцев и, наконец, захваченных у большевиков лошадей и повозки, я двинулся назад, приказав на расспросы большевиков отвечать, что мы — «Кавказский отряд» — идем занимать окопы впереди города. (Такой отряд незадолго перед тем высаживался на вокзале). Подходя к месту нашей последней атаки, мы наткнулись сначала на резервы большевиков, а потом и на первую линию. Наши ответы сначала не возбуждали подозрений, затем раздались удивленные возгласы:

— Куда же вы идете, там впереди уже кадеты!

— Их-то нам и надо.

Я рассчитывал, как только подойду вплотную к большевикам, броситься в штыки и пробить себе дорогу. Но большевики, мирно беседуя с моими людьми, так с ними перемешались, что нечего было и думать об этом; принимая во внимание подавляющее численное превосходство противника, надо было возможно скорее выбираться на простор.

Все шло благополучно, пока через ряды большевиков не потянулся наш обоз. Тогда они спохватились и открыли нам в тыл огонь, отрезав часть повозок».

А в то же время, услышав огонь, начали стрелять из казарм наши части, пока, наконец, не выяснилось недоразумение.

Настал рассвет, и все кончилось. Еще один счастливый случай потерян. Все складывалось на этот раз к нашему неблагополучию. И гибель всех старших начальников на участке Корниловского полка, удержавшая левое крыло на месте, и то обстоятельство, что Кутепов, по его словам, не мог поднять в атаку свои перемещенные и расстроенные после вчерашнего боя части, и случайность, что Марков перешел вечером на свой правый фланг, а Кутепов почему-то не послал ему доложить об атаке Казановича.

Шел четвертый день непрерывного боя. Противник проявлял упорство доселе небывалое. Силы его везде, на всех участках боевой линии, разительно превышали наши. Какова их действительная численность, не знали ни мы, ни, вероятно, большевистское командование. Разведка штаба определяла в боевой линии до 18 тысяч бойцов при 2—3 бронепоездах, 2—4 гаубицах и 8—10 легких орудиях. Но отряды пополнялись, сменялись, прибывали новые со всех сторон. Позднее в екатеринодарских «Известиях» мы прочли, что защита Екатеринодара обошлась большевикам в 15 тысяч человек, в том числе 10 тысяч ранеными, которыми забиты были все лазареты, все санитарные поезда, непрерывно эвакуируемые на Тихорецкую и Кавказскую.

Как бы то ни было, ясно почувствовалось, что темп атаки сильно ослабел.

В этот день генерал Корнилов собрал военный совет — впервые после Ольгинской, где решалось направление движения Добровольческой армии. Я думаю, что на этот шаг побудило его не столько желание выслушать мнение начальников относительно плана военных действий, который был им предрешен, сколько надежда вселить в них убеждение в необходимости решительного штурма Екатеринодара.

Собрались в тесной комнатке Корнилова генералы Алексеев, Романовский, Марков, Богаевский, я и кубанский атаман полковник Филимонов. Во время беседы выяснилась печальная картина положения армии.

Противник во много раз превосходит нас силами и обладает неистощимыми запасами снарядов и патронов.

Наши войска понесли тяжелые потери, в особенности в командном составе. Части перемешаны и до крайности утомлены физически и морально четырехдневным боем. Офицерский полк еще сохранился, Кубанский стрелковый сильно потрепан, из Партизанского осталось не более 300 штыков, еще меньше в Корниловском *. Замечается редкое для добровольцев явление — утечка из боевой линии в тыл. Казаки расходятся по своим станицам. Конница, по-видимому, ничего серьезного сделать не может.

Снарядов нет, патронов нет.

Число раненых в лазарете перевалило за полторы тысячи.

Настроение у всех членов совещания тяжелое. Опустили глаза. Один только Марков, склонив голову на плечо Романовского, заснул и тихо похрапывает. Кто-то толкнул его.

— Извините, Ваше Высокопревосходительство, разморило — двое суток не ложился...

Корнилов не старался внести успокоительную ноту в нарисованную картину общего положения и не возражал. За ночь он весь как-то осунулся, на лбу легла глубокая складка, придававшая его лицу суровое, страдальческое выражение. Глухим голосом, но резко и отчетливо он сказал:

— Положение действительно тяжелое, и я не вижу другого выхода, как взятие Екатеринодара. Поэтому я решил завтра на рассвете атаковать по всему фронту. Как ваше мнение, господа?

Все генералы, кроме Алексеева, ответили отрицательно.

Мы чувствовали, что первый порыв прошел, что настал предел человеческих сил и об Екатеринодар мы разобьемся; неудача штурма вызовет катастрофу; даже взятие Екатеринодара, вызвав новые большие потери, привело бы армию, еще сильную в поле, к полному распылению ее слабых частей для охраны и защиты большого города. И вместе с тем мы знали, что штурм все-таки состоится, что он решен бесповоротно.

Наступило тяжелое молчание. Его прервал Алексеев:

— Я полагаю, что лучше будет отложить штурм до послезавтра; за сутки войска несколько отдохнут, за ночь можно будет произвести перегруппировку на участке Корниловского полка; быть может, станичники подойдут еще на пополнение.

На мой взгляд, такое половинчатое решение, в сущности, лишь прикрытое колебание, не сулило существенных выгод: сомнительный отдых — в боевых цепях, трата последних патронов и возможность контратаки противника. Отдаляя решительный час, оно сглаживало лишь психологическую остроту данного момента. Корнилов сразу согласился.

— Итак, будем штурмовать Екатеринодар на рассвете 1-го апреля.

---

* Командиром его был назначен полковник Кутепов.

Участники совета разошлись сумрачные. Люди, близкие к Маркову, рассказывали потом, что, вернувшись в свой штаб, он сказал:

— Наденьте чистое белье, у кого есть. Будем штурмовать Екатеринодар. Екатеринодара не возьмем, а если и возьмем, то погибнем.

После совещания мы остались с Корниловым вдвоем.

— Лавр Георгиевич, почему вы так непреклонны в этом вопросе?

— Нет другого выхода, Антон Иванович. Если не возьмем Екатеринодар, то мне останется пустить себе пулю в лоб.

— Этого вы не можете сделать. Ведь тогда остались бы брошенными тысячи жизней. Отчего же нам не оторваться от Екатеринодара, чтобы действительно отдохнуть, устроиться и скомбинировать новую операцию? Ведь в случае неудачи штурма отступить нам едва ли удастся.

— Вы выведете.

Я встал и взволнованно проговорил:

— Ваше Высокопревосходительство! Если генерал Корнилов покончит с собой, то никто не выведет армии — она вся погибнет.

Кто-то вошел, и мы никогда уже не докончили этот разговор. В тот же вечер Корнилов как будто продолжил его с прибывшим с позиции в резерв Казановичем:

— Я думаю,— сказал Корнилов,— завтра повторить атаку всеми силами. Ваш полк будет у меня в резерве, и я двину его в решительную минуту. Что вы на это скажете?

Казанович ответил, что, по его мнению, также следует атаковать и он уверен, что атака удастся, раз Корнилов лично будет руководить ею.

— Конечно,— продолжал Корнилов,— мы все можем при этом погибнуть. Но, по-моему, лучше погибнуть с честью. Отступление теперь тоже равносильно гибели: без снарядов и патронов это будет медленная агония... *

В этот день, как и в предыдущие, артиллерия противника долго громила ферму, берег и рощу. Вдоль берега по дороге сновали взад и вперед люди и повозки. Шли из екатеринодарского предместья раненые — группами и поодиночке. Я сидел на берегу и вступал в разговоры с ними. Осведомленность их обыкновенно невелика — в пределах своей роты, батальона, понятие об общем положении подчас фантастическое, но о настроении частей дают представление довольно определенное: есть усталость и сомнение, но нет уныния; значит, далеко еще не все потеряно. С левого фланга по большой дороге проходят люди подавленные и более пессимистически определяют положение; они, кроме того, голодны и промерзли.

Неожиданная встреча: идет с беспомощно повисшей рукой — перебита кость — штабс-капитан Бетлинг. Спаситель «Бердичевской группы генералов», начальник юнкерского караула в памятную ночь 27 августа **. Притерпелось или пересиливает боль, но лицо веселое. Усадил его на скамейку, поговорили.

У Бетлинга типичный формуляр офицера-первопроходца:

Геройски дрался с немцами и был ими ранен.

В числе первых поступил на должность рядового в Добровольческую армию.

Геройски дрался в кубанском походе и дважды был ранен большевиками.

С одной здоровой рукой продолжал службу после похода и умер от сыпного тифа.

Мир его душе!

И этот храбрый офицер о штурме говорил в тот день как-то нерешительно:

— От красногвардейцев, когда идешь в атаку, просто в глазах рябит. Но это ничего. Если бы немного патронов, а главное — хоть немножко больше артиллерийского огня. Ведь казармы брали после какого-нибудь десятка гранат...

Как бы то ни было, там — в окопах, в оврагах екатеринодарских огородов, в артиллерийских казармах — люди живут своей жизнью, не отдают себе ясного отчета о грозности общего положения, страдают и слепо верят.

* Рассказ ген. Казановича в газете «Свободная речь».
** См. т. 1, главу 37-ю.

Верят в Корнилова.

А ведь вера творит чудеса!..

Глава XXVI. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА КОРНИЛОВА

С раннего утра 31-го, как обычно, начался артиллерийский обстрел всего района фермы. Корнилова снова просили переместить штаб, но он ответил:

— Теперь уже не стоит, завтра штурм.

Перебросились с Корниловым несколькими незначительными фразами — я не чувствовал тогда, что они будут последними...

Я вышел к восточному краю усадьбы взглянуть на поле боя: там тихо, в цепях не слышно огня, не заметно движения. Сел на берегу возле фермы. Весеннее солнце стало ярче и теплее; дышит паром земля; внизу, под отвесным обрывом, тихо и лениво течет Кубань: через головы то и дело проносятся со свистом гранаты, бороздят гладь воды, вздымают столбы брызг, играющих разноцветными переливами на солнце, и отбрасывают от места падения в стороны широкие круги.

Подсели два-три офицера. Но разговор не вяжется, хочется побыть одному. В душе — тягостное чувство, навеянное вчерашней беседой с Корниловым. Нельзя допустить непоправимого... Завтра мы с Романовским, которому я передал разговор с командующим, будем неотступно возле него...

Был восьмой час. Глухой удар в роще: разметались кони, зашевелились люди. Другой совсем рядом — сухой и резкий...

Прошло несколько минут...

— Ваше превосходительство! Генерал Корнилов...

Предо мной стоит адъютант командующего, подпоручик Долинский, с перекошенным лицом и от сдавившей горло судороги не может произнести больше ни слова.

Не нужно. Все понятно.

. . . .

Генерал Корнилов был один в своей комнате, когда неприятельская граната пробила стену возле окна и ударилась об пол под столом, за которым он сидел; силой взрыва его подбросило, по-видимому, кверху и ударило об печку. В момент разрыва гранаты в дверях появился Долинский, которого отшвырнуло в сторону. Когда затем Казанович и Долинский вошли первыми в комнату, она была наполнена дымом, а на полу лежал генерал Корнилов, покрытый обломками штукатурки и пылью. Он еще дышал... Кровь сочилась из небольшой ранки в виске и текла из пробитого правого бедра.

. . . .

Долинский не докончил еще своей фразы, как к обрыву подошел Романовский и несколько офицеров, принесли носилки и поставили возле меня. Он лежал на них беспомощно и недвижимо; с закрытыми глазами, с лицом, на котором как будто застыло выражение последних тяжелых дум и последней боли. Я наклонился к нему. Дыхание становилось все тише, тише и угасло.

Сдерживая рыдание, я приник к холодеющей руке почившего вождя...

. . . .

Рок — неумолимый и беспощадный. Щадил долго жизнь человека, глядевшего сотни раз в глаза смерти. Поразил его и душу армии в часы ее наибольшего томления.

Неприятельская граната попала в дом только одна, только в комнату Корнилова, когда он был в ней, и убила только его одного. Мистический покров предвечной тайны покрыл пути и свершения неведомой воли.

Вначале смерть главнокомандующего хотели скрыть от армии до вечера. Напрасные старания: весть разнеслась, словно по внушению. Казалось, что самый воздух напоен чем-то жутким и тревожным и что там, в окопах, еще не знают, но уже чувствуют, что свершилось роковое.

Скоро узнали все. Впечатление потрясающее. Люди плакали навзрыд, говорили между собою шепотом, как будто между ними незримо присутствовал властитель их дум. В нем, как в фокусе, сосредоточилось ведь все: идея борьбы, ве-

ра в победу, надежда на спасение. И когда его не стало, в сердца храбрых начали закрадываться страх и мучительное сомнение. Ползли слухи, один другого тревожнее, о новых большевистских силах, окружающих армию со всех сторон, о неизбежности плена и гибели.

— Конец всему!

В этой фразе, которая срывалась с уст не только малодушных, но и многих твердых людей, соединились все разнородные чувства и побуждения их: беспредельная горечь потери, сожаление о погибшем, казалось, деле и у иных — животный страх за свою собственную жизнь.

Корабль как будто шел к дну, и в моральных низах армии уже зловещим шепотом говорили о том, как его покинуть.

Было или казалось только, но многие верили, что враг знал уже о роковом событии; чудилось им за боевой линией какое-то необычайное оживление; а в атаках и передвижениях большевиков видели подтверждение своих догадок. Словно таинственные флюиды перенесли дыхание нашей скорби в окопы врагов, вызвав в них злорадство и смелость.

Повозка с телом покойного, покрытым буркой, в сопровождении текинского конвоя тихо двигалась по дороге в Елисаветинскую. С ней поравнялся ехавший на ферму генерал Алексеев. Сошел с коляски, отдал земной поклон праху, поцеловал в лоб, долго, долго смотрел в спокойное уже, бесстрастное лицо.

Последнее прощание двух вождей, которых связала общность идеи, разъединяло непонятное чувство взаимного личного разлада и соединит через полгода смерть...

В Елисаветинской тело омыли и положили в сосновый гроб, убранный первыми весенними цветами. Ввиду неопределенности положения армии надо было скрыть судьбу останков от внимания врагов. Тайно, в присутствии лишь нескольких человек, случайно узнавших о смерти Корнилова, станичный священник дрожащим голосом отслужил панихиду по убиенном воине Лавре... Тайно вечером положили гроб на повозку и, прикрыв его сеном, повезли в обозе уходившей армии. 2 апреля на остановке в немецкой колонии Гначбау предали тело земле. Лишь несколько человек конвоя присутствовало при опускании гроба. И вместо похоронного салюта верных войск почившего командующего провожал в могилу гром вражеских орудий, обстреливавших колонию. Растерянность и страх, чтобы не обнаружить присутствием старших чинов места упокоения, были так велики, что начальник конвоя доложил мне о погребении только после его окончания. И я стороной, незаметно прошел мимо, чтобы бросить прощальный взгляд на могилу.

Могилу сровняли с землей; сняли план места погребения в трех экземплярах и распределили между тремя лицами. Невдалеке от Корнилова был похоронен молодой друг и любимец его — Неженцев.

Но судьба, безжалостная к вождю при жизни, была безжалостна и к праху его.

Когда ровно через четыре месяца Добровольческая армия вошла победительницей в Екатеринодар и в Гначбау были посланы представители армии поднять дорогие останки, они нашли в разрытой могиле лишь кусок соснового гроба.

«В тот же день (2-го апреля),— говорится в описании Особой комиссии по расследованию злодеяний большевиков,— Добровольческая армия оставила колонию Гначбау, а уже на следующее утро, 3 апреля, появились большевики в предшествии разъездов Темрюкского полка. Большевики первым делом бросились искать якобы «зарытые кадетами кассы и драгоценности». При этих розысках они натолкнулись на свежие могилы. Оба трупа были выкопаны, и тут же большевики, увидев на одном из трупов погоны полного генерала, решили, что это генерал Корнилов. Общей уверенности не могла поколебать оставшаяся в Гначбау по нездоровью сестра милосердия Добровольческой армии, которая по предъявлении ей большевиками трупа для опознания хотя и признала в нем генерала Корнилова, но стала уверять, что это не он. Труп полковника Неженцева

был обратно зарыт в могилу, а тело генерала Корнилова, в одной рубашке, покрытое брезентом, повезли в Екатеринодар».

«В городе повозка эта въехала во двор гостиницы Губкина на Соборной площади, где проживали главари советской власти Сорокин, Золотарев, Чистов, Чуприн и другие. Двор был переполнен красноармейцами; ругали генерала Корнилова. Отдельные увещания из толпы не тревожить умершего человека, ставшего уже безвредным, не помогли; настроение большевистской толпы повышалось. Через некоторое время красноармейцы вывезли на своих руках повозку на улицу. С повозки тело было сброшено на панель. Один из представителей советской власти Золотарев появился пьяный на балконе и, едва держась на ногах, стал хвастаться перед толпой, что это его отряд привез тело Корнилова; но в то же время Сорокин оспаривал у Золотарева честь привоза Корнилова, утверждая, что труп привезен не отрядом Золотарева, а темрюкцами. Появились фотографы; с покойного были сделаны снимки, после чего тут же проявленные карточки стали бойко ходить по рукам. С трупа была сорвана последняя рубашка, которая раздиралась на части, и обрывки разбрасывались кругом. Несколько человек оказались на дереве и стали поднимать труп. Но веревка оборвалась, и тело упало на мостовую. Толпа все прибывала, волновалась и шумела».

«После речи с балкона стали кричать, что труп надо разорвать на клочки. Наконец отдан был приказ увезти труп за город и сжечь его. Труп был уже неузнаваем: он представлял из себя бесформенную массу, обезображенную ударами шашек, бросанием на землю. Тело было привезено на городские бойни, где, обложив соломой, стали жечь в присутствии высших представителей большевистской власти, прибывших на это зрелище на автомобилях».

«В один день не удалось докончить этой работы: на следующий день продолжали жечь жалкие останки; жгли и растаптывали ногами и потом опять жгли».

«Через несколько дней после расправы с трупом по городу двигалась какая-то шутовская ряженая процессия; ее сопровождала толпа народа. Это должно было изображать «похороны Корнилова». Останавливаясь у подъездов, ряженые звонили и требовали денег на помин души Корнилова».

. . . .

На крутом берегу Кубани, на месте, где испустил последний вздох вождь Добровольческой армии, поставлен скромный деревянный крест; с ним рядом приютился скоро другой — над могилой друга — жены, пережившей его всего лишь на шесть месяцев.

Носились слухи, что после нашего ухода с Кубани в 1920 году большевики сожгли ферму, сорвали кресты и затоптали могилу.

Безумные люди! Огненными буквами записано в летописях имя ратоборца за поруганную русскую землю; его не вырвать грязными руками из памяти народной.

Глава XXVII. ВСТУПЛЕНИЕ МОЕ В КОМАНДОВАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИЕЙ. СНЯТИЕ ОСАДЫ ЕКАТЕРИНОДАРА. БОИ У ГНАЧБАУ И МЕДВЕДОВСКОЙ. ПОДВИГ ГЕНЕРАЛА МАРКОВА

Жизнь шла своим чередом, не позволяла предаваться унынию и от горестных мыслей о тяжкой утрате возвращала к суровой действительности.

В тот момент, когда от берега Кубани понесли носилки с прахом командующего, его начальник штаба обратился ко мне:

— Вы примете командование армией?

— Да.

Не было ни минуты колебания. Официально по званию «помощника командующего армией» мне надлежало заменить убитого. Морально я не имел права уклониться от тяжелой ноши, выпавшей на мою долю в ту минуту, когда армии грозила гибель. Но только временно — здесь, на поле боя.

Поэтому, когда мне дали на подпись краткое сообщение о событии, адресо-

ванное в Елисаветинскую генералу Алексееву, с приглашением прибыть на ферму, я придал записке форму рапорта, предпослав фразу: «Доношу, что...» Этим я признавал за Алексеевым естественное право его на возглавление организации и, следовательно, на назначение постоянного заместителя павшему командующему.

Штаб перешел в конец рощи, где расположился на перекрестке дорог, под открытым небом, в ожидании генерала Алексеева и Кубанского атамана полковника Филимонова.

Приехал Алексеев и обратился ко мне:

— Ну, Антон Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги вам Бог!

Мы обменялись крепким рукопожатием.

Вместе с Романовским Алексеев обсуждал проект приказа, причем оба остановились в нерешительности на одной технической детали: неписаная конституция добровольческой власти не знала иного определения ее, как термином «командующий армией». От чьего же имени отдавать приказ, как официально определить положение Алексеева? Романовский разрешил вопрос просто:

— Подпишите «генерал-от-инфантерии»... и больше ничего. Армия знает, кто такой генерал Алексеев.

Приказ гласил:

§ 1

«Неприятельским снарядом, попавшим в штаб армии, в 7 ч. 30 м. 31 сего марта убит генерал Корнилов.

Пал смертью храбрых человек, любивший Россию больше себя и не могший перенести ее позора.

Все дела покойного свидетельствуют, с какой непоколебимой настойчивостью, энергией и верой в успех дела отдался он на служение Родине.

Бегство из неприятельского плена, августовское выступление, Быхов и выход из него, вступление в ряды Добровольческой армии и славное командование ею — известны всем нам.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся тревогой наши сердца и пусть не ослабнет воля к дальнейшей борьбе. Каждому продолжать исполнение своего долга, памятуя, что все мы несем свою лепту на алтарь Отечества.

Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову — нашему незабвенному Вождю и лучшему гражданину Родины. Мир праху его!

§ 2

В командование армией вступить генералу Деникину».

На бурках возле дороги сели в круг Алексеев, Романовский, Филимонов и я. Я очертил общее положение армии. Оно несколько ухудшилось в тактическом отношении после 30 марта: на фронте Эрдели началось продвижение противника в охвате нашего левого фланга, которое Эрдели сдерживал лихими конными атаками; но тем не менее он потеснен и оставил Сады. Туда направлен последний резерв — Казанович с тремястами партизан.

Но не в этом главное. Смерть вождя нанесла последний удар утомленной нравственно и физически пятидневным боем армии, повергнув ее в отчаяние.

Поэтому, ставя себе главной целью спасение армии, я решил сегодня с закатом снять осаду Екатеринодара и быстрым маршем, большими переходами вывести армию из-под удара екатеринодарской группы большевистских войск.

Возражений не последовало. Мы приступили к обсуждению маршрута, пользуясь сведениями Кубанского атамана о настроении станиц и о существующих переправах через реки. Выбор был небольшой: на востоке Екатеринодар, на юге река Кубань с единственной паромной переправой, на западе плавни и море; наш злейший враг — железная дорога опоясывала нас кругом линиями Тимашевская — Крымская — Екатеринодар...

И я отдал приказ Добровольческой армии с наступлением темноты двигаться на север, в направлении станицы Старовеличковской.

Глава XXIX. ВОССТАНИЯ НА ДОНУ И НА КУБАНИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ АРМИИ НА ДОН. БОИ У ГОРЬКОЙ БАЛКИ И ЛЕЖАНКИ. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАДОНЬЯ

Еще во время остановки в Ильинской пришли хорошие вести с двух сторон.

Из кубанской станицы Прочноокопской — наиболее твердой и всегда враждебно относившейся к большевизму — явились посланцы с просьбой идти к ним, в Лабинский отдел. Они рассказывали, что, невзирая на неудачу, постигшую недавно восставших, вся тайная организация, охватывающая Лабинский, Баталпашинский, частью Майкопский и Кавказский отделы, сохранилась, что оружие спрятано, закопано в землю, что, наконец, сделаны все приготовления к захвату города Армавира, где имеются в изобилии в большевистских складах оружие и боевые припасы.

В то же время до нас доносились настойчивые слухи с Дона, что казачество там встало поголовно и что даже столица донская — Новочеркасск — в руках восставших.

Армия воспрянула духом окончательно.

Обозные стратеги волновались больше всех, роптали на долгую остановку и рвались дальше — к полуоткрывшимся окнам, в которых вдруг мелькнул свет. Но военно-политическая обстановка оставалась для штаба все еще далеко не ясной. Нужно было убедиться в серьезности всех этих сведений, чтобы решить, куда идти. От этого зависела дальнейшая судьба армии.

С этой целью на Дон, в станицу Егорлыцкую был послан с разъездом полковник генерального штаба Барцевич. Одновременно по просьбе кубанского правительства и генерала Покровского в его распоряжение предоставлен был отряд в составе до четырех кубанских и черкесских сотен, который должен был составить ядро восставших лабинцев; отряд стал сосредоточиваться к югу, в станице Расшеватской, в ожидании решения общего плана операции.

Барцевич выехал из Ильинской, в несколько дней сделал лихой пробег в 200 верст (туда и обратно) и вернулся в Успенскую с сотней донских казаков в восторженном настроении:

— Дон восстал. Задонские станицы ополчились поголовно, свергли советскую власть, восстановили командование и дисциплину и ведут отчаянную борьбу с большевиками. Бьют челом Добровольческой армии, просят забыть старое и поскорее прийти на помощь.

Одно только было не совсем ясно в привезенных сведениях: советские войска по всему северо-донскому фронту проявляли странную нервность, и через Ростов якобы один за другим уходили спешно на юг большевистские эшелоны с войсками и имуществом под давлением какой-то неведомой силы...

Жизнь Дона под властью большевиков в своей бытовой и социальной сущности ничем не отличалась от кубанской. Поэтому я не буду останавливаться на этом вопросе, ограничившись лишь фактической стороной его.

12 февраля на заседание войскового круга явился большевик — войсковой старшина Голубов — и крикнул народным избранникам, которые все, кроме атамана Назарова, почтительно встали при его появлении:

— В России совершается социальная революция, а здесь какая-то сволочь разговоры разговаривает. Вон!

Круг был разогнан, атаман, председатель круга Волошинов и некоторые члены круга расстреляны. В Новочеркасске поставлен командующим войсками вахмистр Смирнов, в Ростове сел «председатель областного совета Донской республики», демагог, урядник Подтелков. Голубов остался в стороне и затаил злобу. Началось внедрение советской власти в пределы области, сопровождавшееся, как обычно, захватом пришлыми элементами местного управления, грабежами, реквизициями, арестами, убийствами *, казнями и карательными экспедициями против непокорных станиц. Хлеб и скот большими партиями увозились на север; одновременно начался дележ казачьей земли крестьянами. Казаки скоро убеди-

*Одних офицеров было убито около 500.

лись, что с новым строем они теряют все: землю, волю и власть. Даже большие надежды донских казаков на возможность поживиться несметными богатствами ростовской буржуазии оказались тщетными: буржуазия всецело поступила в эксплуатацию пришлого «российского пролетариата». Этот новый властитель, однако, в противоположность положению, создавшемуся на Кубани, оказался одинаково непереносимым как для обираемого им казачьего, так и для покровительствуемого крестьянского населения. В отчете о заседаниях областного съезда советов Донской республики, состоявшегося в последних числах марта, отмечена враждебность массы его членов к советскому коммунизму и неудержимая тяга к «беспартийности». При полном одобрении всего крестьянского большинства съезда один из депутатов «со слезами на глазах, с хватающей за душу непосредственностью поведал, как крестьяне партий не знали и шли за тем, кто «крепче» обещал трудовому люду. А в результате появились свои «трудовые» красногвардейцы, которые понаставили пулеметы и пушки и держат в страхе и трепете население...» *.

Такое настроение обнаружилось в донской деревне уже на второй месяц большевистского управления.

Пробуждение казачества пошло стремительнее, чем было его падение.

Уже в середине марта начались сильное брожение в различных местах области и тайная организация казачьих сил, чему немало способствовала наступившая весенняя распутица, мешавшая передвижению большевистских карательных отрядов. 18 марта впервые собирается в станице Манычской съезд Черкасского округа, на котором казаки выносят постановление против советской власти. Во второй половине марта начались и вооруженные выступления.

Одновременно шла и личная борьба между властями Ростова и Новочеркасска. Подтелков, связавший свою судьбу всецело с «рабочим пролетариатом», относился крайне подозрительно к деятельности Голубова и Смирнова, проводивших большевизм свой, донской, казачий, хотя и родственный советскому, но замкнутый в областных рамках и не допускавший господства пришлой власти.

Новочеркасск скоро стал в резкую оппозицию к областному комитету. Голубов, вернувшись из своей поездки по области, привез в Новочеркасск скрывавшегося Митрофана Богаевского, бывшего помощника атамана Каледина. Настроение донской столицы, очевидно, сильно изменилось, если Богаевскому, приведенному с гауптвахты, дали возможность на многолюдном митинге в течение трех часов говорить казакам «всю правду». Казаки слушали с умилением и клялись «не выдавать».

Областной комитет, обеспокоенный этим, потребовал прибытия в Ростов Голубова и Смирнова и выдачи Богаевского. Новочеркасск отказал. Тогда прибыл из Ростова карательный отряд и ликвидировал дело: Смирнов и Голубов бежали, причем последний в одной из станиц был опознан и убит. Такая же участь постигла вскоре и Подтелкова. Богаевского бросили все, его перевезли большевики в Ростов и там вскоре расстреляли.

Так окончилось содружество двух большевизмов — советского и казачьего **. На Дону теперь противопоставлены были без средостения две силы: советская власть и подымающееся казачество.

1 апреля казаки станиц, ближайших к Новочеркасску, под начальством войскового старшины Фетисова внезапным нападением захватили город. Незначительное число коммунистов и красной гвардии было истреблено или бежало, а необольшевики, казаки голубовской дивизии, объявили «нейтралитет». Это плохо организованное выступление полувооруженного ополчения кончилось печально: 5-го большевики обратно овладели городом, подвергнув население жестокому грабежу и новым казням. Голубовская дивизия предусмотрительно ушла из города накануне, захватив награбленное за время расположения в Новочеркасске добро. По дороге, впрочем, оно было отнято и перераспределено восставшими станицами.

Неудача не остановила, однако, донцов. Организация вооруженного сопротивления продолжалась открыто, и к середине апреля под командой вернувшегося-

* «Рабочий голос» 1918 г., № 1. Орган соц.-дем.
** Представленного Голубовым и Смирновым.

ся после скитаний в Сальских степях походного атамана, генерала Попова, объединились следующие значительные группы донских ополчений: 1. Задонская группа генерала Семенова (район Кагальницкой — Егорлыцкой); 2. Южная группа полковника Денисова (район станицы Заплавской); 3. Северная группа — бывший «Степной отряд» — войскового старшины Семилетова (район Раздорской). Во всех этих отрядах было свыше 10 тысяч бойцов. Кроме того, и в других отдаленных округах формировались более или менее значительные ополчения.

«Пробуждение Дона» было, однако, далеко еще не полным. И походному атаману, подготовлявшему наступление на Новочеркасск, приходилось не раз посылать карательные экспедиции в не раскаявшиеся еще и поддерживавшие большевиков станицы, расположенные даже в непосредственной близости от атаманского штаба.

Всех этих подробностей тогда в Успенской мы еще не знали. Но и сведений, привезенных Барцевичем, было достаточно, чтобы сделать выбор: «окно», а не «окошко»; возможность связи и сношений с внешним миром, а не оторванность и одиночество в кавказских предгорьях; новая военно-политическая база, а не продолжение партизанской войны. Словом — на Дон!

Генерал Алексеев разделял всецело мой взгляд.

Пригласил кубанских правителей, очертил им обстановку и сообщил решение. Приняли с грустью, но без протеста. Выразили опасение, как бы уход с Кубани не вызвал оставления рядов армии кубанскими казаками и черкесами... Опасение оказалось неосновательным: сотни, которые должны были идти по собственному желанию с Покровским в Лабинский отдел, услышав о движении армии на север, не пожелали расставаться с нею.

Окончательное успокоение среди кубанцев внесло мое заявление: Кубани я не брошу; военно-политическая обстановка рисуется в таком виде, что армия в ближайшее время будет сосредоточена в непосредственной близости от Кубанской области и, выполняя общероссийскую задачу, при первой возможности окажет вооруженную помощь для освобождения Кубани.

Предстояло снова в четвертый раз пересечь железную дорогу.

Выступление назначил на 16 апреля, пополудни, с таким расчетом, чтобы в сумерках скрыть направление движения и до рассвета закончить переход дороги на участке между станциями Ея и Белая Глина. На этих станциях стояли бронированные поезда, а последняя была занята большим отрядом красногвардейцев.

Выходить из Успенской пришлось под прикрытием арьергарда ввиду начавшегося с юга на станицу наступления большевиков. Двинул колонну умышленно на северо-восток; авангард вступил в бой с охранением ставропольских красногвардейских отрядов; колонна приостановилась и, как только стемнело, свернула влево; двигались в ночной темноте, по дорогам и без дорог — целиною — по указанию сбивавшихся с пути проводников; под утро подошли к глухому железнодорожному переезду и начали переход. Опять конница и авангард разошлись веером — в разные стороны, в виде заслонов. Взрывают путь. Повозки крупной рысью по́ две в ряд, гремя по каменному настилу, летят через полотно. Опять люди вздыхают полной грудью, крестятся и поздравляют друг друга.

— Ну, слава Богу, кажется, перевалили последнюю!..

Но настал рассвет, и от Белой Глины показался дым бронепоезда; у переезда начали ложиться неприятельские гранаты; позади бронепоезда стал высаживаться из вагонов эшелон пехоты и густыми цепями рассыпаться по полю; из арьергарда донесли, что противник «нажимает»; голову обоза из села Горькой Балки встретили огнем...

Войска спокойно развернулись, открыли огонь наши батареи. И скоро нависшие было тучи рассеялись: выступление местных большевиков в Горькой Балке, яром большевистском притоне, оказалось несерьезным и скоро было ликвидировано, арьергард отбил противника, а бронепоезд и эшелоны из Белой Глины держались в почтительном отдалении несколькими десятками выстрелов нашей артиллерии и огнем правого заслона.

После большого привала в Горькой Балке, во время которого не прекращался бой к востоку от села, армия двинулась дальше и заночевала в кубанской станице Плоской.

В последние сутки армия прошла с боем до 70 верст!

Прибывший в Плоскую с Дона разъезд донес, что на задонские станицы идет большое наступление с севера и запада и донское начальство просит помощи.

19-го я послал 1-й конный полк полковника Глазенапа прямо на Егорлыцкую, а армию перевел в Лежанку — то село, которое некогда первое встретило Добровольческую армию огнем и жестоко за это поплатилось. Теперь там все мирно. В окрестностях, однако, собрались большие отряды красной гвардии.

Задонье между тем переживало критический момент: большевики после недолгого сопротивления заняли вновь станицы Кагальницкую и Мечетинскую и начали в них творить расправу; вооруженные казаки отступили на юг, к Егорлыцкой, куда также подходит неприятель. Таким образом, вместо отдыха приходилось начинать новую серьезную операцию для освобождения Задонья.

Оставив в Лежанке бригаду Маркова и конницу Эрдели, я приказал Богаевскому со 2-й бригадой идти в тыл большевистским войскам в направлении на Гуляй-Борисовку; Глазенапу после освобождения Егорлыцкой наступать на север, объединив командование над донскими ополчениями.

20-го Богаевский выступил. Вероятно, это движение было замечено большевиками и сочтено за отход, так как в тот же день со стороны Лопанки началось наступление на Лежанку больших сил красной гвардии.

В течение двух дней большевистская артиллерия громила село, а неприятельские цепи распространялись все дальше к западу, в охват нашего расположения, отрезая пути на Егорлыцкую Частыми атаками Марков временно отбрасывал их, но они возвращались опять большими массами. Это несоизмеримое превосходство сил и наличие в селе беззащитного обоза сильно препятствовали маневренной свободе марковской бригады.

Были дни страстной недели — пятница и суббота. В станичной церкви шло богослужение, выносили плащаницу, и люди в скорби и трепете молились «поправшему смерть» под гром рвавшихся вокруг церковной ограды снарядов. Из алтаря слышалось слово Божье о прощении, а за селом лилась кровь и брат убивал брата....

В субботу огонь был особенно жестоким. Зашел ко мне Романовский и пригласил в штаб — для выслушивания доклада. Оказалось, что никакого доклада не предстоит, а... мой дом — легкая деревянная постройка, и во дворе его шрапнель уже переранила наших лошадей, тогда как штаб помещался в солидном каменном здании. Предосторожность, однако, на этот раз вышла некстати: в дом штаба и смежное с ним помещение лазарета ударило несколько гранат; нас осыпало известкой, но не тронуло; убило и переранило вновь нескольких человек в лазарете.

Обозу деваться некуда — ждет своей участи и терпит. Наконец, пришло донесение, что Егорлыцкая свободна. Когда Глазенап подошел к станице, в ней оказались только немногие казачки и дети — все казаки с семьями и пожитками ушли в степь, не рассчитывая на свои силы и не желая покоряться большевикам. Их вернули и вооруженных присоединили к отряду; а 21-го большевики, приближавшиеся к станице, внезапно повернули назад и побежали. Сказывалось, очевидно, появление Богаевского.

Многострадальный обоз двинулся, наконец, кружным путем в Егорлыцкую.

Уход его развязал руки нашему отряду в Лежанке. К вечеру Марков перешел в контратаку по всему фронту и блестящим ударом Офицерского полка, двинувшегося вперед молча, без единого выстрела, опрокинул большевиков, обратившихся в бегство; их преследовала конница. Я приказал Маркову задержаться в Лежанке на сутки и затем перейти в Егорлыцкую кружным путем, через полустанок Целину, чтобы одновременно отбросить отряд «анархистов», оперировавший с бронепоездами между Торговой и Егорлыцкой (станция Атаман), и испортить там на несколько верст железнодорожный путь.

Богаевский в эти дни по пути разметал отряды большевиков, разбил их главные силы под Гуляй-Борисовкой и расположился в этом селе. Глазенап занял Мечетинскую, потом и Кагальницкую. Задонье было освобождено.

Боевое счастье вновь явно начинало склоняться на сторону Добровольческой армии...

Поздно ночью я со штабом ехал по дороге в Егорлыцкую, спеша к пасхальной заутрене. Беседовали с Иваном Павловичем. С первых же дней совместной службы в качестве командующего и начальника штаба между нами установились отношения интимной дружбы, основанные на удивительном понимании друг друга и таком единомыслии, которого мне лично еще не приходилось испытывать в своих отношениях с людьми. Работать вместе было легко и приятно.

Ночь была тихая и звездная. Справа на горизонте догорал зажженный кем-то после боя хутор и бросал кровавый отблеск в небесную высь и в степь. Гулко стучали подковы по не оттаявшей еще земле. Перешли в шаг.

— Вот,— резонерствовал Иван Павлович,— два месяца тому назад мы проходили это же место, начиная поход. Когда мы были сильнее — тогда или теперь? Я думаю, что теперь. Жизнь толкла нас отчаянно в своей чертовой ступке и не истолкла; закалились лишь терпение и воля; и вот эта сопротивляемость, которая не поддается никаким ударам.

— Что ж, Иван Павлович, как говорит внутренний голос,— одолеем?

— Как сказать... Мне кажется, что теперь мы выйдем на большую дорогу. Но попадем в жестокую схватку между двумя процессами — распада и сложения здоровых народных сил. Они, по существу, будут бороться, а мы в зависимости от течения их борьбы одолеем или пропадем.

Я вспомнил этот разговор через два года, также в Святую ночь,— в Средиземном море, на русском корабле под английским флагом, уносившем меня от последнего клочка Русской земли и от свежей могилы друга...

В стороне от дороги послышался шорох.

— Стой!

В темноте обрисовались силуэты казачьей заставы. Въезжаем на площадь.

Светится ярко храм. Полон народа. Радость Светлого праздника соединилась сегодня с избавлением от «нашествия», с воскресением надежд. Радостно гудят колокола: радостно шумит вся церковь в ответ на всеблагую весть:

— Воистину воскресе!

В мареве дыма кадильного и дрожащего света паникадил сияют лица молящихся.

«...И нас сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Первый кубанский поход — Анабазис Добровольческой армии — окончен. Армия выступила 9 февраля и вернулась 30 апреля, пробыв в походе 80 дней. Прошла по основному маршруту 1050 верст. Из 80 дней — 44 дня вела бои. Вышла в составе 4 тысяч, вернулась в составе 5 тысяч, пополненная кубанцами. Начала поход с 600—700 снарядами, имея по 150—200 патронов на человека; вернулась почти с тем же: все снабжение для ведения войны добывалось ценою крови. В кубанских степях оставила могилы вождя и до 400 начальников и воинов; вывезла более полутора тысяч раненых; много их еще оставалось в строю; много было ранено по несколько раз. В память похода установлен знак: меч в терновом венце.

Издалека, из Румынии, на помощь Добровольческой армии пришли новые бойцы, родственные ей по духу. Два с половиной года длилась еще их борьба. И тех немногих, кто уцелел в ней, судьба разметала по свету: одни — в рядах полков, нашедших приют в славянских землях, другие — за колючей проволокой лагерей — тюрем, воздвигнутых недавними союзниками, третьи — голодные и бесприютные — в грязных ночлежках городов старого и нового света.

И все на чужбине, все «без Родины»...

Когда над бедной нашей страной почиет мир и всеисцеляющее время обратит кровавую быль в далекое прошлое, вспомнит русский народ тех, кто первыми поднялись на защиту России от красной напасти.

Подготовка текста и примечания доктора исторических наук, профессора Л. М. СПИРИНА

Свящ. С. ЖЕЛУДКОВ—К. А. ЛЮБАРСКИЙ

Христианство и атеизм*

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Далее в Вашем письме Вы обращаетесь к критике религии — и здесь Ваши соображения весьма актуальны для нас, верующих. Мы находимся, как это можно назвать, в «теоретическом кризисе» Христианства веры. Говорю это в нестрашном смысле — в кризисе усовершенствования и развития. То, что на Западе так кощунственно, так нелепо называют «смертью Бога», в действительности есть отмирание негодных религиозных представлений. «Бога мировая война убила»,— говорит кто-то в романе «Тихий Дон». Фактически же войны и все наши беды XX века убили не Бога, а убили в нас ложное представление о Боге, что Он будто бы всем этим повседневно распоряжается и во всем этом виноват... Кто-то из протестантов на Западе писал, что нам следовало бы на некоторое время вообще воздержаться от употребления самого этого слова «Бог» — чтобы освободить его от наших привычных ложных и пошлых ассоциаций. Другой кто-то выразился в том смысле, что на обычном понятийном языке говорить о Боге нельзя, что так мы способны сказать о Нем только глупости... Увы, о современных движениях христианской мысли мы узнаем только вот так отрывочно из сообщений примитивной антирелигиозной литературы.

Наши условия таковы, что в лучшем случае мы оказываемся способны заново изобрести велосипед. По всей вероятности, так надо сказать и о столь радостной для меня идее Церкви доброй воли, а может быть, и о ее графической символизации (действительно похожей на велосипедное колесо). Изобретение это имеет прямое отношение к тому, что Вы пишете о независимости религии и морали...

В исторических же примерах и житейских наблюдениях Ваших — сущая правда. Один мой приятель писал так, что если бы ему случилось попасть на необитаемый остров, он предпочел бы иметь товарищем все-таки верующего, чем атеиста. Он рисковал жестоко ошибиться. Смотря какой верующий и какой атеист. Имею великую честь лично знать людей героически высокой нравственности — академик, генерал, литераторы, врачи, математики, физики, столь быстро освоившие юриспруденцию: и вот — почти все они называют себя атеистами.

Но нельзя отрицать и той правды, что все такие наблюдения — только моментальные фотоснимки, по которым нельзя выносить однозначных суждений. Наши предки живы не только «на том свете» — они живут в нас самих, душа уходит корнями в глубину рода. Прекрасные цветы нравственности тех, кто называет себя атеистами, взошли на почве христианской семьи и христианской культуры. Грандиозный эксперимент антирелигиозного воспитания еще только в самом начале. Не знаю, как относитесь Вы к Достоевскому: кое в чем конкретном он очень ошибся, но ведь многое он и предчувствовал в принципе абсолютно верно. И вот, он написал: «Если Бога нет, то все позволено». А в записную книжку внес для памяти: «Без Христианства же человечество разложится и сгниет»... Есть отдаленно похожее суждение о. Пьера Тейяра де Шардена — почти не помню слов, передаю смысл так, как я его понял: если Человек не будет иметь личного бессмертия в Вечности — он должен будет «забастовать», отказаться возглавлять Эволюцию.

Итак, вопрос остается неясным. Обратимся далее к Вашей критике религиозных идей страха Божия и загробного воздаяния.

Еще в IV веке святитель Григорий Богослов писал: «Мне известны три степени в спасаемых: рабство, наемничество и сыновство. Если ты раб — то бойся побоев. Если наемник — одно имей в виду: получить. Если стоишь выше раба и наемника, даже сын — то стыдись Бога как Отца. Делай добро, потому что хорошо повиноваться Отцу. Хотя бы ничего не надеялся получить — угодить Отцу само по себе награда» (слово 40)... Как похоже это на то, что Вы пишете. Три ступени духовного восхождения и три мотива: у раба — *страх*, у наемника — *плата*, у сына — *любовь*. Идеи страха и воздаяния в священном Писании имели не абсолютное, а исторически воспитательное значение. По выражению Н. А. Бердяева, так преломлялся свет Откровения в темной природно-исторической среде человечества. Например, сравнительные образы: «Бог» первых страниц Библии, Который испугался, что люди достроят башню до небес и смешал их языки — и Бог Христианства, Который так возлюбил людей, что Сам сошел с небес и стал Человеком... И в дальнейшей истории, уже в самом Христианстве, совершилось и совершается развитие религиозного сознания. В XIII веке прославленный Фома Аквинат додумался написать, что блаженством праведных в раю будет наслаждение от созерцания мучений грешников... А сегодня мы читаем об этом с чувствами недоумения и возмущения. Так просветляется и очищается религиозная мысль. В последнем примере особенно явственно видно, как (опять это мысль того же Философа) люди проецируют на религиозные представления собственную свою бесчеловечную жестокость.

Но позвольте обратить Ваше внимание, что идеи страха и воздаяния имеют также и нравственно-положительное значение. Бывает очень светлое чувство великого уважения — нравственного страха, например, перед родителями. Или боязнь оскорбить, опечалить любимого человека. Почему нельзя в этом смысле без всяких кавычек *бояться Бога*? И в идее воздаяния есть глубокий нравственный смысл.— это ведь идея справедливости. Опять вспоминаю мир атеизма: несправедливо и безнравственно будет, если за святую жизнь человек получит лопух на могиле... А в идее ада — великая истина: это не воздаяние извне, ад мы сами создаем себе здесь и уносим в Вечность. Гоголь писал о воспоминаниях — «страшилищах». А какое воспоминание у Пушкина! Вот это ад! У Достоевского в поучении старца Зосимы ад — не внешнее воздаяние, а внутреннее свободное переживание. Известно, что Достоевский читал творения преподобного Исаака Сирина (VI в.), и, может быть, Вам будет интересно, что этот святой писал об аде: «Говорю же, что мучимые в геенне поражаются *бичем любви*. И как горько и жестоко это *мучение любви*! Ибо ощутившие, что согрешили против любви, терпят мучение, большее всякого приводящего в страх мучения: *печаль*, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания. Неуместна человеку такая мысль, что грешники в геенне лишаются любви Божией. ...Но *любовь* силою своею действует двояко: она мучит грешников, как и здесь случается *другу терпеть от друга*, и веселит собою соблюдавших долг свой. И вот, по моему рассуждению, таково есть геенское мучение: оно есть *раскаяние*». Итак, в идее ада — великая истина свободной духовной жизни, и идея эта делает честь человеку, который способен так мучиться. Избавление от *страшилищ*, способность *принять прощение* — это «будущее чудо» есть одна из главных надежд Христианства.

Продолжение следует. Примите сердечный привет.

2.8.74

Уважаемый Кронид Аркадьевич!

Идея покорности Богу особенно Вас возмущает. Но прошу Вас выслушать и ее защиту. В известном письме к брату А. П. Чехов одобряет смирение перед Богом. И почему это, скажу я, мы должны непременно скандалить, бунтовать против Бога? У нас достаточно примеров, когда человек бунтует против Бога — и покоряется всякой мерзости в себе и снаружи. Бунтовать против Бога — это значит бунтовать против Святыни, против Любви, против Красоты, против Свободы... Да, против Свободы — ибо истинная воля Божия в том и состоит, чтобы человек был свободен. Это опять слова названного раньше христианского Философа. О, если бы люди покорялись Богу — не знали бы они никакого тоталитаризма.

Вы только отчасти правы в том, что ложно понятая идея покорности Богу освящала покорность властям человеческим. Упомянутый Философ указал, что наоборот — люди на образ Бога переносили свои социальные категории господства и власти.

Вижу необходимость рассмотреть вопрос с этим трудным изречением апостола Павла о властях. Вот оно в контексте: «Всякая душа да повинуется властям предержащим: ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению: а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, а для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь злое — бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание творящему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести»... Весь этот текст — одно из самых ясных указаний священного Писания на то, что нельзя воспринимать священное Писание безрассудно, законнически-абсолютно. Кто-то остроумно заметил, что и диавол в пустыне употребляет священные тексты, искушая Господа. Евангелия, апостольские послания — это не гранит и не бронза, это живое слово, сказанное в конкретных обстоятельствах живой истории. Вот как было сказано и это: «Отдавайте кесарю то, что принадлежит кесарю, и Богу — то, что принадлежит Богу». Вы цитируете только первую половину фразы, а она произнесена вместе со второй в ответ на злую провокацию, и звучало это примерно так: платите языческому государству налоги, *но не отдавайте ему душу!*.. Душа, совесть — вот предел повиновения мирской власти. Когда апостолы (другие, еще без Павла) были приведены в Синедрион и выслушали запрещение продолжать проповедь о Христе — они ответили, что *должны повиноваться Богу более, нежели человекам*. Нет сомнения, что это же в подобной ситуации сказал бы и апостол Павел — автор трудного текста. Выходит, что текст не имеет абсолютного значения, которое ему приписывают. Вероятно, он был направлен против тогдашних

* Окончание. Начало см. «Октябрь» № 10 с. г.

анархистов. Апостол писал это римлянам, и можно догадываться, что за словами «власти» и «начальники» он имел в виду римскую милицию. Подставьте это слово в текст — и откроется его подлинный смысл. Да, милиция может иметь и относительно-положительное, нравственное значение: она охраняет общественный порядок, защищает жителей от разбойников и сопливых террористов, обеспечивает первую степень свободы — свободу ходить по улицам. .

Продолжение следует.

3.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Я отвечаю Вам последовательно по тексту Вашего письма, но у Вас ведь наверняка нет его копии. Поэтому я буду кратко напоминать Вам, о чем шла у Вас речь. Сейчас я перечитываю то место, где Вы писали о сходстве мышления религиозного с мышлением тоталитарных идеологий. Тому и другому Вы противопоставляете мышление научное, основанное на праве сомнения во всем. Евангельский прообраз научного мышления — апостол Фома.

Если прообраз, то я приглашаю Вас вникнуть в его подлинное содержание. Евангельское сказание приводит нас к моменту, когда Воскресший Христос предлагает Фоме удостовериться в Воскресении именно тем способом, как тому раньше хотелось — вложить руку в раны на теле Христа... *Фома не делает этого.* «Отвечал Фома, и сказал: *Господь мой и Бог мой*»... Потрясенный своим опытом религиозным, Фома отказывается от научной его проверки.

Апостол Павел писал: «*Видимое временно, Невидимое вечно*». Глубокое различие (не противоречие, а различие) между мыслью научной и мыслью религиозной в том, что первая направлена на видимое, а вторая — на Невидимое. Но есть и аналогические элементы науки и религии. Позвольте познакомить Вас с современником, в личности которого совмещается служитель религии и человек науки (биолог, врач). Это русский митрополит в Лондоне Антоний (Блюм). Лет восемь тому назад в академических лекциях он говорил о проблеме религиозных сомнений и в связи с этим проводил аналогии познания научного и религиозного. К сожалению, не имею текста, передаю содержание в кратчайшем виде так, как оно мне усвоилось. Наука основана на опыте — и религия тоже основана на опыте, только на опыте особого рода — на опыте мистическом, религиозном. В науке сомнения обязательны, это ее метод — и в религиозном мышлении резонные сомнения могут иметь положительный, «творческий смысл», — говорил он. Сомнениями исправляются условности нашего восприятия абсолютной Истины, которая открывается нам в религиозном опыте. Поэтому — «*не бойтесь сомнений!*»... Это был призыв оригинальный, смелый, но лектор имел на него особое личное право, потому что у него был свой самый подлинный религиозный опыт.

В этих же лекциях, а также в интервью он рассказывал историю своего обращения. В ранней юности он был атеистом — и притом атеистом уверенным, озлобленным. Однажды ему пришлось поневоле присутствовать на лекции о Христианстве, которую читал какой-то известный православный богослов. Лекция, говорит он теперь, была весьма неудачна, она его возмутила, и, придя домой, он взял у матери книгу Евангелий, спросил — какое самое короткое, и принялся читать,— с тем, чтобы окончательно убедиться в негодности Христианства и больше уж к этому вопросу никогда не возвращаться. Читал он третью или четвертую главу по Марку—и вдруг ощутил невидимое, но как нельзя более для него реальное, живое присутствие Христа. Это перевернуло все «Он имел одно виденье, непостижное уму». Он уверовал — изучил и принял церковное Христианство. А потом, будучи уже врачом, тайно принял монашество. Должно иметь в виду, что митрополит Антоний— человек очень достойный, можно доверять его искренности.

Вот единичный пример религиозного познания. Потрясающий мистический опыт — а затем приобщение к сродному ему ранее собранному общему опыту Христианства веры. Этот ранее собранный, соборный опыт запечатлен в священном «*предании*» — в Писании, в символах веры, в литургике, в учительстве, в искусстве. Случай митрополита Антония — явление крайне редкое. У нас, христиан обыкновенных, как правило — личный опыт мистических переживаний весьма беден, ничтожен. Но мы приобщаемся к соборному опыту Христианства, его сопереживаем, чувствуем его целостную правду. Такова наша личноcоборная «вера».

Теперь я нарисую символическое изображение — как представляется религиозному сознанию вся полная Реальность бытия:

«Видимое временно. Невидимое вечно». В заштрихованном сегменте — видимое, его и только его изучает наука. Это только «часть» (разумеется, не в пространственном значении) всей таинственной Полноты бытия. Проникнуть из видимого в Невидимое, из времени в Вечность средствами обычного познания невозможно. Только религиозная интуиция в своих символах отображает Невидимое — и притом только в его самом общем принципиальном значении.

Что сказал бы об этом рисунке ученый агностик? Он ответил бы: изучаю только видимое, об остальном (и есть ли оно) *ничего не знаю* — ничего утверждать или отрицать не могу.

Но не так рассуждает догматический атеизм. Только видимое, только временное—*и больше ничего нет.* И быть не может. *Запрещается* самая мысль о возможности сверхприродного, сверхразумного бытия. *Запрещаются сомнения* в догме атеизма. Одобряются сомнения верующих насчет религии, а сомнения в догме атеизма *запрещаются* безусловно.

Мне представляется, что по сравнению с суждениями верующего и агностика это суждение нравственно недостойно. Вы спросите: почему же, ведь и в религиозном сознании есть непререкаемые догмы и запрещены сомнения. А вот почему. Дело в том, что религиозное сознание так о себе и говорит, что оно основано не на научном, а на мистическом опыте, на некоей положительной интуиции о Невидимом. Поэтому религиозное сознание имеет моральное «право на догму». А сознание антирелигиозное такого морального права не имеет, потому что претендует на «научность». В науке же догма — ругательное слово.

Кстати, и в Христианстве понятие «догмата» должно быть пересмотрено (мы часто называем догматом то, что не является догматом). И сомнения в христианском сознании уже не запрещаются. В дополнение к тому, что известно о выступлении митрополита Антония, надо сказать следующее. Прежние церковные учители, осуждая сомнение, имели в виду «со-мнение» *религиозное*—двоемыслие, *двоедушие*, духовную травму, катастрофу. Но есть сомнения интеллектуальные, которые непременно (и поскорее) должны быть решены, — именно для того, чтобы не получилось двоемыслия. Некто правильно сказал мне однажды, что для современного человека «подавить» в себе разумное сомнение — значило бы тем самым уже признать свое поражение, побежденность сомнением. Сомнение, загнанное в подвал сознания, будет там гнить, отравляя душу. Нет — *Истина не боится сомнений.* Мы должны спокойно, без паники рассмотреть всякое сомнение. Либо оно окажется недоразумением — исчезнет. Либо оно справедливо — и тогда надо соответственно исправить, улучшить наши прежние представления по данному вопросу. Либо будет разумно обоснована принципиальная нерешаемость вопроса, — и тогда успокоится интеллектуальная совесть.

Извините, я понимаю, что Вам это ни к чему — что это могло бы представить интерес только для верующих. Но так уж вот получается, что в критике религии Вы пользуетесь привычными мнениями, которые уже устарели, и в этом я Вас должен исправить.

Прошу прощения — я упустил поздравить Вас с половиною срока. От всей души: да будет вторая половина намного короче. Да исполнится эта надежда.

6.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Как тяжело, как грустно читать Ваше сообщение о нас, христианах веры, оказавшихся в контрольной ситуации. И особенно — о новых, при Вас уверовавших христианах. «Судьба поставила чистый эксперимент» — и вывод Ваш ясен: религиозность *снижает* нравственность человека.

Рассуждая о феномене Ивана Грозного, один мой приятель написал, что этот «православный» государь не только не был христианином, но даже (как и некоторые другие злодеи, знаменитые и безвестные) не был и человеком. Оставляя в стороне проблему «нечеловеков», я воспользуюсь этим примером в одном отношении. Если Ганди можно назвать христианином «анонимным», то Ивана надо назвать христианином «*только номинальным*». Приходится учредить этот термин, чтобы объяснить себе явление, которое Вы описали.

Недавно я слышал рассказ о священнике, который служит в Эстонии в беднейшем пустом храме. Кругом неверующие и протестанты, никто в церковь к нему не ходит. Но, рассказывают, стоит только в разговоре с любым тамошним жителем вспомнить о нем, назвать его имя — как лицо собеседника оживляется и как-то заметно светлеет. «*Тако да просветится свет ваш пред человеки*»... Оглядываясь на себя, мы, христиане веры, должны признать, что только очень немногие из нас могли бы получить такую оценку по этому «признаку света». Все мы, остальные христиане веры, должны быть названы христианами только номинальными. Такова действительность, это и открылось в Ваших очень трудных условиях, где все проверяется. Плохо наше дело.

А когда само обращение в христианскую веру прямо сопровождается у человека отчуждением от ближних, очерствением души — тут я откровенно скажу, что вижу в этом признак душевного заболевания. Некто рассказывал мне, что где-то не так давно совещались психиатры на тему: как отличить подлинно-религиозные мистические состояния от болезненной мании религиозности. И нашли безошибочный критерий: поведение субъекта в практической жизни. *Здоровая мистика сказывается* в деятельной *доброте*. Сожалею, что не записал рассказ обстоятельно. «По плодам их узнаете их». Апостол Павел писал христианам: «Испытывайте себя—*в вере ли вы?*» Известная классическая схема преподобного аввы Дорофея: окружность, в центре — Бог, радиусы — жизни людей. Чем ближе к Богу — тем ближе к людям. А если ты далек от людей, не любишь людей — не обольщайся: значит, далек ты и от Бога. «*Как страшно — веровать и не любить!*» (из наставлений о. Алексия Мечева, весьма почитаемого московского священника, 1925). «Черствый христиа-

нин» — это невыносимое сочетание слов. Где-то я читал, как один баптист рассказывал в собрании, что когда он стал христианином, то даже кот домашний у него почувствовал это... Именно это время обращения к вере бывает особенно благодатно. А то, что вы описываете, есть болезнь, *дискредитация* Христианства.

Правду сказать, и агрессивный православный шовинизм представляется мне явлением психической ненормальности. Что же касается неясного упоминания Вашего о социальной пассивности верующего человека, то тут я должен оговориться, что иногда она бывает, на мой взгляд, нравственно оправдана. Проблема не может быть здесь конкретно описана.

8.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

В Вашем ответе Паскалю Вы написали, что «проверить документы» всех религий — «на это не хватит ни жизни, ни сил. Тут уже нужен другой образ: не знакомиться с документами на право наследства, а перерывать огромный архив, в котором, возможно, находятся такие документы, а возможно, и нет. А ведь пока я разрываю архив, я мог бы возделывать свой виноградник! По-моему, ситуация именно такова».

Я выписал эти Ваши слова, чтобы Вы перечитали их и убедились, что теоретически прав-то все же Паскаль. Надежды человека на Вечность — только в религии. Отказаться от изучения предмета, *такого* предмета по мотиву трудности — недостойно исследователя. В этом решении тайно присутствует уже сделанный выбор: Вы уже решили, что документы могут быть только фальшивы, что не может быть у человека надежды на Вечность.

Решение теоретически ложно, но оно сопровождается решением практически трудиться в осуществлении достойной жизни здесь, во времени. Трудиться — даже и без надежды на вечность. И это практическое решение вызывает восхищение. Ведь вот так «без документов», бескорыстно «возделывать свой виноградник» — это и значит на деле зарабатывать право на Вечность.

Возвращаясь к «теории», я должен признаться, что Ваше соображение о необходимости уж если изучать, то изучать не только Христианство, но и другие религии, — соображение это привело меня в некоторое замешательство. А ведь я и не изучал других религий — почему же отдал предпочтение Христианству? Только потому, что это первая религия, которую я узнал, религия родного народа?.. Проверяя себя, я нахожу, что нет — не только это. В Христианстве мне открылось такое переживание идеи *Святого Бога*, которое представляется мне оптимальным. Это — абсолютно; выше этого, драгоценнее этого ничего уже быть не может, таково мое ощущение. Поэтому меня как-то не интересуют другие религии. По пословице — от добра добра не ищут. Но я говорил уже, что *все религии истинны* в том, что у них есть общего с Христианством — в идее *Святого Бога*.

Особенная же оптимальность, а следовательно и истинность Христианства — в идее *Божественной человечности*. Для вас, гуманиста, это может представить особенный интерес. Вот, позвольте, может быть, Вы не читали или забыли — я приведу здесь случайно сохранившуюся у меня маленькую выписку из одной книги уже названного в этих письмах христианского Философа. «...Мое религиозно-философское миросозерцание может быть, конечно, истолковано как углубленный гуманизм, как утверждение предвечной человечности в Боге. Человечность присуща Второй Ипостаси Святыя Троицы, в этом реальное зерно догмата. Человек есть существо метафизическое. Этого моего убеждения не может пошатнуть низость эмпирического человека. Мне свойствен пафос человечности. Хотя я убежден и убеждаюсь все более и более, что человеку мало свойственна человечность. Я теперь часто повторяю: «Бог человечен, человек же бесчеловечен». Вера в человека, в человечность, есть вера в Бога, и она не требует иллюзий относительно человека»... А в христианском Символе веры — художественный образ: Христос, Вечный Человек на небесном престоле восседает одесную Бога, Отца.

Термин «анонимные христиане» не я придумал, он обозначает феномен великого, священного значения. Конечно, называть так кого-либо можно только в третьем лице.

Продолжение следует.

С глубоким сочувствием.

10.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Далее Вы цитировали реферат — что должен быть какой-то высший смысл, когда сильному человеку не дается откровение религиозной веры. И Вы продолжали: «Я тоже думаю, что такой смысл есть. И поскольку направление развития человечества — желаемое и действительное — в сторону увеличения числа людей сильных (духовно, речь идет и у Вас и у меня, конечно, не о сверхчеловеках), то каковы же исторические перспективы веры?

И если принять Вашу концепцию свободного мира (все же, вопреки Вашим заверениям, мало отличающуюся от концепции деистов), если принять (на минуту) концепцию Верховной воли и Создателя, то не придем ли мы к выводу, что *Бог не хочет*, чтобы люди были верующими? Когда они росли, Он давал еще им подпорку, но теперь, скажет Он, вы взрослые, перестаньте же цепляться за материнскую юбку. Ведь вы — люди!»

Так Вы написали. Мой ответ Вам приходится начать с опровержения. Вы неправильно меня поняли, я имел в виду конкретные случаи арелигиозности сильного человека, а не то, что будто бы вообще религия есть удел только слабых. Мы знаем факты глубокой религиозности чрезвычайно сильных, великих людей. Да вот, например, наш известный Писатель[4]. Относительно же Вашего утверждения, что число духовно сильных людей будет по ходу истории непременно увеличиваться,— относительно этого утверждения я должен сказать, что не могу к нему присоединиться. Я преклоняюсь перед духовной силой Вашего оптимизма, но *такое* его выражение приводит меня в недоумение.

Каковы «исторические перспективы веры»? Не сомневаюсь, что Церковь веры пребудет до скончания века — до конца земной истории человечества. Всегда будут люди, слабые и сильные, которым откроется мистическая правда Христианства. Только здесь, в Церкви веры, хранится подлинная, единственная *Надежда* человеческого существования. Другое дело, что, по всей видимости, уже не будет «массового» (ужасное слово) исповедания Христианства веры. Это уже было в Византии, в Средние века на Западе, в царской России... Это была грандиозная дискредитация Христианства. Евангельские пророчества о земной Церкви в конце истории весьма пессимистичны. Истинное, *фактическое* торжество веры совершится, совершается за *историей* — в бесконечно таинственном *Воскресении всех*.

К сожалению, у меня нет сейчас текста реферата и я не могу догадаться, какие выражения могли быть причиной второго недоразумения. Нет, Христианство веры не имеет ничего общего с концепцией деистов. Говоря о Христианстве, нужно сразу же отказаться от самого этого слова «концепция». Христианство сверхразумно, оно не может быть выражено концептуально. На языке понятий здесь неизбежны прерывность и кажущиеся противоречия мысли. Мир отделен от Бога — и Бог присутствует в мире. Для верующего человека Бог всегда может быть таинственно ему близок,— и это зависит от веры, от свободы самого человека. Я недостоин говорить о мистическом опыте и буду пользоваться чужими словами — чувствуя, сопереживая их правду. В мистическом дневнике француженки Г. Босси (1955) есть запись, где Бог говорит: «Я уподобляюсь робкому человеку — Мне нужно, чтобы вы сделали первый шаг». Когда верующий человек стремится к Богу — тогда, только тогда и Бог приближается к человеку. Искренность же веры выражается в практике жизни. «Истинно уверовать свойственно душе мужественной» (преподобный Нил Синайский). «Героя создает случай, праведника — *ежедневная доблесть*» (не помню, кто это сказал). Тот, кто проявляет ежедневную доблесть, тот молится Богу Живому «*как искренний друг*» (выражение преподобного Исаака Сирина). Истинно верующий человек может просить даже чуда. «Ожидай великого от Бога, и делай великое для Бога» (Вильгельм Карей). Бог бесконечно далек, трансцендентен миру — но вот таинственная правда, выраженная где-то у Шиллера: «*Божество вы в вашу воспримите волю — и Оно сойдет к вам с мирового трона*».

Поэтому нельзя так говорить, что Бог «не хочет» нашей свободной веры. Но правильно будет сказать, что Бог действительно *не хочет* принудить нас к признанию Его рационально-обязывающими доказательствами. В этом смысле верно сказано, что возможность атеизма есть откровение о человеческой свободе. «Бога нет» — действительно «нет» для обычных, в частности, и научных средств познания. Но *Бог есть* в благодатно-свободном религиозном опыте человека. И *Бог есть* в глубине нашего существования — в свободе нашего выбора, как Святыня, Совесть, Любовь, Красота,— как идеальная, во Христе Божественная человечность. *Здесь, на этой земле, никакого другого откровения Бога не будет!*

Вот в таком смысле, если б осмелился, составил бы я, вместо Вашего, обращение Бога к свободным людям. Упомянул бы еще о невежественном человеке, который поклонялся Богу, пока думал, что это Он распоряжается громами и молниями. А как узнал невежественный человек, что это «электричество» — то изменил своему Богу. Поклонялся Силе — и изменил Святыне! Как это низко. Это — про «мужиков», забывших Бога. Зато — слава тем, кто сохраняет верность поклонения Святому Богу в этом видимом Его унижении. Это про наших церковных женщин. И тайное благословение от Господа тому, кто любит Его и страдает за Него без надежды.

Продолжение следует. Сердечный привет, мысленно я часто с Вами.

12.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Начинаю с покаяния — прошу прощения за «мужиков» в моем прошлом письме. Напрасно я обругал их, они не виноваты — ведь так их учили. Желая побольше прославить Бога как Силу, невольно дискредитировали Святыню. Избыток благочестия, когда думают, что Бог Самолично всем распоряжается, ведет прямой дорогой к атеизму. Так у нас хваленая мужицкая «простая вера» что-то уж очень быстро сменилась на мужицкий нигилизм.

Нельзя целиком винить в этом и бывшее церковное учительство. Ибо кризис учения о Боге продолжается и сегодня во всем мире. Названный раньше христи-

[4] А. И. Солженицын (примечание 1977 г.).

анский философ писал: «...Нам говорили, что Бог присутствует во всем. Но присутствие Бога невозможно найти в чуме и холере, в убийствах, в ненависти и жестокости, во зле и тьме. Ложное учение о Промысле вело к рабьему преклонению перед силой и властью, к апофеозу успеха в этом мире, в конце концов к оправданию зла. Этому противоположно трагическое чувство жизни. Бог присутствует в свободе, в любви, в истине и правде, в красоте. И перед лицом зла и неправды Он присутствует не как судия и каратель, а как оценка и как совесть. Бог и есть Тот, к Кому можно уйти от ужасов, безобразий, жестокостей мира»... Мне представляется, что философ прав. Но когда в житейском разговоре пробуешь высказать мысль, что стихийное бедствие или мучительная смерть ребенка — не от Бога, что это *поражение Бога*, временное торжество мирового зла,— то встречаешь недоверие со стороны своих же христиан православных.

Смотрите, вот я откровенно рассказываю Вам о наших трудностях и проблемах. Они как-то не задевают глубинной сущности Христианства. Конечно, оно переживает этот свой современный учительный кризис. Как? По всей вероятности, мы просто признаем принципиальную нерешаемость многих вопросов.

В заключение Вашего письма Вы указывали, что нас должно сблизить главное — общие оценки, общая мораль, и Вы приглашали ко взаимному уважению. Да, поразительно это таинственное *духовное единство* людей доброй воли. Я наблюдаю, как разнятся эстетические вкусы даже у очень культурных людей; а некоторые, как я, и вовсе не способны по-настоящему оценить красоту поэзии, музыки, живописи... Но когда мы видим прекрасный или безобразный поступок — в этой оценке все мы единодушны. Есть у нас общий *Идеал* духовной красоты, есть и пребывает невидимый *Центр* символического круга. Мы ведем с Вами этот разговор из разных, можно сказать — из диаметрально-противоположных секторов. Пусть (как я думаю) в Ваших умственных построениях Вы ошибаетесь; но как нельзя более ясно я понимаю и то, что душевно, *фактически* Вы гораздо, гораздо *ближе* меня к Центру.

Заканчивая письмо, Вы в глубоко трогательных выражениях просили у меня прощения — будто бы Вы меня огорчили. Что Вы, что Вы! Я *Вам так благодарен*. Общение с Вами для меня благотворно. Я уверен, что и всякий, кто прочитает Ваше письмо, проникнется к Вам симпатией и уважением. Удивительное явление: антирелигиозное письмо оказывает религиозное действие. Не сердитесь — я не пытаюсь против воли зачислить Вас по моему ведомству. Это *Ваше* ведомство — вера в человека. Но и для нас, христиан, человечность в ее идеальной сущности имеет религиозное значение. Христос — Человек, и там, где проявляется истинная человечность, мы видим Божественный свет.

Перечитывая мои письма, смущаюсь, что не мог достойно представительствовать от имени святого Христианства. Может быть, я посоветуюсь, попрошу помощи у людей более знающих — и тогда еще Вам напишу.

15.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

Послал Вам ответ в десяти письмах. А у Вас — когда-то у Вас появится еще возможность написать мне! Покорнейше прошу Вас — не лишайте очереди родных и друзей. Для меня, для нашей темы Вы можете повседневно записывать заметки, размышления: а потом, когда придет моя очередь — прямо в таком виде и перешлете. Я же буду пока заполнять этот перерыв в одностороннем порядке.

Не оценили Вы моего реферата. Пусть плохое исполнение — но тема, идея ведь замечательная. Впрочем, понять это могли бы только христиане веры. К ним собственно и обращен реферат. Вашему же сектору адресовано только приглашение переименоваться в *агностиков*. По этому поводу хочу привести одну сохранившуюся у меня цитату. Мне кажется, она близка Вам по духу, хотя Вы, вероятно, не согласитесь с суждением автора о науке. Не удивляйтесь — это Поль Бурже, из предисловия к роману «Ученик». Обращение к молодому современнику:

«В наше время смятенного сознания и противоречивых учений держись, как за ветвь спасения, за слово Священного Писания: «познаете древо по плодам его». Есть одна реальность, в существовании которой ты не можешь сомневаться, ибо ты ею обладаешь, ты ее ощущаешь, ты ею живешь каждую минуту: это твоя душа. Среди идей, теснящихся вокруг тебя, имеются такие, которые делают эту душу менее способной любить, менее способной желать. Считай достоверным, что такие идеи ложны в чем-то одном, хотя бы они казались тебе очень возвышенными, хотя бы их украшали чары наилучших талантов. Питай и воспитывай в себе две великие добродетели, две силы, вне которых нет ничего, кроме червоточины сегодня и агонии завтра: *любовь* и *волю*.

Современная наука, искренняя, скромная, признает, что за пределами ее анализа простирается область непознаваемого. Старик Литтрэ, бывший почти святым, великолепно говорит об этом океане таинственного, ударяющем в наш берег,— океане, который мы видим перед собой, который реально нам представляется и, однако, пуститься по которому мы не можем, не имея для этого ни лодки, ни парусов. И тем, кто скажет тебе, что за этим океаном таинственного зияет пустота, пропасть мрака и смерти, имей мужество ответить: «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ...»

Агностик так и говорит: *мы не знаем*. Он может прибавить, что лично у него нет религиозной веры в Бога. Не так поступает *атеист*. Он провозглашает: *мы знаем, что Бога нет*. А по существу это ведь значит: мы *веруем*, что Бога нет. Зачем Вам такая компания?.. Агностик — мирное и точное слово. И я продолжаю думать, что для агностика, если это искренний, глубокий человек — для агностика возможна религиозная *надежда*.

С сердечным приветом

19.8.74.

Глубокоуважаемый Кронид Аркадьевич!

На днях я побывал в другом городе и беседовал о Вашем письме — отклике на мой реферат — с моим другом Б... Это молодой человек абсолютной искренности и высокой культуры. Его суждения представляют для нашей темы особенный интерес, потому что в свое время он сам побывал в Вашем мире атеизма, хорошо его знает. К сожалению, в настоящее время он очень занят — написать ничего не успел. Передаю пока только самое общее содержание его рассуждений в самом кратком виде, как я их понял, своими словами.

Б. говорил, что его поразило страшное несоответствие уровней: вопросы, которые ставит себе человек, и ответы, которые Вы ему предлагаете. Спрашивает человек, *личность* в своем полном достоинстве. Спрашивает: в *чем Смысл и Надежда человеческого существования*? Истинный Смысл, подлинная Надежда. Ответ, который Вы ему предлагаете: весь смысл существования, вся надежда личности в том, чтобы исчезнуть навеки, предварительно поработав несколько лет в научном учреждении.

Апостол Павел написал: «*Скорбь и теснота всякой душе человека, творящего злое*». Человек согрешил, его мучает совесть. «В уме, подавленном тоской, теснится тяжких дум избыток»... Человек испытывает ужас от сознания своей подлости, неутолимое раскаяние в непоправимом поступке. Откуда в нас этот таинственный внутренний голос, ничем неподкупная совесть? Вы отвечаете: ничего тут нет страшного, ничего священного, ничего таинственного — просто это сигнал отклонения от нормы поведения, выработанной методом проб и ошибок для сохранения биологического вида.

Такие Ваши ответы Б. назвал унижением человеческого достоинства — унижением, тем более удивительным в устах достойнейшего человека. Вы — гуманист, а сводите человека, *личность* с ее абсолютными запросами на роль всего только научного сотрудника в институте. Это — разные уровни. Человек без Бога оказывается недостаточно человеком. Мораль без Бога оказывается аморальной.

Б. говорил еще и о ненаучности некоторых Ваших высказываний. Надеюсь, что он найдет все-таки время, сам обо всем этом напишет. Главный его вывод: Ваше мировоззрение не соответствует богатству Вашей личности.

В том городе я побывал в больнице у другого моего знакомого В. У него — опухоль мозга, уже были две операции... Страшные боли. В промежутках он говорит: «Ничего, *все хорошо*». Мне сказал: «*радуюсь*, что страдаю я, а не Таня (жена), не дети, не друзья». Жена с утра до вечера дежурит у больничной постели — вот уже третий месяц. Оба они недавно приняли Христианство — и вот, находятся в испытании такой великой, невместимой скорби.

В больнице я мысленно сравнивал судьбу Вашу и В. С какой радостью он принял бы взамен своего Ваше несчастье. Хотя и Вам бывает очень, очень трудно, но у Вас есть ведь надежда относительно благополучно завершить этот Ваш подвиг. С таким пожеланием сердечно Вас приветствую.

10.9.74

К. А. Любарский — свящ. С. А. Желудкову

Дорогой Сергей Алексеевич!

Я получил *все* Ваши письма, по 12-е включительно, и даже повторение письма № 5, которое, действительно, запоздало, и оригинал, и повторение были вручены мне одновременно. Видимо, сказалось содержание письма № 5: ведь в нем речь идет о покорности власти, и власть изучала, нет ли тут скрытой непокорности. Непокорности найдено не было, и письмо вручено. Так что, как видите, призывом апостола Павла осталась довольна не только древнеримская милиция.

Простите мне, ради Бога, эту парфянскую стрелу, не мог уж я, старый спорщик и поперечник, от нее удержаться. Но по той же причине не могу я удержаться и от этого письма. 12 писем, как 12 медных таблиц, гудят во храме и взывают к ответу. И вот я, отставляя в сторону родных и знакомых (а у меня их, как у кролика в сказке Милна о Винни-Пухе, много), пишу снова Вам.

Игривый тон, от которого я никак не могу избавиться в начале этого письма, вовсе не означает несерьезности моего отношения к теме. Сейчас мы перейдем... Просто у меня сегодня очень веселое настроение. И есть чему радоваться — уже и впереди не так уж все мрачно[5].

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни...

Ну, к делу! Положил рядом Ваши письма и буду следовать им. Поскольку у

[5] Тогда только что неожиданно были освобождены из лагеря и из тюрьмы политзаключенные С. Залмансон и С. Кудирка. Увы, надежды, пробужденные этим, были напрасны — это был лишь очередной ход в дипломатической игре. Но не напрасна радость — и все-таки Сильва и Симас свободны! (Примечание 1977 г.).

Вас есть их копии, то я могу обойтись без цитат. Это мне, лентяю, облегчает дело.

Итак, Вам не понравился нарисованный мною «Мир атеиста». Видимо, в этом виноват я, это недостаток моего философского и литературного дарования; не сумел я этот Мир нарисовать так, как я его чувствую. Жаль только, что Вы не объясняете, почему у Вас в этом Мире возникает острое чувство подавленности, несвободы.

Впрочем, нет, одно объяснение Вы даете. Это, якобы, то, что в этом Мире «запрещается иметь понятие о Высшем Интеллекте». Если это главное, то спешу Вас заверить, что это не так. В Мире атеиста *ничего не запрещается*. Я этого специально не оговаривал, ибо мне это казалось ясным само собою. Видимо, зря. Идея Бога не появляется в мире атеиста не потому, что она запрещена (Мир ученого несовместим с запретами), а потому, что в ней нет необходимости. Вспомните знаменитый ответ Лапласа Наполеону: «Сир, я не нуждаюсь в этой гипотезе».

Вы зря не остановили внимания на «лезвии Оккама», на принципе, который я сформулировал в своем письме. Этот принцип — центральный в мышлении ученого. Этот принцип *ничего не запрещает*. Он лишь предостерегает от поспешного введения в рассмотрение новых сущностей, идей, понятий, введения их тогда, когда необходимость в них не назрела.

Вы предлагаете мне «остановиться перед тайной», сказать «не знаю». Действительно «не знаю», ибо с точки зрения ученого не наблюдаю в Мире никаких проявлений Творца. Это не отрицает Творца, но и не доказывает Его существования. Но — внимание! — с той же степенью уверенности я могу сказать, что существует также и Икс, Игрек, Зет и любая другая сущность, для которой у нас нет даже названия. Я действительно не знаю, существует ли Икс или Зет, но и не *отрицаю* их. Если агностик последователен, то он должен наравне с Творцом допустить и Икс, Игрек и Зет (Вы спросите — что это такое? Не знаю, отвечу я, нечто мне неизвестное. Может быть, оно тоже есть). Вряд ли Вас устроит такое «незнание». Кто доказывает слишком многое, тот не доказывает ничего, гласит поговорка. Кто допускает существование слишком многого, тот не допускает ничего. Именно против такого беспредельного умножения сущностей[6] и направлено лезвие Оккама.

Сказать же «не знаю» лишь в отношении Бога, выделить Его как-то среди прочих сущностей Икс, Игрек, Зет агностик не может. Ведь выделить Его среди прочих неизвестных, значит уже по сути дела сделать Его известным, более известным, чем все прочее, признать Его существование. А это уже не позиция агностика.

Итак, Вы видите, что позиция агностика некомфортабельна. Для меня, неверующего ученого,— потому, что нарушает принцип Оккама, регулирующий мышление ученого, для Вас, верующего священника,— тем, что низводит идею Бога из величайших в рядовые. Не удивительно, что так. Любой паллиатив — неудовлетворителен.

Так обстоит дело с «запретами» в Мире атеиста. Нет их, этих запретов. Как только появится в этом мире что-либо настоятельно требующее введения идеи Бога, я первый поддержку ее. Но нет этого... А запреты в мире ученых вообще не в моде. Вы, видимо, знаете, что никаких гонений на верующих ученых (в том числе названных Вами и многих других) *со стороны неверующих ученых* никогда не было. Гнали, но не ученые, и это уже другой вопрос. Так что Вашу свободу в Мире атеиста никто не стесняет. (Не могу сказать этого же в обратном смысле: к сожалению, неученые верующие, бывало, гнали не только ученых неверующих, но и ученых верующих.)

Что касается приводимых Вами примеров, что и ученый может верить, то кроме замечания, что ссылка на личности — не аргумент, хочу отметить два обстоятельства. Да, верующие ученые есть, и немало, но большинство их, подобно Эйнштейну — пантеисты (оговорка его не случайна). А Вы сами чувствуете, что пантеист — «не тот» верующий, о котором идет речь, не случайно Вы с неудовольствием заметили эту оговорку. Второе: никто из ученых верующих не выводит идею Бога из своих наблюдений над Миром. Заметьте, все их декларации о Боге сделаны всегда в самой общей форме, без ссылок на какие-либо конкретные основания. Не так, как это делает ученый, рассуждая о чем-либо ином. Ибо любой ученый, кроме того, что он ученый, он еще и просто человек. И это «просто человеческое» и рождает в нем идею Бога (причины зачастую имеют сугубо личный характер), которая и проецируется им на сферу его профессиональных занятий. Итак, я не утверждаю, что ученый не может поверить. Может, но эта его вера не вытекает из его научных наблюдений. И не может быть иначе, ибо тогда это была бы не вера, а знание.

Так обстоит дело с позиции агностика. К вопросу же о вере вне знания, к вере — озарению мы еще вернемся.

Теперь — о ценностной характеристике Мира атеиста. Вам Мир смертных людей, человечество без загробной жизни представляется ужасающе несправедливым. «Лопух на могиле» — вот, по Вашему мнению, единственная награда в Мире атеиста, и все человечество Вам представляется лишь сплошной суммой нулей. Огорчили Вы меня таким плоским представлением.

Нет, Мир атеиста — это не обещание молочных рек и кисельных берегов для будущих поколений; человек в нем не сырье для создания неописуемо хорошей жизни когда-то потом. И человечество — не арифметическая сумма умерших и живущих людей

Вы думаете, человечество — это только три миллиарда людей, живущих сейчас на Земле? Нет, это они плюс гигантское материальное и духовное наследие всех живших до нас людей. Человечество — это мы плюс бесконечно сложные невидимые связи, которые создает между нами запечатленная наука предков, поэзия музыка, этика, религиозно-философский опыт (да, и он), все творения рук людей, до нас живших. Вот что такое Человечество, а не сумма нулей.

Вот — жил человек по имени Шекспир. Что же, если допустить, что нет загробного воздаяния, то ему остается лишь лопух на могиле? Нет, Сергей Алексеевич, и без загробного воздаяния ему остается наша — живая — память и любовь, благодарность за замирание сердца над диалогом Ромео и Джульетты, за слезы над судьбою Лира, за раздумья совместно с Гамлетом... Могила Шекспира чтится, а вот на могиле Гомера наверное и впрямь растет лопух, но значит ли это, что лопух — единственное ему воздаяние? Нет, в Человечестве реальном, а не в придуманной Вами сумме нулей, не умирает ничего, не умирает — и без загробной уплаты. Я сам помню Шекспира и Гомера, и знаю, что то, будут ли помнить меня, зависит только от меня. Постараюсь же жить так, чтобы заслужить эту память у своих детей, у потомков — вот так или примерно так рассуждает атеист. И как совершается это воздаяние, он видит — не в потустороннем мире, в который он может только верить, не у грядущих поколений, до которых он не доживет, а ежечасно, ежеминутно — сейчас, вокруг себя.

Так что я, видимо, был не совсем прав, говоря, что неверующий человек живет и работает бескорыстно. «Корысть» есть — это память поколений, в которой он хочет жить. Есть лишь одно великое отличие от «корысти» верующего. Воздаяние здесь такого сорта, что исключает любые формы торга. Для этого воздаяния индульгенций не купишь, сама идея эта в голову прийти не может. Здесь немыслимы изречения типа «не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Такое воздаяние не оставляет места для уловок.

Не лопух на могиле, а сопричастность к построению великого светлого мира — нет, не фантастических миров будущего — а того Мира, в котором мы живем с Вами *сейчас*. Да, я называю этот Мир светлым, ибо в нем, кроме болезней, войн, лагерей, предательства, есть — *уже есть* — «Илиада» и теория относительности, Парфенон и подвиг Альберта Швейцера, «Война и мир» и Руанские соборы Моне... Он уже построен, этот мир, и в то же время будет строиться всегда. И его построил Человек, а не некто извне, а значит, и мы с Вами, как люди, каждый в меру своих сил. И в этом — источник нашей гордости, в этом наше воздаяние.

Я не считаю такой мир несвободным или несправедливым. И этот мир *уже* видят не глаза другого, а *мои* глаза. И наличие мерзостей этого мира ничуть не противоречит сказанному. Эти мерзости — и есть точка приложения моих сил, скажет атеист, я не буду сидеть сложа руки и лишь наслаждаться райским пением. Наслаждаясь — я одновременно внесу в этот мир и свою лепту.

Итак, вот суть нашего несогласия в этом вопросе: Вы считаете, что Шекспир жив только в мире ином. Я же вижу его живым и в мире сем. И пребудет вовеки... У атеиста религиозное чувство в *этом смысле* заменяется чувством истории. Как-то на эту тему я написал Гале большое письмо, ею не полученное. Увы! Древнеримская милиция тоже ведь не всегда была либеральной.

Несколько слов по поводу Вашего замечания, что «нравственные атеисты» выросли в питательной среде христианской культуры. Это верно. Но верно и другое — само христианство возросло на питательной среде дохристианской культуры. И так далее, до бесконечности. Каждый из нас — результат длительной нравственной и культурной эволюции человечества, каждый впитал в себя это наследие предков, в том числе и то, которое запечатлено в христианстве. Вопрос лишь в том — считать ли христианство результатом Божественного откровения или формой записи человеческого опыта. (Как таковое, христианство включило в себя и ветхозаветные идеи, но конечно, как Вы верно заметили, к ним не сводится.)

В этой связи не могу не возразить самым резким образом против привлечения Вами столь популярных ныне слов Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все позволено». Мне эта мысль представляется глубоко неверной, более того, глубоко вредной. Это — концентрированная форма «рабства» по Григорию Богослову, уж отнюдь не сыновства и даже не наместничества. В этом-то и дело, что *не все* позволено, даже если Бога нет. Не *позволено* потому, что есть *люди*, кроме тебя самого.

Говоря об этом, мы тем самым перешли к следующей затронутой Вами теме. Вы говорите, что идеи страха и воздаяния, идеи рая и ада надо понимать как «внутреннее переживание». Особенно ярко Вы пишете об этом, когда речь идет об аде, и ссылки на Пушкина и Гоголя, Достоевского и Исаака Сирина — убеждают. Но — вот в чем дело: если геенское мучение — это раскаяние, если

[6] Зря Вы все-таки против слова «сущность» («Бог не — сущность»). Употребите любое другое слово. Ведь пишете же Вы сами, что Бог — «величайшее из слов». Величайшее, но все-таки слово. Так и сущность. Раз мы с Вами рассуждали о Боге, значит Он все же есть Нечто — идея, понятие,— подберите сами термин для обозначения того, о чем можно рассуждать.

(как Вы пишете далее) Бог выступает как любовь, красота, как совесть и оценка, то не достаточно ли самих этих понятий, вполне человечных? Зачем добавлять к этому идею Бога? Совесть, красота и т. д.— достаточно самодовлеющие понятия, ценные сами по себе, даже не соотнесенные с Богом. Их незачем проецировать на Бога. Их создал Человек — и это, наряду с прочим, то, что заставляет меня гордиться человеком-демиургом (почему он их создал — с моей точки зрения — я уже писал в прошлом письме). И придание этим понятиям Божественного смысла ничего к ним не добавляет. Более того — убавляет. Если человек чтит совесть и красоту сами по себе — это прекрасно. Но если ему для этого необходимо еще поддержать их Божественным авторитетом, то плохо дело. Значит, ему одной совести мало. Нужна ему палка, нужен хозяин. Тут-то и проникает в сознание то «рабство», о котором писал Григорий. Именно здесь одна из самых больших лазеек для тоталитарного мышления.

Кстати, где-то тут рядом обретается и «трудный текст» апостола Павла о властях. Вижу, что Вы и сами недовольны Вашим толкованием этого текста как текста ad hoc. Уж очень оно натянуто. Скажу лишь, что если это так, то включить подобный случайный текст без специальных пояснений в Книгу, которой придан авторитет Богодухновенности — серьезно ли, достойно ли? Тысячелетия этот — и другие — тексты требовалось понимать только буквально. И сейчас — один мой друг, хороший человек, верующий, с которым Вы, видимо, познакомитесь (не из номинальных христиан) — сказал мне недавно: «Если я хоть на минуту допущу, что Священное Писание надо понимать не буквально — то Бога нет» [7].

Так что текст действительно труден. И недостоин. Тут уж не сыновство. Тут рабство.

А предел покорности — душа — какое удобное это прикрытие для любого приспособленца! «Я, мол, тебе пятки лижу, но в душе я тебя, братец, ненавижу» — уж лучше бы он лизал пятки от всей души! Ведь устанавливая этот предел — в душе, Вы тем самым освящаете лицемерие. Нет, предел стоит ближе. Он включает и поведение человека. А то ведь даже Горький, и то писал о людях, бунтующих в тиши гостиных...

О мистическом опыте откровений. Да, мне известны подобные случаи. Сведенборг, например. Знаком я и с некоторыми очень впечатляющими *личными* рассказами. Это случаи крайние, и у меня есть на них своя точка зрения, которую позвольте мне не высказывать. Поговорим об откровении вообще, ибо вера, как таковая, как мы, кажется, уже согласились, не может быть приобретена знанием, а дается лишь в откровении.

Но тогда — вот что удивительно. Откуда такое фантастическое разнообразие догматических и схизматических оттенков? И ведь каждому явился Дух Святой, каждому было откровение, но он, получивший откровение, яростно гонит другого, получившего откровение. Это нам, ученым, можно спорить и ссориться. Наша наука — дело рук человеческих, естественны ошибки и несогласия. Но откровение — это Откровение Абсолютной Истины! Так нет же, и эта истина оказывается не абсолютной! В чем же тогда ее смысл?

У Мережковского в «Юлиане-Отступнике» есть великолепная сцена, когда Юлиан наблюдает за христианским Собором и с презрением смотрит на склоки и драки святых отцов, злобно не умеющих договориться ни о чем. Да и то — не такова ли вся история Церкви... Если так, то возникает вопрос: «Да было ли вообще кому-либо Откровение? Не может же Откровение быть таким мелочным, неполным, худосочным?!» Каждый, конечно, вправе объявить подлинным Откровением — свое, и только свое. Но это лишает разговор серьезности.

Здесь по внутренней логике Вашего письма Вы приходите к «догмам атеиста» и вновь утверждаете, что в «догмах атеиста» «сомнения неверующих запрещаются безусловно». Уму непостижимо, откуда это взято? Впрочем, я об этом уже писал в начале письма. Нет у атеизма никаких догм, и запретов тоже. Если, конечно, не рассматривать исключительно как атеиста какого-нибудь администратора, увольняющего с работы «за веру». Но я надеюсь, Вы понимаете.

Говоря же о запрете сомнений со стороны верующих, я тоже не имел в виду церковных администраторов, не суд над Галилеем. Администраторы всюду одинаковы — и в Церкви и вне ее. Я имел в виду внутреннее убеждение большинства верующих — «не христианин не спасется». Каждый из них в душе своей (а не административно!) изгоняет нас, неверующих.

Никаких подобных запретов у атеистов нет. К сожалению, слово это немного загажено всякими воинствующими безбожниками. Я вместо него предпочел бы слово «свободомыслящий». Оно не мною изобретено и сейчас широко используется для обозначения неверующих людей.

А позиция «не христианин не спасется» — вот уж поистине странная позиция. Не потому, что я жажду спасения — я ведь в него не верю. А потому, что я знаю, чем эта угроза является для само-

[7] Примечание 1977 г.: человек этот — А. А. Петров-Агапов. Когда я писал эти строки, я искренне считал его хорошим человеком... Улучшать прошлое — не хочу. В 1977 г. этот человек, выйдя из лагеря, опубликовал в «Литературной газете» статью-донос на своих бывших друзей (и некоторых единоверцев). Двое — А. Гинзбург и Ю. Орлов были сразу же за этим доносом арестованы. Статья А. Петрова-Агапова насквозь пронизана христианской терминологией (не скажу — духом...). А я считал уж его-то исключением, редким исключением из лагерных христиан. Где ты, «вера, воскрешающая мертвых»?!

го говорящего, знаю, какой смысл он в это вкладывает. Здесь зерно, которое разрастается дальше в «недоброе христианство».

Вы абсолютно правы: во многих из наблюдавшихся мною случаев налицо религиозная мания. Во многих — но не во всех. В этих других «недоброе христианство» цветет пышным цветом. Это христианство Великого Инквизитора. Да, это дискредитация христианства. Но, видимо, Вы должны подумать, что же есть такое в христианстве, что допускает такую дискредитацию. Ведь это не чьи-то сторонние злые происки?!

Из многих затронутых Вами тем тезис Паскаля представляется мне наиболее интересным. Звучит, правда, немного смешно: «мой ответ Паскалю» — кто Паскаль и кто я?! Но, думаю, все же прав я, а не Паскаль (это, конечно, не значит, что я умнее Паскаля. Я не умнее Ньютона, хотя на абсолютность или относительность пространства-времени смотрю вернее, чем он).

Заметим, для начала, что отказ от «проверки документов на владение» осуществляется отнюдь не по мотиву трудности. Мотив состоит в том, что неизвестно, существует ли сам объект поисков. Ведь приступая к разборке архива, надо иметь хотя бы какие-то основания для надежды найти в нем нужные документы. Иначе это будет напоминать поиски потерянной где-то монеты под уличным фонарем на том основании, что тут светлее. Искать надо не там, где светлее, а там, где монета обронена.

Вам этот мотив должен быть понятен. Ведь Вы тоже отказываетесь «проверять документы» иных религий. А почему, собственно? В Вашем отказе уже присутствует выбор, обосновать его Вы можете только априорной убежденностью, что Ваше переживание Святого Бога оптимально. А может быть, в иных религиях Вам откроются такие новые пласты Божественных откровений, каких Вы себе и представить не можете, и только поэтому Ваше переживание кажется Вам оптимальным? Может быть, Вы по отношению к этим неизвестным Вам откровениям находитесь в том же отношении, что и я — к откровениям христианства? Пишете же Вы, что Ваш опыт мистических переживаний беден...

А ведь среди других религий есть и не менее массовые, и более новые, хронологически следующие за христианством, как христианство за иудаизмом. Ислам, например. Но Вы отказываетесь взглянуть на его документы. И довод Ваш, что Вы стали христианином не только потому, что родились в России, в христианской среде — конечно, не убедителен. Именно потому и стали. Представьте себя индейцем или японцем — так ли бы развивалось ваше мировоззрение? Ну, ладно, пусть Вы *лично* не поэтому стали христианином. А как быть с миллионами русских и с миллионами индийцев? Почему «переживание Святого Бога» открывается только русским и не открывается индийцам? (Единицы христиан-индийцев, конечно, не меняют дела по существу). И умоляю Вас, не говорите мне об особом предназначении Святой Руси, об ее избранничестве. Хорошо вижу, к чему приводит это. Слишком хорошо. Начинается с избранничества, а кончается пухом из подушек. Это — лучшая антирелигиозная пропаганда.

И далее — почему, собственно, Вы полагаете, что я отказался от «проверки документов»? Вовсе нет. Я читал Библию, оба Завета, многое из религиозно-апологетической (и, конечно, критической) литературы, чрезвычайно подробно и много беседовал с верующими людьми. Многое мне хотелось понять, и, мне думается, многое я понял. Конечно, я знаком с религиозной философией хуже, чем Вы, неизмеримо хуже, но и не совсем уж невежда. И вот, в результате этой проверки я нашел эти документы не то чтобы фальшивыми, но с истекшим сроком давности.

Можно, конечно, потребовать, чтобы я еще и еще углублялся в церковную и религиозно-философскую литературу — пока не поверю. Требование это было бы приемлемым, если бы я (и любой человек вообще) думал только о себе. Я искал бы себе документы на дворец. Но, роясь в архивной пыли, я рискую оставить детей своих без дома вообще, дом оставить недостроенным. Пусть лучше я буду без дворца, но дети будут жить в теплом и удобном доме.

Хорошо, если документы будут найдены. А если нет? Как жить тогда? Вы скажете, что Вы *знаете*, что они непременно найдутся. Вы знаете, но я-то *не знаю*. И если я поверю Вам на слово и буду дальше и дальше искать документы, то тут-то как раз и будет наличествовать заранее сделанный выбор — убеждение, что документы есть, непременно есть и надо только отыскать их, и ради этого можно отказаться от строительства дома. Напротив, в отказе от дальнейших поисков такого тайного уже сделанного выбора нет: может быть — документы есть, может быть — нет, но и гоняясь за ними, я рискую остаться без дома для себя и для детей.

Тем более, что Вы мне подаете пример. Вы «не ищете добра от добра». Я тоже. Только добро мы понимаем — в этом контексте только — по-разному.

Итак, я все опять к тому же — Человек должен *сам* быть демиургом... Пусть строит то, что может. Зато сладки плоды трудов своих.

Недооценка этого постоянно сквозит в Ваших письмах. Все Человеческое для Вас велико лишь постольку, поскольку оно где-то в глубине своей озарено Божественным светом. Совесть — Бог, Любовь — Бог, Красота — Бог. Вы верно отмечаете, что было время, когда Бог был — молния, гроза, землетрясение, извержение вулкана. Сейчас мы знаем, что молния — это не Бог, землетрясе-

ние — тоже. Мы знаем, что это. Недра человеческой психики мы только начинаем проницать. Пока они еще не познаны нами, и всюду, где не познано, человек помещает Бога. Но так будет не всегда, и в этом порукой нам — непрестанное сокращение сферы Божественного. Сначала из нее выпали ручьи и деревья, придорожные камни и вулканы... Затем отпало и небо — физическое небо... остались недра психики... Но будет время, когда выяснится, что Совесть — это Совесть, Любовь — это Любовь. Не Бог. Станут ли они от того «хуже»? Я знаю, что радуга — это солнечный спектр, атмосферное явление. Но разве от этого я перестаю ею восхищаться?

Так стоит для меня вопрос о Боге. Не знаю, ясно ли я изложил, но, поскольку Вы в конце своих писем возвращаетесь снова и снова к этому вопросу, повторяю — я не «знаю, что Бога нет». Я, как Лаплас, пока не нуждаюсь в этой гипотезе. Я не «запрещаю» ее, но требую от выдвигающих ее серьезных оснований. Пока их нет для меня. Практика же — личный опыт и историческая ретроспектива — настораживают.

Если говорить честно, то если и есть «вариант» христианства, мне духовно наиболее близкий (если бы пришлось выбирать), то это — Ваш, изложенный Вами. Но — Вы правы — Ваши же братья православные Вас не понимают. Тут я со всех сторон слышу одно — что Вам надо покаяться.

А Ваш реферат я оценил — может быть, я, старый ругатель, просто хвалить не умею... Это великолепно — видимо, впервые христианин делает такой прямой шаг к, я бы сказал, «моральному экуменизму», не держа за пазухой камня фатальной загробной погибели для нас, неверующих. Это важный шаг. Без него трудно достигнуть того, о чем писал Толстой,— «объединиться всем хорошим людям» в противовес плохим. (Вы знаете эту его мысль, я точной цитаты не имею под рукой). Ну, а то, что я не принял «анонимного христианства» — посудите сами, как бы Вы восприняли, если бы я, желая Вас похвалить (для меня это высшая похвала), назвал бы Вас «анонимным свободомыслящим»? Или — еще того более — «анонимным атеистом»? Так что пребудем каждый в своей «епархии». Это не помешает, а поможет нам работать рука об руку. Ибо

...если все шагают в ногу,
мост обрушивается!

В разнообразии — многоцветье мира. И напоследок — маленькое замечание. Я бесконечно благодарен Вам за высокую оценку моей скромной персоны, но она преувеличена бесконечно. Я бы очень не хотел, чтобы самый факт приключившегося со мной ставил меня на неподобающий пьедестал. К сожалению, такие тенденции наблюдаются и не только у Вас, и не только по отношению ко мне. Попасть сюда и быть здесь — это еще не подвиг. Это страдательное, а не действительное достоинство. Мученик — комплимент весьма сомнительный, а я н и в к о е й м е р е н е м у ч е н и к. Вашу высокую оценку еще надо заслужить делом. Я постараюсь. А пока мне не по себе от не заслуженных еще похвал.

Все будет хорошо, милый Сергей Алексеевич!.. Ваши письма много для меня здесь значат. Пишите и простите за то, что следующее письмо будет не скоро.

(Лагерь 19, пос. Лесной, Мордовия)
13.9.74

Вместо заключения

Переписка началась в Мордовских лагерях, а окончилась во Владимирской тюрьме. Владимирский цензор и лица, его деятельность направляющие, куда менее либеральны, чем в Мордовии. Все больше и больше писем урезывалось цензурой или конфисковывалось (иные месяцы до 90% всей корреспонденции). Любое сообщение, выходящее за рамки банальных известий о благополучном здоровье, вызывало подозрения и страх.

Не минуло это и религиозно-философскую тематику. В ответ на мои протесты ко мне явился зам. начальника Владимирского Управления исправительно-трудовых учреждений (т. е. тюрем и лагерей) полковник Ларин и сообщил мне, что впредь мне ни на религиозные, ни на атеистические темы писать в письмах нельзя, так как в СССР... «церковь отделена от государства».

Полковник этот и поныне исполняет свои служебные обязанности.

Впрочем, взяв на себя инициативу окончания дискуссии, полковник сделал благое дело. Она уже фактически завершилась, и кому-то надо было поставить в ней точку. Почему бы это не сделать Ларину? Не так ли?

Ознакомившись по выходе из тюрьмы с последними, не дошедшими до меня письмами этого тома, я мог бы, конечно, еще кое-что возразить. Но стоит ли это делать?

Мне кажется, позиции сторон прояснены вполне: ясно, что объединяет нас, что — разнит. На большее вряд ли можно было надеяться.

Сейчас, оказавшись по эту сторону колючей проволоки (как говорили у нас — в «большой зоне»), я не хочу воскрешать умолкшую дискуссию. Довлеет дневи злоба его. Впереди иные дела — иные споры.

Кронид ЛЮБАРСКИЙ
г. Таруса
2.3.77 г.

Подготовка текста С. Лёзова

Людмила САРАСКИНА

В гордыне преодоления

К ВОСПРИЯТИЮ «БЕСОВ» В 20-е ГОДЫ

Семьдесят лет назад в журнале «Печать и революция» (1921, № 3) была опубликована статья В. Ф. Переверзева, посвященная столетию со дня рождения Ф. М. Достоевского и ставшая впоследствии классикой литературной критики,— «Достоевский и революция».

Все сбылось по Достоевскому — таков был общий пафос статьи; таким же казался ее автору и главный итог первых пяти лет революции. «Столетний юбилей Достоевского,— писал В. Ф. Переверзев,— нам приходится встречать в момент великого революционного сдвига, в момент катастрофического разрушения отжившего старого мира и постройки нового... Достоевский — все еще современный писатель; современность еще не изжила тех проблем, которые решаются в творчестве этого писателя. Говорить о Достоевском для нас все еще значит говорить о самых больных и глубоких вопросах нашей текущей жизни».

Как это ни странно, но и в нынешний год 170-летнего юбилея мы можем лишь подтвердить правоту этих слов — разве что с гораздо большим основанием. Пережив в очередной раз «катастрофическое разрушение отжившего старого мира», мы въехали из восемьдесят пятого в девяностые годы, как из семнадцатого в двадцатые,— с той же несбыточной мечтой о будущем и с той же рефлексией о прошлом. Вроде бы путь еще не пройден, но так же мучит соблазн подвести черту и проставить цену под новым опытом, так же манит желание «определиться», прозреть и принять некое окончательное решение. Да и сама действительность с ее непреходящим «так жить нельзя» то и дело напоминает о «тех далеких, о двадцатых»: вновь кружатся призраки смуты, хаоса, голода и безнадежья, вновь жизнь съеживается до размеров «борьбы с оппозицией», вновь в недрах общественного сознания брезжит идея сильной руки, уже однажды увенчавшаяся торжеством двадцать девятого года.

Отравленные, наркотизированные политикой, блуждая среди поставленных ею проблем, страстно и болезненно воспринимая все перипетии разворачивающейся на наших глазах драмы (или трагедии?), мы так же, как люди двадцатых годов, находим у Достоевского себя самих, мятущихся между лагерем радикалов и лагерем мракобесов, ищущих удовлетворения то в крайностях мятежа, то в крайностях консервативного смирения. Так же, как тогда, в двадцатые, мы пытаемся разгадать тайну ссоры великого писателя с революционной интеллигенцией и примериваем к нынешним былям неблагозвучную репутацию «апостола застоя», которую Достоевский заработал у радикалов своего времени благодаря «Бесам». Но не менее парадоксальным кажется теперь и то подозрительное, настороженное, сдержанно-опасливое недоверие, которое всегда испытывали к Достоевскому истинные охранители российских режимов.

Одним словом, перечитывая давнюю юбилейную статью о Достоевском, с некоторой обреченностью начинаешь понимать ее потрясающую современность: да, в дни революции Достоевского следует вспомнить не только ради столетнего юбилея, но и ради самой революции. Да: подход Достоевского к революции заслуживает глубокого внимания всех, кто взирает на развертывающиеся события, стремясь осмысленно на них реагировать.

Да: двадцатым годам и нашему времени для самопознания и самоопределения нужна школа Достоевского; «он помог бы нам сохранить ясность мышления и спокойную уверенность в обстановке революционной грозы, правильно реагировать на все перипетии революции, не пьянея от захватывающего дух широкого размаха ее, не впадая в панику от ее стремительных срывов».

Прозорливый критик В. Ф. Переверзев оказался прав: современная ему эпоха усердно и пристрастно занялась Достоевским. Рискну сказать больше: рефлексией на него — и прямой, и опосредствованной — во многом определялась общественно-политическая и художественная мысль богатых красками двадца-

тых годов. Достоевского усваивали, им манипулировали, с ним боролись, его тайно и страстно любили, открыто ненавидели, преодолевали и искореняли — опыт в высшей степени поучительный как для тех, двадцатых, так и для наших, девяностых: снова переломно-кризисных, снова постперестроечных, снова юбилейных.

Помимо идеологически чуждого юбилея Ф. М. Достоевского, двадцатые годы изобиловали своими собственными, идейно выдержанными памятными датами. Каждый год первого десятилетия революции был на юбилейном учете: в 1922-м исполнилось десять лет со времени основания легальной «Правды», в 1923-м праздновали двадцатипятилетие основания РСДРП, после 1924-го ежегодно отмечались дни памяти вождя. Все эти даты выступали в роли исторических вех, этапов пройденного пути и требовали осмысления и оценки.

Не случайно, что как раз в первые пять — семь лет после революции у ее идеологов и практиков возникает острейшее желание хотя бы на ходу, на бегу посмотреться в зеркало и задать себе пугающие вопросы: кто мы такие? откуда идет наша история?

Так была осознана потребность разглядеть начало, пролог, найти близких и дальних предшественников и как-то укорениться в прошлом. Отрекаясь от старого мира, первопроходцы революции хотели все-таки сохранить хотя бы некоторые ниточки родства с теми, кто, по их мнению, вскормил их и вырастил. Исторические корни и сколько-нибудь приличная родня давали новому режиму ощущение легитимности и как будто обосновывали его неизбежность, «историческую закономерность».

В многочисленных и разнообразных брошюрах массовым тиражом тогдашний политиздат и политпросвет вели широкомасштабную пропагандистскую работу по отысканию политически правильного прошлого. «Пролетарской молодежи наших дней,— говорилось, например, в предисловии к книге историка А. Гамбарова, специализировавшегося на русском революционном движении,— меньше всего подобает быть «Иваном, не помнящим родства»... Ныне, когда пролетарий победил, изучение нашего прошлого является уже задачей практического характера» [1].

Среди кого же искали большевики и большевистские историографы своих прародителей?

В 1924—1925 годах на страницах популярных партийных журналов «Каторга и ссылка», «Печать и революция», «Пролетарская революция» разгорелась весьма острая дискуссия (основные тезисы которой были воспроизведены совсем недавно в многочисленных и аналогичных «круглых столах») — «К вопросу о корнях большевизма».

«Нам давно пора вспомнить наших предшественников Зайчневского и Ткачева»,— начал разговор С. Мицкевич [2]. В статье «Русские якобинцы» автор утверждал, что знаменитая «кровавая» прокламация П. Г. Зайчневского «Молодая Россия» (1862 г.) содержала много таких лозунгов, которые смогли быть претворены только Октябрьской революцией. Сама же революция в значительной степени произошла по Ткачеву — путем захвата власти в заранее назначенный срок революционной партией, организованной на принципах строжайшей дисциплины; и эта партия, захватив власть, действует во многом теми методами, которые рекомендовал Ткачев. Русское якобинство, писал С. Мицкевич, в лице его первых провозвестников и последних могикан, умерло для того, чтобы воскреснуть в новом виде в русском марксизме — в революционном крыле русской социал-демократии — в большевизме.

Спустя год розыски «праотцев», предпринятые С. Мицкевичем в журнале «Пролетарская революция», были названы в этом же журнале «исторической напраслиной». Некто Батурин возмущался, что так называемые «праотцы» представлены как ближайшие предшественники современных большевиков. Отрекаясь от столь малопочтенных родственников, как Зайчневский и Ткачев, автор категорически заявлял, что все формы революционного движения до Октября чужды современному пролетарскому коммунистическому движению.

Предположение С. Мицкевича показалось в те поры, по-видимому, столь дерзким и крамольным, что журнал не ограничился полемической статьей, а попытался подстраховаться, поместив здесь же примечание редактора. «Статья т. Батурина,— торопился оправдаться редактор М. Ольшанский,— против статьи т. Мицкевича написана по моей просьбе, запоздала она благодаря болезни т. Батурина. Статья т. Мицкевича попала в наш журнал только потому, что я был в длительном отпуске по болезни» [3].

Показательно, однако, что в ту смелую эпоху двадцатых годов сверхосторожность редактора «Пролетарской революции» оказалась излишней. Очень скоро прозвучал ответ Батурину, выдержанный в спокойных, почти академических тонах. Как бы подводя итог дискуссии «О корнях большевизма», журнал «Каторга и ссылка» писал: «Нам, большевикам, незачем отказываться от наследства, полученного от якобинцев. Наследство это было неплохое, а мы оказались хорошими наследниками, мы значительно приумножили и переработали это наследство, чему помогло нам в особенности то, что мы к этому наследству присоединили еще огромное новое наследство — марксизм, а из соединения их... и получился ленинизм-большевизм» [4].

Теоретики и историки большевизма, испытав эйфорию и головокружение от побед Великой Октябрьской в те славные и откровенные годы — за редким исключением,— не стеснялись. Победителей не судят, а уж тем более не подлежат суду прародители победителей, их праотцы-предки. И даже к самым сомнительным из них «победивший класс» испытывал чувства вполне толерантные, что-то среднее между снисходительностью и признательностью. Срабатывала наивная и простодушная логика честных варваров: раз победа за нами, значит, и наши варварские методы самые что ни на есть верные — «единственно верные». Значит, и те, кто впервые эти методы опробовал или хотя бы предложил, также заслуживают свою веточку от победных лавров. Искреннее желание назвать вещи своими именами, а некоторые имена, пребывающие в тени или забвении, вытащить на белый свет и признать «своими», «нашими» подвигло многих тогдашних историков на весьма рискованные (как оказалось много позже) параллели и сравнения.

Известный русский историк М. Н. Покровский был, пожалуй, наиболее последователен в поисках генеалогического древа большевистских деятелей. В своей программной речи, произнесенной на заседании Социалистической Академии в феврале 1924 года и названной «Ленин в истории русской революции», он заявил: «У Ильича не только родство со всем племенем русских революционеров, но там у него есть кузины, есть двоюродные, троюродные, есть более близкие родственники, есть менее близкие» [5]. Ведь тогда, когда сюжеты и музыку революции каждый мог видеть и слышать, когда все (или почти все) ее герои продолжали функционировать, трудно было пытаться заметать следы или мистифицировать недавнее прошлое. Поэтому — одни с восторгом, другие вынужденно — должны были констатировать: «Не Ленину, конечно, учиться у русских якобинцев, как делать революцию. Приходится, однако, сказать, что одна проблема и проблема, чрезвычайно характерная для Ленина, была подготовлена и развита впервые русскими якобинцами. Эта проблема — захват власти» [6].

В общем, понятно, почему большевики не могли обойтись без *своей* истории революционного движения. Во-первых, их идеология и право на власть обосновывались ссылками на закономерность исторического процесса, на историческую неизбежность революции и победу пролетариата. Во-вторых, они не могли допустить, чтобы в сфере исторической науки возобладали оппозиционные точки зрения, тем более что сразу после революции стали писать свои истории небольшевистские авторы. В-третьих и в-главных: никак нельзя было обойти молчанием те одиозные фигуры революционного движения, чье сходство с большевиками бросалось в глаза и требовало политического комментария. И, поскольку эпоха еще не лишилась логики и остатков интеллектуальной честности, оставалось одно: отмести традиционную либеральную хулу в адрес «предшественников», признать их исторические заслуги, реабилитировать, обелить, подняв «до себя», и заставить это самое сходство служить обоюдной пользе.

И М. Н. Покровский отваживается на смелое признание: «Молодая Россия» во многих отношениях чрезвычайно пророческая прокламация. Я имею дерзость назвать ее в своих лекциях первым большевистским документом нашей истории, и мне кажется, что она заслуживает это название... Схема «Молодой России» очень напоминает ту, по которой действовали мы: революционная партия, захватывающая государственную власть и держащая ее в руках до тех пор, пока новый строй не пустит глубоких корней в землю. Это не какое-нибудь маленькое, временное, революционное правительство на несколько недель, а прочная, долговременная диктатура» [7]. То же самое отмечал и Ф. Раскольников в статье, посвященной истории русской революционной мысли 60-х годов XIX века: «Хотя наше генеалогическое древо нисходит через социал-демократический большевизм и группу «Освобождение труда» к «Черному переделу», непосредственно опираясь своими корнями в народничество «бунтарей-бакунистов», но отдельные и весьма существенные элементы «якобинской» «Молодой России» также вошли в идеологию наших непосредственных предшественников, а значит, и в нашу идеологию. От «Молодой России» ведут свою родословную все русские якобинцы 70-х годов...» [8]

Итак, отыскались ближайшие родственники большевиков по прямой, восходящей к истории русского революционного движения линии; выявилось необыкновенное сходство русского якобинства и русского большевизма; подверглась переоценке дурная репутация «праотцев», и впредь их следовало считать предтечами славного героического прошлого.

Однако какое отношение к этим экскурсам в прошлое и попыткам приукрасить историю русской революции имел Достоевский?

К моменту свершения Октябрьского переворота и в первые годы после него обида русских революционеров на Достоевского стала много актуальнее, чем прежде. Б течение четырех предреволюционных десятилетий демократическая

---

[1] А. Гамбаров. У истоков. Рабочее движение а России 70-х годов. С предисловием В. Н. Залежского. М.-Л., «Молодая гвардия», 1925, с. 3.

[2] С. Мицкевич. Русские якобинцы.— «Пролетарская революция», 1923, №№ 6—7, с. 25.

[3] «Пролетарская революция», 1924, № 7, с. 23.

[4] «Каторга и ссылка», 1925, кн. 3—4, с. 101.

[5] «Молодая гвардия», 1924, №№ 2—3, с. 243.

[6] Там же, с. 244.

[7] «Молодая гвардия», 1924, №№ 2—3, с. 244—245.

[8] «Молодая гвардия», 1924, № 4, с. 104.

критика упрекала Достоевского в злобной клевете на деятелей движения. Традиционной оставалась резко отрицательная реакция демократической общественности на роман «Бесы», который казался молодому поколению современных Достоевскому революционеров «уродливой карикатурой, кошмаром мистических экстазов и психопатии» [9].

Однако, если отвлечься от эмоционально-оценочной стороны обвинений в адрес Достоевского (с которыми новое поколение революционеров-победителей, разумеется, было солидарно), в содержательной части анализа «Бесов» имелся один весьма деликатный пункт, который портил все дело.

Подавляющее большинство радикальных критиков (П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский, П. Л. Лавров, Г. И. Успенский и др.) настойчиво подчеркивали: Достоевский нарушил правду жизни, **выдав часть за целое**. Мы, революционеры, **не такие, какими** изобразил нас Достоевский,— так звучало обычно *первое* возражение писателю. **Не мы** являемся прототипами бесов, выведенных в его романе,— примерно так выглядело *второе* возражение. Те, кого Достоевский имел в виду, **не имеют с нами ничего общего**,— таким было *третье*, наиболее болезненное, как окажется в перспективе, возражение автору антинигилистического романа.

Теперь на первый план исторического осмысления выдвигалась фигура Нечаева. Параллель «Нечаев — Петр Верховенский», «нечаевщина — бесовщина» в свете новой реальности требовала принципиальных политических комментариев.

Большевистские историки начала 20-х годов не могли не знать позиции предыдущего поколения революционной демократии по этому поводу. Они были прекрасно знакомы, к примеру, со статьей Н. К. Михайловского «Литературные и журнальные заметки», где критик утверждал: «...Нечаевское дело есть до такой степени во всех отношениях монстр, что не может служить темой для романа с более или менее широким захватом». Почему? Да потому что, подчеркивал Михайловский, нечаевщина не характерна для современного общественного движения и составляет «печальное, ошибочное и преступное исключение» [10].

Допустим, Михайловский не был авторитетом для большевиков-марксистов. Однако ведь им была доподлинно известна острейшая и бескомпромиссная критика Нечаева и нечаевщины столпами марксизма — Марксом и Энгельсом: во-первых, их брошюра «Альянс социалистической демократии и Международное товарищество рабочих», написанная через год после «Бесов», в 1873 году, н бескомпромиссно осудившая «ребяческие и инквизиторские приемы» Нечаева; во-вторых, полемика основоположников марксизма с анархистами-бакунинцами и бланкистами. Для Энгельса, в частности, авантюристическая деятельность нечаевцев — «грязная — и без сомнения очень грязная — сторона русского движения» [11].

Это и был самый деликатный момент. В том, что русские революционеры-народники 70-х годов дистанцировались от нечаевщины, из которой, как им первое время казалось, они извлекли практические уроки, не было ни лицемерия, ни демагогии — намерение никогда более не нарушать этических норм в борьбе за лучшее будущее отличалось и серьезностью, и искренностью.

Но могли ли большевики, только что прошедшие огонь, воду и медные трубы революции, как ни в чем не бывало присоединиться к «отмежеванию» от нечаевщины, заклейменной столь высокими авторитетами?

Без преувеличения можно сказать, что дискуссия о «прародителях» революции проходила в 20-е годы под знаком Нечаева — ключевой фигуры в той кампании, которую предприняли большевистские историки в целях реконструкции своей истории.

Эпизод Октябрьского переворота под пером летописцев зазвучал как заключительный аккорд «героической симфонии русской революции», последовавшей за «эрой прокламаций». Именно в таких выражениях уже в 1923 году изображалась история революции — ее первоначальная, «раннесоветская» версия. В книге М. Коваленского, историка новой ориентации, содержалась едва ли не первая по времени серьезная попытка «встроить» Нечаева и все с ним связанное в эту самую «героическую симфонию». «...Выступает Сергей Нечаев,— и какая это грандиозная фигура на пути русской революции,— восхищался историк.— Громадная революционная энергия, громадный организаторский дар, объявление беспощадной борьбы всему старому миру, осужденному на гибель, на исчезновение, низложение примата старой буржуазной морали и замена ее новой этикой — этикой революции, для блага коей все средства хороши... С этим громовым лозунгом «все для революции» — проходит перед нами этот сверхреволюционер. От него, от его морали, открещиваются всячески его ближайшие преемники по борьбе — чайковцы, но по его стопам вынуждены идти землевольцы, народовольцы, через каменные стены Петропавловских казематов подает он руку Желябову, печать его гения ложится на целый период русского освободительного движения» [12].

[9] Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. Т. II. М., «Художественная литература», 1964, с. 127.

[10] «Отечественные записки», 1973, № 2, отд. II, с. 331.

[11] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 18, М., 1961, с. 521.

[12] М. Коваленский. Русская революция в судебных процессах и мемуарах. Кн. I. Процессы Нечаева, 50-ти и 193-х. М., Изд. т-ва «Мир», 1923, с. 8.

История русской революции выстраивалась — теперь уже без тени смущения или стеснения — от «Молодой России» Зайчневского до революционного катехизиса Бакунина и Нечаева, от Нечаева до Желябова, и все эти славные вехи объединялись особой — революционной — этикой. «Сама этика пересматривается с новой точки зрения: революция — высший закон»,— как бы торжествует М. Коваленский и с пафосом преклонения добавляет: «Он (Нечаев — Л. С.) так же легко и свободно жертвует своей, как и чужой жизнью, великому делу революции» [13].

Итак, в построении новой истории были сопоставлены не столько события и деятели революции, сколько ее принципы и этические законы. Возвращая в историю революции ее демонов и утверждая их в качестве героев, архитекторы героического прошлого узаконивали этику и мораль победившей революции. Любопытно, однако, что никто из создателей новой концепции революционного прошлого не вступил в полемику с авторами «Альянса...» — Марксом и Энгельсом, никто не упрекнул их в мягкотелой интеллигентности и не заподозрил в приверженности буржуазной морали. Высказывания основоположников марксизма о реалиях русского освободительного движения, связанных с именами Бакунина и Нечаева, тактично замалчивались, для полемических же целей выбирались мишени побеззащитнее [14].

«Крупная фигура Нечаева,— продолжал историк,— не прошла бесследно в русской жизни, она вызвала против себя бурный протест среди всех поклонников автономной этики (!), всех тех, для кого революция не высший закон. Нечаев на долгий ряд лет остался отверженцем революции, ее изгоем, расстригой» [15].

Однако при всем сострадании к Нечаеву, оттесненному «моралистами» на обочину освободительного движения, чувство исторической справедливости, обуревавшее ученого, заглушалось иной страстью, иным стремлением: не столько реабилитировать революционное прошлое, сколько канонизировать практику революции и ее морально-этический кодекс.

Да и как можно было подвергать сомнению мораль революции, которая свершилась, победила и каждодневно себя величала? Как можно было не считаться с новой этикой, не только самоутвердившейся де-факто, но и де-юре утвержденной вождем революции? Не в 1905-м и не в 1917-м, а в 1920-м, 21-м и 22-м настойчиво, методически внедрялась в сознание «победившего пролетариата» законность любых средств, если только они полезны делу революции.

«...Мы отвергали индивидуальный террор только по причинам целесообразности, а людей, которые способны были бы «принципиально» осуждать террор... со стороны победившей революционной партии, осаждаемой буржуазией всего мира, таких людей еще Плеханов в 1900—3 году... подвергал осмеянию и оплеванию» — 1920 год [16].

«...Наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата... мы в вечную нравственность не верим и обман всяких сказок о нравственности разоблачаем» — 1920 год [17].

«...И мы говорим: «На войне мы поступаем по-военному: мы не обещаем никакой свободы и никакой демократии» — 1921 год [18].

«Ни один рабочий, ни один крестьянин не сомневается в том, что он (террор.— Л. С.) необходим: кроме интеллигентских кликуш, никто в этом не сомневается» — 1922 год [19].

«Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого» — 1922 год [20].

Обосновать и узаконить кровавые методы революции с полной определенностью и без смущения — стало категорическим императивом двадцатых, выполнением ленинских заветов в самом прямом значении. Да и имело ли смысл дальнейшее «припрятывание» Нечаева с его «Катехизисом», фанатизмом, упорством и — удивительным, феноменальным сходством революционного почерка, которое, по-видимому, не могло не изумлять тех, кто близко наблюдал вождя.

И вот в 1924 году появляется в печати курс лекций, читанных уже упоминавшимся историком М. Н. Покровским на

[13] Там же, с. 11, 13.

[14] Вряд ли объяснением подобного молчания может служить то обстоятельство, что впервые на русский язык «Альянс...» был переведен только в 1928 году. Статья Маркса и Энгельса о Нечаеве и нечаевщине, слывшая в среде русской партийной эмиграции как «разгромная», была издана в виде отдельной брошюры сразу после написания на трех европейских языках. Несомненно, что Ленину эта статья была известна — равно, как и доступна для чтения и сама брошюра. Более того: другая работа Маркса и Энгельса этого же цикла и написанная в том же 1873 году, «Бакунисты за работой» (только относящаяся к испанским, а не русским реалиям), была переведена на русский язык и издана отдельной брошюрой ЦК РСДРП под редакцией В. И. Ленина сначала в Женеве (1905), а затем в Петербурге (1906). Не связано ли в таком случае упорное неупоминание Лениным имени Нечаева, а его гвардией полемической статьи основоположников только нежеланием спорить с ними?

[15] М. Коваленский. Указ. соч., с. 13.

[16] В. И. Ленин. Детская болезнь «левизны» в коммунизме. — В. И. Ленин. Сочинения. Изд. третье, М.-Л., т. 25. 1931, с. 181.

[17] В. И. Ленин. Речь на III Всероссийском съезде Р.К.С.М. 2 октября 1920 г. — Там же, с. 391—392.

[18] В. И. Ленин III конгресс Коммунистического Интернационала. — Там же. т. XXVI, с. 464.

[19] В. И. Ленин. О международном и внутреннем положении Советской республики.— Там же, т. XXVII, с. 174.

[20] В. И. Ленин. Письмо Д. И. Каутскому по вопросу о терроре. — Там же, с. 296.

курсах секретарей уездных комитетов РКП зимою 1923—24 гг.— «Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX в.», где совершается решительный прорыв. «...В конце 60-х годов складывается в русских революционных кружках план,— пишет он,— который впоследствии столько осмеивался меньшевиками и который реализовался почти буква в букву 25-го октября старого стиля 1917 г.— план *назначенной* революции. Этот план назначенной революции, правда, в очень наивных формах, появляется у нас впервые в нечаевских кружках 68-го года». Так близко к констатации фамильного сходства не подходил еще никто, и М. Н. Покровский в эвристическом азарте придает своему открытию слишком эмоциональную окраску, как бы отмахиваясь от всех оппонентов сразу: «В настоящее время никакой грамотный человек не рассматривает Нечаева как какого-то полоумного бандита, который устраивал какие-то совершенно сумасшедшие подпольные кружки для проведения при помощи этих кружков какой-то полуразбойничьей революции. Нечаев,—это можно считать доказанным,— был в России агентом Бакунина, и нечаевская попытка была первой попыткой бакунинской революции в России» [21].

За короткое время — в течение трех-четырех лет — появилось множество брошюр, статей, исследований, воспоминаний о Нечаеве. И то, о чем современники Нечаева говорили с болью и тревогой, теперь превозносилось как высшая доблесть.

«Отступая временами от общепринятых правил нравственности, он действовал не из личных соображений, а во имя той высокой цели — которой посвятил жизнь» [22].

В связи с феноменом Нечаева создается посвященная ему историко-детективная литература, и там, живописуя хитрости секретной агентуры, погоню, тайную дипломатию, Нечаева характеризуют в тонах самых лестных и высокопарных: «Человек решительный, с железной волей, с закаленным характером, с диктаторскими замашками (в ситуации диктатуры вряд ли данная деталь выглядела отрицательно.— Л. С.), фанатично верующий в революцию, преданный ей до самопожертвования, стремящийся явно претворить свои мечты в действительность,— такой человек, пусть с макиавеллиевскими принципами, но зато в глазах своих врагов серьезный и опасный противник, не мог не привлечь к себе в то время пристального внимания правительства и его главного охранительного органа III Отделения» [23].

Рвение и усердие историков большевизма в возвышении Нечаева дошло даже до того, что в сборнике, посвященном группе «Освобождение труда», была помещена статья видного революционного деятеля А. Г. Дейча «Был ли Нечаев гениален?» [24]

Так или иначе, но первый этап реабилитации Нечаева, пока еще стихийный, завершился созданием апокрифической биографии и мозаичного жития, скомпонованных из разрозненных литературных источников. Став одним из главных героев документального романа [25], Нечаев приобрел репутацию пламенного революционера, который своим героическим поведением в Петропавловской крепости явил беспредельную силу духа и беспрецедентное мужество. Казалось, канонизация Нечаева, одного из бесов русской революции, завершена. Поражение терпел Достоевский, «оклеветавший» не только своих персонажей, но и их прототипов.

В самой истории посмертного возвышения Нечаева—от реабилитации до канонизации,— окончившейся все-таки разоблачением и анафемой (речь об этом впереди), есть нечто удивительно «достоевское»: будто речь идет о романном сюжете, трагикомической истории возвышения и падения. Но пока — еще об одном, может быть, самом ярком эпизоде «за здравие».

В 1926 году в издательстве «Московский рабочий» массовым тиражом вышла брошюра, имеющая для нашей темы принципиальное значение. Уже упомянутый нами А. Гамбаров выпустил в свет сочинение под знаменательным названием: «В спорах о Нечаеве. К вопросу об исторической реабилитации Нечаева». В то откровенное время в интервале между двумя вождями — одним, почившим, и другим, готовящемся к большой власти и большой крови,— очищение имени Нечаева «от мемуарной накипи» (выражение А. Гамбарова.— Л. С.) имело большой смысл.

В 1926 году Нечаева как будто признали окончательно и всенародно объявили — *своим*, «нашим».

Смысл исторической реабилитации Нечаева автор брошюры видел прежде всего в том, чтобы победоносно завершившееся революционное сражение осознало свои исторические корни, своих провозвестников и первопроходцев. Нечаев был торжественно провозглашен *предтечей*...

Но как же все-таки относится А. Гам-

[21] М. Покровский. Очерки по истории революционного движения в России XIX и XX в. М., Изд-во «Красная Новь», 1924, с. 64.

[22] А. Кунль. Нечаев. М., Изд-во Политкаторжан, 1929, с 20.

[23] Р. М. Кантор. В погоне за Нечаевым. К характеристике секретной агентуры III отделения на рубеже 70-х годов. М.-Л., ГИЗ, 1925, с. 8.

[24] История революционного движения в России. Группа «Освобождение труда» (из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич и Л. Г. Дейча). под ред. Л. Г. Дейча. Сб. № 2. М., ГИЗ, 1924.

[25] П. Е Щеголев. Алексеевский равелин. Книга о падении и величии человека. М., Изд. Федерация, 1929. Здесь Нечаев изображался как победитель равелина, разрушивший железную дисциплину крепости, морально разложивший тюремщиков и подчинивший их себе.

барова, признавая в Нечаеве истинного героя революции, к факту совершенного им и его подручными убийства студента Иванова, потрясшему всю демократическую Россию? Как расценивается аморализм, иезуитские и инквизиторские приемы политической борьбы, характерные для нечаевского движения?

А. Гамбаров будто бросает вызов всем тем, кто может назвать нечаевщину печальным отклонением от этических норм русского революционного движения. Не отклонение от нормы, а норма! Что же касается несчастной жертвы — студента Иванова,— то «убитый по постановлению революционной организации — студент Иванов действительно был предателем. Иванов собирался донести полиции на Нечаева и на всю организацию».

Гамбаров реабилитирует принцип Нечаева «цель оправдывает средства» на том простодушно-откровенном основании, что неразборчивость в средствах как раз и привела большевиков к победе в 1917 году: «Являясь далеким провозвестником классовой борьбы, Нечаев в истории нашего движения один из первых применил именно те приемы тактической борьбы, которые нашли более широкое и глубокое воплощение в движении русского большевизма».

И вот, пожалуй, самое впечатляющее признание на эту тему: «Если отбросить специфическую для 60-х годов терминологию «Катехизиса», то под его параграфами может подписаться каждый профессиональный революционер-большевик».

Все точки были расставлены; прошлое воскресало в лучах настоящего, история переосмысливалась и переоценивалась с позиций действующих моральных принципов. Пафос реабилитации, азарт сопоставительного анализа «тех» и «этих», радостное открытие сходства и родства уравновешивались чувством великого гражданского негодования в адрес клеветника, пасквилянта, мракобеса — Достоевского. Гимн в честь Нечаева и его последователей звучал у Гамбарова в унисон с анафемой автору «Бесов». Приговор был суров и обжалованию не подлежал: «Попытка умышленного извращения исторического Нечаева и нечаевского движения, данная Достоевским в его романе «Бесы», является самым позорным местом из всего литературного наследия «писателя земли русской» с его выпадами против зарождавшегося в то время в России революционного движения».

Сравнение с нечаевщиной, реабилитированной апологетами режима, чем дальше, тем больше становилось историческим комплиментом. Сопоставление же с компанией Петра Степановича Верховенского вызывало прежнюю ненависть. Смотреть в зеркало «Бесов» в силу его разоблачающего эффекта и уникальной оптики было непереносимо даже для победителей. К тому же: куда было деваться от нетерпимости, категоричности и раздражения вождя революции, который задолго до ее свершения постановил: «Что же касается «Бесов» — это явно реакционная гадость, подобная «Панургоау стаду» Крестовского, терять на нее время у меня абсолютно никакой охоты нет. Перелистал книгу и швырнул в сторону. Такая литература мне не нужна — что она мне может дать?» [26].

Однако на этом история реабилитации Нечаева отнюдь не завершилась. И хотя ее окончание выходит за хронологические рамки темы и связано уже с тридцатыми годами, есть смысл проследить за дальнейшими перипетиями этого поистине драматического и весьма поучительного сюжета.

Казалось, конец 20-х годов подвел итог поискам предков и воздал каждому из них должное. Но после 1929-го и в самом начале 30-х что-то неуловимо изменилось, и с «праотцами» стало не так все просто.

В 1931 году выходят воспоминания Веры Засулич, и в предисловии к ее книге (подготовленной к печати Б. П. Козьминым) указывается, что знаменитой революционерке «приходилось встречаться с крупнейшими людьми нашего революционного прошлого — от Нечаева до Ленина» [27]. Вроде бы все остается в силе. Но сама Засулич как будто не считает нужным следовать отлакированному и мумифицированному образу Нечаева — «пламенного революционера». Для нее он мрачный, «черный» человек, чужой в среде *ее* обитания. «Не взгляды, вынесенные им из соприкосновения с этой средой, были подкладкой его революционной энергии, а жгучая ненависть, и не против правительства только, не против учреждений, не против одних эксплуататоров народа, а против всего общества, всех образованных слоев... Даже к завлеченной им молодежи он если и не чувствовал ненависти, то, во всяком случае, не питал к ней ни малейшей симпатии, ни тени жалости и много презрения...» «Система «не убеждать, а сплачивать»,— считала Вера Засулич,— и обманом толкать на дело вела, конечно, к бесследной гибели большинства...» [28]

Нет сомнения, что в своих воспоминаниях Засулич была честна и искренна. Однако востребованность подобной точки зрения на «прародителя» большевистских вождей была симптоматичной. С начала 30-х годов в оценках Нечаева и нечаевщины появляется некоторая амбивалентность — за дело берутся историки большой дипломатической выучки.

Одна за другой выходят в высшей степени примечательные книги, подготовленные историком Б. П. Козьминым. Воп-

[26] И. Валентинов. Встречи с Лениным. Published by Chalidze publications. Benson, Vermont, USA, с. 85.

[27] Вера Засулич. Воспоминания. М., Изд. Политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931, с. 5.

[28] Вера Засулич. Воспоминания. М., Изд. Политкаторжан и ссыльно-поселенцев, 1931. с. 57.

рос о реабилитации Нечаева поставлен здесь на научную основу и решается по принципу «двусторонности». Одна сторона проблемы: взгляд на Нечаева á la Михайловский теперь «вряд ли найдет себе многих сторонников». И другая: «это еще не значит, что историческое значение деятельности Нечаева вполне нами выяснено». Следовал также вывод: «Материалы, которыми мы располагаем в настоящее время, еще недостаточны для полного пересмотра традиционного взгляда на Нечаева, несостоятельность которого (т. е. взгляда — Л. С.) стоит ныне вне всяких сомнений»[29].

Осторожность ученого, которая доходила до взаимоисключающих утверждений, может быть, и заслуживала бы уважения, если бы действительно приходилось искать впотьмах. Однако — и это отмечал сам Б. П. Козьмин — в распоряжении историков были документы и стенографические отчеты двух судебных процессов (самого Нечаева и нечаевцев), и совсем новые, послереволюционные, документы по нечаевскому делу, и мемуарная литература. К тому же речь шла не об исчерпывающем расследовании всех, в том числе и малоизвестных деталей нечаевской истории, требовавшем, бесспорно, времени и усилий. Спор велся вокруг принципиальных оценок доподлинно известного: «Катехизиса» Нечаева, его принципов и методов, истории убийства студента Иванова. Но, прикрываясь доводами научной добросовестности, Б. П. Козьмин медлил, тянул, находил отговорки, которые в любой момент дадут возможность повернуть в нужную сторону.

Во всяком случае, в публикации 1932 года[30] Б. П. Козьмин, перебирая все варианты и возможности «научного пересмотра дела», пишет об опасности как безоглядной реабилитации, так и безусловного осуждения Нечаева. Может быть, «третий путь», который обосновывался Б. П. Козьминым,— понять, что выбор Нечаева в контексте его времени был неизбежен,— и дал бы искомый результат, если бы не новые, наконец определившиеся тенденции эпохи.

В 1932 году умер историк М. Н. Покровский. И тут оказалось, насколько «методологически порочна» была его историческая концепция, насколько «опасны» были его теории и построения. Оказалось, что «многие представители этой «школы» — ныне разоблаченные троцкистско-бухаринские бандиты, прикрываясь антимарксистскими, антиленинскими взглядами и концепциями Покровского, разваливали исторический фронт, протаскивали свою буржуазную идеологию и всяческие контрреволюционные «теории»[31]. Решительная борьба против ошибочных взглядов Покровского, которую повели «ЦК ВКП(б) и лично т. Сталин», должна была мобилизовать советских историков на создание «подлинно марксистской исторической науки в СССР»[32].

В ходе кампании против Покровского и его школы особенно досталось тем самым «Очеркам...», где говорилось о плане назначенной революции. В конце 30-х годов БСЭ утверждала: «М. Н. Покровский, рассматривавший историю как «политику, опрокинутую в прошлое», в погоне за рискованными и чуждыми марксизму аналогиями объявил Чернышевского за программу «Великорусса» меньшевиком, Желябова, П. Г. Зайчневского, автора бланкистского воззвания «Молодая Россия», и анархистов-нечаевцев — большевиками, Ткачева...— «первым русским марксистом». И вот оргвывод: «Попытки модернизации и идеализации прошлого, попытки связать историю возникновения большевистской партии с народовольчеством... являлись антипартийными вылазками, ничего общего не имеющими с наукой истории. Не случайно, что несколько позже многие из этих «историков» были разоблачены как злейшие враги народа».

Итак, новый политический поворот тридцатых годов в корне пресек реабилитационные усилия предыдущего поколения историков. Тема нечаевцев-народовольцев как «праотцев» большевизма была запрещена, а «экс-родня» отдана на поругание историкам новой формации. И уже очень скоро последователи народников объявляются «презренной бандой изменников и предателей родины», использовавшей индивидуальный террор «в контрреволюционных реставраторских целях». «Изгнанные из рядов ВКП(б) агенты фашизма, презренные предатели родины, потеряв всякую почву под ногами, не имея никакой поддержки трудящихся масс, объединились в единую банду шпионов, диверсантов и убийц, поставив своей целью свержение Советской власти и реставрацию капитализма в СССР. В результате этого гнусного сговора в 1934 году ими был убит один из лучших учеников Ленина — Сталина — С. М. Киров; они подготовляли убийство вождя пролетариата и друга всех трудящихся — И. В. Сталина»[33].

Весьма любопытно, что здесь же, в 41-м томе БСЭ, была помещена и статья «Нечаев», автором которой был тот самый Б. П. Козьмин, еще несколько лет назад подыскивавший научную базу для реабилитации революционера Нечаева. Теперь, после наведения порядка в науке, Нечаев назван всего-навсего анархистом-заговорщиком. Теперь, наконец, Б. П. Козьмин вспомнил, что Маркс называл Нечаева «проходимцем», а Энгельс — «прохвостом», что сам Нечаев во всей своей деятельности «руководствовался личным честолюбием и интересами своей славы». Во всех деталях краткого жизнеописания сквозит безоговорочно негативное отношение к Нечаеву, без малейшего намека на возможность исторического сочувствия и тем более морального оправдания. Точка зрения на Нечаева как на «героя-неудачника» была отражена в партийно-правительственных документах, вошла в новый учебник истории, знаменитый «Краткий курс», и на многие десятилетия определила подход к теме.

Так сложился исторический парадокс: реабилитация Нечаева историками ранней послеленинской поры была акцией по абсолютным меркам безнравственной, но логичной; осуждение Нечаева историками периода становления сталинского режима было акцией в абсолютном смысле справедливой, но интеллектуально бесчестной. Постепенно прояснилась цель «контрреабилитации» Нечаева: за счет правды о Нечаеве скрыть правду о себе: осудив Нечаева, лицемерно отмежеваться от «плохих» методов — тех самых, которыми большевистская власть никогда не переставала пользоваться. Разрыв с Нечаевым и его революционными принципами создавала видимость дистанции между «теми» и «этими», исторический «негатив» должен был служить фоном «позитиву», «преодолевшему негативные тенденции».

Именно из этого параграфа советской исторической науки тридцатых годов берет свое начало господствовавшая вплоть до последнего времени[34] традиция изучения романа «Бесы», согласно которой «Бесы», конечно, памфлет и пасквиль, но на «плохих», «ультралевых» революционеров. За этот же параграф цеплялась и «реабилитация» «Бесов» в 70-е годы: Достоевский борется якобы с тем же «уклонением», с которым боролись Маркс и Энгельс.

«Роман «Бесы» являет собой анатомию и критику ультралевацкого анархизма... «Бесы» — роман о ложных путях общественной борьбы и опасностях, которые несет с собой анархическое бунтарство, лишенное жизнетворческой идеи и любви к человеку»,— эта эффектная формулировка, предложенная Б. Сучковым в дни празднования 150-летнего юбилея Ф. М. Достоевского в 1971 году[35], была, безусловно, событием, так как официально, с благословения газеты «Правда» (опубликовавшей речь Б. Сучкова), разрешила заниматься крамольным романом с «позитивной» стороны. Однако, несмотря на всю дипломатическую подоплеку новой идеологической установки, несмотря на ее весьма либеральное звучание, она содержала лукавый намек: «Бесы» должны быть отделены от русской революции — так же как Нечаева в свое время отделили от большевизма. Если официально провозгласить, что роман Достоевского касается не революционности как таковой, а лишь особой, весьма узкой, хотя и опасной, тенденции революционного движения, то будут сыты волки и будут целы овцы.

Так начался «трансконтинентальный» этап интерпретации «Бесов», когда следы романа и его пророчеств находили где угодно — в Японии, Китае, Индии, Кампучии, Италии,— только не у себя дома. За счет полпотовцев и маоистов, фашистов и неоанархистов, проходивших по линии «нечаевщины», оставались в тени политические бесы отечественного производства. «Бесы», используемые как оружие в борьбе с современными «ультра», теперь прикрывали деятелей Октября как бы слева. И, конечно, по сравнению с этим порой наивным, а порой и виртуозно-иезуитским прогрессизмом литературоведов и историков марксистско-ленинской школы, внезапно открывших «полезность» «Бесов», диким и злобным диссонансом звучали ретроградные постулаты «несгибаемых» достоевсковедов: «Бесы» — о **нашей** революции»... «Бесы» служили и продолжают служить реакционерам всех мастей в борьбе против революции и социализма»... «Бесы» — пасквиль, клевета на русское революционное движение, на социализм».

Как это ни парадоксально, но правы были они, ретрограды достоевсковедения заславско-ермиловской школы, а не прогрессисты 70-х годов; ибо «Бесы» при всей универсальности их духовного опыта — роман о путях русской революции, пророчество об ужасе русской истории — словом, «русская трагедия», как писал о «Бесах» С. Булгаков в канун европейского апокалипсиса 1914 года.

Сегодня следует признать, что историки из школы заклейменного Покровского были правы в поисках большевистской родни Нечаева, равно как и обличители «Бесов» безошибочно угадывали, в какую сторону направлен «указующий перст» Достоевского. И те и другие лишь перепутали знаки.

---

[29] Нечаев и нечаевцы. Сб. материалов. Подг. к печати Б. П. Козьмин. М.-Л.. 1931, с. 3.

[30] Революционное движение 1860-х годов. Сб. под. ред. Б. П. Козьмина. М., Изд. Политкаторжан, 1932.

[31] БСЭ, т. 45. М., ОГИЗ РСФСР. 1940. с. 868.

[32] Там же.

[33] БСЭ, т. 41, М., ОГИЗ РСФСР, 1939, с. 185-186.

[34] В начале 60-х годов вновь наметилась было тенденция к пересмотру личности Нечаева. Так, польский историк Людвик Базылев призывал советских ученых признать Нечаева «своим», отдать дань этому «истинному», «несгибаемому», «удивительному», «выдающемуся» революционеру и «блестящему организатору». С другой стороны, легендарно смелое и мужественное поведение на суде и в заключении давало повод и советским исследователям попытаться реабилитировать автора нечаевщины как историческую личность (см.: Н. А. Троицкий. Царские суды против революционной России. Саратов, 1976).

[35] Б. Л. Сучков. Великий русский писатель — В кн.: Достоевский — художник и мыслитель. М., «Худ. л-ра». 1972, с. 15.

Вл. НОВИКОВ

Европа плюс Москва

Наши за границей... Тема столь же волнующая, сколь неисчерпаемая. Марбург от Ломоносова до Пастернака. Франция — от «Стихов похвальных Парижу» Тредиаковского до цветаевского прощального «нету нежнее страны»... Бросишь мысленный взор на Запад — и сразу возникают разные картинки. Вот Карамзин с Кантом беседует (без переводчика, natürlich), вот он же тихо и анонимно заходит в Париже в Национальное собрание, чтобы послушать споры между Мирабо и аббатом Мори. Вот Гоголь, размышляющий над тайной «вечного Рима»... А вот наши сегодняшние писатели, прибывшие в этот древний город, чтобы укрепить связи со своими же соотечественниками и приятелями, проживающими ныне за рубежом... Словом, всего не вспомнить и не переговорить.

Почему я так издалека начинаю разговор о книге Алексея Парина «Избранные стихи»? Да потому, что соотношение русской и европейской духовности оказалось главным нервом его литературной работы в разных жанрах — будь то лирика, стихотворный перевод, театральная критика или культурологическое эссе. С нами беседует человек, для которого культура не знак престижности, не предмет ритуального почитания, а работа. Конечно, не подневольная, а радостная, но требующая постоянного напряжения и сосредоточения:

Это серая глыба Берлина
лица леплены из пластилина
синеватого с грубой основой
и по глыбе асфальта свинцовой
и по пепельной глыбе домов
я карабкаюсь к сути умов.

К сути умов, то есть к разгадке иного, иноязычного сознания (или «ментальности», как любят говорить сегодня) движется авторская мысль в стихах о Германии и Франции, о Варшаве и Лондоне. Часто ли встречаешься в современных стихах о загранице с такой лирической позицией, с такой творческой установкой?

Да нет, здесь преобладают две совершенно иные модели. Одна — эгоцентрическая, когда все страны и культуры, все многоцветье планеты служит не более чем фоном для монументальной фигуры автора. Монументальной, конечно, при взгляде «отсюда», а не с Запада, но доверчивый наш читатель многие годы наивно внимал рассказам о триумфальном шествии отечественных лириков по всему свету.

Другая модель — поскромнее, но тоже не свободна от амбициозности. Дескать, приехал я в эту Европу и ничего особенного здесь не вижу. Ну да, комфорт, изобилие. но духовности, конечно, маловато. Ладно, чего уж там, поделимся с ними нашей духовностью, мы народ щедрый.

Между прочим, я пересказываю — «презренной прозой», но довольно близко к тексту — вполне конкретные стихи очень достойных поэтов, прочитанные мной в самых что ни на есть прогрессивных журналах. Наверное, для того чтобы увидеть, понять, вобрать в себя чужое,— одной прогрессивности мало. Чтобы не оказаться всего лишь туристом, писателю требуются какие-то знания, навыки и умения, причем такие, что вырабатываются на протяжении многих лет.

Когда человек еще до своей встречи с Европой включен в систему европейских ценностей и представлений, то его ждут не изумление и не разочарование, а нормальный диалог. Вдумайтесь: ведь абсурдны и смешны категоричные суждения о европейцах со стороны людей, не поговоривших с иностранцами на их языке. Думаю, будущие историки русской литературы с сочувствием и сожалением напишут о нескольких поколениях писателей, чье творчество да и вообще духовное развитие были искажены «одноязычием». Ведь все классики — от Ломоносова до Блока — да и такие классики нашего столетия, как Ахматова, Пастернак, Булгаков, Набоков, многое обрели от владения «чужеземным» словом. Может быть, в будущем мы вернемся к старомодному представлению о писательской культуре?

Тогда поэтам-переводчикам, можно считать, повезло. Но суть все-таки не в собственно лингвистическом полиглотстве, а в степени творческого владения культурным многоязычием. Парин переводит с множества языков (вспомним, в частности, вышедший в 1990 году томик «Французская средневековая лирика»), а как поэта-лирика его интересуют прежде всего духовно-эмоциональные доминанты европейских литератур. Вот он

занимается «сравненьями в духе прошедших веков». Во французских рифмах он видит контуры парижского особняка. Далее — «стихотворенье английское словно руина заросшая юрким плющом». Потом — немецкая поэзия, где «пахнет щебечущим лесом», где «на пригорке склонясь девушка плачет». А в конце, после этих развернутых зарисовок, лаконичное двустишие:

В русское стихотворенье
глядят исподлобья
адавленные глубоко скорбные очи поэта.

Вот с таким «русофильством» просто нельзя не ощутить духовную солидарность. Ибо здесь речь не о превосходстве, а о своеобразии. Действительно, человеческое лицо, «скорбные очи» — доминанта русской лирики. Так наша поэзия видится в контексте поэзии европейской, хотя, конечно, перед нами не «объективное» научное исследование, а в высшей степени субъективное и самостоятельное видение культуры.

Должен сказать, что чисто «путешественная» сторона паринского «европеизма» не так уж обильна. Главное — не сколько ездить, а как и зачем. Ведь в Европе можно Россию найти, а в России — Европу. В крымском Судаке, например, поэт подслушивает перепалки итальянских кумушек. И дело не только в том, что раньше тут была построенная генуэзцами крепость. Надо ведь эти разговоры еще и сквозь временную толщу уловить.

«Европейскость» — это плотность и прочность построек, обжитость пространств, интенсивность внутренних связей в духовных структурах. А что же у нас — могло это быть, нужно ли было, есть ли сейчас?

Парин верит, что европейское не есть чужое, что это — наше. Под знаком легкой иронии, но вместе с тем всерьез выстраивает он свою лирическую утопию, где нет ни пространственных, ни временных границ, перегородок, разделов, где все вместе:

Но мне пожалуй что всего милей
среди живых и умерших людей
— чтоб все без исключенья длились лица —
средь книг в большой квартире
поселиться
близ цюрихского озера и жить
пока любовь моей подруги длится
пока не перестанут ворожить
нам звезды Цюрих пышен как столица
но в нем московский не умрет уют
и волны озера о берег бьют
Страстной бульвар и
Люксембургский сад
там будет рядом...

Не спешите упрекать автора в избалованности и склонности к роскоши. Не стоит и прикидывать, сколько стоит в валюте большая квартира у цюрихского озера. Речь ведь совсем о другом.

О том, что соприкосновение с европейской культурой может усилить, удвоить наше духовное зрение. Что увидеть в России Европу необходимо и для того, чтобы увидеть в России Россию, «расшифровать» пестроту Москвы, уловить музыку нашего Севера. Об этом думаешь, читая, к примеру, «Два этюда об иконах», где тонко и трепетно «озвучивается» успение Богоматери:

Над телом дождь свечного света
а я лежу душой мала
в струях сыновнего тепла
дыханием небес согрета

Религиозные мотивы в книге Парина связаны с постоянным и несуетным освоением многоязычного наследия христианской культуры. Поэтому автор счастливо избежал той вычурной экстатичности, той спекуляции верой, той эгоцентрической гордыни, что весьма характерны, к сожалению, для многих нынешних стихотворцев.

Гордыня — обратная сторона самоуничижения. Европа же всегда учила русских спокойному самоуважению. Точнее даже, не учила, а помогала найти в себе самих собственное чувство достоинства. И сегодня в наших вечных российских поисках идеальной пропорции между «я» и «мы» можно еще очень многое из европейского опыта использовать.

Еще одна грань «европеизма» — уважение к профессионализму, мастерству. Вера в некое «содержание», которое может существовать вне формы и превыше формы,— разрушительная иллюзия и в жизни, и в искусстве. В книге Парина немало раздумий о слове живом и мертвом, о долге творческого самосовершенствования:

На обструганной рифме
явственный след омертвенья
след обморожения чернота некроза
плывет бесформенной лавиной проза
А как без музыки остановить мгновенье?

Поэт увлечен стихом как таковым, для него строка — не условная единица текста, а сгусток душевного движения. Читаешь книгу — и взор приковывают строки: «Доверься времени и смерти...», «Нас музыка научит жить...», «У слова тоже есть душа и плоть», «И души греть о доброту...» Парин тяготеет, если так можно выразиться, к метрическому и ритмическому многоязычию. В его речи нет мелодической инерции, неощутима граница между каноничным стихом и верлибром. Разнообразие, не лишенное опасности: так ведь контуры индивидуального мира могут оказаться размытыми. Впрочем, судя по размеченной в книге хронологии, автор со временем все больше стремится к твердой ритмической определенности.

А завершить я хочу тем же, чем заканчивается книга стихов Алексея Парина. Давайте же и мы вместе с поэтом увидим омытый апрельским ливнем мир, где — в Париже, в Москве, везде —

по бульвару идет Беатриче
и ведет за собой в парадиз.

Вл. НОВИКОВ

Свежими очами

— это четвертая, «осенняя» статья нашей рубрики. Получилось так, что Александр Агеев, не ставя перед собой специально такой задачи, в известном смысле подвел итог в заочной дискуссии выступавших до него коллег-критиков: Станислава Рассадина, Анатолия Бочарова и Михаила Золотоносова. Его рассуждение о множественности художественных миров мы предлагаем вашему вниманию.

Александр АГЕЕВ

Прерванный сон, или Тень Белинского

1

Я принялся за эту статью в конце июля — начале августа.

Напомню: шло тусклое, какое-то неопределенное лето. Горбачев смущенно улыбался в Лондоне, потом Буш — в Москве. Политика всем надоела, и газеты, которые ежедневно, вяло и занудливо, хотя и не без тайного сладострастия, пророчили катастрофу, никто не читал. Преобладающим психическим состоянием соотечественников был некий отчаянный стоицизм, переходящий в нигилизм. Матери семейств терпеливо стояли в разнообразных очередях и подсчитывали запасы: хватит ли на зиму? На пригородных землях, впрочем, успокоительно зеленела картофельная ботва — знак последней и главной гарантии национального спасения...

Литература — даже в сознании людей, связанных с нею профессионально,— была отодвинута куда-то в сторону. Журналы привычно опаздывали — одни в прямом, другие в переносном смысле.

Было «скучно и грустно», поэтому во вступлении к своей статье я мрачно иронизировал по поводу легкомысленного, роскошно-чувственного названия рубрики, в которой мне предстояло выступить. Найти в СССР образца 1991 года, да еще и среди профессионально-угрюмых и желчных критиков «свежие очи», и не одну пару, представлялось мне невозможным. И я объяснял дальше, разворачивая ряд необходимых банальностей, почему именно. Потому, например, что критика не способна обогнать литературу, ее судьба — отставать и судить сегодняшний день по вчерашним законам. Потому, что прошлое — свое и своей страны — мы можем ненавидеть, но еще не в состоянии преодолеть. «Иной раз кажется,— писал я тогда,— что все наши усилия, направленные на преодоление прошлого, приводят только к тому, что прошлого (того, понятно, с которым хочется поскорее расчитаться) становится все больше и больше, и оно обступает нас все теснее и теснее. Похоже, что с тем «наследством», от которого мы в самом начале перестройки надеялись отказаться легко и небрежно, нам предстоит долгое и драматическое прощание — с описями и нотариусами, процессами и свидетелями. А это значит, что еще довольно долго всякая новизна и всякая «свежесть», явившись в жизни, литературе или критике, будут иметь смысл и оцениваться не сами по себе, а в соотношении с ходом сложного и запутанного «процесса о наследстве». Может быть, до того момента, когда этот непреодолимый сегодня контекст сменится другим, пройдет не один десяток лет. Из этого вроде бы следует, что сначала нужно заплатить долги, а уж потом, исходя из оставшейся наличности, смиренно затевать новое дело. С другой стороны, если не начать нового дела, откуда взять средства на отдачу долгов?»

Примерно через месяц после того, как я отстучал на машинке это рассуждение, случился переворот, которого хватило на три дня. В том, что он провалится, сомнений не было с самого начала: вся советская история и шесть лет «перестройки» основательно подточили веру в то, что на этой несчастной земле можно не только н а ч а т ь, но и з а к о н ч и т ь. Переворот, судя по первому его дню, был типичной социалистической н е з а в е р ш е н к о й — на второй день строительства иссякли ф о н д ы и были срезаны л и м и т ы. Его нужно было только п е р е с т о я т ь, что прекрасно поняли Ельцин и его команда.

И все-таки в дни переворота я испытал момент отчетливого страха. Не из-за пыльных, нафталином воняющих рескриптов Янаева и компании, нет. Мне стало страшно, потому что я услышал тихий, но многомиллионный вздох облегчения. Да — многие миллионы людей, проживших шесть лет в недоумении и растерянности, вздохнули с облегчением, ибо кончилось н е п о н я т н о е и вернулось понятное, обжитое, привычное. Этот вздох облегчения мне, к сожалению, не примстился: его зафиксировали социологические службы, проводившие в те достопамятные дни свои опросы. Почти половина опрошенных высказала удовлетворение сменой власти и надежду на улучшение своей жизни. Не знаю, как в столицах, а в провинции, где я живу, очень многие так называемые «простые люди» (отнюдь не коммунисты-аппаратчики и даже не старики-ветераны) осторожно улыбались и с интересом толковали об «инвентаризации» всего государственного имущества, которую заговорщики обещали провести за какой-то смехотворно короткий срок.

Потом, в дни победной эйфории, было очень неловко читать в газетах заголовки типа «Мы — не «совок». Мы — великий народ» (ЛГ, № 34). Я не знаю, «великий» ли «мы» народ и в чем конкретно должно выражаться народное «величие». Боюсь, что такие эпитеты — способ специфической компенсации, необходимой народам, в практической своей истории несчастным и неустроенным. Что же касается «совка», который был естественным союзником путчистов, то численно — не будем обольщаться — он по-прежнему преобладает среди наших сограждан. Его пассивность на этот раз сыграла благую роль, но насколько этого хватит? Ответить на вопрос легче легкого: настолько, насколько хватит хлеба и картошки, а с ними в этом году будут, похоже, проблемы.

Спасло нас на этот раз не то, что мы «великий» народ, а то, что мы — с недавних пор — народ р а з н ы й, то, что за годы «перестройки» мы успели выделить из своей среды целый ряд социальных м е н ь ш и н с т в, которые своей активностью уравновесили органический союз пассивного «совка» и бездарной государственной верхушки. Немалую роль сыграло и наличие на момент путча н е с к о л ь к и х и р а з н ы х реальных сил, среди которых не только новорожденные политические партии и республиканские, городские и районные власти, но и узнавшие вкус свободы средства массовой информации, и крепнущий капитал. Нейтрализовать все это сразу и вдруг оказалось невозможно, и это — урок, в том числе и для тех, кто недоволен «раздробленностью демократического движения» и бездумно твердит лозунги о «консолидации», «единстве», «согласии». Было бы достаточное количество субъектов «консолидации», а уж ситуация заставит да и определит — кому с кем консолидироваться.

Настаивая на мысли о «разности» как спасительном факторе, хочу сказать, что и раньше мы не были на одно лицо. Однако жизнь в тоталитарном государстве так или иначе принуждала человека быть совместимым со своим обществом, инстинктивно или сознательно ориентироваться на некий стандарт. Не так уж много было среди нас идеально отформованных «кирпичей», но, с другой стороны, и явные «самородки» имели некую отполированную «грань» для контакта с миром. Когда давление тоталитарного государства ослабилось, мы попытались стать самими собой, то есть принять форму, обусловленную внутренним нашим — р а з н ы м — содержанием, а не высочайше утвержденным типовым чертежом. Это был процесс не только радостный, но и болезненный, что хорошо понял, например, Вацлав Гавел, говоривший в своей речи «О ненависти»: «...надо ли удивляться, если эта долгие годы не обнаруживавшая себя, а поэтому достаточно не прочувствованная и не осмысленная «инакость» могла показаться странной? Избавившись от униформы и сбросив маски, которые были нам навязаны, мы, собственно, впервые видим истинные лица друг друга. Происходит нечто вроде шока от «инакости». А тем самым создаются и благоприятные условия для возникновения коллективного отпора, который при определенных обстоятельствах может перерасти и в коллективную ненависть» («Знамя», 1991, № 6). Во всяком случае, уровень конфликтности в нашем обществе быстро повысился. Стало необычайно шумно, никто никого не слышал, и все отчаянно толкались локтями. Тогда, кстати, и начались столь популярные в последние три-четыре года разговоры о «гражданской войне». Конфликт же, собственно, состоял в том, что людям скомандовали «вольно», попытавшись во что бы то ни стало сохранить общий строй. Правами и свободами, которые мы теоретически обрели, было невозможно воспользоваться, не толкнув соседа,— таким тесным оказалось наше социальное пространство, спланированное по убогим рецептам тоталитарной идеологии. «Инакость», которая всем мешала, впервые, пожалуй, была востребована и доказала свой созидательный характер во время путча. Кроме того, путч объективно сыграл роль долгожданной команды «разойдись», спровоцировал классическую ситуацию выбора. Старое социальное пространство оказалось взорвано, и теперь мы действительно «разошлись», вернее, получили право «разойтись». Это чрезвычайно ответственное право, и воспользоваться им нужно во благо, а не во зло. Тоталитарный режим навязал большинству из нас, едва ли не всем, очень бедное, упрощенное видение мира, сумел свести весь глубокий объем жизни к унылой плоскости, перегороженной баррикадами «борьбы». Ведь для многих и многих, к сожалению, «разойтись» будет означать всего лишь «разойтись по разные стороны баррикады», рассчитаться на «левых» и «правых» и продолжить «борьбу» за власть над пустой плоскостью. Нам с детства внушали всеобъемлющий принцип «или — или», но нормальная, ничем не стесняемая человеческая жизнь естественно строится по принципу противоположному: «и — и». Кроме «права» и «лева» есть еще «верх» и «низ», кроме «запада» и «востока» — «север» и «юг», и так во всем. Не пора ли

нам, завоевавшим право быть разными, осваивать *разные* измерения нашего социального пространства, преодолевать его нынешнюю тесноту и одномерность? В этом мире, если его по-настоящему увидеть, много миров, в нем хватит места всем — коммунистам и монархистам, анархистам и гомосексуалистам, националистам и космополитам. Но человек, чтобы сохранить за собой право быть «инаким», должен признать это право за другим человеком. Всего-навсего, но как это трудно на деле!

Люди, воспитанные в традициях плоскостного ощущения мира, убеждены, что устойчивость жизни тем выше, чем выше ее однородность, что стабильность держится на единодушии и единомыслии, что полный покой наступит по достижении пресловутой «соборности». Действительно, упрощением всякого рода достигается некая иллюзия устойчивости и стабильности. Это устойчивость и стабильность «застоя», медленного погружения в болото, в историческое небытие. Истинная устойчивость есть движение, динамика, питающаяся энергией многообразия и контраста.

Примерно такие мысли занимали меня после путча. Но об этом же — только на материале литературы и критики — я пытался размышлять и в своей статье. «Обзора», как требовали того условия участия в рубрике, у меня не получилось да и не могло получиться. Оказалось, что уже нет такой точки, встав на которую можно увидеть более или менее внятную панораму нашей литературы. Чтобы вообще что-то увидеть, приходится перемещаться с места на место, настигая уходящую, вернее, *разбегающуюся* в разные стороны натуру. Осознав это, я, честно говоря, почувствовал не столько неудобство, сколько свободу. И, обрадовавшись ей, испытал нечто вроде нетерпеливого раздражения в адрес тех, кого нынешнее состояние нашей литературы тревожит и возмущает.

2

Профессиональный долг обязывает читать сплошь критические отделы хотя бы самых влиятельных журналов. Надо сказать, что занятие это — особенно в последнее время — не весьма радостное. Однако всякое прилежание вознаграждается. В данном случае — небезынтересными, на мой взгляд, наблюдениями.

Так, например, я убежден, что человек со стороны, вчитавшийся в нашу критику *свежими очами*, испытает некоторое замешательство. Либо у нас две литературы,— решит он,— либо две критики, хотя имена на журнальных страницах мелькают одни и те же.

В самом деле: если судить по рецензиям, то с нашей литературой все в порядке. Журналы интересны как никогда прежде, одна за другой выходят замечательные книги, высоко оцениваемые самыми придирчивыми экспертами и отнюдь не залеживающиеся на прилавках магазинов. Чего же еще желать? Но стоит критику, только что похвалившему очередную новинку, взяться за более объемную и ответственную жанровую форму — статью или обзор, как на его ясное чело набегают тучи, а чернила в его чернильнице подозрительно желтеют. Страницы обзорных статей — за малым исключением — дышат если не открытым раздражением, то уж, во всяком случае, нескрываемым недовольством. Тень юного Белинского встает за спиной критика, пишущего обзор, и к каждому из них эпиграфом так и просятся бессмертные слова неистового Виссариона: «...несмотря на все на это, повторяю: **у нас нет литературы!**»

Этот безжалостный диагноз непременно вспоминается мне, читаю ли я статьи своих предшественников по рубрике Ст. Рассадина и А. Бочарова, или обзор прозы прошлого года, написанные Евг. Шкловским («Лит. обозрение», 1991, № 2), или месячные обзоры текущих журнальных публикаций, принадлежащие размашистому и ехидному перу С. Тарощиной в «Литературной газете». Все есть в этих обзорах — и похвалы, и резкие оценки, но фоном всегда служит какое-то глухое, неопределенное и необязательно выраженное в слове (чаще — в интонации, в пафосе) *общее* недовольство литературой. Насколько я знаю, подобные настроения широко распространены и в других сферах нашей культуры, ими мучаются критика театральная, художественная, кинокритика.

Все это поразительно напоминает смуту в классической физике начала века. «Материя исчезла!» — суеверно твердили тогда ученые, воспитанные на Ньютоне, столкнувшись с не предусмотренным его законами поведением этой самой «материи».

Что же именно исчезло, спокойнее и точнее всех попытался объяснить М. Золотоносов в замечательной статье «Отдыхающий фонтан».* Здесь констатируется разложение «советского монолита» на ряд «сублитератур», «в каждой из которых своя эстетика, мораль, свои взаимоотношения с начальством, свои идеалы и свой читатель...». Распавшись, культура перестает работать «как объединительное начало в социуме», и нельзя сказать, что критику все это нравится: «Разнообразие, в других условиях возможное как благо, стало злом из-за отсутствия единой, всеми признаваемой ценностной иерархии».

Констатация, как все почти констатации у М. Золотоносова, точна, что же касается выводов, то они меня, признаться, удивили. Но об этом потом, а пока попробую осмыслить подобие траура, воцарившегося на страницах печати по поводу мнимого «исчезновения материи».

Невозможно, конечно, заподозрить серьезных критиков в тайных симпатиях

* «Октябрь», 1991, № 4.

к «советскому монолиту». Не они ли, скорбящие теперь о «кризисе культуры» (нравственности, духовности и т. д.), азартно разрушали это железобетонное чудище? Плохо ли, хорошо ли, но дело, кажется, сделано, и о чем же теперь печаль?

У кого о чем. Те, что попроще, печалуются о «монолите», потому что разрушали они, оказывается, не монолит, а его специфическую «советскость». Им казалось, видимо, что единую, процветающую культуру можно создать, просто поменяв ценностную ориентацию, повернув стрелку идеологического вектора в любезную им сторону. Но — увы — само крушение «советского монолита» убедительнейшим образом доказало, что он оставался «монолитом» только потому, что был «советским». Ясно и то, что любая перекраска «единой культуры» (например, искусственное строительство «религиозной», «христианской», «христианско-демократической» и т. п. культуры) тут же воспроизведет вполне «советские» по своему внутреннему содержанию культурные «структуры».

Те, что поумнее, понимают, что в культуре создается ситуация, которая не только отменяет все, сказанное ими раньше (это как раз не самая страшная беда — редкий критик рассчитывает на вечность), но и ставит под сомнение сам смысл их деятельности. Исчезает привычный объект критического анализа — обозримая, расположенная в одной плоскости, находящаяся в процессе линейного движения, не по своей воле единая культура. На ее месте формируется нечто принципиально иное.

Лучшие критики чувствуют, что литература перешла в новое качественное состояние, что она внутренне перестроилась на каких-то иных принципах. Игорь Дедков, например, говорит в одном из интервью: «Я даже не знаю, с чем это можно сравнить. Может быть, с калейдоскопом...» Алла Марченко предлагает другой, хотя и близкий по смыслу образ — «мозаика». Но в массовой критической практике ощущения наиболее чутких критиков реализуются пока что минимально. Критика остается заложницей «методологии», сложившейся в годы, когда и помыслить о разрушении идеологизированной культуры было невозможно. Можно было противостоять идеологии, смягчать ее давление, выигрывать у нее «бои местного значения», шлифовать «эзопов язык», но игнорировать ее было нельзя. Она была воздух, которым все дышали, и еще очень нескоро мы окончательно «отрясем ее прах». Итог печальный: инструменты, с помощью которых когда-то легко препарировался прежний, линейный «литературный процесс», в новой культурной ситуации просто не работают. На устаревших приборах либо ничего нет, либо их стрелки «зашкаливает», и тогда приходится говорить о «хаосе», о «кризисе» и даже о «конце».

3

Среди безотказных прежде инструментов анализа была так называемая «концепция литературного процесса», которую обязательно имел любой уважающий себя критик. С ее помощью разнородные литературные явления выстраивались в некий непротиворечивый ряд и обосновывались прогнозы о направлении движения этого ряда — «от анализа к синтезу», например, либо наоборот. Концепция складывалась мучительно, годами и десятилетиями, она срасталась с личностью, и тем выше была ее ценность, чем дальше удавалось провести свою линию от жирной красной стрелки, начертанной официальным штабным карандашом.

И вот на наших глазах упорядоченный трудом критических поколений Космос литературы взорвался, и взгляду открылась картина Хаоса, ужаснувшая старую критику прежде всего тем, что она осталась не просто без концепции, но и без малейшей возможности эту концепцию построить. Попробуйте, в самом деле, заключить торжествующий, нахально разрастающийся Хаос в рамки любой, хотя бы и самой осторожной концепции! Тут и начинается ностальгия, так отчетливо и чисто звучащая, например, в статье А. Бочарова*. Только ностальгией я могу объяснить генеральную идею статьи, суть которой сводится к тому, что нынешняя ситуация в литературе — не более чем очередная «оттепель» и можно, стало быть, сопоставлять ее с первой, «хрущевской» оттепелью. Сопоставление, естественно, приводит к выводу о том, что первая оттепель была творчески более богата, нежели наша нынешняя литература. При этом к нынешней литературе прилагаются критерии, выработанные идеологизированным советским литературоведением в конце 50-х — начале 60-х годов. «Новое время не дало духовных лидеров, возбудивших бы внимание общества, повлиявших на общественное движение, предложивших самобытную концепцию человека и человеческого сообщества»,— пишет А. Бочаров. Он считает, что в новой культуре нет «мощных объединительных идей, способных хоть сколько-нибудь реально ответить на трагичнейший вопрос: во что верить?» Да, очень похоже. Всего этого новая литература в самом деле сторонится, потому что она знает цену «духовным лидерам» и их «духовному» же деспотизму; знает, что любая «концепция человека» есть насилие над человеком, что «мощные объединительные идеи» менее всего способны на «реальные» ответы, а сам вопрос «во что верить» не только не «трагичнейший», но попросту бестактный. Каждый должен отвечать на него наедине с собой, без оглядки на очередную «мощную идею», подсказывающую, как правило, единственный ответ. А ответов не только может, но и должно быть

* «Октябрь», 1991, № 6. — Две оттепели: Вера и Смятение.

много, чтобы пространство, в котором существует человек, сохраняло объем и воздух.

Если критика хочет выжить, то есть остаться серьезным и действенным фактором литературного развития, она должна сменить «оптику», переродиться, преодолеть, наконец, инерцию того толчка, который дан был ей в незапамятные годы насаждения «партийности», «классовости» и «социалистического реализма». Давно сгинули эти понятия, да и никто из ныне действующих талантливых критиков никогда не употреблял их всерьез, но и поныне критик, если у него есть выбор, нередко старается — едва ли не инстинктивно — занять место, отведенное ему в эпоху «партийного руководства культурой». Место вожатого, место идеолога, знающего больше и видящего дальше, чем стихийный художник.

Однако этой роли в «списке действующих лиц» сегодняшней культурной драмы просто нет. Нет ни одной армии, при которой критик-идеолог мог бы быть комиссаром, нет ни одного «направления», нуждающегося в идеологическом оружии. Речь не идет, понятно, о «Молодой гвардии» и подобных ей изданиях, «Молодая гвардия» сама есть отборное войско, сплошь состоящее из комиссаров. Потому не литературой она занята, а грубой провинциальной политикой. Что же до «демократии» или «либерализма», то они не идеология, они всего лишь принципы, на основе которых разворачивается свободный рынок идей. На таком свободном рынке идеи и идеологии не «борются», а элементарно конкурируют. «Идеолог рынка» еще возможен при отсутствии рынка, при действующем же рынке он превращается в фигуру комически-мемориальную. Свобода — не коммунизм с его непрерывно-отдаляющимся горизонтом, она совершенно конкретна, и за нее, слава богу, не нужно бороться вечно.

Играл некогда критик и еще одну почетную роль, более скромную, но и более достойную. Критик был — или казался себе — связующим звеном между литературой и обществом, весьма серьезно оспаривая право на это у партии и ее верных «автоматчиков». До писателя он доносил «глас народа» или, если скромнее выразиться, «общественное мнение», а «народу» растолковывал смысл и пафос писательского слова. И все это, если учесть отсутствие у нас настоящего гражданского общества, было чистейшей фикцией, невинным и бескорыстным самонадувательством. Стоит вспомнить, как в 70-е—80-е годы из литературного потока безошибочно выхватывались и обкладывались кольцом бесконечных пустопорожних дискуссий книги, не прожившие и нескольких лет, чтобы понять, насколько плохо критика представляла себе истинные запросы не «общества» — бог с ним, с «обществом»! — реального человека. Стоит вспомнить, с каким упорством критика не желала вчитываться всерьез в книги А. Битова, Ю. Трифонова, В. Маканина, чтобы понять, какого качества «разъяснения» она могла давать «народу», который, слава богу, критику тогда не читал, как и сейчас не читает.

Впрочем, после драки кулаками не машут. Ясно, что критика, как и литература, была поставлена в совершенно ложное положение самой «культурной парадигмой», насажденной партией, и положение критика было, пожалуй, гораздо щекотливее, чем положение художника. Писатель изобретал тайнопись, чтобы не потерять единственной трибуны, а критик что же — должен был эту тайнопись «городу и миру» расшифровывать, то есть — в условиях тех лет — писать донос?

Однако времена переменились, врать никому не нужно, и можно, казалось бы, прочно утвердиться на мостике, связующем «общество» и «литературу». Но «общество» и «литература», представлявшиеся гигантскими материками, нуждающимися друг в друге суверенными державами, оказались, едва потеплело, двумя непрерывно дробящимися, неуклонно разъезжающимися в неуютном океане льдинами. А мостик между ними если и был, так давно утоп вместе с зазевавшимися на нем критиками.

За благородными спинами критика-идеолога и критика-просветителя едва заметна была скромная тень критика-специалиста. Его вечно порицали за узость взгляда, за неспособность к масштабным обобщениям, за отсутствие всеобъемлющей концепции. И вот, похоже, пришло время этого смиренного труженика. Ему не приходится растерянно следить за разбегающейся в разные стороны литературной галактикой, потому что он сам — часть этого движения. Всякая «субкультура», завоевавшая автономию, тут же обрастает собственной критикой, критикой специалистов, грамотно обслуживающих ее и не испытывающих по этому поводу комплекса неполноценности. Уж она-то, эта критика, точно знает, что литература, которой она занимается,— есть, что она сама по себе — целая галактика. Эта критика делает в наши панические времена реальное дело, и ее надежный позитивизм внушает уважение.

4

Но надолго ли пришло ее время? Что-то мне кажется, что «сублитературы», возникшие на развалинах «советского монолита», эфемерны (может быть, вследствие своей явной генетической связи с монолитом, парадоксальной зависимости от него даже в отталкивании) и очень скоро наступит их черед распадаться на еще более мелкие образования, и так — до последнего одинокого атома. Согласитесь, что «специалист по андеграунду» звучит солидно и весомо, а «специалист по Нарбиковой» — смешно. Впрочем, как только не станет «андеграунда», так не станет (в литературном, разумеется, смысле) и Нарбиковой. Отнюдь не наоборот.

Вообще говоря, очень характерно, что в «сублитературы» легко объединять либо практически выработавшие свой творческий ресурс явления («секретарская литература» и «деревенщики») либо новорожденные, возникающие как язык, на котором нечего сказать, кроме умилительного, но однозначного младенческого «нет». А все, что в «китайской классификации» М. Золотоносова расположено между этими полюсами, уже давно представляет собой область свободного хаоса. Что, например, общего у В. Гроссмана, Ю. Домбровского, Ф. Искандера и А. Битова, объединенных у М. Золотоносова в «литературу, ориентированную не на «социалистический», а на «простой» реализм и общечеловеческие ценности»? А что такое в той же классификации «литература эмиграции»? Чем, кроме внелитературного «обстоятельства места», можно объединить Ф. Горенштейна и Сашу Соколова, В. Войновича и В. Максимова, А. Зиновьева и А. Солженицына? В этой области свободного хаоса критик и писатель оказываются лицом к лицу, без опосредствующих абстракций «литературы» и «сублитературы».

И возникает странная мысль: может быть, распался на самом деле не «советский монолит», а всего лишь система зеркал, где он отражался, созданная за долгие годы советской критикой? Развеялся сон о литературном Космосе, который (под сильным, разумеется, идеологическим наркозом) десятилетиями снился критикам и который они, наконец, перепутали с явью?

В миг пробуждения Космос (в 30—50-е годы, впрочем, почти сбывшийся) рассыпался, и мы все увидели то, что, собственно, и было всегда — «родимый» (и родящий) Хаос. Еще бы не закрыть глаза, не попробовать вернуться в прерванный сон — ведь там, во сне, мы почти уже добрались до счастливого конца, почти обрели гармонию, почти преобразили мрачный казарменный порядок во что-то вроде штейнеровского «Гетеанума» в Дорнахе...

Так и хочется вспомнить слова молодого Б. Эйхенбаума, недавно процитированные, кстати, тем же М. Золотоносовым: «Господа критики и историки литературы! Давайте признаемся теперь, когда не стыдно признаться в чем бы то ни было (шел 1918 год.— А. А.), признаемся просто и искренно, что мы н е п о н и м а е м литературы... Мы должны улавливать в искусстве то, что делает его лабиринтом, чтобы не думали уважаемые читатели, что оно похоже на коридор, приспособленный для гулянья в антрактах».

Итак, может быть, согласимся, что «У нас нет литературы»? Право, не жалко, потому что у нас есть, слава богу, писатели и их книги — загадочный лабиринт искусства, на который нам не дано взглянуть сверху...

5

Но пора уже вернуться к тем выводам, которые сделал М. Золотоносов, комментируя нарисованную им картину распада «советского монолита». Кстати, характерно, что эта картина именно «распада» и «разложения», хотя процесс, идущий сейчас, можно осмыслить и по-другому — например, как «освобождение».

Дифференциация культуры не нравится критику — она идет вне влияния «единой, всеми признаваемой ценностной иерархии», лишает культуру способности играть в обществе роль интегрирующего начала. Понятно, что и к плюрализму вообще автор не может относиться иначе, как с небрежной насмешкой: «Идеологический хаос усилен декларированным как официальная доктрина плюрализмом. Конечно, это не более чем дымовая завеса, под прикрытием которой идет перетягивание каната, и даже оскандалившаяся вконец коммунистическая идея еще надеется справить свои именины сердца. На самом деле плюрализм у нас привел лишь к признанию того, что существует множество независимых и не сводимых друг к другу оснований знания и истин. (Ничего себе — «лишь»! Право, никак не пойму, что же в этом плохого.— А. А.). Практически это очень удобно, ибо каждый теперь на «научной основе» может наплевать на всех и поступать так, как ему выгодно...» Видимо, от такого «наплевательства» и должна гарантировать «единая ценностная иерархия».

М. Золотоносов не говорит, какая именно «иерархия» ему по душе, но если исключить «плюрализм» (то есть тоже в каком-то парадоксальном смысле «иерархию», где во главе ценностей стоит свобода), остается только религия. Только на религиозной основе возможна культура, хотя бы теоретически способная играть в обществе роль объединяющего начала.

Я ничего не имею против религии и не хотел бы здесь и сейчас погружаться в бездны сложнейшей проблемы «культура и религия». Скажу только одно: религия при исполнении своего общественного долга прекрасно обойдется без культуры, а вот культуре, стремящейся слиться с религией, грозят полное растворение, потеря специфики, опасность стать чем-то вроде «агитпропа» при религии. Если же учесть, что религий много, то нетрудно представить себе жесточайшую войну, которая может развернуться во имя утверждения «единой, всеми признаваемой ценностной иерархии». Впрочем, я не думаю, что М. Золотоносов обо всем об этом не догадывается. Недаром он все-таки не дает своей «иерархии» определенного имени. Недаром рассуждения о необходимости «иерархии» соседствуют в его статье с выразительными картинками «второго крещения Руси», не оставляющими сомнений в сугубо трезвом отношении автора к перспекти-

вам «религиозного возрождения» в ближайшие к нам времена. Желаемое неосуществимо, а существующее нежеланно,— вот к чему, собственно, приходит критик. На такой позиции находясь, остается только отвернуться от бесплодной суеты дня сегодняшнего и обратиться за помощью к классике, что М. Золотоносов и делает в конце своей статьи.

Я высоко ценю аналитический дар этого критика и всегда с удовольствием читаю его статьи, представляющие собой свободную речь свободного человека. Тем больше удивляет меня определенное недоверие к свободе как принципу самоорганизации общества и культуры, звучащее иногда в его статьях на уровне дефиниций, на уровне, где приходится формулировать положительную программу. И Золотоносов здесь не одинок. Почему-то свободе не очень доверяют как раз молодые критики, вынесенные «к свету» общественного внимания ее первой волной. Вот, например, А. Архангельский в недавней своей статье «Между свободой и равенством» («Новый мир», 1991, № 2) готов принять свободу, но лишь «подогнав под местные условия и отведя ей строго определенное место в иерархической системе социальных ценностей». В финале статьи он выражается еще более определенно: «...культура держится не на идее Свободы и тем более не на идее Равенства, а на идее Братства». Но почему культура должна держаться на какой-то одной идее? А нельзя ли представить себе такую «ужасную картину» — сосуществование на основе «идеи Свободы» разных культур — и культуры Равенства, и культуры Братства, и всех других, которые могут еще родиться из нынешнего Хаоса?

Такие культуры, понятно, не смогут играть в обществе роль объединяющего начала (просто не будут ставить перед собой такой цели), что и служит, конечно, причиной недоверия к ним наших «монистов». Но дело ли культуры — «объединять общество»? Не довольно ли у нее собственных задач? Задач, скажем так, идеального, поискового характера? Общество же реально и материально, практической цели его гармонизации гораздо эффективнее послужит элементарное право, для которого — вот уж действительно — «несть ни эллина, ни иудея», ни атеиста, ни христианина...

«Проблему свободы либерализм склонен решать юридически»,— неодобрительно замечает в статье «Схватка с Левиафаном» («Новый мир», 1991, № 1) Владимир Потапов. Чуть выше он пишет: «Либералистское сознание не разрешает извечный конфликт личности и общества, оно его лишь смягчает». Совершенно верно. Но «либералистское сознание» и не стремится к окончательному «разрешению» извечного конфликта, ему достаточно отрегулировать протекание этого конфликта таким образом, чтобы его энергия способствовала развитию и общества, и личности. И когда Владимир Потапов пишет: «...в пределе все эти права могут быть осуществлены разве что на необитаемом острове»,— он обращается не по адресу, ибо само понятие «право», как оно сложилось в «либералистском сознании», не сочетается с понятием «устремления к пределу». «Право» конкретно, оно есть компромисс множества «предельных устремлений».

Все дело в том, что критики-«иерархисты» склонны мифологизировать само понятие «общества», держать в сознании некую его идеальную модель, отчужденную от реальной истории. Это не может не отражаться в тех концепциях «устройства» литературы, которые они предлагают. Например, М. Золотоносов на страницах своей статьи излагает концепцию, построенную на выразительной метафоре «ядра» (центра) и «периферии». «Ядро» — это «художественный и смысловой центр, где размещаются произведения, признаваемые эталонными с точки зрения художественного уровня и воплощенной в них системы ценностей... «Ядро» в русской культурной парадигме может быть образовано лишь крупными прозаическими произведениями, не чуждыми литературных экспериментов, но не на них концентрирующими основное читательское внимание, произведениями, охватывающими большие промежутки времени и реалистически описывающими жизнь семейств и родов на протяжении нескольких поколений».

Звучит, что и говорить, убедительно. Вспоминаешь «Войну и мир», «Братьев Карамазовых»... Правда, на «периферии» оказываются Пушкин, Чехов, весь модернизм... Зато идеально эта схема применима к «идеальной» же литературе «идеального» общества — литературе «социалистического реализма». Может быть — не уверен в этом,— к литературе любого однородного, централизованного общества с веками незыблемой системой «эталонов». Но у нас-то такого общества, слава богу, уже нет, и удобная метафора «ядра» и «периферии» не работает, что, кстати, косвенно признает и М. Золотоносов.

Не работает, но используется, в результате чего в критике складывается картина литературного развития, неадекватно отражающая реальность. Как это происходит? Поскольку «крупных прозаических произведений», удовлетворяющих требованиям внеисторической «культурной парадигмы», переходный период не дает и дать не может, в самом центре «ядра» зияет дырка, служащая причиной постоянной неудовлетворенности критики. Время от времени предпринимаются попытки заполнить пустоту каким-нибудь подходящим «эталоном», и тогда объявляется, например, «год Солженицына» или что-нибудь еще. Однако, как правильно замечает М. Золотоносов, «это уже история, «ядро» должно

строиться каждым поколением, без этого нет современной литературы».

«Поколение» же отчего-то никак не желает приступать к построению «ядра», предпочитая отсиживаться по своим углам и заниматься, по мнению «иерархической» критики, сущей чепухой и мелочевкой. И критика, отчаявшись разобраться в удручающей ее пестроте литературы, прозреть в ней хотя бы контуры чаемого «ядра», вместо того чтобы сменить установку и отказаться от идеи «иерархии», обрушивается на поколение с тяжелыми обвинениями (см. уже приводившиеся цитаты из статьи А. Бочарова). На практике это ведет к тому, что в статьи и обзоры попадает далеко не все интересное, реально развивающееся в литературе, зато попадает довольно много среднего, имеющего некоторое отношение к «ядру» или к эталонным «ценностям». Так, например, весьма посредственный «физиологический очерк» С. Каледина «Смиренное кладбище» произвел настоящий фурор не столько по причине обращения к залежам тематической «целины» (как раз здесь заслуги писателя должны быть признаны), сколько по причине немотивированного выхода к этическим проблемам. Точно так же успехом у критики всех лагерей пользуется динамичная беллетристика Л. Бородина, замешанная на рациональном морализировании.

Самые изощренные «эстеты», стоит им принять мысль о необходимости «единой, всеми признаваемой ценностной иерархии», начинают судить литературу по законам, которые она над собой никогда не признавала.

6

В этом смысле очень показательно отношение критиков такого типа к иронии.

«...ирония,— пишет А. Бочаров,— побуждается отчуждением, отстранением личности от свершающегося или еще чаще «насмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом».

М. Золотоносов трактует иронию примерно так же: «В рассказе «Типичный представитель» А. Житинский показал, как ирония заменяет мировоззрение. С исчезновением объекта иронического отношения для многих стала реальной угроза исчезновения заменителя мировоззрения».

Можно привести еще множество подобных суждений, увенчав их весьма выразительной анафемой иронии, произнесенной Валентином Распутиным в статье «Интеллигенция и патриотизм» («Москва», 1991, № 2). Общая черта всех этих суждений — отношение к иронии как началу разрушительному, деструктивному, посягающему на мировоззрение и чуть ли не на самое Родину.

На самом деле ирония — непременное условие существования искусства. Ведь искусство, строго говоря, невозможно без момента «отчуждения, отстранения личности от свершающегося», искусство стоит на условности, иначе оно — магия. Весьма странно слышать, что иронии нужен некий специальный «объект» для отталкивания, и еще страннее — что такой объект может вдруг «исчезнуть». Объект иронии, если не упрощать и не снижать проблему,— сама действительность, включая сюда и личность художника. Для личности же ирония — непременная часть самосознания, непрерывный диалог, который ведет человек с самим собой. Главная функция иронии — не разрушение, а сохранение равновесия, расчет баланса. Разрушительным гораздо чаще бывает «прямое», «неотчужденное» отношение человека к жизни, не уравновешенное трезвым взглядом «со стороны».

Но, в общем, понятно, отчего подозрительно косятся в сторону иронии адепты «единой ценностной иерархии» от М. Золотоносова до В. Распутина. Они — монисты, ирония же как раз предполагает «существование множества независимых и несводимых друг к другу оснований знания и истин» и постоянный диалог между ними, то есть плюрализм. При свете иронии невозможно размыть границы между искусством и жизнью, а только при этом условии искусство способно выполнять несвойственные ему функции — «объединять общество», «воспитывать», порождать «мощные идеи» и отвечать на вопрос «во что верить», как этого хочется «монистам».

Я, впрочем, допускаю, что они путают иронию с какими-то другими вещами — пародией или гротеском, для которых в самом деле необходим некий «оригинал» для отталкивания. У нас вообще термином «ирония» несколько злоупотребляют, прилагая его ко всему, в чем содержится мало-мальская насмешка над признанными «ценностями». Даже одно течение в поэзии было названо «иронисты», имея на это, в общем, довольно мало прав. Если бы я хотел привести пример подлинной, высокой иронии в нашей современной литературе, я назвал бы повесть А. Королева «Гений местности» («Нева», 1990, № 7) или прозу М. Харитонова. Ирония естественнее всего возникает там, где дышит высокая культура. А чем выше культура, тем дальше она от Единственно Верного Учения, или, другими словами, «единой, всеми признаваемой ценностной иерархии».

* * *

Отвергнув «иерархическую» критику и призвав ее сменить «оптику», осознать, наконец, дифференциацию культуры как свершившийся факт, я, конечно, не решил вопроса о судьбе критики в новой культурной ситуации. Мне главным образом хотелось в этой статье «перекрестить» назойливую «тень Белинского», не дающую покоя нашей литературе. Но проблема критики — не пустая и не выдуманная, и мне уже приходилось слы-

шать и читать самые крайние суждения о возможном будущем этой противоречивой профессии. Есть пессимисты, предсказывающие ее полное исчезновение, есть оптимисты, которым все нипочем. Не принадлежа ни к тем, ни к другим, я считаю, что критика будет эволюционировать параллельно с литературой и журналистикой. Это значит, что критике придется распрощаться со своими последними «руководящими» комплексами, резко размежеваться с публицистикой, специализироваться и, может быть, пойти на выучку к философии (не к идеологии). Еще Аким Львович Волынский в 90-е годы прошлого века, на заре русского модернизма, мечтал о «философской критике». Отчего бы не исполниться его мечте, если, конечно, вместо «четвертой главы» из Краткого курса у нас действительно появится философия?

Но путь к специализации, путь к обретению своего настоящего предмета — только один из возможных путей. Во многих критиках дремлет художник, а жанр эссе — один из самых невостребованных русской литературой. Почему бы ему не получить новую энергию, новое развитие?

С другой стороны, «читать Плутарха» * — тоже путь и тоже выход...

Июль—сентябрь 1991 г.
г. Иваново.

* «Октябрь», 1991 № 1. — Ст. Рассадин. Будем читать Плутарха?

Отклик

КНИГА НЕЛЛИ МОРОЗОВОЙ «МОЕ ПРИСТРАСТИЕ К ДИККЕНСУ. СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА. XX ВЕК» (изд. «Московский рабочий») — это не роман, автор не прикрывается вымышленными именами, но честно и откровенно рассказывает историю своей семьи. Вспомним, как популярна на Западе именно мемуаристика, какие бешеные тиражи набирают подлинные истории жизней самых разных людей — от бывшего президента до чернокожего американца, разыскивающего свои африканские корни. У нас же мемуаристика до недавнего времени находилась в творческом загоне, потому что ни один мемуарист не мог позволить себе сказать ни полправды, ни даже четверти ее. И большинство читателей с некоторой брезгливостью проходило мимо многократно отцензурированных «мемуаризмов» сталинских орденоносных генералов или писанных чужой рукой «воспоминаний» вроде «Малой земли». Но теперь, когда запреты на правду сняты, оказалось, что вкуса к воспоминаниям, к подлинным историям уже почти нет, и читателю интересно главным образом лишь то, что раньше тщательно скрывалось многоступенчатой цензурой. А между тем иной раз появляются у нас произведения этого жанра, сделанные с той степенью присутствия в них правды (зачастую — весьма неприятной для самого автора и вместе с тем литературно столь привлекательные, что даже в условиях массового поступления на читательский рынок давно и хорошо зарекомендовавших себя в сам- и тамиздатовском подполье сочинений выглядят они, эти новые произведения, весьма достойно. Именно к таким произведениям я бы и отнес книгу Нелли Морозовой.

В сущности, это повествование о духовном прозрении человека, замороченного советской пропагандой. Основные события в книге разворачиваются в тридцатые годы, когда автор была еще подростком. Обращение девочки к Диккенсу, вообще к литературе, было и уходом от реальности, и одновременно прорывом в настоящую, подлинную реальность, когда сквозь морок пропаганды, нагло выдающей черное за белое, благодаря живительному воздействию Литературы вдруг проступала та самая страшная правда, которую все видели и в то же время как бы и не видели, не хотели видеть, боялись. Благодаря Диккенсу приходило понимание, что ничего-то больше, кроме этой страшной правды, и нету, что все, что говорят, во что верят или пытаются верить другие,— ложь. Недаром книга звучит словно бы еще и покаянием за отца. «Мне придется вторгнуться в мои детские воспоминания и попытаться объяснить для себя, для других и для памяти отца,—пишет Н. Морозова в самом начале книги,— как же так могло получиться, что добрый, порядочный и весьма неглупый человек мог не осознать происходящие в стране роковые события и принять в них участие на неправой стороне?» Причем «мне вовсе не хочется заниматься перекладыванием вины»,—добавляет она чуть ниже. Что ж, пожалуй, это действительно очень важно объяснить, как такое могло случиться. Ведь слишком много добрых, порядочных и весьма неглупых людей тоже не осознали эти происходившие роковые события. Так что семейная хроника Нелли Морозовой звучит покаянием не только за ее отца, но еще и за них, за всех.

После наименования жанра своего произведения — семейная хроника — автор ставит как бы уточняющее временное обстоятельство: XX век. Я бы только еще добавил: Россия. Или, если уж пользоваться историческими реалиями,—СССР. А впрочем — в географии ли дело? Во времени ли? Темы-то вечные...

Олег ФАЙНШТЕЙН